ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[12] 2006

РАССКАЗЫ ДЖУЛИАНА БАРНСА И ОРХАНА ПАМУКА / СТИХИ АЛЬБЕРТО КАРАМЕЛЛЫ / ДЖЕРАРД МЭНЛИ ХОПКИНС В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА: ФРАГМЕНТЫ КНИГИ КАРЛО БОНИНИ "ГУАНТАНАМО. ПУТЕШЕСТВИЕ В ТЮРЬМУ ДЛЯ ТЕРРОРИСТОВ" / "КВАДРАТУРА КРУГА" ЛЕОНИДА ГИРШОВИЧА В РУБРИКЕ "ПИСАТЕЛЬ И ОБЩЕСТВО"

Основан в 1891 году

[12]
2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный литературно-художественный журнал

3 Джулиан Барнс *Рассказы.* Перевод с английского Инны Стам

54 Альберто Карамелла *"Я был незаменимым почтальоном".* Стихи. Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

62 Орхан Памук *Смотреть из окна.* Рассказ. Перевод с турецкого М. Букуловой

78 Надин Бисмют *Scrapbook.* Роман. [Окончание.] Перевод с французского Е. Клоковой и Н. Хотинской

Литературное наследие

180 Джерард Мэнли Хопкинс *"Проснусь – и вижу ту же темноту..."* Стихи. Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова

Документальная проза

196 Карло Бонини *Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов.* Фрагменты книги. Перевод с итальянского Е. Кисловой

Писатель и общество

233 Леонид Гиршович *Квадратура круга?*

Наши интервью

238 *"Больше всего я люблю писать о книгах, которые пока еще поняла не до конца..."* Дмитрий Дроздовский беседует с Антонией С. Байетт. Перевод с английского Е. Скрылевой

Путешествие по книге

244 Э. Драйтова *С советского Востока на немецкий Запад.* О книге Уллы Лахауэр "Ритина родня"

Письма из-за рубежа

254 А. Ливергант *Диалог культур под открытым небом*

Среди книг

259 Сергей Зенкин *Романы Констана.* Игорь Клех *Освобожденная память.* Евгений Харитонов *Панорама новой болгарской поэзии*

БиблиофИЛ

271 *"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках конца 2006-го.* Выбор главного редактора

Чайнворд + Анкета 274

Авторы номера 277

Содержание журнала "Иностранная литература" за 2006 год [1—12] 279

© "Иностранная литература", 2006

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. В. Михеев

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

В. П. Аксенов
С. К. Апт
Л. Г. Беспалова
А. Г. Битов
Е. А. Бунимович
П. Л. Вайль
А. М. Гелескул
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
Д. В. Затонский
С. Н. Зенкин
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
М. Л. Салганик
А. Н. Словесный
И. С. Смирнов
Е. М. Солонович
Н. Л. Трауберг
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили
А. И. Эппель

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Ван Мэн
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
Т. А. Баскакова
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
Е. Ю. Леонова
А. В. Нестеров
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации

Джулиан Барнс

Рассказы

Перевод с английского Инны Стам

Предание о Матсе Исраэльсоне

ПРЯМО перед церковью с резным алтарем, вывезенным из Германии еще во времена Тридцатилетней войны[1], стояла сбитая из светлой словой древесины конюшня. Доски на все шесть денников напилили и высушили на городской лесопилке, отсюда до нее рукой подать. Конюшня с виду непритязательная, без украшений, на денниках даже номеров не было. Но этой ее простотой обольщаться не стоило. Те, кто приезжал в церковь на лошади, и те, кто топал туда на своих двоих, точно знали: все денники, слева направо, от первого до шестого, пронумерованы и предназначены для самых влиятельных людей округи. А если какой чужак, решив, что и он не хуже других, ставил в денник своего конягу и шел в "Главный трактир" опрокинуть чарочку, то его ждал сюрприз. Выйдя на улицу, он обнаруживал, что животина его бродит у пирса, поглядывая в озерную даль.

К новому владельцу денник переходил по решению прежнего хозяина — либо в дар, либо по завещанию. Но если в церкви некоторые места от века принадлежат отдельным семействам, независимо от досто-

© Julian Barnes, 2004
© Инна Стам. Перевод, 2006

1. Тридцатилетняя война (1618–1648) — война между католическим габсбургским блоком (Испания, Австрия и католические германские князья, поддержанные Ватиканом и Польшей) и антигабсбургской коалицией (германские протестантские князья, Франция, Швеция и Дания, поддержанные Англией, Голландией и Россией). Здесь, видимо, речь идет о шведском периоде войны (1630–1635), когда шведская армия под командованием короля Густава II Адольфа вторглась в Германию и одержала ряд побед. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

инств их отпрысков, то вне церкви учитываются прежде всего гражданские добродетели. Отцу, конечно, хочется передать денник старшему сыну, но, если парень не выказывает необходимой благопристойности, такое решение не сделает чести его родителю. Когда Хальвар Бергрен пустился во все тяжкие, увлекшись тминной водкой, легкомысленными девицами и атеизмом, и в результате передал денник номер три бродячему точильщику, то осуждению подвергся не точильщик, а Бергрен. Точильщик же за несколько монет отказался от денника в пользу более достойного владельца.

Никто не удивился, когда денник номер четыре решено было передать в дар Андерсу Будену, управляющему лесопилкой. Дюжий бородач славился трудолюбием, серьезностью и нежной заботой о жене и детях. Чрезмерной набожностью он не отличался, но на благотворительные дела жертвовал не скупясь. Как-то по осени, после удачной охоты, он заполнил обрезками досок одну из ям для опилок, накрыл ее металлической решеткой и, зажарив на решетке оленью тушу, раздал мясо рабочим. Родился Буден совсем в других краях, но считал своим долгом показывать приезжим здешние достопримечательности. По его настоянию туристы карабкались на стоявшую возле церкви klockstapel[1]. Облокотившись о каменный парапет, он указывал на кирпичный завод, потом на расположенный чуть подальше приют для глухонемых, за которым — на том самом месте, где в 1520 году Густав Васа[2] обратился с речью к жителям Даларны[3], — находится памятник королю, только с колокольни его не видно. В своем рвении Буден даже предлагал приезжим совершить паломничество к горе Хёкберг, дабы полюбоваться камнем, установленным в честь правоведа Юханнеса Шернбока. Тем временем вдали озерную гладь рассекал пароходик; внизу в уютном деннике Будена ждала довольная жизнью лошадь.

Злые языки утверждали, что Андерс Буден столько времени тратит на просвещение приезжих лишь для того, чтобы подольше не возвращаться домой. Злые языки повторяли байку о том, как он в первый раз сделал предложение Гертруде и та расхохоталась ему прямо в бороду, а достоинства Будена разглядела только после того, как потерпела жестокое разочарование в любви к юному Маркелиусу. Отец Гертруды пришел к Андерсу и предложил ему посвататься заново. Охотники посудачить полагали, что разговор был не из легких. В прошлый-то раз Будену ясно дали понять, что с его стороны большая дерзость мечтать о женитьбе на такой художественно одаренной девице, как Гертруда, ведь однажды она удостоилась чести играть в четыре руки с самим Шёгреном[4]. Тем не менее брак, судя по всему, оказался удачным, хотя время от времени Гертруда во всеуслышание обзывала мужа занудой. У них росло двое детей; врач, принимавший второго, предупредил госпожу Буден, что беременеть ей теперь опасно.

Когда в городок приехали аптекарь Аксель Линдваль с женой Барбру, Андерс Буден и их повел на колокольню, а потом предложил сходить до горы Хёкберг. Когда муж вернулся домой, Гертруда поинтересовалась, почему он не носит значка Шведского союза туристов.

— Потому что я не член этого союза.

1. Колокольню (*швед.*).
2. Густав I Васа (Ваза) — основатель шведской королевской династии.
3. Даларна — провинция в центральной части Швеции.
4. Эмиль Шёгрен (1853–1918) — шведский композитор.

— Им следует избрать тебя почетным членом, — заметила Гертруда.

Андерс уже научился отражать саркастические выпады супруги. Он с педантичной скрупулезностью отвечал на ее вопросы, будто понимать их надлежало в самом буквальном смысле и никак иначе. Эта тактика еще больше раздражала Гертруду, но все же служила Андерсу хоть какой-то защитой.

— По-моему, они приятная пара, — бесстрастно произнес он.

— Тебе все подряд нравятся.

— Нет, милая, это не так. — Тем самым подразумевая, что в данный момент она, к примеру, ему не нравится.

— В бревнах ты разбираешься куда лучше, чем в представителях рода человеческого.

— Бревна, моя милая, бывают очень и очень разными.

Появление четы Линдваль особого интереса в городке не вызвало. Те, кто обращался к аптекарю за медицинскими советами, оставались очень довольны. Лучшего и желать было нельзя: серьезный и флегматичный, он в любой жалобе усматривал угрозу для жизни пациентов, что приятно щекотало им нервы, но одновременно выражал уверенность в успехе лечения. Это был низкорослый человек с волосами цвета соломы. Сплетники готовы были биться об заклад, что аптекарь скоро заплывет жиром. О г-же Линдваль судачили куда меньше, да и о чем тут судачить? Она не была ни умопомрачительной красавицей, ни презренной дурнушкой, одевалась не безвкусно, но и не изысканно, держалась без развязности, но и не дичилась людей. Среди местных дам она была новенькой, и лезть поперед других ей не пристало. В городе супруги Линдваль чувствовали себя чужаками, жили обособленно, и это тоже было правильно. Злые языки утверждали, что, когда аптекарь в первый раз усаживал жену в купленную тем летом весельную шлюпку, Барбру с опаской спросила: "Ты уверен, Аксель, что в озере не водятся акулы?" Впрочем, те же злые языки, из чистой порядочности, не решались утверждать, что сказано это было всерьез.

Раз в две недели, по вторникам, Андерс Буден садился на пароходик и ехал на противоположный берег озера — проверить, как сохнет под навесами древесина. В одну из таких поездок он остановился на палубе возле каюты первого класса и вдруг почувствовал, что кто-то стал рядом.

— Мое почтение, госпожа Линдваль, — сказал он; в памяти сразу всплыли слова жены: "Подбородок-то у нее меньше беличьего".

Смутившись, он оглядел дальний берег и произнес:

— Вон кирпичный завод.

— Да.

— И приют для глухонемых, — помолчав, добавил он.

— Да.

— Впрочем, вам это уже известно, — пробормотал он, вспомнив, что показывал ей эти достопримечательности с церковной колокольни.

На г-же Линдваль была соломенная шляпа-канотье, обвитая синей лентой.

Две недели спустя она вновь плыла на пароходике. Ее сестра жила чуть подальше Ретвика. Андерсу захотелось чем-нибудь заинтересовать апте-

каршу, и он спросил, побывали ли супруги в погребе, где некогда Густав Васа прятался от разыскивавших его датских солдат. А затем стал рассказывать про лес, про то, как в разное время года меняется не только его вид, но и структура древесины; даже отсюда, издали, похвастался он, можно точно определить, что именно и как происходит там, где большинство людей видят лишь непролазную чащу. Г-жа Линдваль учтиво поворачивалась туда, куда указывала его рука. В профиль ее нижние зубы и впрямь несколько выступали вперед, а кончик носа странно подергивался. Андерс знал, что так и не научился разговаривать с женщинами, но до сих пор это обстоятельство его ничуть не беспокоило.

— Извините, если я вам наскучил. Жена твердит, что мне нужно носить значок Шведского союза туристов.

— Мне нравится, когда человек рассказывает о том, что знает досконально, — сказала в ответ г-жа Линдваль.

Андерс смешался. Как понимать ее слова? То ли она критикует Гертруду, то ли подбадривает его, то ли просто говорит все как есть?

В тот вечер жена за ужином спросила:

— И о чем ты разговариваешь с госпожой Линдваль?

Он не знал, что́, вернее — как на это ответить. Однако, не выказав ни малейшего удивления ее вопросу, он по обыкновению предпочел истолковать его буквально:

— О лесе. Рассказывал про лес.

— И она слушала с интересом? Про лес, я имею в виду.

— Она же выросла в большом городе. До приезда сюда в жизни не видала столько деревьев разом.

— Да уж, чего-чего, а деревьев в лесу не счесть, верно, Андерс?

Его подмывало сказать: а вот ей про лес было интересно слушать, не то что тебе. И еще: очень уж ты сурова к ее внешности. И еще: а кто видел, как я с ней разговаривал? Но ничего этого он не сказал.

Следующие две недели Андерс Буден часто ловил себя на мысли, что имя Барбру звучит восхитительно весомо и при этом куда нежнее, чем... другие имена. И еще вдруг подумал, что от одного вида синей ленты вокруг соломенной тульи на душе у него теплеет.

Во вторник утром, когда Андерс уже собрался уходить, Гертруда обронила:

— Передай от меня привет крошке Линдваль.

Ему вдруг захотелось сказать: "А вдруг я в нее влюблюсь?" Но он лишь произнес:

— Если увижу, передам.

Завидев ее на палубе, Андерс едва выдержал ритуал неторопливого обмена любезностями и, не успел пароход отчалить, принялся рассказывать о лесе всё, что знал. Как дерево растят, рубят, перевозят. Объяснил, что такое продольная распиловка, а что — радиальная. Рассказал о трех составляющих древесного ствола: сердцевине, ядровой древесине и заболони. Чем зрелее дерево, тем больше в нем ядровой древесины, а заболонь плотная и эластичная.

— Дерево как человек, — сказал он. — Зрелости достигает лет за семьдесят, а после ста уже ни на что не годится.

Однажды в Бергсфорсене, где через речные пороги переброшен железный мост, ему довелось наблюдать, как четыреста рабочих вылав-

ливали несшиеся в воде бревна и быстро разводили их по бонам в соответствии с клеймом владельца. Чувствуя себя человеком, повидавшим свет, он стал подробно растолковывать системы маркировки древесины, принятые в разных странах. Так, шведские бревна маркируются по трафарету красной краской, а менее ценные породы — синей. В Норвегии на оба спила бревна синей краской, тоже по трафарету, наносят инициалы лесопромышленника. Бревна из Пруссии метят на боках, ближе к середине. В России ставят клеймо на концах специальным штемпелем или выбивают молотком. На канадских бревнах метки черно-белые. На американских — красные.

— И вы все это видели своими глазами? — изумилась она.

— Североамериканских лесоматериалов еще не видел, — признался Андерс, — только читал о них.

— Выходит, каждый хозяин может опознать свое бревно? — спросила она.

— Конечно. Иначе кто-нибудь мог бы его украсть.

Уж не смеется ли она над ним, да заодно и над всей мужской братией? — подумал он.

Внезапно на берегу что-то ярко блеснуло. Она глянула, затем обернулась к Андерсу. Странноватые особенности профиля в фас ее даже красили: благодаря маленькому подбородку губы казались еще пухлее; взгляд серо-синих глаз открыт и ясен, даже кончик носа... Словами не описать, сколько ни восторгайся, все мало. Он прочел в ее глазах вопрос и сам приятно поразился своей догадливости.

— Там на доме бельведер. Возможно, кто-то смотрит в подзорную трубу. Стало быть, за нами наблюдают.

На последней фразе уверенность покинула его. Такое мог сказать совсем другой мужчина.

— Зачем?

Он не знал, что ответить, и опять повернулся к дальнему берегу. На бельведере снова что-то сверкнуло. Андерс принялся рассказывать историю Матса Исраэльсона, но от смущения заспешил, перепутал события, да и она явно не проявляла интереса. Даже, видимо, не поняла, что история-то подлинная. Словно почувствовав его огорчение, она сказала:

— Вы уж простите, у меня не развито воображение. Я вижу смысл только в реальных событиях. А легенды кажутся мне... глуповатыми. Их у нас чересчур много. Аксель бранит меня за такие мысли. Ты, говорит, не проявляешь должного почтения к своей родине. И люди решат, что ты — женщина новомодных взглядов. Но дело вовсе не в том. Просто мне не хватает воображения.

Ее неожиданный монолог успокоил Андерса: она словно бы подталкивала его в нужном направлении. Не отводя глаз от берега, он стал рассказывать про свою поездку на медные копи Фалуна[1]. Говорил только о том, что было на самом деле.

— Это богатейшие копи, — сказал он, — вторые в мире после тех, что на Верхнем озере[2]; руду там начали добывать еще в тринадцатом веке. Спуски в шахты расположены близ Стётена — так называется место, где в конце семнадцатого века произошло массивное оседание грунта; са-

1. Город в центральной Швеции.
2. Верхнее озеро — озеро в США и Канаде, в системе Великих озер.

мая глубокая шахта уходит в землю на 1300 футов; теперь там добывают до 400 тонн меди в год, да еще понемногу серебра и золота; спуск стоит два риксдалера; а из ружья можно выстрелить лишь за отдельную плату.

— Выстрелить из ружья?!

— Да.

— Зачем же там стрелять?

— Чтобы послушать многократное эхо.

Обычно туристы заранее звонят из Фалуна на шахту, чтобы предупредить о своем приезде, объяснил он. Перед спуском им дают шахтерскую робу и шахтера в проводники; вниз под землю туристы идут по ступенькам при свете факелов. Стоит это удовольствие два риксдалера. Впрочем, это он уже говорил. Брови у нее четко очерчены и цветом темнее, чем волосы, отметил он про себя.

— Я бы охотно съездила в Фалун, — сказала она.

В тот вечер он сразу понял, что Гертруда раздражена не на шутку.

— Жена вправе рассчитывать, что, назначая свидание любовнице, муж соблюдает необходимую осмотрительность, — наконец выпалила она.

Каждое слово отдавалось в ушах погребальным звоном. Андерс лишь молча взглянул на нее.

— Впрочем, я должна быть благодарна хотя бы за то, что ты такой простофиля. Любой другой мужчина сначала дождался бы, пока пароход подальше отплывет от пирса и чужих глаз, и только потом принялся бы миловаться со своей кралей.

— Ты заблуждаешься, — сказал он.

— Если б мой отец думал не об одной лишь коммерции, он бы тебя пристрелил, — бросила она.

— В таком случае твой отец должен благодарить судьбу за то, что муж г-жи Альфредссон, владелец кондитерской в Ретвике — той, что позади церкви, — не меньше твоего отца увлечен коммерцией.

Предложение вышло чересчур длинным, зато возымело действие.

В ту ночь Андерс Буден припомнил и внимательно перебрал все полученные от жены оскорбления; куча накопилась изрядная, что твоя поленница. Раз она может хотя бы мысленно допустить подобное, думал он, значит, так тому и быть. Правда, Андерс Буден вовсе не хочет заводить любовницу, не нужна ему бабенка-кондитерша только для того, чтобы дарить ей подарки, а потом где-нибудь в курительной похвалять ся своей победой перед другими мужчинами с маленькими сигарами в зубах. Ну, теперь все ясно, думал он; я люблю ее с нашей первой встречи на палубе. До меня это дошло бы не скоро, но спасибо Гертруде, подсказала. Я и не представлял, что от ее насмешек и колкостей может быть толк; однако ж сгодились!

В следующие две недели он не позволял себе предаваться мечтам. Да и к чему мечтать, все ведь разъяснилось, стало реальным и определенным. Он занимался делами, а в свободные минуты вспоминал, как она не захотела слушать историю про Матса Исраэльсона. Приняла ее за легенду. Рассказывал он, надо признать, из рук вон плохо. И Андерс начал упражняться — как школьник, заучивающий стишок. Он поведает ей ту историю заново, и тогда уж Барбру поймет, что это — быль. Дело-то недолгое, рассуждал он про себя, но излагать эту быль надо так же, как он рассказывал про медные копи.

— В 1719 году... — не без опасения начинал он: вдруг, услышав, что речь пойдет о далеком прошлом, Барбру сразу заскучает? Зато точная дата придает повествованию достоверность и убедительность. — В 1719 году, — повторял он, стоя на пристани в ожидании обратного рейса, — в меднорудной шахте, что близ Фалуна, нашли мертвое тело. Это был труп молодого человека по имени Матс Исраэльсон, — не сводя глаз с дальнего берега, продолжал Андерс, — погибшего в шахте сорока девятью годами ранее. Тело не было тронуто тленом, — сообщал он чайкам, с хриплыми криками кружившим над пароходом, высматривая, чем бы поживиться. — А причиной тому, — растолковывал он бельведеру, приюту для глухонемых и кирпичному заводику, — были пары медного купороса, препятствовавшие разложению тканей. Никто не сомневался, что это тело Матса Исраэльсона, — пробурчал он матросу на пирсе, поймавшему брошенный с парохода конец, — ведь его опознала дряхлая старуха, в юности гулявшая с Матсом. А сорока девятью годами раньше, когда Матс Исраэльсон исчез, — под сердитое похрюкиванье спящей рядом жены и шелест развеваемых ветром занавесок едва слышно заключил Андерс, разгоряченный собственным рассказом до настоящей бессонницы, — она была совсем молоденькой, под стать Матсу, и считалась его нареченной.

Он вспомнил, как Барбру повернулась к нему, держась за поручень рукой, на которой открыто поблескивало обручальное кольцо, и просто, без ужимок произнесла: "Я охотно съездила бы в Фалун". В мечтах женщины говорили Андерсу: "Я ужасно тоскую по Стокгольму". Или: "По ночам я грежу о Венеции". Ему виделись дамы смелые, обольстительные, одетые по-городскому, в дорогие меха. Таких ничто не интересует. В ответ они ждут лишь одного: что ты в благоговейном трепете молча сорвешь с головы фуражку. А Барбру сказала: "Я охотно съездила бы в Фалун". Ее безыскусность поразила его, он не нашелся, что ответить. А теперь упражнялся, повторяя столь же незатейливый ответ: "Я вас туда свожу".

Он убедил себя, что, стоит только правильно поведать историю про Матса Исраэльсона, и она непременно снова скажет: "Я охотно съездила бы в Фалун". А он ответит: "Я вас туда свожу". И все тотчас же разрешится. Он трудился, шлифуя свое повествование, и наконец добился простоты, строгости и правдивости; вот теперь эта история ей понравится. Он начнет рассказ через десять минут после отплытия, там, на палубе, возле каюты первого класса; про себя он уже называл это место "нашим".

Подходя к пирсу, он в последний раз мысленно повторил историю Матса. Был первый вторник июня. Точная датировка очень важна. В начале — одна тысяча семьсот девятнадцатый год. В конце — первый вторник июня одна тысяча восемьсот девяносто восьмого года от Рождества Христова. Небо сияло яркой голубизной, вода в озере была как стеклышко, чайки не нагличали, лишь сдержанно покрикивали. В лесу, что рос на холме за городом, было множество деревьев, таких же прямых и достойных, как человек. Но она не пришла.

Поползли слухи, что г-жа Линдваль не явилась на свидание с Андерсом Буденом. Одни предположили, что парочка рассорилась. Другие, напротив, подумали, что влюбленные решили встречаться тайком. Многие дивились неразумию управляющего лесопилкой: человеку так повезло с женой, у нее есть настоящее, привезенное из Германии пианино, а этот

чудак вдруг стал строить куры неприметной жене аптекаря. Есть чему удивляться, усмехались другие: Андерс Буден всегда был олухом царя небесного, с обсыпанной опилками головой; просто он искал себе, простофиле, бабу под пару. И добавляли, что с рождения второго ребенка чета Буденов супружеских отношений больше не возобновляла. Кое-кого из сплетников посещали сомнения: уж не выдумана ли эта история от начала до конца? Однако все сошлись на том, что наихудшая версия событий обычно самая надежная и рано или поздно подтверждается.

Слухи прекратились или, по крайней мере, попритихли, когда выяснилось, что г-жа Линдваль не поехала навещать сестру, так как забеременела. Очень кстати, говорили местные кумушки, только эта новость и спасла пошатнувшуюся репутацию Барбру Линдваль.

Вот и все, думал Андерс Буден. Только-только дверь приоткрылась, но ты не успел и глазом моргнуть, как она уже захлопнулась. Человек не более хозяин своей судьбы, чем меченное красной краской бревно, которое острыми баграми сталкивают обратно в бурный поток. Может, правы злые языки, он и впрямь олух царя небесного, просто ему повезло жениться на женщине, игравшей когда-то в четыре руки с самим Шёгреном. Но если дело обстоит так и в жизни его с этой поры никогда ничего не изменится, то и он меняться не будет. Сию же минуту застынет, закаменеет на веки вечные... Нет, не в эту минуту, а в ту, на прошлой неделе, когда все почти случилось или могло случиться. Ничто на свете, ни жена, ни церковь, ни общество не в силах поколебать его решимости остановить собственное сердце.

Барбру Линдваль не была уверена в своих чувствах к Андерсу Будену, покуда не осознала, что всю оставшуюся жизнь ей предстоит провести с мужем. Сначала родился первенец Ульф, через год — Карин. Аксель в детях души не чаял, Барбру тоже. Быть может, этого достаточно. Ее сестра переехала далеко на север, в края, где растет морошка, и каждый год присылала им горшочек янтарно-желтого джема. Летом они с Акселем катались по озеру на лодке. Муж, как и предсказывали, огрузнел. Дети подрастали. Как-то весной один работник лесопилки поплыл наперерез пароходу и попал под колесо; по воде разлились кровавые пятна, будто человека сожрала акула. Оказавшийся на носу пассажир позже заявлял, что несчастный плыл упорно, не сбавляя скорости до самой последней минуты. По слухам, кто-то незадолго до трагедии видел, как жена погибшего скрылась в лесу вместе с мужниным сотоварищем. Еще говорили, будто пловец был пьян и побился об заклад, что сумеет проскочить перед самым корабельным носом. Коронер, решив, что бедняга оглох от попавшей в уши воды, вынес заключение: несчастный случай.

Мы — точь-в-точь лошади в денниках, твердила про себя Барбру. Денники не нумерованы, но каждый из нас знает свое место. Так живут все, другой жизни не бывает.

Вот если бы он раньше, чем я, понял, что у меня на сердце!.. Ведь я с мужчинами обычно так не разговариваю, так их не слушаю и в лицо им так не смотрю. Неужто он не догадался?

Потом она снова его увидела: после церковной службы он с женой, а она с мужем чинно гуляли по берегу озера. Счастье еще, что она была в положении! Ведь спустя десять минут ей стало дурно, и, если бы не беременность, все сразу поняли бы, отчего ей сделалось плохо. Ее рвало

на зеленую прибрежную травку, а в мозгу билась одна-единственная мысль: не та рука придерживает ей голову, не того мужчины.

Больше они с Андерсом Буденом никогда не оставались наедине, Барбру этого не допускала. Однажды она шла по пирсу к пароходу, но, заметив его среди поднимающихся на борт пассажиров, повернула обратно. Иногда в церкви краем глаза видела его затылок, и тогда ей чудилось, будто в общем хоре различимо слышится его голос. Когда она выходила на улицу, ее охранял своим присутствием Аксель; дома она не отпускала от себя детей. Как-то Аксель предложил позвать Буденов на чашечку кофе. Но ведь тогда к кофе непременно нужно подать мадеру и бисквит, ответила Барбру, с такой дамой, как г-жа Буден, иначе нельзя, и все равно она будет задирать нос перед скромным аптекарем и его женой, вдобавок ко всему людьми не местными. Больше муж об этом не заговаривал.

Барбру не знала, как ей разобраться в том, что с нею происходит. И спросить некого. Она вспоминала похожие случаи, но все они были скандального свойства и, казалось, не имели к ней никакого отношения. К этому постоянному тайному страданию она была не готова. Тут от сестры прибыла очередная посылка с морошковым джемом. Барбру молча глядела на банку под металлической крышкой и муслиновой оборочкой, на написанную сестриной рукой наклейку с датой — с датой! — и на содержимое банки — желтое варенье, ради которого все и затевалось, — и думала: вот что я сделала с моим сердцем. И каждый год, когда с севера приходил горшочек с вареньем, в мозгу возникала та же самая мысль.

Поначалу Андерс продолжал шепотом рассказывать ей все, что знал. То как экскурсовод, то как управляющий лесопилкой. К примеру, начинал подробно описывать *дефекты древесины*. Взять хотя бы трещины. Одно дело малая трещинка, сама собой возникающая внутри ствола между двумя годичными колцами. Если же ствол растрескивается в разных направлениях, такой дефект зовется "звездообразным". А "разрыв сердца" часто встречается у старых деревьев, когда трещины раздирают ствол от сердцевины до самой коры.

Потянулись однообразные годы: Гертруда пилила его, тминная водка дурманила голову, по вежливым взглядам он понимал, что и впрямь стал занудой; озеро у берега замерзало, и можно было мчаться наперегонки на коньках до самого Ретвика; потом его собственная дочь вышла из церкви замужней дамой, и в ее глазах он прочел надежды, точно зная, что далеко не всем из них суждено сбыться; когда наступали долгие ночи, душа его словно бы застывала, впадая в зимнюю спячку; однажды его лошадь вдруг задрожала всем телом и замерла, почуяв то, чего никак не могла увидеть; старый пароход поставили зимой в сухой док и покрасили заново; знакомые из Тронхейма попросили его показать им медные копи близ Фалуна, и он согласился, но за час до ухода из дому обнаружил, что сидит в ванной комнате и, сунув в глотку два пальца, пытается вызвать рвоту; пароходик по-прежнему возил его мимо приюта для глухонемых; в городке пошли перемены, хотя из года в год все вроде бы оставалось неизменным; чайки покинули облюбованные места возле пирса, и их пронзительные крики раздавались теперь только в его мозгу; однажды он ни с того ни с сего потянул на себя штабель сохнущих досок, и пришлось ампутировать указательный палец левой руки по вто-

рой сустав, — во всех этих и многих других случаях он думал о Матсе Израэльсоне. Годы шли, и в сознании Андерса Будена история Матса из набора конкретных фактов, который можно поднести в дар любимой, превратилась в нечто неопределенное, но очень яркое, впечатляющее больше любых фактов. Может быть, в предание; но у *нее* оно не вызвало бы ни малейшего интереса.

"Я охотно съездила бы в Фалун", — сказала она когда-то, и ему надо было лишь ответить: "Я вас туда свожу". Возможно, если бы она, вроде тех воображаемых дам, кокетливо пожаловалась: "Я ужасно тоскую по Стокгольму" или "По ночам я грежу о Венеции", он все бросил бы и, невзирая на неминуемый скандал, купил билеты на ближайший поезд, а много месяцев спустя приполз бы обратно пьяный, моля о прощении. Но ведь он совсем другой, не способный на такое, потому что *она* — совсем другая. Фраза "Я охотно съездила бы в Фалун" куда опаснее, чем "По ночам я грежу о Венеции".

Шли годы, подрастали дети, и Барбру Линдваль время от времени терзалась ужасным предчувствием: а вдруг ее дочь выйдет замуж за сына Буденов. Это было бы самым страшным наказанием. Карин, однако же, крепко влюбилась в Бу Викандера, и никакие уговоры не помогали. Вскоре все дети Буденов и Линдвалей поженились и вышли замуж. Заплывший жиром Аксель тяжко пыхтел в своей аптеке, втайне страшась, что ненароком отравит какого-нибудь клиента. Гертруда Буден поседела, пережила апоплексический удар и теперь могла играть на пианино только одной рукой. Барбру поначалу старательно выдергивала у себя седые волоски, а потом стала краситься. Она сохранила фигуру и почти не нуждалась в помощи корсетов и прочих дамских ухищрений, но видела в том лишь насмешку судьбы.

— Тебе письмо, — безразличным тоном сообщил однажды Аксель и протянул ей конверт.

Почерк был незнакомый, на штемпеле стояло: "Фалун".

"Дорогая госпожа Линдваль! Я лежу в здешней больнице. Очень хотел бы обсудить с вами одну вещь. Не могли бы вы навестить меня в среду? С почтением, Андерс Буден".

Она вернула письмо Акселю и, пока муж читал, не сводила с него глаз.

— Ну-с? — проронил он.

— Я охотно съездила бы в Фалун.

— Разумеется.

"Разумеется, еще бы тебе не хотеть. Сплетники всегда считали тебя его любовницей; я в это не верил, хотя следовало бы догадаться, иначе откуда тогда взялось внезапное охлаждение, а потом многолетняя рассеянность? Разумеется, разумеется". Вот что было у него на уме, но услышала она другое: "Разумеется, надо съездить".

— Спасибо, — сказала она. — Поеду на поезде. Возможно, придется там заночевать.

— Разумеется.

Лежа на больничной койке, Андерс Буден прикидывал, что сказать Барбру. Наконец, после стольких лет — двадцати трех, если быть точным, — они увидели почерк друг друга. Этот обмен записочками заново приоткрывал каждого из них и волновал не меньше, чем, к примеру, поцелуй.

Почерк у нее был мелкий, аккуратный, как у прилежной школьницы; ни малейших признаков преклонного возраста. Сколько писем он мог бы от нее получить! — мелькнула мысль.

Сначала Андерсу взбрело в голову просто рассказать ей историю Матса Исраэльсона заново — тот, отшлифованный до блеска вариант. Она услышит и все поймет. Но поймет ли? Из того, что он, Андерс, ни на один день не забывал эту историю на протяжении двадцати с лишним лет, вовсе не следует, что Барбру тоже ее помнит. Она может принять рассказ за хитрую уловку или игру, и тогда все пойдет насмарку.

Очень важно скрыть от нее, что он умирает. Было бы нечестно отягощать ей душу. Мало того, из сочувствия она может ответить не так, как хотела бы. А ему тоже нужна правда, а не легенда. Он предупредил медсестер и сиделку, что к нему приезжает любимая кузина, но у нее слабое сердце, поэтому ни под каким видом нельзя открывать ей, как тяжко он болен. И попросил причесать его и подстричь бороду. Оставшись один, он протер зубным порошком зубы, а увечную руку сунул под простыню.

Его письмо показалось ей поначалу ясным и прямодушным; по крайней мере, не вызывающим возражений. Впервые за двадцать три года он о чем-то ее попросил. Поэтому муж, которому она была верна всю жизнь, обязан пойти ему навстречу. Муж именно так и сделал, но потом все почему-то стало терять былую ясность. Как ей одеться? Едет она не на праздник и не на похороны; для такого случая у нее и одежды подходящей нет. На вокзале кассир дважды повторил слово "Фалун", а начальник станции с подозрением уставился на ее саквояж. Она чувствовала себя совершенно беззащитной; вздумай кто ее ненароком толкнуть, она принялась бы рассказывать про свою жизнь, про свои намерения и добродетельность. "Я еду повидаться с умирающим, — объяснила бы она. — Он, несомненно, хочет сказать мне напоследок что-то важное". Так ведь оно и есть на самом деле — он же и вправду умирает, верно? Иначе вся затея не имеет смысла. Иначе он стал бы искать встречи с ней тогда, когда самый младший из детей покинул родной кров и они с Акселем вновь стали просто супружеской четой.

Остановилась Барбру в городской гостинице, что возле рынка. Портье чересчур пристально рассматривал ее саквояж; наверно, сомневался в ее положении замужней дамы и в мотивах ее приезда в Фалун.

— Я навещаю больного друга, — объяснила она, хотя никто ее ни о чем не спрашивал.

У себя в номере она оглядела железную кровать с дугообразным изголовьем, матрац, новехонький платяной шкаф. Никогда прежде она не останавливалась в гостинице одна. Вот, значит, куда ходят женщины известного сорта. Ей чудилось, что сейчас, сию же минуту ее застигнут здесь сплетники — одну, в комнате с кроватью. Странно, что Аксель разрешил ей уехать. Странно, что Андерс Буден вызвал ее к себе без всякого объяснения.

В душе нарастало раздражение, за которым крылась полная ее беззащитность. Зачем она здесь? К чему он ее принуждает? На память пришли читанные когда-то книжки; Аксель их очень не одобрял. Действие этих романчиков часто происходит в гостиничных номерах. Там-то и соединяются влюбленные, сбежавшие от своих законных половин, — правда, не припомнить случая, чтобы один из двоих лежал в больнице. Изредка в этих книжках совершаются трогательные церемонии брако-

сочетания у смертного одра — правда, не припомнить случая, чтобы оба брачующихся уже состояли в супружестве. Что же с ними-то будет? "Очень хотел бы обсудить с вами одну вещь". *Обсудить?* Она, женщина в летах, везет горшочек варенья из морошки мужчине, с которым была немного знакома двадцать три года тому назад. Что ж, пускай сам во всем этом разбирается. Как-никак он мужчина, а с нее хватит и того, что она решилась сюда приехать, такой шаг дорогого стоит — ведь все эти годы она была вполне почтенной замужней дамой.

— А вы похудели.

— Некоторые говорят, худоба мне к лицу, — с улыбкой ответил он.

Под словом "некоторые", очевидно, подразумевалась "моя жена".

— А где ваша жена?

— Она приходит по другим дням.

В больнице, конечно, уже все всё поняли: жена приходит к нему по определенным дням, а в другие дни — стоит жене отвернуться — является "эта".

— Я думала, вы тяжело больны.

— Нет, что вы, — бодро возразил он.

Заметно, что она сильно волнуется, глаза беспокойно бегают — сейчас она и впрямь немного напоминает белку. Надо ее успокоить, утешить.

— У меня все хорошо. И дальше будет прекрасно.

— А я думала... — она смолкла. Нет, между ними должна быть полная ясность. — Я думала, вы при смерти.

— Да я проживу не меньше любой ели, что растет на горе Хёкберг.

Он сидел на постели и улыбался во весь рот. Борода свежеподстрижена, волосы красиво причесаны. Стало быть, он вовсе не умирает, а жена его сейчас в другом городе. Барбру ждала.

— Вон крыша кирхи Святой Кристины.

Она отвернулась от него, подошла к окну и взглянула на церковь. Когда Ульф был маленьким и хотел рассказать ей какой-нибудь секрет, он всегда требовал, чтобы она отвернулась. Может быть, Андерс Буден тоже иначе не может. Она смотрела на сверкающую под солнцем медную крышу и ждала. Он же мужчина, в конце-то концов.

Ее молчание, вид повернутой к нему спины встревожили Андерса. Все шло не так, как он предполагал. Он даже не сумел назвать ее по имени — небрежно, словно старую знакомую. Как это она однажды сказала? "Мне нравится, когда человек рассказывает о том, что знает досконально".

— Церковь была построена в середине девятнадцатого века, — начал он. — Точно не помню, когда именно.

Она не отзывалась.

— Крыша крыта медными листами, а медь добыта на местных копях.

Никакой реакции.

— А вот была ли крыша сооружена в то же время, что и здание церкви, или в более поздний период, я не знаю. Но обязательно уточню, — добавил он с преувеличенной решимостью.

Барбру по-прежнему не отвечала. В ушах у него шелестел шепот Гертруды: "Значок Шведского союза туристов".

Теперь Барбру злилась уже и на себя. Ясно как божий день: она его никогда толком не знала, не представляла себе, что он за человек. И все эти годы лишь тешилась девичьей мечтой.

— Значит, вы не умираете?

— Проживу не меньше любой ели, что растет на горе Хёкберг.

— В таком случае вы достаточно здоровы и могли сами прийти ко мне в гостиницу, — как можно суровее бросила Барбру. До чего же она презирает мужчин, с их сигарами, любовницами и бревнами, с их дурацкими бородками, которые они отращивают из чистого тщеславия.

— Госпожа Линдваль... — В голове у него все смешалось. Он хотел сказать, что любит ее, и всегда любил, что думает о ней почти всё... нет, именно все время. "Я думаю о вас почти все... нет, именно все время", — эту фразу он приготовил заранее. И еще: "Я люблю вас с той минуты, когда мы встретились на пароходе. С тех пор только вами и живу".

Но ее раздражение обескуражило его. Она считает его пошлым обольстителем. Стало быть, и слова, заготовленные им, покажутся ей речью обольстителя. Он ее вообще толком не знает. И говорить с женщинами так и не научился. Мысль о том, что кругом полно мужчин, сладкоречивых говорунов, которые за словом в карман никогда не лезут, привела его в бешенство. Ее раздражение передалось и ему. Ладно, кончай эту муть, вдруг подумал он. Все равно скоро окочуришься, так руби сплеча!

— А я-то думал, госпожа Линдваль, — начал он грубо и нахраписто, будто рядился, надеясь заключить сделку повыгоднее, — я думал, вы меня любите.

Он видел, как напряглись ее плечи.

— Ах, — донеслось до него.

До чего же он тщеславен! И до чего неверно она его себе представляла все эти годы! Думала, он человек благоразумный, тактичный, почти до постыдного неспособный добиваться своего. А на самом деле он той же породы и ведет себя, как мужчины в тех книжках, а она просто очередная дуреха, раз думала иначе.

По-прежнему глядя в окно, будто он — малыш Ульф со своим детским секретом, Барбру процедила:

— Вы ошибались.

И тогда только повернулась к этому жалкому, самодовольно усмехающемуся фату, который, судя по всему, давно проторил дорожку в гостиничные номера.

— Все равно, большое спасибо... — иронизировать она не умела и запнулась, подыскивая слова, — спасибо, что показали мне приют для глухонемых.

Не забрать ли у него морошковый джем? — подумала она, но решила, что это неприлично. Еще можно успеть на вечерний поезд. Мысль о ночевке в Фалуне вызывала у нее отвращение.

Андерс Буден долго лежал и бездумно смотрел на медленно темнеющую медную крышу. Выпростав из-под простыни увечную руку, растрепал волосы. Горшок с вареньем он отдал первой же сестре, заглянувшей к нему в палату.

За прожитую жизнь он среди прочего усвоил одну важную и, надо полагать, надежную вещь: бóльшая боль вытесняет меньшую. Растяжение мышцы отступает перед зубной болью, зубная боль — перед раздробленным пальцем. Андерс Буден надеялся — то была его единственная надежда, — что раковая боль, боль умирания вытеснит любовные муки. Но сам в это не очень-то верил.

Если сердце разрывается, думал он, оно растрескивается сверху донизу, как доска. Однажды, когда он только-только поступил на лесопилку, на его глазах Густав Ульссон взял крепкий с виду брус, вбил в него колун и чуток повернул. Брус лопнул вдоль волокна и развалился на две части. Вот и все, что только и нужно знать про сердце: как проходит волокно. Тогда одним жестом, словом, поворотом можно это сердце разбить.

Вечером, когда поезд уже бежал по берегу темнеющего озера, на котором все и началось, когда стыд и угрызения совести отступили, Барбру попыталась разобраться в своих мыслях. Ясности можно добиться, если вникать лишь в то, что произошло на самом деле и не вызывает у нее сомнений. Это единственный способ немного притупить боль. Теперь она поняла: человек, ради которого она уже двадцать три года готова была по первому его зову бросить мужа и детей, ради которого пожертвовала бы своей репутацией и положением в обществе, с которым сбежала бы бог знает куда, — этот человек вовсе не достоин и никогда не был достоин ее любви. Аксель, которого она уважает как хорошего отца и кормильца, заслуживает ее любви куда больше. Его она, однако, не любит, хотя то, что она испытывала к Андерсу Будену, едва ли можно принять за мерило. Вот, стало быть, главное несчастье всей ее жизни: она расколота между нелюбовью к человеку, заслуживающему любви, и любовью к тому, кто ее любви не заслуживает. А то, что она принимала за свою главную опору, — надежда, неотступно сопровождавшая ее, словно тень или отражение в воде, — была лишь тенью, отражением, не более. Чем-то нереальным. Хотя Барбру гордится тем, что не отличается богатым воображением и не придает значения легендам, она позволила себе провести полжизни в легкомысленных мечтах. Правда, добродетель она сохранила — этого у нее не отнять. Но велика ли заслуга? Если бы судьба подвергла ее испытанию, ей не устоять бы и минуты.

По мере того как Барбру трезво, не кривя душой, размышляла о своей жизни, стыд и угрызения совести стали терзать ее снова, только еще сильнее прежнего. Расстегнув пуговку на левом рукаве, она раскрутила намотанную на запястье выцветшую синюю ленту, и та соскользнула на пол. Барбру не шевельнулась.

Заслышав подъезжающую двуколку, Аксель Линдваль бросил сигарету в пустой камин. Приняв у жены саквояж, помог ей сойти и заплатил извозчику.

— Аксель, — бодро и ласково сказала она, едва они вошли в дом, — почему в мое отсутствие ты всегда куришь?

Он смотрел на нее, не зная, что сказать или сделать. Расспрашивать ее не хотелось: вдруг ей придется лгать? Или, наоборот, рассказать всю правду. Он в равной мере боялся и того, и другого. Молчание затягивалось. Что ж, подумал он, не можем же мы остаток лет прожить молча.

— Потому что люблю курить, — наконец выговорил он.

Она издала короткий смешок. Они стояли перед холодным камином; Аксель все еще держал в руке ее саквояж. Чего доброго, там спрятаны все секреты, вся правда и ложь, которых он слышать не хочет.

— Я вернулась раньше, чем рассчитывала.

— Да.

— Решила не оставаться на ночь в Фалуне.

— Да.

— Городишко весь пропах медью.

— Да.

— Зато крыша кирхи Святой Кристины на закате так и горит.

— Да, мне рассказывали.

Ему было больно видеть жену в таком состоянии. Милосерднее дать ей возможность высказать заранее заготовленную ложь.

— И как там... он? — выдавил Аксель.

— А, вполне здоров. — Она не сознавала нелепости своих слов, пока не услышала собственный голос. — То есть он, конечно, в больнице. Но вполне здоров; дело, я подозреваю, в другом.

— Вообще говоря, здоровые люди в больницу не ложатся.

— Это верно.

Он пожалел, что позволил себе иронизировать. Как-то в школе один учитель заметил, что склонность к иронии говорит о моральной слабости человека. Отчего он вдруг это вспомнил?

— И?..

До этой минуты она не предполагала, что ей придется давать отчет о своей поездке в Фалун; и не о мелких подробностях, а о цели визита. Уезжая из Фалуна, она воображала, что по возвращении все разом переменится, и нужно будет лишь объяснить эту перемену, какая бы она ни была. Но молчание затягивалось, и ее охватила паника.

— Он хочет, чтобы ты занял его денник. Возле церкви. Номер четыре.

— Знаю, что номер четыре. Теперь иди ляг.

— Аксель, в поезде я все думала... Рано или поздно мы с тобой состаримся. И чем скорее, тем лучше. Мне кажется, в старости все становится намного проще. А ты, как ты думаешь?

— Иди ложись.

Оставшись один, он снова закурил. Ее ложь была до того нелепа, что могла даже оказаться правдой. Но вывод-то следовал один и тот же. Если все это ложь, значит, на самом деле она, почти не скрываясь, ездила навестить своего любовника. Бывшего любовника? Если же это правда, то дар Будена есть не что иное, как должок, возвращаемый насмешливым любовником обманутому мужу. Сплетники обожают обсуждать подарки такого рода, толки о них не затихают никогда.

Завтра он начнет доживать остаток своей жизни. И будет она другая, совсем другая от сознания, что вся прежняя его жизнь была на деле вовсе не такой, какой она ему виделась. Останутся ли у него хоть какие-то воспоминания, хоть какое-то прошлое, не запятнанное тем, что подтвердилось сегодняшней ночью? Быть может, Барбру права, им стоит попробовать стареть вместе, в надежде, что со временем сердце очерствеет.

— Что-что? — переспросила сиделка. Речь у больного становится бессвязной. Это часто бывает на последней стадии.

— Отдельная...

— Как?

— Выстрелы за отдельную плату.

— Выстрелы?

— Чтобы услышать многократное эхо.

— И что дальше?

Собрав силы, он напряг голос и повторил:

— Отдельная плата — за выстрелы, чтобы послушать многократное эхо.

— Простите, господин Буден, но я не понимаю, о чем вы говорите.
— Надеюсь, никогда не узнаете.

Андерса Будена положили в гроб, сколоченный из еловых досок, напиленных и высушенных на лесопилке — отсюда до нее рукой подать. На отпевании гроб поставили перед резным алтарем, вывезенным из Германии во времена Тридцатилетней войны. В своей проповеди викарий сравнил управляющего лесопилкой с высоким деревом, что пало под топором Господа. Прихожанам уже доводилось слышать это сравнение. Денник номер четыре перед церковью стоял пустым в знак уважения к усопшему. В завещании Буден никаких распоряжений на сей счет не оставил, сын же его давно переехал в Стокгольм. Те, кому положено, посоветовались, и было решено передать денник капитану парохода, человеку незаурядных гражданских добродетелей.

Как важно знать французский

Пилчер-хаус

18 февраля 1986 г.

Дорогой доктор Барнс! (Я уже старуха, мне восемьдесят первый год.)

Разумеется, я читаю серьезные ПРОИЗВЕДЕНИЯ, но вечерком хочется чего-нибудь полегче, а что за выбор в Приюте для Старичья? (Как вы догадываетесь, я здесь недавно.) Полным-полно "литературы", поставляемой Красным Крестом. О чем? И ежу ясно! О докторе с пышной шевелюрой и "седеющими висками", которого, как правило, не понимает жена; вариант получше: он вдовец, а в операционной всегда рядом очаровательная расторопная медсестра, подающая ему пилу. Даже в том возрасте, когда девушке позволительно пленяться столь неправдоподобным изображением действительности, я предпочитала Дарвиново сочинение "Образование растительного слоя земли деятельностью дождевых червей".

Вот я и подумала: чего тут мудрить? Пойду-ка я в общедоступную читальню да прочешу всю художественную литературу, начиная с буквы "А". (Одна девчушка меня как-то спросила: "Что такое пивной зал, я уже знаю, но что такое считальный зал?") В результате я прочла множество колоритных описаний разнообразных питейных заведений, а уж соблазнительным женским грудям, ненароком подсмотренным авторами и героями, несть числа, но я упорно продираюсь дальше. Догадываетесь, что меня ждет? Ну да: Барнс, "Попугай Флобера". А скорее всего, речь пойдет о Лулу[1]. С гордостью сообщаю, что знаю "Un coeur simple"[2] наизусть. Но здесь у меня книг всего ничего, потому что комнатушка trop petite[3].

Хочу вас обрадовать: я одинаково хорошо владею двумя языками, и произношение у меня потрясающее. Неделю назад я услышала на ули-

1. Лулу — имя попугая, принадлежавшего Фелисите, главной героине повести "Простое сердце" Гюстава Флобера (1821—1880).
2. "Простое сердце" (*франц.*).
3. Слишком мала (*франц.*).

це, как школьный учитель говорит туристу: "A gauche puis à droite"[1]. Неуловимое изящество этого GAUCHE доставило мне истинное удовольствие; я все повторяю его, когда принимаю ванну. Не хуже настоящего французского хлеба с маслом. Вы не поверите, но моего отца, которому сейчас стукнуло бы сто тридцать, учили произносить французские слова (как и латинские) на английский манер: вместо "лё ша"[2] — "лии чэтт". Конечно, не поверите. Я и сама сомневаюсь. Однако с тех пор многое изменилось к лучшему: сегодня школьники нередко произносят звук "r" точно так, как надо.

Но revenons à nos perroquets[3], ведь это и был повод для данного послания. Я не оспариваю ваших взглядов на совпадения. Впрочем, нет, именно оспариваю. Вы утверждаете, что не верите в совпадения. Как прикажете вас понимать? Вы подразумеваете, видимо, что не верите в намеренное, спланированное совпадение. Не можете же вы отрицать совпадения вообще, они ведь происходят сплошь и рядом. И все же вы отказываете им в какой бы то ни было значимости. Я вашей уверенности не разделяю, поскольку в таких вопросах считаю себя агностиком. Кстати, у меня есть привычка пройтись утром по Церковной улице (на которой никакой церкви уже нет) до Базарной площади (базара тоже нет). Вчера, отложив вашу книжку, я пошла прогуляться, и что же я вижу? За большим окном висит клетка, а в ней?.. Да, крупный серый попугай! Совпадение? Естественно. К чему бы это? Вид у несчастного прежалкий: он кашляет, из клюва капает, перья взъерошены, в клетке ни единой игрушки. Я посылаю (незнакомым) хозяевам птицы (вежливую) открытку — мол, это зрелище надрывает мне душу, и я надеюсь, что хотя бы вечерами, придя домой, они проявляют к питомцу милосердие. Не успеваю я вернуться к себе, как в мою комнату врывается разъяренная старуха, тычет мне в нос мою открытку и грозит подать в суд. "Прекрасно, — отвечаю. — Но вам это дорого обойдется". Тут она пускается в объяснения. Доминик-де ерошит перья потому, что он большой позер. А игрушек в клетке нет потому, что он не волнистый попугай и разломал бы их все до единой. Из клюва же у попугаев не капает никогда, так как у них отсутствует слизистая оболочка. "Вы невежественная старая карга", — бросает она и топает прочь.

Признаться, эта лекция о попугаях произвела на меня впечатление. Миссис Одри Пенн — женщина несомненно образованная. Поскольку под рукой не было никакого справочника, кроме старого списка студентов нашего колледжа, я от нечего делать поискала там ее фамилию. И нашла-таки: эта дама на восемь лет моложе меня, жила в общежитии леди Маргарет и по бедности получала стипендию; я же была отличницей и изучала французский. (А не ветеринарию.)

Не могла не написать вам об этом, ведь никто, кроме вас, не оценит всю причудливость совпадения этих событий. Но совпадение ли это в полном смысле слова? Не знаю. Мои сотоварищи по темнице либо безумны, либо глухи. Я, подобно Felicité, глуха. К несчастью, безумцы отнюдь не глухи, но не мне судить, насколько безумны здешние глухари. Замечу, что, хотя я тут самая молодая, именно меня назначили старос-

1. Налево, потом направо (*франц.*).
2. Le chat — кот (*франц.*).
3. Вернемся к нашим попугаям — обыгрывание известной французской поговорки "Вернемся к нашим баранам", то есть к тому, о чем шла речь.

той женского отделения: по здешним меркам я, благодаря относительной молодости, — еще относительно здравомыслящая старуха.

Croyez, cher Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués[1].

Сильвия Уинстанли

4 марта 1986 г.

Дорогой м-р Барнс!

Все-таки почему вы назвались доктором? Что до меня, то я — старая дева, а вы, сударь, не проявили большого великодушия, предложив мне на выбор лишь "мисс", "миссис" и невнятное "миз"[2]. Почему бы не *леди* Сильвия? Ведь я вообще-то принадлежу к самому что ни на есть Вышшему Классу: мое семейство — одно из старейших в графстве и все такое прочее. Двоюродная бабушка рассказывала мне, что, когда она была маленькой, кардинал Ньюмен[3] привез ей из Испании апельсин. Досталось по апельсину и всем ее сестрам. В ту пору этот фрукт был в Англии неизвестен. А Н. был крестным отцом бабушки.

Начальница нашего узилища говорит, что хозяйка Доминика "в своем районе на хорошем счету"; стало быть, уже поползли сплетни, и мне лучше помалкивать. Я написала примирительное письмо (ответа нет как нет), а когда опять проходила мимо, заметила, что Доминика с окна убрали. Возможно, разболелся. Если у попугаев нет слизистой оболочки, почему у него капало из клюва, объясните на милость? Но, если я и дальше буду задавать подобные вопросы, мне и впрямь суда не миновать. Впрочем, судейскими меня не запугаешь.

Я много преподавала Жида[4], знаю его досконально. Пруст нагоняет на меня скуку, а Жироду[5] я не понимаю. Странно устроен мой ум: в чем-то совершенно блестящий, в другом он абсолютно туп. В колледже все были уверены, что я непременно получу диплом с отличием; директриса говорила, что провалится сквозь землю, если этого не случится. А вот поди ж ты, не случилось (получила диплом второй степени, с грамотой за успехи в разговорной речи), и она даже поднимала этот вопрос перед начальством. В ответ было сказано, что число отличных оценок у выпускниц равно числу удовлетворительных, а хороших нет вовсе. Догадываетесь, куда я клоню? Я, видите ли, не ходила в "приличную" школу, а поскольку была барышней из "знатных", то предметов, положенных по программе обычной школы, не изучала; в результате мое вступительное сочинение о проявлениях материнского инстинкта у уховертки обыкновенной оказалось намного лучше "ученых" опусов девиц из знаменитой привилегированной школы Шерборн. Недаром же я стала лучшей ученицей, но об этом я вам, кажется, уже сообщала.

А теперь ответьте, зачем вы наплели, будто вы врач, да еще пожилой — за шестьдесят? Вам же явно не больше сорока. Полно сочинять-то! Еще в юности я обнаружила, что все мужчины — неисправимые об-

1. Примите, милостивый государь, уверения в совершеннейшем к вам почтении (*франц.*).
2. "Миз" (Ms.) — появившееся в XX веке сокращение, которое ставится перед именем женщины независимо от того, замужем она или нет.
3. Кардинал Джон Генри Ньюмен (1801—1890) — английский религиозный деятель и писатель.
4. Андре Поль Гийом Жид (1869—1951) — французский писатель.
5. Жан Жироду (1882—1944) — французский писатель.

манщики, и решила никогда с ними не флиртовать, пока в шестьдесят лет не вышла на пенсию по старости; зато следующие двадцать лет я, по словам моего психолога, вела себя как отъявленная кокетка.

Разделавшись с Барнсом, я перехожу к Брукнер[1], и кого, черт возьми, вижу в тот же день по "ящику"? Ее, Аниту Брукнер, собственной персоной! Не знаю, что тут и сказать. Только одно: что ОНИ хотят, то со мной и делают. Престранные вещи творятся. К примеру, я говорю себе: "Если решение я приняла верное, пусть мне сейчас же явится олень", т. е. нарочно выбираю животное, которое в данном месте встретить немыслимо. А олень тут как тут. В других случаях заказываю зимородка или пестрого дятла – пожалуйста, хоть зимородок, хоть дятел. Не могу поверить, что это всего лишь игра воображения или что я подсознательно чувствовала присутствие этой живности где-то рядом. Такое впечатление, что есть некое "высшее я", которое велит, к примеру, безмозглому эритроциту отправиться к резаной ранке и заклеить ее сгустком свернувшейся крови. Но тогда возникает вопрос: а кто отвечает за то, чтобы ваше и мое "высшее я" учило эритроциты залечивать порезы? Когда я смотрела сериал "Больница", то заметила, что медики просто-напросто запихивают кровоточащее мясо обратно в рану и ждут, чтобы оно опять, без всякой посторонней помощи, превратилось в мышцы. Три месяца назад у меня у самой была очень серьезная операция, но все обрезки вроде бы срослись как положено. А откуда они знают – *как* положено?

Хватит ли у меня на странице места для попугайских перьев? Мисс Терстон, директриса колледжа, была довольно-таки неуклюжей женщиной с лошадиной физиономией. "Assoiffée de beauté"[2], она носила большие нарядные шляпы, которые ей не шли, и ездила в них на велосипеде (с корзиной на багажнике, как принято в Кембридже). Одно время, несмотря на разницу в возрасте – она была на двадцать четыре года старше меня, – мы очень сблизились и даже думали поселиться вместе, но не успели, так как она вдруг обнаружила мой скверный характер. Как-то мисс Терстон мне приснилась. На голове у нее красовалась огромная шляпа, на которой развевались перья попугая. Она радостно плясала, приговаривая: "Теперь у нас с тобой полный лад" или что-то в этом роде. "Выходит, эта женщина вовсе не была ДУРНУШКОЙ", – подумала я. И за завтраком сказала кузине: "Я уверена, что мисс Терстон умерла". Мы открываем "Телеграф" – некролога нет, хотя должен бы быть. Тут приносят почту, и на обороте конверта читаю: "As-tu vu que Miss Thurston est morte?"[3] Мы отправляемся к другой кузине. В "Таймс" – некролог с портретом. Надо заметить, что я не "экстрасенс" и никакими сверхъестественными способностями не обладаю.

Боюсь, в прошлом письме я разошлась не в меру и даже пыталась с вами спорить. Меня назначили старостой как самую МОЛОДУЮ и толковую. Имею машину, умею водить. Поскольку обитатели приюта по большей части совершенно глухи, шептаться по углам почти некому. Позвольте предложить шикарное слово для обозначения безудержного письмописания: эпистоломания. Нижайше прошу меня простить.

Желаю вам всего наилучшего и творческих успехов.

Сильвия Уинстанли

1. Анита Брукнер (р. 1928) – английская писательница.
2. "Жаждавшая красоты" (*франц.*).
3. Ты видела, что мисс Терстон умерла? (*франц.*)

18 апреля 1986 г.

Дорогой Джулиан!

Обращаюсь к вам по имени с вашего же разрешения, а также потому, что мне уже позволено Флиртовать; впрочем, Флирт с фотографией на суперобложке книги — для меня нечто совершенно новое. Что же до причин, по которым я решилась запереть себя в Приюте для Старичья, хотя не утратила способности ходить, водить машину и даже радоваться угрозам судебного преследования, то я предпочла не ждать, пока припрет, то есть решила sauter pour mieux reculer[1]. Моя любимая кузина умерла, мне грозила серьезная операция, а перспектива быть Своею Собственной Домработницей, пока не околею, меня не сильно прельщала. К тому же тут неожиданно "Освободилось Место", как некоторые у нас выражаются. Вы, вероятно, уже догадались, что я по натуре — Белая Ворона и простые истины считаю именно простыми, не более того. Согласно одной из таких ПИ каждый должен как можно дольше жить самостоятельно, а потом, когда у родни уже нет сил нас терпеть или когда мы по забывчивости перестаем выключать газовые горелки и начинаем шпариться горячим какао, нужно без разговоров отправляться в Приют для Старичья. Но при описываемых обст-вах переезд в ПС оказывается жестоким потрясением, у нас едет крыша, мы превращаемся в безмозглых маразматиков и быстренько "освобождаем место". Вот потому-то я и решилась перебраться сюда еще в относительно вменяемом состоянии. Детей у меня нет, и мой психолог такой шаг одобрил.

Увы, дорогой Барнс, увы! В нашей библиотеке есть лишь одна ваша книга — "До того, как она встретила меня", читать которую вы мне не велели. Вы не поверите, но с января ее брали уже одиннадцать раз, а один читатель, натыкаясь на слово "хер", каждый раз густо вымарывал его чернилами. Тем не менее этот ханжа соблаговолил дочитать книгу до последнего "хера" на с. 178. Я же пока так далеко не продвинулась. За ужином я попыталась было завести легкую беседу с другими глухарями, но потерпела фиаско. "Книжка-то, надо думать, о постельных наслаждениях", — предположила я. В ответ посыпалось: "А? Ась? Как? Извиняйте! Нассыждения! Сами знаете! Подушечка помягше, матрасик непродавленный и — баиньки". Словом, никто не видел смысла обсуждать произведение. Что ж, я сама его прочту и, несомненно, узнаю много нового.

Я очень сердита, обижена и проч. на жуткую, казарменного пошиба грубость мужа нашей директрисы, бывшего старшего сержанта. Приготовилась даже спихнуть его с лестницы вниз головой, но сообразила, что он, чего доброго, посильнее меня. Позвольте еще немножко порассуждать на другую тему, хочу чуточку просветить вас насчет Приютов для Старичья. Когда моя бабуля начала выживать из ума, я объехала несколько соответствующих établissements[2]. И буквально в каждом видела те же полукругом стоящие дешевые кресла, с которых дряхлые дурехи покорно таращатся на орущий благим матом, не хуже Муссолини, телевизор. В одном заведении я поинтересовалась у директрисы: "Как и чем вы занимаете стариков?" Она посмотрела на меня так, словно не верила соб-

1. Прыгнуть, чтобы лучше разогнаться — парафраз французской поговорки reculer pour mieux sauter, т. е. разогнаться, чтобы лучше прыгнуть.
2. Заведений (*франц.*).

ственным ушам. Неужели, мол, не видишь, что тугоухие старушенции и без того развлекаются на полную катушку? "Раз в неделю приходит массовик и организует игры", — в конце концов выдавила она. "Игры?" — удивилась я, поскольку не заметила среди обитателей приюта кандидатов в олимпийскую сборную. "Да, игры, — снисходительно подтвердила она. — Ставит одуванчиков в кружок и бросает им легкий надувной мяч, а они должны его отбивать". Так вот, сегодня утром я сказала Старшему Серж-ту про такой мяч, но он, естественно, пропустил мои слова мимо ушей. А глухари и психи здесь больше всего боятся прослыть Нарушителями Порядка. Единственный надежный способ избежать этой доли — это лечь в гроб, но я намерена продолжать быть Нарушителем Порядка, ибо только так можно оставаться живой. Преуспею я в этом или нет, неизвестно. А устроен наш Приют для Старичья в точности по тем принципам, какие описаны у Бальзака. Мы отдаем сбережения всей жизни в обмен на полный контроль над нашим существованием. Я ожидала увидеть нечто вроде просвещенной диктатуры, которую одобрял Вольтер, но сомневаюсь, что такая форма правления когда-либо имела место и вообще осуществима. То ли по злому умыслу, то ли бессознательно, но привычке, надзиратели методично подрывают наше душевное состояние. А ведь им положено быть нашими союзниками.

Я тут собирала для вас разные sottises[1], хотя не уверена, что моя затея придется вам по вкусу. Более прочих меня раздражает распространенное представление, будто и в Англии бывает сезон под названием "лето" и этот сезон якобы рано или поздно наступает. Тогда после ужина все дружно выходят в сад, на съеденье комарам. Правда, на улице в это время года действительно теплеет градусов на десять, и после полдника можно пойти погулять. Люди пожилые уверяют меня, что, когда они были молодыми, летом стояла жуткая жара, и они развлекались, греховодничая на возах с сеном и в прочих подобных местах. В ответ я говорю, что, будучи старше их по меньшей мере лет на тридцать, я прекрасно помню, что в годы их молодости погода в мае обычно стояла отвратительная, просто они это напрочь забыли. Вам не встречалось выражение "Les trois saints de glace"[2]? Смысл его я запамятовала, знаю только, что они должны пройти, прежде чем настанет настоящее — средиземноморское лето. Как-то мне случилось провести май в Дордони[3]; дождь лил беспрерывно, хозяева по-свински обращались со своей собакой, демонстрировали мне шрамы на разных частях тела, а хлеб пекли только раз в две недели, так что к чертям Аквитанию! Правда, Дром[4] я обожаю.

Книги, которых я еще не читала: Всего Диккенса
Всего Скотта
Всего Теккерея
Всего Шекспира, кроме "Макбета"
Всей Дж. Остин, кроме одного романа

1. Нелепости (*франц.*).
2. "Трое холодных святых" (*франц.*) — св. Серватий, св. Панкратий и св. Бонифатий; их дни приходятся на 11, 12 и 13 мая. По поверью именно в эти дни случаются последние холода или даже заморозки, а потом наступает настоящее лето.
3. Дордонь — департамент Франции.
4. Дром — департамент Франции.

Очень надеюсь, что вы найдете себе чудесное gîte[1]; я безумно люблю Пиренеи: цветы, маленькие gaves[2].

Представьте, в 1935 году, до того как все пошло кувырком, я совершила кругосветное путешествие. Причем на множестве различных кораблей, а не на avions[3].

Касательно совпадений: почему бы не заказать броненосца или полярную сову, пишете вы, дабы испытать возможности запланированного совпадения. На это уж я не решусь, зато сообщаю вам, что еще в шестнадцатом веке мои предки жили в Патни[4], а от Патни до Барнса[5] рукой подать.

Большое спасибо, что отвечаете на мои письма. Сейчас мне уже лучше; к тому же из-за угла показалась луна и светит сквозь ветви сосен.

Сильвия У.

Попугай Д. опять висит за окном.

16 сентября 1986 г.

Дорогой Джулиан!

Из вашего романа я почерпнула много полезного, но не потому, что вы раскрыли мне глаза на половую жизнь, а потому, что главная героиня, Барбара, прибегает к точно таким же сомнительным способам аргументации, что и наша Директриса. А ее муженек является, по-моему, воплощением крайнего нахальства, однако я прекрасно сознаю, что стоит слову "проклятый" сорваться с моих губ — и пиши пропало, я навек лишусь расположения Началь-ва, которое пока что ко мне благосклонно. Вчера я только собралась пойти бросить письмо в почтовый ящик, как ко мне прицепился Ст. Сержант: незачем, мол, туда таскаться, все здешние глухари и психи отдают свои письма ему, и он сам их отправляет. "Ладно, машину я уже больше не вожу, но ездить на автобусе в город буду по-прежнему и вполне в силах доковылять до ближайшего почтового ящика", — сказала я. Он смерил меня наглым взглядом, и я живо представила, как по ночам он вскрывает над кипящим чайником конверты и рвет послания, в которых есть жалобы на житье в Приюте для Старичья. Если от меня перестанут приходить письма, значит, я либо умерла, либо нахожусь в полной власти Начальства.

Вы человек музыкальный? Я в известной мере — да, но лишь потому, что в шесть лет начала учиться играть на пианино. Выяснилось, что я не лишена способностей, так что очень скоро стала свободно играть с листа, освоила контрабас и флейту (более или менее), поэтому меня без конца приглашали в разные церкви в качестве органистки. Мне страшно нравился громоподобный гул, который я могла извлечь из этого инструмента. (Сама я ни к какой церкви не принадлежу. Живу своим умом.) Мне нравится ездить в город: в автобусе все друг над другом подтрунивают, на площадке перед торговым центром народ отплясывает

1. Пристанище (*франц.*).
2. Горные речушки (*франц.*).
3. Самолетах (*франц.*).
4. Патни — южный пригород современного Лондона.
5. Барнс — район в южной части Лондона.

старинный "моррис", а из динамиков несутся звуки Бранденбургских концертов с отменными скрипичными соло.

Я прочла еще кое-кого на А и Б. В ближайшее время непременно подсчитаю, сколько в романах выпивается спиртного и выкуривается сигарет, чтобы раздуть объем опуса. Не говоря уж об "эпизодиках" с официантами, таксистами, vendeuses[1] и прочими, которые, раз мелькнув, больше в повествовании не появляются. Писатели любят толочь воду в ступе либо разводить философию, а нам их занудство предписано считать глубокими обобщениями, как, например, chez[2] Бальзака. Для какого читателя пишутся Романы? — спрашиваю я себя. По-моему, для весьма невзыскательной публики, вроде особы женского пола, которой где-то после десяти вечера, пока глаза еще не слипаются, необходимо уткнуться в книгу. Понимаю, вам мое заключение скорее всего покажется неудовлетв. Вдобавок, лично мне для такой увлеченности чтением необходимо, чтобы кто-то из героев был похож на меня и я могла бы себя с ним или с ней отождествить; но, поскольку я — типичная Белая Ворона, такое случается не часто.

И все равно, писания авторов на А и Б на голову выше того чтива, что каждый месяц нам поставляет Красный Крест. Такое впечатление, что Ночные Сиделки, когда им больше нечем заняться, часами кропают эти книжонки. И все — на одну-единственную тему: как выйти замуж. Мысль о том, что́ будет с героями после свадьбы, им, видимо, ни разу не приходила в голову, а по мне, тут-то главное и начинается.

Несколько лет назад одно Светило из мира искусства выпустило автобиографию. Автор пишет, что любовь к женщинам впервые проснулась в нем, когда он еще приготовишкой увидел на школьном танцевальном вечере девочку и сразу влюбился. Ему было одиннадцать, а ей девять. Вне всякого сомнения, этой девочкой была я: он точно описывает мое платьице, в той же приготовительной школе учился и мой брат, все даты сходятся и проч. С тех пор мною никто не увлекался, хотя в детстве я была премиленькой. Удостой я его тогда хотя бы взглядом, он, по его словам, уже не отошел бы от меня ни на шаг до конца своих дней. А в действительности он всю жизнь бегал за каждой юбкой, чем довел свою несчастную жену до алкоголизма; я же так никогда и не вышла замуж. Какой вы сделаете отсюда вывод, господин Романист Барнс? Упустили мы семьдесят лет назад свой счастливый шанс? Или оба чудом избежали страшной напасти? Он ведь и предположить не мог, что я стану синим чулком, совсем не в его вкусе. Возможно, он довел бы меня до пьянства, а я его — до оголтелого распутства. Всем пришлось бы солоно, кроме жены, на которой он бы в этом случае не женился, а в автобиографии расписал бы, как горько сожалеет о том, что я вообще попалась ему на глаза. Вы человек еще молодой, это вопрос не для вас, но когда начинаешь глохнуть и плохо шевелить мозгами, задаешься такими вопросами все чаще. Где бы я сегодня была, если бы за два года до Первой мировой войны обратила свой взор совсем в другую сторону?

Ну-с, огромное вам спасибо. Надеюсь, жизнь ваша протекает удовлетв. и потомство не обманывает ваших ожид-й.

Обнимаю. *Сильвия У.*

1. Продавщицами (*франц.*).
2. У (*франц.*).

24 января 1987 г.

Дорогой Джулиан!

Одну из здешних чокнутых старух то и дело навещают привидения — маленькие зеленые огоньки (сообщаю специально, вдруг вы ими заинтересуетесь). Когда старушенция, отказавшись от своей квартиры, переехала сюда, они последовали за ней. Беда вот в чем: на прежнем месте пребывания они вели себя кротко, но, оказавшись здесь, в Приюте для Старичья, совсем распоясались. У нас разрешено на случай Ночного Приступа Голода держать в "комнатке" маленький холодильник. У миссис Галлоуэй он набит шоколадными конфетами и бутылками сладкого хереса. Как вы думаете, чем эти проказники занимаются по ночам? Лопают ее конфеты и лакают ее херес! Узнав об этом, мы все проявили должную озабоченность (особенно глухие — очевидно, потому, что ничего не поняли) и попытались выразить соболезнования пострадавшей. История вышла долгая, какое-то время все ходили с постными лицами, и вдруг однажды м-с Г. явилась к обеду, ухмыляясь во весь рот, и громко объявила: "А я с ними расквиталась! Выпила целую бутылку ихнего хереса, они оставили несколько штук в холодильнике!" Мы дружно возликовали. Увы, рано радовались. Ночные посетители продолжали опустошать запасы шоколадных конфет, несмотря на рукописные приказы и мольбы, которые м-с Г. налепляла на дверцу холодильника. (Как вы думаете, на каких языках читают призраки?) В конце концов, было решено обсудить ситуацию на собрании обитателей приюта в присутствии Директрисы и Ст. Сержанта, что и произошло однажды во время ужина. Как помешать духам лакомиться шоколадом м-с Г.? Все посмотрели на Старосту, но она, к своему стыду, испытания не выдержала. И на сей раз я обязана отдать должное Ст. Сержанту, проявившему похвальное чувство юмора, — конечно, если сам он не верит в существование зеленых огоньков, что вовсе не исключено. "А не навесить ли на холодильник замок?", — предложил он. Глухари и психи дружно захлопали в ладоши, и тогда он выразил готовность самолично съездить за замком в магазин "Всё для дома". Буду держать вас au courant[1], вдруг эта история пригодится вам для очередного романа. Интересно, вы сквернословите так же часто, как ваши герои? Здесь к крепким выражениям не прибегает никто, только я, да и то лишь мысленно.

Знавали ли вы мою близкую подругу Дафну Чартерз? Не приходилась ли она случайно золовкой вашей двоюродной бабушке? Впрочем, нет, вы же писали, что семья ваша принадлежит к Среднему Классу. Дафна же, одна из первых в стране летчиц, принадлежала к Высшему Классу: она — дочь потомственного шотландского землевладельца. Едва получив лётные права, начала развозить по округе крупный рогатый скот. Входила в число всего одиннадцати женщин, пилотировавших во время войны бомбардировщик "Ланкастер". Разводила свиней и самому маленькому поросенку в помете неизменно давала кличку "Генри" — в честь младшего брата. В ее комнату под названием "Кремль" даже мужу вход был заказан — вот, по-моему, секрет счастливого брака. Впрочем, муж потом умер, она вернулась в фамильные хоромы и жила там с братом Генри, последышем из их помета. В доме был сущий хлев, но их это ничуть не огорчало. Довольные своим бытьем, они месяц от месяца все сильнее глохли. Когда

1. В курсе (*франц.*).

перестали слышать уже и дверной звонок, Генри приладил вместо него автомобильную сирену. А Дафна наотрез отказывалась носить слуховой аппарат, ссылаясь на то, что он цепляется за ветви деревьев.

Ночами, пока призраки-проказники пытаются открыть замок на холодильнике м-с Галлоуэй, чтобы добраться до ее шоколадных яиц с бело-желтой начинкой, я лежу без сна, смотрю на медленно плывущую над соснами луну и размышляю о преимуществах смерти. Не то чтобы у нас был выбор. Конечно, можно покончить с собой, но самоубийство всегда представлялось мне актом вульгарным и напыщенным, вроде вызывающего поведения тех людей, которые во время спектакля или симфонического концерта демонстративно выходят из зала. Я хочу сказать — да вы же понимаете, что́ я хочу сказать.

Умирают в основном по следующим причинам: во-первых, когда вы доживаете до моего возраста, вашей смерти уже ждут не дождутся; во-вторых, надвигаются немощь и маразм; в-третьих, обидно тратить деньги — то есть наследство — впустую, на едва теплящуюся жизнь безмозглого, дряхлого, страдающего недержанием тела. И еще: падение интереса к Новостям — голодомору, войнам и проч.; страх оказаться в полной власти Ст. Сержанта; желание выяснить наконец, что Там, за гробом (или и желания нет?).

Не вижу смысла умирать в основном по следующим причинам: всегда действовала наперекор ожиданиям окружающих (зачем же теперь себя ломать?); не хочу огорчать близких (но рано или поздно все равно придется); в Считальном зале дошла всего-навсего до буквы Б; наконец, кто, кроме меня, сумеет вывести из терпения Ст. Сержанта?

...На этом я иссякла. А у вас есть другие причины? По моим наблюдениям, "за" всегда получается убедительнее, чем "против".

На прошлой неделе в дальнем углу сада обнаружили одного из наших психов. Он стоял там в чем мать родила и держал чемодан, набитый газетами; видимо, ждал поезда. Само собой разумеется, что никакие поезда в окрестностях Приюта для Старичья не ходят еще с тех пор, как Бичинг[1] упразднил местное железнодорожное сообщение.

Спасибо, что пишете мне. Простите мою эпистоломанию.

Сильвия

P. S. К чему я вам это рассказала? А вот к чему. Дафна всегда была устремлена в будущее и почти никогда не оглядывалась назад, в прошлое. Подумаешь, велико дело — вероятно, скажете вы, но смею вас уверить, с годами это дается все труднее.

5 октября 1987 г.

Дорогой Джулиан!

Как вы считаете, разве язык существует не для общения? Во время моей первой педагогической практики (в колледже) меня к преподаванию не допустили, разрешили только сидеть на чужих уроках, потому что я ошиблась в форме Passé Simple[2] с местоимением tu[3]. Но если бы меня в свое время специально обучали Грамматеке, а не просто Французскому

1. Лорд Бичинг — глава комиссии, по рекомендации которой в 1963 г. были закрыты нерентабельные железнодорожные линии.
2. Прошедшее простое время (*франц.*).
3. Ты (*франц.*).

Языку, я бы возразила, что никто никогда не скажет "Lui écrivis-tu?"[1] или что-нибудь в том же роде. В моей "школе" нам главным образом вдалбливали целые законченные фразы, без анализа употребленных в них времен глагола. Я постоянно получаю письма от француженки, окончившей обычную среднюю школу; так она не моргнув глазом пишет "J'était" или "Elle s'est blessait"[2] и никакими правилами не обременяется. А моя начальница, в свое время уволившая меня, вместо французского "р" лишь сипло хрипела. С радостью отмечаю, что с тех пор у нас произошли большие перемены к лучшему. Ныне "Paris"[3] уже не рифмуется в Англии с "Мэри".

Моя эпистоломания меня настораживает: не признак ли это маразматического многословия? Суть же дела, г-н Романист Барнс, состоит в том, что Владение Французским сильно отличается от знания Грамматеки, и это относится ко всем сторонам жизни. Никак не могу найти письмо, в котором вы рассказывали о своем знакомстве с неким писателем, который еще подревнее меня (Джерради? Так пишется? Я порылась в библиотечном каталоге, но не нашла его; впрочем, я наверняка окочурюсь прежде, чем доберусь до буквы "Д"). Насколько я помню, он спросил вас, верите ли вы в существование после смерти; вы ответили "нет", а он заметил: "Когда доживете до моих лет, возможно, и поверите". Я не утверждаю, что жизнь после смерти есть, но в одном я уверена твердо: когда человеку лет тридцать-сорок, можно с успехом заниматься Грамматекой, но когда он доживает до полной глухоты и безумия, ему необходимо знать французский. (Улавливаете, о чем я?)

Ах! Ох! Вот бы сейчас съесть настоящий круассан! Но французский хлеб пекут ведь из *французской* муки. В ваших краях ее можно найти? Вчера нам дали на ужин рагу из солонины с бобами. Увы, я очень люблю вкусно поесть. Порой мечтаю об абрикосах. В Англии настоящего абрикоса не сыскать, у нас они по вкусу напоминают вату, пропитанную водянистым апельсиновым соком военной поры. После жуть-чайшей сцены со Ст. Сержантом я не пошла обедать, уехала в город и там съела самвич и мороженое с орехами и фруктами.

Вы пишете, что смерти не боитесь, смущает только перспектива стать покойником. По-моему, это чистой воды казуистика. И перехода в другое состояние все равно, наверно, не замечаешь. Моя подруга Дафна Чартерз угасала очень долго и часто спрашивала: "Я уже умерла?", изредка требуя более подробного ответа: "И как давно я умерла?" А прежде чем окончательно испустить дух, сказала: "Я мертва довольно долго. Но не чувствую ни малейшей разницы".

Здесь не с кем потолковать о смерти. Тема, видите ли, тягостная, нет в ней приятности. Здешние обитатели не прочь поболтать о проказливых призраках, полтергейстах и тому подобной чепухе, но стоит мне завести речь о чем-то вполне реальном, Директриса и Ст. Сержант говорят, что не надо бедняжек пугать. Я все равно борюсь с запретами на разговоры о смерти — или со Страхом перед Нею; возмутительно, сколько энергии медицинская братия тратит на то, чтобы не дать умирающим умереть, чтобы сохранить жизнь младенцам, родившимся без мозга, и помочь бесплодным женщинам забеременеть искусственным путем. "Мы уже шесть лет пытаемся завести ребенка". Что ж, значит, придется обойтись без дитяти.

1. "Ты ему писал?" (*франц.*) — не свойственное устной речи использование простого прошедшего времени.
2. Я была... она ушиблась (*франц.*) — грамматически неверные формы.
3. По-французски "Париж" произносится "Пари".

Позавчера каждому из нас дали на ужин яйцо с двумя желтками. "Почему вдруг два желтка? Это очень странно". — "Потому что курам-молодкам подсыпают специальные снадобья, повышающие яйценоскость".

Вы спрашиваете, что́ я держу в холодильнике? Представьте себе, кошелек, записную книжку, письма и копию моего завещания. (На случай пожара.)

Живете по-прежнему дружно? Новых детишек не народилось? Я вижу, вы прекрасно справляетесь с ролью Современного Папаши. Георг Пятый обычно сам купал своих детей. А его жена кор. Мэри — нет.

Всего наилучш., желаю вам succes fou[1],

Сильвия

14 октября 1987 г.

Merci, charmant Monsieur[2], за посылку с едой. Увы, две инстанции — почтовое ведомство + Ст. Сержант — совокупно сыграли свою гнусную роль, и доставленные круассаны были уже далеко не первой свежести. Я настояла на справедливом распределении прибывших по Лиз-Ленду[3] продуктов, и каждый глухарь и псих получил по полкруассана. "Извиняйте! Шо это? А? Шо это?" Они предпочитают вислоухие треугольники чуть поджаренного белого хлеба, намазанного "Золотой стружкой"[4]. Остатки я сунула в почтовый ящик в подарок Доминику — он по-прежнему висит за окном; как вы думаете, Директриса запретит мне выходить за терр. Приюта? Пишу на открытке, извините, рука до сих пор действует плохо. Всего лучшего.

Сильвия

10 декабря 1987 г.

Барнс стоит примерно на уровне груди, а Брукнер приходится доставать с пола. Я убеждена, что ее "Посмотри на меня" — великолепное трагическое произведение, в отличие от "Короля Лира", которого я только что прочла в 1-й раз. Несколько велеречивых пассажей неплохи, но сюжет, характеры — полная галиматья. Парадигма (только что узнала это слово из кроссворда) королевских одеяний. Пишу на открытке: рука! Наилучш. пожелания. *Сильвия*

14 января 1989 г.

Дорогой Джулиан!

(Да! Это старушка Уинстанли.) Простите, пожалуйста, очередной приступ моей маразматической болтливости. И почерк, кот-й Бабулю вогнал бы в краску.

1. Бешеного успеха (*франц.*).
2. Спасибо вам, дорогой (*франц.*).
3. Ленд-лиз — передача взаймы или в аренду. В годы Второй мировой войны США снабжали СССР по ленд-лизу вооружением, продовольствием и т. п.
4. "Золотая стружка" — апельсинный конфитюр из тонко нарезанной цедры.

По телику видела поразительные кадры: львята пытаются сожрать porc-épic[1] (почему épic? В словаре "Лярусс" помета: искаженное итальянское porcospino; это и так всякому ясно, но почему не épine, а épic?). К животным типа ежа я теплых чувств не питаю. Вокруг моего загородного коттеджа, помнится, было решетчатое ограждение, чтобы скотина не лезла в сад, так в ячеи решетки постоянно попадали ежи. Проще всего, как я выяснила, брать этих тварей рукой, но они прямо-таки кишат паразитами, вдобавок глаза у ежей невыразительные и довольно злобные.

Очень глупо с моей стороны расспрашивать вас про потомство, вы же говорили, что детей у вас нет. Одно слово — старость. Простите, пжлста. В книгах вы, естественно, все сочиняете.

Я дожила до восьмидесяти четырех лет, на память еще не жалуюсь, а потому знаю наверняка, что совпадения происходят постоянно, напр., попугаи, знатоки французского и т. п. Правда, как тогда быть с тем Светилом из мира искусства? А месяц назад я выяснила, что моя внучатая племянница Гортенс Баррет поступает в университет на сельскохозяйственный факультет. (В мое время он назывался факультет Лесоводства. В ваши дни еще были Лесничие? Этакие серьезные молодые люди с кожаными заплатками на локтях; они целыми колониями обитали возле Паркс-роуд[2] и всем скопом отправлялись на Полевые Изыскания.) В ту же неделю мне в руки попадает книга о гортензиях, из которой я узнаю, что сей цветок скорее всего получил свое название в честь молодой женщины по имени Гортенс Баррет, той самой, что вместе с ботаником Коммерсоном[3] отправилась в организованное Бугенвилем[4] кругосветное путешествие. Правда, исследования показывают, что Гортенс и Коммерсона разделяет немало поколений — там и супружеские пары и люди одинокие, фамилии менялись, но родство все равно прямое. Как вы это истолкуете? И с чего я вдруг решила взяться за книгу о гортензиях? У меня же сейчас нет ни единого комнатного растения, даже ящик с землей за окном не висит. Как видите, приписать все это Преклонному Возрасту и Хорошей Памяти невозможно. Такое впечатление, будто некий внешний Разум — а не мое подсознание — говорит: "Имей в виду, мы на тебя смотрим". Я склонна считать себя агностиком, хотя вполне допускаю существование некой "направляющей силы", или "надсмотрщика", даже Ангела-Хранителя.

А если и так, что с того? Я лишь рассказываю вам об ощущении, будто меня то и дело кто-то тычет в бок: "Примечай!", и для меня это очень знаменательно. Быть может, вам все это ни к чему. А я вижу в том свидетельство просветительской миссии Высшего Разума. Как она осуществляется? Понятия не имею!

Раз уж я завела речь о сверхъестественном, замечу, что, по моим наблюдениям, понимание деятельности Разума развивается семимильными шагами, почти не уступая темпам технического развития: понятие эманации устарело не меньше, чем свечка с ситниковым фитилем.

Миссис Галлоуэй — та, у которой холодильник на замке от зеленьких бесенят, — "отошла", как любит выражаться Директриса. Что у нас

1. Дикобраза (*франц.*).
2. Паркс-роуд — улица в Оксфорде; там находится Музей природоведения.
3. Филибер Коммерсон (1727–1773) — французский естествоиспытатель и путешественник.
4. Луи Антуан Бугенвиль (1729–1811) — французский мореплаватель и ученый.

тут только не ходит! И мармелад хорошо идет, и слухи ходят. Ну как, вышло? — спрашивают здесь друг друга про доставляющую всем немало беспокойства работу кишечника. Что же теперь станется с зелеными огоньками? — спросила я однажды за обедом. Глухари и психи немного поразмыслили и пришли к выводу, что огоньки, наверно, тоже отошли.

Amitiés, sentiments distingués, etc.[1]

Сильвия У.

17 января 1989 г.

Если вы Безумны и вдруг умираете, а там вас ждет Разъяснение, то сначала, полагаю, нужно вернуть вас обратно в разумное состояние, а то вы ничего не поймете. А может быть, Безумие — это еще одна пелена, сквозь которую мы воспринимаем окружающий мир, не связанный ни с каким другим? Что скажете?

Посылаю открытку с изображением Собора, но не подумайте, что я перестала Жить своим Умом. Скорее всего, впереди — "Образование растительного слоя почвы деятельностью дождевых червей". А может, и нет.

С. У.

19 января 1989 г.

Итак, г-н Романист Барнс,

вздумай я спросить вас: "Что такое жизнь?", вы бы, наверно, ответили очень коротко: всего лишь совпадение.

Из этого следует все тот же вопрос: совпадение какого рода?

С. У.

3 апреля 1989 г.

Уважаемый г-н Барнс!

Благодарю Вас за письмо от 22 марта. С прискорбием сообщаю, что два месяца назад мисс Уинстанли отошла в мир иной. Она направилась к почтовому ящику, но по дороге упала и сломала бедро. Несмотря на все усилия медиков, состояние ее ухудшилось, начались осложнения. Она была чудесной женщиной, истинной душой нашего общества. Нам в приюте "Пилчер-хаус" будет ее очень недоставать. Память о ней надолго сохранится в наших сердцах.

Если Вы захотите получить какую-либо дополнительную информацию, пожалуйста, обращайтесь ко мне.

С почтением,

Дж. Смайлз (Директор)

1. Приветы, наилучшие пожелания и т. д. (*франц.*).

10 апреля 1989 г.

Дорогой г-н Барнс!

Благодарю Вас за письмо от пятого числа текущего месяца.

Освобождая комнату мисс Уинстанли, мы обнаружили в холодильнике несколько ценных предметов, в том числе и небольшую пачку писем, но, поскольку она была помещена в морозильную камеру, а холодильник пришлось отключить, чтобы он оттаял, письма сильно пострадали. Хотя оттиснутые на почтовой бумаге адрес и имя отправителя разобрать было можно, мы решили, что автору писем было бы неприятно получить свою корреспонденцию в таком плачевном состоянии, а потому, как ни прискорбно, мы решились ее уничтожить. Видимо, вы интересовались именно этими письмами.

Нам по-прежнему очень не хватает мисс Уинстанли. Во время ее пребывания в приюте "Пилчер-хаус" эта чудесная женщина была поистине душой нашего общества.

С почтением,

Дж. Смайлз (Директор)

Фруктовый заповедник

КОГДА мне было тринадцать лет, я зачем-то полез в шкафчик в ванной комнате и наткнулся на тюбик с противозачаточной мазью. Вообще говоря, и до этого случая во мне уже проклюнулось смутное подозрение: раз от меня что-то скрывают, значит, речь наверняка идет о плотских удовольствиях. Впрочем, назначения того потертого тюбика я тогда сразу не распознал. Небось, мазь от экземы, выпадения волос или от ожирения, подумал я. Но из бисерно мелкого текста, с которого уже слетело несколько букв, выяснилось такое, чего знать мне вовсе не хотелось. Стало быть, родители все еще *этим* занимаются, и мама, в ее-то возрасте, рискует забеременеть! Просто в голове не укладывается. Мне уже тринадцать, сестре — семнадцать. Но, может, тюбик валяется там давно? Я легонько сжал его и с огорчением почувствовал, что он мягко подается под пальцами. А едва я тронул колпачок, тот с готовностью заскользил по резьбе. Видимо, другой рукой я непроизвольно снова сжал тюбик, и в ладонь скользнул червячок отвратительной слизи. И такой дрянью пользуется моя мама! Небось, дело одним этим тюбиком не ограничивается. Я понюхал похожую на вазелин мазь. Пахло смесью больницы и гаража. Гадость какая.

Случилось это более тридцати лет тому назад. До сего дня я и думать о том забыл.

Родителей я знаю всю жизнь. Вполне отдаю себе отчет, что эта фраза кажется констатацией очевидного факта. Позвольте объясниться. Ребенком я жил с ощущением родительской любви и надежной защиты и, естественно, твердо верил в нерушимость семейных уз. С отрочеством, как положено, пришли безотчетная тоска и ощущение собственной зрелости, такое же обманчивое, что и у сверстников. Родной дом я покинул без особых страданий, но связь с родителями никогда надолго не прерывал. Подарил им внуков, причем разнополых, восполнив упущение

сестры, которая всю жизнь посвятила лишь собственной карьере. Позже я стал вдумчиво обсуждать с родителями — точнее, с матерью — проблемы преклонного возраста и достоинства одноэтажного домика-бунгало. Сорокалетие их брака я отметил самым настоящим праздничным банкетом; кроме того, объездил комфортабельные дома для престарелых, обсудил с родителями их завещания. Мама даже сказала, как мне следует распорядиться их прахом. Нужно отвезти урны на остров Уайт (насколько я знаю, там они впервые признались друг другу в любви), подняться с участниками церемонии на прибрежный утес и высыпать пепел чайкам и морскому ветру. Я тогда же поймал себя на тревожной мысли: а что делать с пустыми урнами? Не бросать же их тоже с утеса; но и себе не оставишь, чтобы хранить в них... ну, не знаю, сигары там, шоколадное печенье или елочные игрушки. И уж точно не сунешь их в мусорный бак на автостоянке, которую мама предусмотрительно тоже обвела кружочком на подробнейшей карте, изданной Британским картографическим управлением. Помню, улучив момент, когда отец вышел из комнаты, мама заставила меня взять карту домой, а потом время от времени осведомлялась, в полной ли она сохранности.

Сами видите, кого-кого, а родителей я знаю насквозь. Изучил за целую жизнь.

Мою мать зовут Дороти Мэри Бишоп. Со своей девичьей фамилией Хитхер она рассталась без сожалений. Отца зовут Стэнли Джордж Бишоп. Мать родилась в 1921 году, а он в 1920-м. Оба росли в западной части Центральных графств, познакомились на острове Уайт, обосновались в дальнем, полудеревенском предместье Лондона, а став пенсионерами, поселились южнее, на границе графств Эссекс и Саффолк. Жизнь у них шла заведенным порядком. Во время войны мать работала у маркшейдера графства, а отец служил в военно-воздушных силах. Нет, не летчиком-истребителем или кем-то в этом же роде; он был талантливым администратором. Позже стал работать в органах местного управления и в конце концов дослужился до заместителя главы местной исполнительной власти. Он ведает всем тем, чего мы не замечаем, принимая как должное, любил повторять отец. То есть работник он наиважнейший, но люди его недооценивают. Отец всегда был склонен к иронии, потому именно так себя и аттестовал.

Карен родилась на четыре года раньше меня. Детство вспоминается запахами — овсяной каши, заварного крема, дыма отцовской трубки; стирального порошка, лака "Брассо", духов, которыми мать душилась перед торжественным ужином с балом в масонской ложе. Помню запах жареного бекона, пробивавшийся по утрам ко мне в спальню; помню, земля за окном еще пушится инеем, а из кухни доносится аромат побулькивающего на плите апельсинового джема; помню запах подсыхающей на футбольных бутсах грязи, смешанной с травой; вонь в уборной от предыдущих посетителей и помойный смрад засорившейся раковины; запах потертых кожаных сидений в нашем крошечном "моррисе" и едкий запашок угольной крошки, которую отец лопатами подбрасывал в камин. Все эти запахи живо всплывают в памяти, а вместе с ними — неизменные циклы детской жизни: школа, времена года, работы в саду, круговерть домашней жизни. Первые алые цветки фасоли; мои аккуратно сложенные майки в нижнем ящике комода; нафталиновые шарики от моли; газовая зажигалка для камина. По понедельникам весь дом со-

дрогался от бесноватой стиральной машины; поскакав с воем по кухне, она вдруг принималась извергать из себя горячую мутно-серую воду, с шипеньем и брызгами хлеставшую из толстых бежевых шлангов в раковину. На металлической пластине значилась марка: "Тор"[1]. Теперь громовержец сидит и рявкает где-то на самой дальней окраине города.

Наверно, надо попробовать вкратце обрисовать характеры моих родителей.

Многие, вероятно, считали, что природа наделила мою мать бóльшим умом, чем отца. Отец был — и есть — человек крупный, дородный, пузатый; на тыльной стороне его рук пучками змеятся жилы. Он частенько говаривал, что кость у него тяжелая. Мне и в голову не приходило, что кости могут разниться по весу. Навряд ли. Возможно, он просто хотел позабавить или озадачить нас, малышей. Порой видя, как отец, сжав толстыми пальцами ручку, замирает над чековой книжкой или чинит штепсельную вилку, то и дело заглядывая в пособие для домашних умельцев "Сделай сам", мы с сестрой заключали: "Тугодум". Детям, однако же, нравится, если один из родителей соображает с трудом: тогда мир взрослых уже не так страшит своей непостижимостью. Отец частенько брал меня с собой в Лондон, который он называл не иначе, как Исполинским Наростом; мы покупали разные конструкторы самолетов (опять запахи, но другие: бальзового дерева, цветного аэролака, металлических ножичков). В те годы обратный билет на метро помечался цепочкой вмятинок; причем часть "туда" занимала две трети билета, а "обратно" — всего треть. Я никак не мог понять смысл подобного соотношения.

Словом, когда мы спускались на станцию Оксфорд-сёркус, отец всякий раз замедлял шаг, с добродушным недоумением разглядывая картонные прямоугольники, лежащие на его широкой ладони. Я же проворно хватал билеты, разрывал их по линии вмятин, совал треть — на обратный путь — в его руку и с важным видом предъявлял контролеру корешки "туда". Мне было тогда лет девять-десять, и я очень гордился своей шустростью; теперь, годы спустя, я все думаю: может, отец притворялся?

Дома командовала мать. Как только отец, жизнь положивший на то, чтобы службы нашей округи работали как часы, ступал на свой порог, он покорялся всевластию супруги. Она покупала ему одежду, занималась их светской жизнью, надзирала за нашей учебой, вела семейный бюджет, решала, где и как проводить отпуск. В разговорах с окружающими отец обычно именовал жену Командир или Вышестоящее начальство и при этом неизменно улыбался. "Не хотите ли навозца для сада, сэр? Перегнивший, превосходного качества, пощупайте, сэр, возьмите горсточку". — "Пойду справлюсь у Командира", — отвечал отец. Когда я умолял его сводить меня на авиавыставку или на крикет, он говорил: "Давай отпросимся у Вышестоящего начальства". Мать умела срезать корки с готовых сандвичей без малейшего ущерба для начинки: рука и нож орудовали с изумительной слаженностью. Порой она бывала резка на язык, но я объяснял это накопившейся усталостью от бесконечной домашней суеты. В то же время мать очень гордилась своей домовитостью. Если она придиралась к отцу, а тот просил не пилить его, она отвечала: "Мужчины прибегают к слову 'пилить' только тогда, когда им хочется увильнуть от какого-нибудь дела".

1. Тор — один из главных богов скандинавской мифологии, бог грома, бури и плодородия.

Родители целыми днями возились в саду. Вместе построили вокруг фруктовых деревьев настоящий заповедник: вогнали в землю жерди с резиновыми мячиками, обнесли жерди доверху сеткой площадью в добрый акр[1] и укрепили сооружение дополнительными средствами защиты от птиц, белок, кроликов и кротов. Вкопали в землю ловушки для слизней: бутылки с капелькой пива на дне. Часов в пять обычно пили чай, а потом играли в "скрэбл"; после ужина решали кроссворд и смотрели по телевизору новости. Правильная, размеренная жизнь.

Шесть лет назад я заметил у отца на голове, чуть повыше виска, у самых волос, здоровенный кровоподтек. С краев он уже начал желтеть, но в середине еще был иссиня-фиолетовым.

— Как это тебя угораздило, папа?

Мы стояли в кухне. Мать уже откупорила херес и обвязывала горлышко бутылки бумажной салфеткой, чтобы отец, если у него, неровен час, дрогнет рука, не капнул мимо. Я всегда удивлялся, отчего она не разливает херес сама; и салфетку бы сэкономила.

— Брякнулся об пол, старый болван, — процедила мать, затягивая узел ровно настолько, насколько нужно; она лучше всех знала, что стоит переусердствовать, и салфетка порвется.

— Сейчас-то как, папа, ничего?

— Полный порядок. Спроси у Начальства.

Позже, когда мать мыла посуду, а мы с отцом смотрели по телевизору соревнования бильярдистов, я поинтересовался:

— Как же это произошло, папа?

— Упал, — ответил он, не отводя глаз от экрана. — Ха! Я так и знал, что он именно этот будет бить. Разве нынешняя молодежь смыслит в игре? Для них главное — загнать шар в лузу, а что подстав не надо делать, им невдомек.

После чая родители сели играть в "скрэбл". Я сказал, что буду просто зрителем. Победила, как обычно, мать. Но отец, я заметил, играл небрежно, то и дело тяжко вздыхая, будто ему по воле рока выпадают буквы, на дух друг друга не выносящие, и у меня закралось подозрение, что он даже не пытается одержать верх.

Пора уже, пожалуй, сказать несколько слов о нашем полудеревенском районе. В сущности, это всего лишь перекресток, на котором в близком соседстве живет около сотни людей. Имеется треугольная лужайка, которую уродуют колесами небрежные водители; есть здания муниципалитета и бывшей церкви; автобусная остановка с бетонным навесом; почтовый ящик с редкостно узенькой щелкой. Мама утверждает, что в местном магазине "есть все необходимое"; другими словами, окрестные жители ходят туда только для того, чтобы лавка не закрылась. Что же до жилья моих родителей, то дом у них одноэтажный, просторный и безликий. Обшит деревянными балками, полы цементные; окна с двойными стеклами; короче, бунгало в "стиле" шале, как любят выражаться агенты по продаже недвижимости. Под двускатной крышей места много, есть где хранить ржавеющие клюшки для гольфа и убранные до будущей зимы электрические одеяла. Почему родители поселились именно здесь — непонятно; у матери нашелся один-единственный внятный аргумент: в трех милях отсюда есть прекрасный магазин мороженых продуктов.

1. Акр — мера площади, равна 0,405 гектара.

В трех милях в другую сторону расположен обветшалый клуб Британского легиона[1]. По средам после полудня отец частенько уезжал туда на машине, чтобы "не мозолить глаза Начальству". Программа развлечений одна и та же: сандвич, полпинты светлого горького и полпинты темного в одну кружку, партия в бильярд со случайным партнером — и назад домой, как раз к чаю. Пропахшие сигаретным дымом коричневый твидовый пиджак с кожаными заплатами на локтях и желтовато-коричневые кавалерийские саржевые галифе — его неизменный клубный наряд — убираются в кладовку. В ту среду заведенный порядок был подтвержден, а возможно, даже и одобрен Начальством. Мать нередко говаривала, что отец предпочитает "снукеру" обычный бильярд, потому что в него играют меньшим количеством шаров, стало быть, и соображать легче.

Когда я спросил отца, почему он предпочитает бильярд "снукеру", он не сказал, что это, мол, игра благородная, более тонкая или более элегантная.

— Партию в бильярд не обязательно завершать, она может длиться вечно, даже если ты постоянно проигрываешь. Не люблю, когда что-то кончается.

Отец редко высказывался напрямик. Говорил обычно обиняками, с заговорщицкой улыбкой на лице. Благодаря иронии его нельзя было заподозрить в чрезмерной почтительности к собеседнику, но и всерьез его слова тоже не воспринимались. У нас с ним давно выработался особый стиль общения: приветливый, дружеский, с намеками да экивоками; но за внешней теплотой крылась отчужденность. Английская манера, да, самая что ни на есть английская, Бог свидетель. В нашей семье не принято обниматься и хлопать друг друга по спине, сентиментальность у нас не в чести. Жизненные трудности каждый преодолевает самостоятельно и похвальных грамот от родни не ждет.

Наверно, может сложиться впечатление, что к отцу я отношусь более благожелательно. Но я вовсе не хочу представить мать этакой язвой или сухарем. Да, порой она бывает резковата. И, если уж на то пошло, суховата. В ее подтянутой фигуре чувствуется нервное напряжение; она даже на склоне лет не прибавила в весе. И, как сама любит говорить, дураков всю жизнь на дух не переносила. Когда родители только-только переехали на окраину Лондона, они познакомились с четой Ройс. Джим Ройс был их лечащим врачом, из докторов старого закала — знаете, любителей выпить, выкурить сигарету-другую, повторяя при этом, что удовольствие не может нанести человеку вреда. Но однажды Джим рухнул замертво от сердечного приступа, сильно недотянув до средней продолжительности жизни мужчин. Его первая жена задолго до того умерла от рака, в тот же год Джим женился снова. Элси, пышногрудая компанейская женщина, была на несколько лет моложе его. Она носила необычной формы очки и, как сама выражалась, была "не прочь поплясать". Моя мать прозвала ее Джойс-Ройс и упорно твердила, что та работала у Джима регистраторшей и шантажом вынудила его на ней жениться, хотя всем давным-давно было известно, что до замужества Элси вела хозяйство у родителей в Бишопс-Стортфорде.

1. Британский легион — ведущая британская организация ветеранов войны, преимущественно офицеров.

— Ты же знаешь, что это неправда, — время от времени пытался урезонить ее отец.

— Что неправда, не знаю. Как и ты, между прочим. Может, она отравила первую миссис Ройс, чтобы зацапать Джима.

— А по-моему, она женщина добродушная.

Но, заметив зловещее молчание и взгляд жены, добавлял:

— Только чуток занудлива.

— Чуток?! Да телевизионная таблица не в пример увлекательней. Вдобавок эта баба беспрерывно мелет всякий вздор. А волосы у нее такого цвета, потому что она их красит.

— Правда? — искренне изумился отец.

— Уж эти мне мужчины. А ты думал, такой цвет существует в природе?

— Я об этом никогда не задумывался.

Отец какое-то время молчал. Мать, вопреки обыкновению, тоже.

— Ну а теперь? — наконец сказала она.

— Что теперь?

— Теперь, когда ты поразмыслил. Насчет Джойс-Ройс и ее волос.

— А-а. Нет, я задумался о чем-то другом.

— Поделиться с человечеством результатом раздумий ты не намерен?

— Я прикидывал, сколько в "скрэбле" фишек с буквой "б".

— Ох уж эти мне мужчины, — вздохнула мать. — Другие буквы, олух ты этакий, тебе без надобности, верно?

Отец усмехнулся. Так они и пикировались, понимаете?

Когда отцу было семьдесят восемь, я спросил его про машину: как, мол, бегает пока? А сам подумал: сколько еще лет ему разрешат сидеть за рулем? Вряд ли долго.

— Движок работает отлично. Чего не скажешь про кузов. Шасси ржа ест.

— А ты сам-то как, папа?

Я не хотел задавать вопрос впрямую, так уж вышло.

— Движок работает отлично. Чего не скажешь про кузов. Шасси ржа ест.

Теперь он лежит в постели, иногда в собственной зеленой полосатой пижаме, но чаще в чужой, ему явно не по размеру; досталась, наверно, от какого-то покойника. Он, как всегда, подмигивает мне и всех подряд называет Голубчик. "Женушка моя, — говорит он. — Столько счастливых лет позади".

Четыре Последних Земных Дела моя мать обсуждала очень буднично. Вот они, Четыре Последних Дела современного человека: составить завещание, спланировать себе сносную старость, подготовиться к смерти и смириться с неверием в загробную жизнь. Когда отцу перевалило за шестьдесят, он, уступая нажиму, составил-таки завещание. О смерти он не говорил никогда, во всяком случае при мне. Что же до загробной жизни, вспоминается такая картина: всей семьей мы приходим в церковь (что случалось редко, только на венчание, крещение или на похороны), отец ненадолго опускается на колени и прижимает пальцы ко лбу. Читал ли он в ту минуту настоящую молитву или какой-то мирской ее вариант? Или по сохранившейся с малолетства привычке лишь исполнял ритуал? А может, он делал это из уважения к религии или из сво-

бодомыслия? У матери отношение к духовным таинствам было более определенным: "Чушь", "Бред сивой кобылы", "Не желаю, чтобы над моим телом тоже такое творили, понял, Крис?" — "Да, мама".

А что, если за отцовской сдержанностью и лукавым подмигиванием, за шутливым заискиваньем перед женой и за уклончивостью, — или, если угодно, деликатностью, — с которыми он говорил о Последних Четырех Земных Делах, крылись паника и страх смерти? Но не глупо ли даже задаваться подобным вопросом? Разве есть на свете человек, не знающий страха смерти?

После кончины Джима Ройса Элси предпринимала попытки продолжить отношения с моими родителями. Приглашала их то на чай, то на рюмочку хереса, то погулять по саду. Но моя мать неизменно отвечала отказом:

— Мы ее терпели только из приязни к нему.

— Она все-таки женщина славная, безобидная, — отвечал на это отец.

— Пакет с торфом тоже безобиден. Но из этого же не следует, что с ним стоит распивать херес. Во всяком случае, она своего добилась.

— Чего же?

— Пенсии за него. Теперь заживет в свое удовольствие. И никакие простофили ей не нужны, скучать она не будет.

— Джим был бы рад, если бы мы по-прежнему поддерживали с ней отношения.

— Не впутывай сюда Джима. Видел бы ты его лицо, когда она заводила свою ахинею. Он готов был сквозь землю провалиться.

— А мне казалось, они очень любят друг друга.

— Это лишь говорит о твоей наблюдательности.

Отец подмигнул мне.

— Чего ты подмигиваешь?

— Я? Подмигиваю? Разве я на такое способен?

Отец отвернул голову еще градусов на десять и снова подмигнул.

То есть я вот к чему клоню: своим поведением отец отчасти пытался опровергать собственное поведение. Улавливаете мою мысль?

Все выплыло наружу из-за цветочных луковиц. Один приятель моих родителей, живущий в соседнем районе, предложил им несколько лишних луковиц нарциссов. Мать пообещала, что муж, возвращаясь из клуба домой, за ними заедет. А сама позвонила в клуб. Подошедший к телефону секретарь сказал, что мистера Бишопа там нет. Когда ответ на вопрос застает мою мать врасплох, она обычно усматривает в этом проявление глупости собеседника.

— Да он там у вас в бильярд играет, — бросила она.

— Нет, не играет.

— Не валяйте дурака!

Хорошо себе представляю, каким тоном это было сказано.

— По средам он всегда ездит к вам днем играть в бильярд.

— Сударыня, — услышала она в ответ, — я уже двадцать лет работаю в клубе, и никто еще ни разу не играл в среду днем в бильярд. В понедельник, во вторник, в пятницу — да, играют. Но не в среду. Я доходчиво объясняю?

В то время матери было восемьдесят, а отцу восемьдесят один.

— Ступай вразуми его. А то совсем рехнулся. Так бы и задушила эту сучку!

Опять всё на меня. Как всегда. Не на сестру, а на меня одного. Только на сей раз речь шла не о завещаниях, не о доверенности или доме престарелых.

От матери ощутимо исходил тот нервный ток, который возникает в критические минуты жизни и держится на странной смеси возбужденности, тревоги и подспудного изнеможения.

— Он к голосу рассудка глух. Вообще ничего слушать не желает. Пойду обрежу черную смородину.

Завидев меня, отец стремительно поднялся с кресла. Мы, как всегда, пожали друг другу руки.

— Рад, что ты заехал, — сказал он. — А то твоя мать к голосу рассудка глуха.

— Я все же не голос рассудка, так что больших надежд на меня не возлагай.

— Ничего я на тебя не возлагаю. Просто рад тебя видеть.

Отец редко выражал удовольствие с такой откровенностью, и я забеспокоился. Насторожила меня и его поза: обычно он садится вполоборота, скособочась, смотрит искоса, да и думает так же. А тут сидит прямо, точно аршин проглотил.

— Мы с твоей матерью разъезжаемся. Я ухожу к Элси. Мебель и счет в банке разделим. Она может жить в этом доме сколько ей заблагорассудится. Мне он, признаться, никогда не нравился. Но дом, естественно, наполовину мой, поэтому, если она решит из него уехать, ей придется подыскать себе жилье поменьше. Можно было бы отдать ей и машину, если б она умела водить, а так — смысла нет.

— И давно все это началось, папа?

Он смотрел на меня, не моргая и не краснея; потом еле заметно покачал головой:

— А вот это, на мой взгляд, тебя не касается.

— Очень даже касается. Я тебе как-никак сын.

— Верно. Небось, волнуешься: а вдруг я изменю завещание. Не имею такого намерения. Пока. Речь только о том, что я переезжаю к Элси. С твоей матерью не развожусь, ничего подобного не затеваю. Просто буду жить у Элси.

По тому, как он произносил ее имя, я понял, что моя миссия — как ее понимала мать, во всяком случае, — успеха иметь не будет. Он не запинался виновато, не ударялся в ложный пафос; в его устах имя Элси звучало солидно и весомо.

— Как же мама будет без тебя жить?

— Ничего, поживет одна. — Тон был не жесткий, но решительный; следовало понимать, что отец уже все хорошенько обдумал, и любой здравый человек, поразмыслив, с ним согласится. — Будет сама себе начальством.

До этого тоже был случай, когда отец меня поразил: выглянув однажды в окно, я увидел, как он схватил залетевшего во фруктовый заповедник дрозда и тут же свернул ему шею. По движению губ я понял, что он клянет птицу на все корки. Затем он подвесил ее за лапки к сети, в назидание другим мародерам.

Мы еще немного поговорили. Вернее, говорил я, а отец слушал, но слушал так, словно перед ним мальчишка, который ходит по домам со спортивной сумкой, доверху набитой всякой ерундой: тряпками для вы-

тирания пыли, кусками замши и обшивками для гладильных досок. Стоит открыть дверь, и такой малец принимается уверять доверчивых хозяев, что если те хоть что-нибудь купят, то уберегут продавца от неправедной жизни. К концу своей речи я понял, что́ испытывают такие пацаны, когда я захлопываю дверь у них перед носом. Отец вежливо слушал, пока я расхваливал свой товар, но покупать ничего не стал.

— Ты все же об этом подумаешь, да, папа? — в заключение спросил я. — Повременишь немного, хорошо?

— Некогда мне временить, того и гляди помру.

Когда я повзрослел, отношения у нас с ним сложились дружелюбные, но сдержанные. Многое мы оба предпочитали обходить молчанием, зато общались на равных, с взаимным расположением. А тут вдруг между нами разверзлась пропасть. Впрочем, может — отнюдь не вдруг, и пропасть все та же, прежняя: отец опять превратился в родителя, который заново утверждает свое превосходство в знании жизни.

— Папа, дело, конечно, не мое, но у тебя с ней близость... физическая?..

Он в упор, без тени упрека посмотрел на меня своими ясными серо-синими глазами. Если из нас двоих кто и готов был залиться краской, так это я.

— Точно, Крис, это дело не твое. Но раз уж ты спрашиваешь, отвечу: да.

— И?..

Больше я не мог выдавить из себя ни слова. Ведь передо мной сидел мой отец, а не какой-то знакомый старикашка, пускающий слюни при виде смазливой бабенки. Он дал мне жизнь, а теперь, на восемьдесят втором году, прожив с женой чуть ли не полвека, уходит к женщине шестидесяти с чем-то лет. Я боялся даже мысленно сформулировать свои вопросы.

— Но... Почему сейчас? Если уж это тянется столько времени...

— "Столько времени"? О чем ты?

— Все эти годы, пока мы думали, что ты ездишь в клуб играть в бильярд...

— Чаще всего, сынок, я и правда ездил в клуб. А про бильярд говорил, чтобы упростить дело. Порой же просто сидел в машине и смотрел в поле. Нет, с Элси... это недавно.

Потом мама мыла посуду, а я вытирал. Передавая мне стеклянную крышку кастрюли, мама проронила:

— Небось, глотает это снадобье.

— Какое снадобье?

— Сам знаешь. То самое.

Я положил крышку и протянул руку за кастрюлей.

— Которое во всех газетах рекламируют. Рифмуется со словом "подагра".

— А-а.

Такие подсказки дают в кроссвордах, из тех, что полегче.

— Говорят, в Америке теперь старики похотливыми кроликами скачут из постели в постель.

Воображать отца похотливым кроликом мне было тошно.

— Все мужчины дураки, Крис, и с каждым годом только больше дуреют, вот и все перемены. Надо было мне жить одной.

Позже, зайдя в ванную, я открыл зеркальную дверцу и заглянул в шкафчик. Крем от геморроя, шампунь для ослабленных волос, вата,

присланный на заказ медный браслет, помогающий при артрите... Вздор, подумал я. Чтобы мой отец, да в этом возрасте... Невозможно.

Поначалу я решил: с ним случился самый что ни на есть типичный казус — отца, как и сотни других мужиков, просто-напросто сбило с панталыку самолюбие, жажда новизны, секса, наконец. Принято думать, что старикам это не свойственно, но ведь в реальности всё иначе. Дело обычное, пошлое и старое как мир.

А потом я подумал: откуда мне знать-то? С чего я взял, что мои родители больше не занимаются — ладно, давно не занимаются, — любовью? Спали же они вместе, пока не всплыла эта история. А много ли мне известно о физической близости в этом возрасте? Но тогда возникает вопрос: что для матери тяжелее — примерно в шестьдесят пять лет прекратить половые сношения с мужем, а годов через пятнадцать обнаружить, что он крутит любовь с женщиной как раз того возраста, в котором она сама отказалась его ублажать? Или наоборот, продолжать половые сношения даже через полвека совместной жизни и вдруг выяснить, что он ходит налево?

А вдруг дело здесь вовсе не в физической близости? — мелькнула мысль. И если бы отец сказал: "Нет, сынок, соль тут совсем не в интимных отношениях, я просто влюбился", может, я не испытывал бы такой брезгливости? Выходит, заданный мною вопрос, который я тогда едва из себя выдавил, оказался еще сравнительно легким. С чего мы взяли, что сердце увядает одновременно с гениталиями? Не с того ли, что нам желательно, даже необходимо считать старость порой безмятежности и покоя? Теперь я склонен видеть в этом еще один великий заговор молодого поколения. Впрочем, не только молодого, но и среднего тоже — до той минуты, пока мы сами не признаем себя стариками. Вообще-то круг заговорщиков еще шире, потому что к нему примыкают и сами старики. Сидят и, укутав колени пледом, угодливо кивают головами: да, мол, мы свое отгуляли. В их движениях нет прежней живости, кровь уж не та. И нет прежнего жара. Огонь угас — разве что кучка угольной пыли еще тлеет в камине, чтобы хватило тепла на предстоящую долгую ночь. Однако мой отец явно не желал играть по этим правилам.

Ничего не сказав родителям, я поехал к Элси.

— Да?

Высоко подняв голову и скрестив на груди руки, она стояла у забранной рифленым стеклом двери; нелепые очки поблескивали на солнце. Волосы цвета жухлой буковой листвы, сквозь них заметно просвечивает макушка. Щеки напудрены, но кое-где все равно проступают "звездочки" лопнувших капилляров.

— Может, поговорим? Мне... Родители не знают, что я здесь.

Она молча повернулась, и я двинулся за ней по узкому коридору в гостиную, не поднимая глаз от ее ног в чулках со швом. Планировка точь-в-точь как у моих родителей: справа кухня, прямо против входной двери две спальни, рядом с ванной кладовка, налево — гостиная. Возможно, оба дома строил один и тот же подрядчик. Не исключено, что все одноэтажные бунгало возводятся по единому проекту. Трудно сказать, я же не специалист.

Она опустилась в низкое, обитое черной кожей кресло и немедленно закурила.

— Предупреждаю, для нотаций я слишком стара.

На ней была коричневая юбка и кремовая блузка, в ушах крупные броские серьги в форме улиточьих раковин. Я раза два видел ее прежде, и она показалась мне малоинтересной особой. Я ей наверняка тоже. Теперь, сидя напротив и отказавшись от сигареты, я пытался разглядеть в ней соблазнительницу, разрушительницу семейного очага, предмет сплетен и единодушного осуждения, но видел лишь тетку шестидесяти с лишним лет, дебелую, чуточку встревоженную и ко мне настроенную весьма недружелюбно. Явно не соблазнительница, но и совсем непохожая на мою мать женщина.

— Я приехал не для того, чтобы читать вам нотации. Просто хочу разобраться.

— В чем тут разбираться-то? Ваш отец переезжает ко мне. — Она раздраженно пыхнула сигаретой и резким движением выхватила ее изо рта. — Не будь он таким порядочным человеком, уже сейчас жил бы здесь. А он настоял, что надо дать вам время свыкнуться с этой мыслью.

— Они женаты ведь очень-очень давно, — изо всех сил сдерживая себя, бесстрастно заметил я.

— Нужное-то не бросают, — отрезала Элси и, затянувшись, посмотрела на сигарету с некоторым неодобрением.

Пепельница была подвешена к ручке кресла кожаным ремешком с гирьками на концах. Я надеялся увидеть гору окурков, перепачканных ярко-красной помадой, и такие же ярко-красные ногти на руках и ногах. Увы, ничего подобного я не увидел. Зато на левой ноге заметил лечебный чулок. Что мне про эту женщину известно? Что она обихаживала престарелых родителей, потом Джима Ройса, а теперь, видимо, намеревается обихаживать моего отца. В гостиной было множество фиалок в баночках из-под йогурта, вороха пухлых думочек, пара мягких игрушек-зверюшек, встроенный в буфет телевизор, большая стопка журналов по садоводству, целый веер семейных фотографий, электрокамин в стене. В доме моих родителей все это тоже смотрелось бы прекрасно.

— Красивые фиалки, — проронил я.

— Спасибо.

Она словно выжидала: вот сейчас я брякну какую-нибудь глупость, и тогда можно будет на меня наброситься. Я промолчал, но это меня не спасло.

— Колотить не надо, ясно?

— Что?!

— Колотить человека не надо. Если хочешь удержать его при себе.

— Что за чушь!

— А то залепила сковородкой. И не куда-нибудь, а в висок, шесть лет назад, помните? Джим всегда ее в этом подозревал. И недавно снова за свое, да не раз и не два. Но урок она учла, бьет так, чтоб следов не оставлять. Дубасит теперь по спине. По-моему, она спятила на старости лет. Ей место в психушке.

— Кто вам сказал?

— Уж не *она*.

Элси сердито зыркнула на меня и закурила очередную сигарету.

— Моя мать...

— Не хотите — не верьте, воля ваша.

Она даже не пыталась завоевать мое расположение. Да и зачем оно ей? Она же не на роль у режиссера набивается. Уходя, уже на пороге я

автоматически протянул ей руку. Она коротко тряхнула ее и снова повторила:

— Нужное-то не бросают.

— Мама, ты когда-нибудь била отца? — спросил я.

Она мгновенно догадалась, откуда ветер дует.

— Это тебе та сучка наплела? Можешь ей передать, что я на нее в суд подам. Ее бы... в смоле да в перьях вывалять, так, кажется, принято обходиться с этими стервами.

Тогда я спросил отца:

— Папа, извини за дурацкий вопрос, но мама тебя когда-нибудь била?

— Я упал, сынок, — ответил он, ясными глазами глядя мне в лицо.

Я пошел в поликлинику и попал на прием к энергичной даме в широкой сборчатой юбке. От дамы сдержанно веяло душком высокой принципиальности. Она работает в поликлинике с тех пор, как доктор Ройс ушел на пенсию, сообщила докторша. Информация о больных огласке, разумеется, не подлежит. О любом факте бытового насилия врач обязан поставить в известность органы социального обслуживания. Шесть лет назад мой отец действительно пожаловался на ушиб в результате падения, но ни до, ни после ничего подозрительного не случалось; а какие у меня основания сомневаться в этом?

— Один человек мне кое-что рассказал.

— Ну, вы же знаете нравы жителей предместья. Впрочем, наверно, не знаете. А что это за человек?

— Так, одна особа.

— Как вы считаете, ваша мать способна прибегнуть к насилию по отношению к мужу?

Вот заладила: "насилие" да "насилие". Почему не сказать: "избить", "отколошматить", "бабахнуть по башке тяжелой сковородой"?

— Не знаю. Пойди их разбери.

Что ей нужно? Чтобы у отца по вмятинам на коже можно было прочесть имя изготовителя сковородки?

— Разумеется, все зависит от симптомов и показаний больного. Если, конечно, кто-то из членов семьи не заявит о своих подозрениях. Вы об этом ведете речь?

Нет. Я вовсе не намерен доносить на свою восьмидесятилетнюю мать, которая якобы напала на мужа годом старше ее; причем опираться я могу лишь на голословные утверждения женщины шестидесяти с лишним лет, которая, возможно, спит, а возможно, и не спит с моим отцом.

— Нет, — твердо произнес я.

— С вашими родителями я мало знакома, — продолжала врачиха. — Но они... — она помолчала, подыскивая эвфемизм поточнее. — Они ведь люди образованные?

Я разозлился не на шутку.

— Да. Отец получил образование шестьдесят лет назад, а то и больше, и мама тоже. Оно их наверняка и сейчас очень выручает. — И, сдерживая гнев, добавил: — Кстати, вы когда-нибудь прописываете виагру?

По ее взгляду я понял: она окончательно уверилась, что перед ней обыкновенный смутьян.

— За этим вам придется обратиться к вашему лечащему врачу.

Когда я вернулся в предместье, на меня накатил приступ меланхолии; казалось, будто я сам тут живу и мне смертельно надоел этот претенциозный перекресток с его почившей в бозе церковью, отвратительным навесом на автобусной остановке, с его одноэтажными домишками в "стиле" шале и чересчур дорогим магазинчиком, торгующим самыми необходимыми товарами. Я не без труда свернул на узкую полоску асфальта, высокопарно именовавшуюся подъездной аллеей, и увидел в глубине сада отца. Склонившись в три погибели, он что-то подвязывал во фруктово-ягодном заповеднике. Мама уже меня поджидала.

— Чертовка Джойс Ройс. Но они друг друга стоят. Два сапога пара — оба болваны. А у меня вся жизнь насмарку.

— Брось, мама, перестань.

— Чтоб я от тебя этих "брось, перестань" больше не слышала. Сначала доживи до моих лет. Тогда сможешь выступать с полным правом. Вся жизнь — насмарку.

Она демонстративно отметала любые возражения, тем самым тоже заново утверждая свое родительское верховенство.

Я взял чайник и налил себе заварки.

— Он перестоял.

— Не важно.

Повисло томительное молчание. Я снова чувствовал себя ребенком, который жаждет похвалы взрослых, во всяком случае, пытается избежать порицания.

— Мам, а ты помнишь "Тор"? — к собственному изумлению вдруг выпалил я.

— Что-что?

— "Тор". Стиральную машину, мы с Карен тогда еще под стол пешком ходили. Как же "Тор" скакал по кухне! Очень был своенравен. И вечно заливал пол.

— А по-моему, машина называлась "Хотпойнт".

— Нет-нет, — с необъяснимым жаром возразил я. — "Хотпойнт" ты купила позже. "Тор" мне врезался в память. Дребезжал он жутко, а шланги для воды были толстые, бежевого цвета.

— Чай, наверно, уже невозможно пить, — сказала мать. — Кстати, верни-ка мне карту, которую я тебе когда-то дала. Впрочем, не надо, просто выкинь ее и все. Карту острова Уайт, балда. Запутался, бедный. Понял наконец?

— Да, мама.

— И вот еще что. Если я умру раньше твоего отца, а оно на то похоже, пепел мой просто развей по ветру. Где угодно. Таково мое желание. Или предоставь это крематорию. Ты же не обязан забирать прах.

— Не нравятся мне твои речи.

— *Он* меня переживет. Скрипучее дерево два века стоит. А потом регистраторша заграбастает урну.

— К чему эти речи, мама?

— И водрузит на каминную полку.

— Мам, послушай, если даже все так и произойдет, то есть если вдруг ты умрешь раньше папы, у нее никаких прав на его урну с прахом нет. Только у нас с Карен. Элси не будет иметь к этому никакого касательства.

Услышав ненавистное имя, мать вся напряглась.

— Карен — отрезанный ломоть, а ты, сынок, доверия не заслуживаешь, верно?

— Мам...

— Ездил к ней втихомолку, а мне ни словечка не сказал. Уж точно: яблоко от яблони... Весь в папашу.

Если верить Элси, моя мать отравляла им жизнь постоянными телефонными звонками: "Утром, днем и ночью, особенно ночью. В конце концов, мы просто отключили телефон". По ее же словам, моя мать то и дело заставляла отца мотаться к ней по всевозможным домашним делам. Для этого она выдвигала целый ряд доводов: 1) бунгало наполовину принадлежит ему, следовательно, он обязан поддерживать его в хорошем состоянии; 2) на те деньги, что он ей оставил, мастера не наймешь; 3) не думает же он, что она, в ее-то возрасте, будет лазить на стремянку; 4) если он немедленно не приедет, она пешком придет к Элси и сама отведет его домой.

Если верить моей матери, не успевал отец уехать, как уже мчался обратно, предлагая починить то да се, вскопать сад, прочистить канавы, проверить, сколько топлива осталось в цистерне. По ее словам, отец жаловался, что Элси обращается с ним, как с собакой, не пускает в ветеранский клуб, купила ему преотвратные тапки и требует, чтобы он прекратил всякие контакты с собственными детьми. Мать утверждала, что отец донимает ее мольбами взять его обратно к себе, а она-де ему отвечает: "Сам кашу заварил, сам теперь и расхлебывай", хотя вообще-то просто хочет, чтобы он помучился еще немножко. По ее словам, отцу не нравится, что Элси небрежно гладит его рубашки и что вся одежда у него провоняла табаком.

Если верить Элси, моя мать так распричиталась из-за разбухшей от сырости задней двери, — засов, мол, не задвигается до конца, и любой бандюга теперь в мгновенье ока влезет в дом, изнасилует и убьет ее, спящую, — что отец скрепя сердце согласился приехать. По ее словам, отец клялся и божился, что едет в последний раз, пусть чертов дом хоть дотла сгорит вместе с моей матерью, но второй раз на такую поездку его не уломаешь. По ее словам, как раз когда отец чинил заднюю дверь, моя мать долбанула его по голове неизвестным предметом и оставила валяться без сознания в надежде, что он умрет, а "скорую помощь" вызвала только несколько часов спустя.

Если верить моей матери, отец назойливо предлагал починить заднюю дверь — ему, мол, не по себе оттого, что жена ночами там одна-одинешенька, и, позволь она ему вернуться, все разрешится само собой. По ее словам, в один прекрасный день отец неожиданно явился вместе с набором инструментов. Они посидели, поболтали часок-другой о прежних временах, о детях и даже достали несколько старых снимков, от которых слезы навернулись им на глаза. Она пообещала ему подумать о его возможном возвращении, но первым делом, раз уж он приехал, пусть починит дверь. Он взял ящик с инструментами и вышел, а она, убрав со стола чайные чашки, опять принялась рассматривать фотографии. Спустя время до нее дошло, что никакого стука со стороны кладовки не слышно. Отец лежал на боку и хрипел, в груди у него что-то булькало. Наверно, опять упал и стукнулся головой об пол, а пол-то там, как известно, цементный. Она вызвала "скорую помощь" — боже, как же

долго они ехали! — и подсунула ему под голову думочку, вот эту, на ней все еще видны следы крови.

По утверждениям полиции, миссис Элси Ройс подала жалобу на миссис Дороти Мэри Бишоп, которая якобы напала на мистера Стэнли Джорджа Бишопа с целью умертвить последнего. По завершении расследования было решено уголовное дело не возбуждать. Полиция утверждает, будто к ним поступила жалоба от миссис Бишоп на миссис Ройс, якобы ославившую ее на всю округу как убийцу собственного мужа. Пришлось провести с миссис Ройс разъяснительную беседу. Семейные раздоры улаживать всегда трудно, особенно если в них замешаны, если так можно выразиться, очень дальние родственники.

Мой отец лежит пластом уже два месяца. Через три дня после поступления в больницу он пришел в себя, но с тех пор его состояние почти не улучшается. Когда его только привезли, врач сказал мне: "Боюсь, в таком возрасте человеку немного надо, чтобы отправиться на тот свет". А недавно уже другой врач тактично заметил: "Вряд ли стоит питать большие надежды на выздоровление". У отца парализована левая сторона тела, сильно пострадали память и речь, он не может есть сам и по-прежнему страдает недержанием. Левая часть лица искривлена застывшей гримасой и напоминает кору старого дерева, но его серо-голубые глаза глядят все так же ясно, а седые волосы всегда чисто вымыты и тщательно приглажены. Трудно сказать, насколько он понимает то, что я ему говорю. Сам он внятно произносит только одну фразу, но вообще говорит очень мало. Гласные звуки вылетают из его перекошенного рта искаженными до неузнаваемости, и по его глазам видно, что он стыдится своей увечной дикции. Вот и предпочитает молчать.

Моя мать посещает его по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, считая, что четыре дня из семи положены ей по праву законной супруги. Она приносит ему виноград и газету за предыдущий день, а когда у него из левого уголка рта течет слюна, вытаскивает из коробки на прикроватной тумбочке бумажную салфетку и утирает ему рот. Если на столике лежит записка от Элси, мать рвет ее на клочки, а отец делает вид, что ничего не замечает. Она разговаривает с ним об их прошлой совместной жизни, о детях и памятных для обоих событиях. Когда она уходит, он провожает ее глазами и очень внятно говорит любому, кто готов его слушать: "Женушка моя... Столько счастливых лет позади".

По вторникам, четвергам и субботам отца навещает Элси. Она приносит ему цветы и сливочную помадку собственного изготовления, а когда он слюнявится, достает из кармана белый платочек с кружевной оторочкой и вышитой красными нитками буквой "Э" и с нескрываемой нежностью утирает ему этим платочком лицо. На безымянном пальце правой руки она теперь носит кольцо вроде того, что у нее на левой руке в память Джима Ройса. С моим отцом она разговаривает о будущем, о его выздоровлении и о том, как они тогда снова заживут вместе. Когда она уходит, он провожает ее глазами и очень внятно говорит любому, кто готов его слушать: "Женушка моя... Столько счастливых лет позади".

Безмолвие

В моей душе еще живо одно чувство, и с каждым годом оно только нарастает: страстное желание увидеть журавлей. В эту пору я всегда взбираюсь на холм и смотрю в небо. Сегодня журавли не появились. Одни лишь дикие гуси. Гуси были бы прекрасны, не будь на свете журавлей.

Молодой журналист из какой-то газеты помог мне скоротать время. Мы поговорили о Гомере, потом — о джазе. Он и не подозревал, что в "Певце джаза"[1] звучала моя музыка. Невежество современной молодежи меня иной раз даже возбуждает. Оно сродни тишине.

Поболтав так часа два, он словно невзначай спросил меня о моих новых сочинениях. Я улыбнулся. Он поинтересовался, как обстоят дела с Восьмой симфонией. Я сравнил музыку с крыльями бабочки. Критики недовольны, заметил он, утверждают, что вы "исписались". Я молча улыбнулся. А он гнул своё: некоторые — конечно же, он не из их числа — обвиняют меня в пренебрежении своими обязанностями, ведь правительство назначило мне внушительную персональную пенсию. И когда же все-таки будет закончена новая симфония? "Вы-то и не даете мне ее закончить", — уже без улыбки ответил я и позвонил, чтобы назойливого гостя выпроводили.

А ведь мне хотелось рассказать ему, что еще начинающим композитором я как-то переложил одно сочинение для двух кларнетов и двух фаготов. Поступок мой был исполнен изрядного оптимизма, поскольку на ту пору в стране имелось всего два фаготиста, и один из них страдал чахоткой.

Молодые карабкаются наверх. Естественно, они мне враги! Ты хочешь, чтобы они тебя признавали и уважали, а им на тебя наплевать. Возможно, они правы.

Само собой разумеется, что художника всегда понимают превратно. Дело это обычное, и с ним постепенно свыкаешься. Я же повторяю одно и настаиваю на этом: поймите меня превратно, только правильно.

Письмо из Парижа от К. Он в тревоге: волнуется из-за моих помет с указаниями темпа. Требует от меня письменного подтверждения. Для allegro ему необходима помета "метроном". Верно ли, что слова "doppo piu lento"[2] возле буквы "К" во второй части относятся только к трем тактам, спрашивает он. Маэстро К., пишу я в ответ, не имею ни малейшего желания опровергать вашу концепцию. В конце концов, — уж простите, если это прозвучит самонадеянно, — истину можно выразить не одним, а несколькими способами.

Помню разговор с Н. о Бетховене. Н. утверждал, что, когда маховик времени совершит очередной оборот, лучшие симфонии Моцарта будут жить по-прежнему, а вот бетховенские отойдут в прошлое. То же различие существует и между нами. Мы, композиторы, на многое смотрим

1. Фильм "Певец джаза", 1927, США, считается первой (или одной из первых) звуковой кинолентой Голливуда.
2. Вдвое медленнее (*итал.*).

совершенно по-разному. Я к музыке Н. испытываю совсем не те чувства, что к Бузони[1] и Стенхаммару[2].

В газетах пишут, что г-н Стравинский весьма невысокого мнения о моем мастерстве. Я считаю его слова величайшим комплиментом из всех, что мне доводилось слышать за долгую жизнь! Г-н Стравинский принадлежит к тем композиторам, что до старости мечутся между Бахом и новомодными поветриями. Но ведь музыкальному мастерству учишься не в школе у классной доски или у пюпитра. В этом-то плане г-н И. С. превзошел всех. Однако стоит сравнить мои симфонии с его мертворожденными вычурными опусами, и...

Один французский критик, стремясь выразить свое отвращение к моей Третьей симфонии, процитировал Гуно: "В до-мажоре сочиняет только Господь Бог". Вот именно. Как-то мы с Малером обсуждали законы композиции. По его мнению, симфония, подобно окружающему миру, должна содержать в себе всё. В ответ я сказал, что суть симфонии в ее форме; только стилистическая строгость и безупречная логика создают внутреннюю, глубинную связь между музыкальными темами.

Когда музыка уподобляется литературе, то это плохая литература. Музыка начинается там, где кончаются слова. Что же наступает, когда смолкает музыка? Молчание, тишина. Все прочие искусства стремятся возвыситься до музыки. А к чему стремится музыка? К безмолвию. В таком случае я добился успеха. Ныне я славен своим долгим молчанием не меньше, чем прежде — своей музыкой.

Разумеется, я мог бы по-прежнему сочинять всякие пустячки. Интермеццо ко дню рождения новой жены двоюродного брата С., у которой педализация вовсе не столь безупречна, как ей кажется. Вняв призыву государства и мольбам десятка городов и деревень, я мог бы сдаться и пойти на уступки. Но это было бы притворством. Мой путь почти завершен. Даже мои недруги, ненавидящие мою музыку, признают присущую ей логику. А в музыке логика ведет в конце концов к тишине.

А. обладает силой характера, какой у меня нет. Еще бы, она — дочь генерала. Окружающие видят во мне человека знаменитого, семьянина, имеющего жену и пятерых дочерей, которые смотрят мне в рот. Те же люди утверждают, что А. пожертвовала собой ради меня. А я пожертвовал собой ради моего искусства. Композитор я прекрасный, но вот человек... гм, это другой вопрос. Тем не менее я всегда ее любил, мы с ней пережили немало счастливых минут. Когда мы только познакомились, она казалась мне Юсефсоновой[3] русалкой, укладывающей своего рыцаря на ложе из фиалок. Да только в жизни не так все благостно. Таившиеся до поры демоны вырываются на волю. Сестра в психиатрической лечебнице. Пьянство. Невроз. Тоска.

Не унывай! Смерть уже не за горами.

Отто Андерссон так тщательно составил мое генеалогическое древо, что с души воротит.

1. Ферруччо Бузони (1866–1927) — итальянский пианист, композитор, дирижер.
2. Вильхельм Стенхаммар (1871–1927) — шведский композитор.
3. Эрнст Юсефсон (1851–1906) — шведский художник и поэт.

Некоторые считают меня тираном, потому что дома моим пятерым дочерям всегда запрещалось петь или играть на музыкальных инструментах. Чтоб ни веселеньких скрипичных взвизгов под неумелой рукой, ни тревожного воя полузадохнувшейся флейты. Как?! В доме великого композитора ни единого звука музыки?! Зато А. меня понимает. Ей ясно, что музыка приходит из безмолвия. Приходит из него и в него же возвращается.

А. и сама умело пользуется молчанием. Бог свидетель, меня можно упрекнуть во многом. Я никогда не утверждал, что принадлежу к тем мужам, которым поют хвалы в храмах. После казуса в Гётеборге А. написала мне письмо, с которым я не расстанусь, пока смертный хлад не скует мои члены. Но в обычные дни я не слышу от нее ни слова упрека. И, в отличие от всех прочих, она не спрашивает, когда же будет завершена моя Восьмая. Просто молча хлопочет вокруг меня. Я сочиняю по ночам. Нет, по ночам я сижу за столом с бутылкой виски и пытаюсь работать. Потом просыпаюсь: голова на партитуре, рука сжимает воздух. Пока я спал, А. вынула из нее бутылку. Но этого мы не обсуждаем.

Алкоголь, от которого я некогда отказался, теперь стал мне самым верным товарищем. И самым понимающим!

Я ухожу из дома, чтобы в одиночестве пообедать и поразмышлять о феномене смерти. Или направляюсь в "Чемп", в "Кёниг" или в клуб — поговорить на эту тему с другими посетителями. О странном тезисе "Man lebt nur einmal"[1]. Я подсаживаюсь к "лимонному" столу. За ним разрешено, даже положено, рассуждать о смерти. Обстановка здесь очень располагает к разговору. Но А. этих разговоров не одобряет.

У китайцев лимон — символ смерти. Вот и Анна Мария Ленгрен[2] в своем стихотворении пишет: "Похоронен с лимоном в руке". Именно так. А. непременно попыталась бы этому воспротивиться, ссылаясь на одиозность такого захоронения. Но кому, как не трупу, дозволено быть одиозным?

Сегодня, взобравшись на холм, я, наконец, услышал журавлей, хотя увидеть их так и не удалось. Слишком низкая облачность. Тем не менее до меня отчетливо доносилось их гортанное курлыканье. Они летели на юг, вслед за уходящим летом. Невидимые, они казались тем более прекрасными и таинственными. Журавли вновь и вновь учат меня благозвучию. Их музыка, моя музыка, музыка. Да, только так. Стоишь на холме, а из-за пелены облаков слышатся звуки, от которых сжимается сердце. Музыка, даже моя, всегда, пусть и невидимо, стремится на юг.

Друзья один за другим покидают меня, и я уже не понимаю почему — то ли из-за моего успеха, то ли из-за моего полного краха. Что ж, такова старость.

Вероятно, я человек тяжелый, но не настолько же. Когда я в очередной раз пропадаю из дому, все знают, где меня искать: в лучшем ресторане, с устрицами и шампанским.

Во время поездки в Соединенные Штаты я очень удивил американцев тем, что ни разу в жизни не брился сам. Они, видимо, приняли ме-

1. "Живешь лишь раз" (*нем.*).
2. Анна Мария Ленгрен (1754–1817) — шведская писательница, поэтесса.

ня за аристократа. Но чего нет, того нет, да я и не тщусь им слыть. Я обычный человек, просто решивший не тратить попусту время на самостоятельное бритье. Пусть моим бритьем занимаются другие.

Нет, неправда. Подобно отцу и деду, я человек тяжелый. Вдобавок я художник; это обстоятельство лишь усугубляет ситуацию. Не меньше, чем мой самый верный и понимающий товарищ. Мало наберется дней, которые я мог бы пометить словами: sine alc[1]. Трясущимися руками записывать музыку очень непросто. Дирижировать тоже. По моей милости жизнь А. во многих отношениях стала му́кой. Я этого не отрицаю.

Гётеборг. Перед концертом я пропал из дому. В обычном месте меня не нашли. У А. нервы были на пределе. Тем не менее она поехала на концерт, моля Бога, чтобы все обошлось. К ее изумлению, в назначенный час я вышел на сцену, поклонился и поднял дирижерскую палочку. Но вскоре, будто дело было на репетиции, прервал увертюру. Публика в недоумении, оркестранты — тем более. Я же постучал палочкой по пюпитру и начал заново. Потом, утверждает А., грянул полный сумбур. Публика была в восторге, рецензии — сплошь положительные. Я, однако, верю А. После концерта, стоя в толпе друзей у концертного зала, я вдруг вытащил из кармана бутылку виски и жахнул ее о каменные ступени. Ничего этого я не помню.

Мы вернулись домой. Утром, когда я мирно пил кофе, А. протянула мне письмо. После тридцати лет супружества, житья со мной в моем доме, она вдруг решила мне написать. С тех пор ее письмо всегда при мне. В нем она называет меня тряпкой, никчемным человеком, который ищет спасения от трудностей в пьянстве, воображая, что спиртное поможет ему создавать новые шедевры; но он жестоко ошибается. Она, во всяком случае, никогда больше не пойдет смотреть, как я дирижирую в пьяном виде. Еще одного публичного унижения ей не выдержать.

Я не стал отвечать ни устно, ни письменно. Попытался ответить делом. А. сдержала данное в письме слово и не поехала со мной ни в Стокгольм, ни в Копенгаген, ни в Мальмё. Ее письмо всегда при мне. А на конверте я написал имя нашей дочери, пусть прочтет после моей смерти.

Как ужасна для композитора старость! Все теперь идет уже не в прежнем быстром темпе; при этом недовольство собой разрастается до немыслимых масштабов. Окружающие видят лишь успех, рукоплескания публики, пышные приемы, персональную пенсию, преданных домочадцев и поклонников во всех концах света. Они подмечают, что мои туфли и рубашки изготовляются на заказ в Берлине. Что к моему восьмидесятилетию была выпущена марка с моей физиономией. Журналистская братия преклоняется перед этими атрибутами успеха. Но я считаю их низшим видом человеческого рода.

Помню, как предавали сырой земле тело моего друга Тойво Куулы[2]. Егерские стрелки ранили беднягу выстрелом в голову, и несколько недель спустя он умер. На похоронах я размышлял о бесконечно печальной участи художника. Столько труда, таланта, мужества — и вдруг все-

1. Без алкоголя (*лат.*).
2. Тойво Куула (1883—1918) — финский композитор; погиб на исходе гражданской войны в Финляндии.

му конец. Сначала непонимание, потом забвение. Такова судьба человека искусства. Мой приятель Лагерборг[1] придерживается точки зрения Фрейда, считавшего, что для художника искусство — лишь средство избежать невроза. Своим творчеством сочинитель компенсирует неспособность полнокровно жить обычной жизнью. Пожалуй, это не более чем развитие вагнеровской мысли. Вагнер утверждал, что, если бы мы умели наслаждаться жизнью, потребность в искусстве отпала бы вообще. Мне кажется, у них все поставлено с ног на голову. Не спорю, художник и вправду склонен к неврозам. Уж не мне это отрицать. Я сам человек нервный, порой глубоко несчастный, но это, скорее, следствие, а не причина того, что я — художник. Мы, люди искусства, ставим перед собой высокие цели, но очень часто их не достигаем; как тут не развиться неврозу? Мы же не трамвайные кондукторы, чья обязанность лишь пробивать компостером билеты пассажиров да вовремя объявлять остановки. Помимо сказанного, отвечу Вагнеру очень просто: разве без одного из величайших наслаждений — без глубокого понимания искусства — возможна полнокровная жизнь?

Вот вопрос, на который в теориях Фрейда ответа не найти: что́, если симфонист, мучительно пытающийся постичь и воплотить в своем творчестве такие законы чередования звуков, которые не устареют никогда, — что, если он совершает бо́льший подвиг, нежели человек, отдающий жизнь за короля и отечество? На подобную смерть способны многие, а уж сажать картошку, пробивать билеты пассажиров и делать прочие полезные дела — еще больше.

Вагнер! От его богов и героев у меня уже полвека мороз по коже.

В Германии получил приглашение послушать новую музыку. Я сказал: "Вы производите коктейли немыслимой пестроты, чего только в них не намешано. А тут являюсь я с чистой холодной водой". Моя музыка — это расплавленный лед. В ее движении чувствуются скованные стужей истоки, в ее созвучиях слышится первородное безмолвие.

Меня спросили, в какой из зарубежных стран к моему творчеству относятся с наибольшим одобрением. В Англии, ответил я. В этой стране отсутствует шовинизм. В один из приездов чиновник иммиграционной службы даже узнал меня в лицо. Я познакомился там с Воном Уильямсом[2]; разговаривали мы на французском — единственном общем для нас языке, кроме музыки. Однажды после концерта я произнес речь. У меня здесь много друзей, сказал я, и, надеюсь, врагов тоже, что вполне естественно. В Борнмуте один начинающий музыкант, выразив мне свое почтение, в простоте душевной обмолвился, что ему не по карману съездить в Лондон послушать мою Четвертую симфонию. "Я дам вам ein Pfund Sterling"[3], — сказал я и немедленно полез в карман.

Оркеструю я лучше Бетховена, и темы у меня лучше. Но он родился в краю вин, а я — в стране, где бал правит кислое молоко. Талант (чтобы не сказать — гений) вроде меня не может питаться одними сладкими сырками со сливками.

1. Рольф Эриберт Яльмар Лагерборг (1874—1959) — финский философ.
2. Рейф Вон Уильямс (1872—1958) — английский композитор.
3. Фунт стерлингов (*нем.*).

Во время войны архитектор Нордман прислал мне посылку в форме футляра для скрипки. Это и был футляр, но вместо скрипки в нем лежала копченая баранья нога. В ответ я сочинил "Каприз Фридолина" и, присовокупив благодарность за délicieux violon[1], отправил Нордману. Я знал, что он очень увлекается пением a capella[2]. Потом от кого-то принесли ящик миног. Я отблагодарил вещицей для хорового исполнения. А про себя подумал, что все теперь шиворот навыворот. Во времена меценатов композиторы спокойно творили, и, пока вдохновение их не покидало, им было что есть. Ныне же мне присылают еду, а я в благодарность сочиняю музыку. Стало быть, сегодня всем правит случай.

Диктуниус[3] назвал мою Четвертую симфонию "буханкой из древесной коры", намекая на те давние времена, когда бедняки примешивали к муке истолченную в порошок кору деревьев. Буханки получались не лучшего качества, зато спасали от голода. А Калиш заявил, что в Четвертой воплотилось мрачное, негативное мировосприятие автора.

В молодости критика больно ранила меня. Теперь, пребывая в меланхолии, я перечитываю неодобрительные отзывы о моих работах и сразу прихожу в хорошее расположение духа. "Всегда помните, — говорю я коллегам, — что не найти в мире города, в котором воздвигли бы памятник критику".

На моих похоронах будут играть медленную часть Четвертой. А еще хочу, чтобы меня положили в гроб с лимоном в той руке, что писала эти звуки.

Нет, А. вынет лимон из моей мертвой руки, так же как она вынимает бутылку из моих пока еще живых пальцев. Но она не посмеет изменить мою последнюю волю — чтоб исполняли симфоническую "буханку из древесной коры".

Не унывай! Смерть уже не за горами.

"Как ваша Восьмая?" Ни о чем другом меня не спрашивают. Когда же она будет закончена, маэстро? Когда мы сможем ее опубликовать? Хотя бы вступление. Вы предложите К. дирижировать ею? Почему вы так долго ее сочиняете? Отчего курица перестала нести нам золотые яйца?

Господа, возможно, новая симфония появится, а возможно, и нет. На нее у меня ушло лет десять, двадцать, почти тридцать. Возможно, понадобится и больше тридцати. Возможно, и через тридцать лет ничего не появится. Возможно, она просто сгорит в огне. Пламя, потом тишина. В итоге этим кончается все. Поймите меня превратно, только правильно, господа. Не я выбираю безмолвие. Безмолвие выбирает меня.

Сегодня именины А. Она желает, чтобы я пошел с ней за грибами. В лесу полезли сморчки. Искать грибы я не мастак. Тем не менее, мобилизовав все свое трудолюбие, талант и мужество, я отыскал-таки один-единственный сморчок. Выдрал из земли, поднес к носу, понюхал и благоговейно опустил в маленькую корзиночку А. Исполнив свой долг, я стряхнул с манжет сосновые иглы и отправился домой. Потом мы играли дуэты. Sine alc.

1. Восхитительную скрипку (*франц.*).
2. Без инструментального сопровождения (*итал.*).
3. Эльмер Диктуниус (1896–1961) — финско-шведский писатель.

Великолепное auto da fe[1] рукописных партитур. Набив полную бельевую корзину, я на глазах у А. стал кидать их в пылающий камин. Через некоторое время, не в силах выдержать это зрелище, она вышла из гостиной. Я же продолжил благое дело. К концу трудов я успокоился и повеселел. Удачный выдался денек.

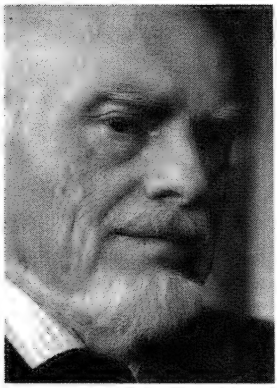
Все теперь идет уже не в прежнем быстром темпе... Верно. Однако с чего мы взяли, что последний жизненный этап непременно окажется rondo allegro[2]? Как бы поточнее обозначить темп? Maestoso?[3] Такое везенье мало кому выпадает. Largo[4] все-таки тоже чересчур возвышенно. Largamente e appassionato?[5] Так может начинаться последняя часть — взять хотя бы мою собственную Первую. Но в жизни эта часть не завершается allegro molto[6], когда дирижер бешено машет палочкой, заставляя оркестрантов играть все быстрее и громче. Нет, для исполнения последней части на сцену является пьянчуга, старикашка, не узнающий собственной музыки, болван, не способный отличить репетицию от выступления. Какую же дать помету? Tempo buffo?[7] Нет, вот какую: sostenuto[8], а дальше пусть дирижер действует по своему усмотрению. В конце концов, истину можно выразить не одним, а несколькими способами.

Сегодня утром я, как всегда, отправился на прогулку. Взобравшись на холм, повернулся лицом к северу. "Птицы моей молодости! — воззвал я. — Птицы моей молодости!" И стал ждать, глядя в свинцовое небо. На сей раз журавли летели ниже тяжелых туч. У холма один вдруг отделился от клина и направился прямиком ко мне. Я приветственно поднял руки. Он медленно сделал круг надо мной и, трубно курлыкнув, вернулся к остальным — продолжать путь в далекие южные страны. Я смотрел вслед, пока в глазах не потемнело, напрягал слух, пока не стихли все звуки и вновь не воцарилось безмолвие.

Тогда я медленно побрел назад к дому. И, ступив за порог, попросил принести мне лимон.

1. Аутодафе — в Средние века публичное сожжение по законам инквизиции.
2. Быстрым рондо (*итал.*).
3. Величаво (*итал.*).
4. Очень медленно (*итал.*).
5. Протяжно и страстно (*итал.*).
6. В очень быстром темпе (*итал.*).
7. В веселом темпе (*итал.*).
8. Сдержанно (*итал.*).

Альберто Карамелла



"Я был незаменимым почтальоном"

Стихи

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

В 1999 году флорентийский фонд "Фьоре" пригласил Татьяну Бек принять участие в литературном вечере из цикла "Поэты во Флоренции", предложив мне представить русскую поэтессу итальянским слушателям. Тогда я и познакомился с основателем и президентом фонда Альберто Карамеллой. Что сам он поэт, я не знал, но о том, что это человек, влюбленный в поэзию, говорила деятельность созданной им организации, направленная на пропаганду достижений современной мировой поэзии в родном городе Данте (в разное время гостями Фонда были нобелевские лауреаты Дерек Уолкотт и Шеймас Хини, американец Марк Стрэнд, швед Ларс Густафссон, француз Мишель Деги, итальянцы Марио Луци и Мария Луиза Спациани, другие известные поэты).

В привезенные из Флоренции книги нового знакомого я, вернувшись домой, заглянул не сразу. Спустя какое-то время они сами напомнили о себе, вынырнув из-под спуда других книг, журналов и папок с рукописями, газетными вырезками и прочими, образно выражаясь, средствами маскировки. Два или три стихотворения, показавшиеся мне особенно интересными, я тогда же перевел, отложив другие стихи на потом. Это "потом" настало в апреле нынешнего года, когда Альберто Карамелла приехал в Москву для участия в вечере, посвященном сто десятой годовщине со дня рождения Эудженио Монтале. По замыслу организаторов вечера, визитной карточкой гостя должны были стать его стихи, так что к переведенным ранее двум-трем стихотворениям прибавились своевременно еще два-три. Тогда же возникла мысль об этой публикации, которую я посвящаю памяти Татьяны Бек.

При всей условности жанровых мерок применительно к произведениям современной поэзии, стихи Карамеллы я бы отнес к жанру философской лирики. В

© Casa Editrice le lettere 1995, 1997, 1999
© Passigli Editori, 2005
© Евгений Солонович. Перевод, вступление, 2006
Редакция благодарит Альберто Карамеллу за любезно предоставленное право безвозмездной публикации его стихов на страницах журнала.

них почти нет чистой описательности, взгляд на природу, на мир, на событие обусловлен порывом, внутренним состоянием, жизненным опытом автора, его пониманием предмета поэзии. Выбор учителей, среди которых мне видятся Саба и Монтале (скорее поздний, чем ранний), говорит о влиянии, об уроках, но исключает подражание. Приметы внешнего мира в том или ином стихотворении достаточно сами по себе обыденны, иногда до банальности, что равносильно отказу от любой экзотики, способной замкнуть на себе читательское внимание, отвлечь от содержательной основы поэтического высказывания. Это вовсе не значит, что в стихах Карамеллы нет той тайны, без которой подлинная поэзия невозможна. Кокетливая формула "поэзия должна быть глуповата" опровергается всей историей литературы, и трудно не согласиться с Кантом, видевшим в поэзии искусство придать свободной игре воображения характер задания для ума. Отдельные стихи Карамеллы требуют восприятия не только на уровне чувства, на уровне сопереживания: вторая жизнь этих стихов, отклик, который они находят у читателя, зависят не в меньшей, если не в большей, степени от чуткости мыслительных антенн, от готовности увидеть за тем, что сказал поэт, то, что он хотел сказать. Утверждая естественность для него поэтической формы высказывания, Карамелла отдает предпочтение традиционным для итальянской поэзии метрам, среди которых выделяется одиннадцатисложник, условно приравниваемый у нас к пятистопному ямбу. Рифму, в отличие от большинства современных западных поэтов, рудиментом он не считает, однако пользуется ею взвешенно, не обязательно определяя на привычное для нее место в конце стихотворной строки. Уделяет большое внимание звуковой ткани стиха.

В прошлом успешный адвокат, сочетавший адвокатскую практику с преподаванием гражданского права на юридическом факультете университета, Альберто Карамелла поздно начал печататься: его первую книгу "Тысяча причин для жизни" составили стихотворения, написанные в течение пятидесяти лет (1945—1995). С предисловием к книге выступил один из самых именитых итальянских критиков Джорджо Лути, назвавший эти пятьдесят лет годами "долгой и вдохновенной работы в поисках выразительной сущности слова". За первым сборником, быстро разошедшимся и потому переизданным уже через два года, с разными интервалами последовали еще три, и все хорошо были приняты критикой (вышедшая в 2005 году "Освобожденная книга" собрала добрую дюжину положительных рецензий). Критик журнала "Феерия" Кармело Медзасальма услышал в голосе "флорентийского поэта один из самых подлинных и взволнованных голосов современной поэзии". Предупреждая возможность недоверия к плодовитому автору, известный итальянский поэт Данте Маффия обратил внимание "профессиональных" скептиков на то, что Альберто Карамелле удалось "создать новые смыслы, изобразить рассветы и закаты, которые без него оставили бы нас равнодушными". Автор, издающий раз в несколько лет по объемистой книге стихов, должен верить в своих читателей, в способность каждого из них найти в очередной книге стихи для себя, созвучные именно ему, важные для него. В роли доверенного читателя выступает, можно сказать, и переводчик поэта, берущий на себя смелость представить его творчество у себя в стране.

Обрамление

В купе я сразу погрузился в чтенье.
Соседи отдавали предпочтенье
пейзажу за окном и разговорам.

Заскрежетали тормоза. Я поднял
глаза. Попутчики не раз, быть может,
сменились, и не раз уже, быть может,

пейзаж менялся за окном вагона:
сейчас там был холодный городишко
и слышался другим понятный говор.

В *детстве*

Я мог вообразить себя боксером.
Я падал как подкошенный и снова
вставал ответить на удар ударом.

Про ветряные мельницы не ведал
я ничего еще, не знал, что можно
страдать и умирать не понарошку.

* * *

Хрустальный свет разлит вокруг пригорка.
Недавний дождь — почти что оговорка
одумавшейся вовремя природы.

То, что весна приходит с опозданьем,
ей не мешает быть самой собою,
мир обновляя.

Без посторонней помощи она
наложит вето
на капризы ветра.

На пороге

Мне нужно знать, что ты меня услышишь.
Дрожащий голос.

Так ветру в поле кланяется колос.

Никто на свете
не скажет "с добрым утром"

приветливее, чем далекий
в твое отсутствие твой оклик —

постскриптум на рисунке
из детства, росчерк, утренний росточек

навстречу солнцу.

Моление

Каменотесы. Согнутые спины,
сухие руки, стянутые солнцем,
и мокрые, хоть выжимай, рубахи.

Резцам и молоткам хватало дела,
был точен молоток уже при взмахе,
так и летели каменные искры.

Обедать, как всегда, садились в полдень,
на каждого пол-луковицы с солью
и хлеб по равному куску на брата.

Соборы, в каждом камне — божья помощь
и вера, сами камни бессловесны.
Из века в век беззвучные молитвы.

* * *

Легкие сны вдоль рассвета скользят —
ветер навеял.
Ткут паутину светящихся пут
разные дива.

Смутные мысли придут и уйдут
нетерпеливо.

Может, найдут, а быть может, и нет
лист прошлогодний.

(Ноги тем временем просятся в пляс.)

Весеннее равноденствие

Я берегу в душе твое дыханье,
согретый им как вешним дуновеньем,
которое приносит равноденствие
в такую ночь, когда все небо в звездах,
как будто зимние дожди не лили
еще на той неделе.

Контроль над собой

Пожалуйста прошу вас уходите
минутку дайте мне сказать минутку
все уходите разговор окончен
вы чем-то недовольны на здоровье
мне все равно я не хочу вас видеть
вы наконец уйдете сколько можно

но я ведь забронировал проверьте
меня зовут вы видите я занят
но это незаконно согласитесь
никто на свете не имеет права
позвольте чем вы лучше чем другие
пожалуетесь вас поднимут на смех
вы запретите падать самолетам
крушенья поездов предотвратите
какой еще заказ вы что смеетесь
я занят неужели не понятно
я вами сыт по горло уходите
что ж вы сидите хватит поднимайтесь
да я вас прогоняю шевелитесь
довольно не задерживайте очередь
на вашем месте я бы не скандалил
но мой билет вся жизнь моя зависит
я вам сказал билетов нет и точка
как это нет когда билет заказан
все следующий вы мне надоели
ну сколько можно повторять исчезните
поймите же я не хочу вас видеть.
Я вас не видел. Вы пустое место.

* * *

Тот, кто проникнуть сможет в недра слова,
проникнет в царство тишины.

Кто вслушается в тишину, уловит
пунктирный звук:

причудливый, почти невнятный голос
(движение причудливой материи?),
чуть смолкнет он — и снова ты один.

Наверно, это эхо тишины.

* * *

Сменяет панорама панораму,
как будто понарошку существуя
в рассеянном волшебном свете рампы:
идет спектакль, все в постановке дышит
любовью, страстью, вышедшей (причастие)
из берегов.

В *конце дня*

Я спугнул воробьиную стаю,
и она, оторвавшись от поля,

поднялась над его бороздами,
унося шелест крыльев в предгорья, —

черных точек летучая россыпь,
ноты, выпорхнувшие на волю
со страниц партитуры в причудливой жажде напомнить
о себе независимо друг от дружки.

Не *дождавшись*

В той стране лунный свет серебрил парашюты
теплых снов, помогая им плавно спускаться.
Книга ярких чудес открывала страницы
с самоцветами незабываемых сказок.
Их читал, от усталости путая буквы,
голос над изголовьем из вечера в вечер.

Феи, принцы, избранницы сказочных принцев
знали роли свои, судьбы переплетались,
и при том, что счастливый конец был известен,
все равно каждый раз его ждали как новый.
Иногда засыпали, так и не дождавшись
белой части страницы.

* * *

Я был незаменимым почтальоном.
Все письма адресатам вручены.

А если кто-то рвал их, не читая, —
Так в этом не было моей вины.

* * *

Ночами повторяю эти ноты.
Они со мной, они меня не бросят,
они со мной на равных говорят,
в их голосе свой грустный голос слышу.
Мигает свет, шлет мне сигналы Морзе,
нанизывая точки и тире.
В них не было бы для меня загадки,
когда бы знал я этот алфавит.
Прислушиваюсь к ним, любуюсь ими —
и медленно всплывает на поверхность
пейзаж, воспоминание, значенье.
Еще чуть-чуть, и, может быть, всплывет
то, что, быть может, ищет расшифровки,
а я, я что-то медлю, я устал,

и снова канет вглубь мое посланье,
и я безвольно следую за ним.

На дереве строфу шлифует птица.

Последнее слово

Такое чувство, словно ты хоронишь
близкого человека. Ты боишься
несогласованности чувств, не знаешь,
что будет, если ненароком тронешь
ту часть давно чужих воспоминаний,
которые свой ряд в строю забыли
и к смотру на плацу готовы вряд ли
намного лучше сонных новобранцев.

Вопрос "быть или нет" обрел уместность.

Еще земле не преданы останки,
а мы уже как миленькие смотрим
в другую сторону, в другое измеренье.

Стратегия

Сидящие с невозмутимым видом
один другого изучают взглядом.

Без пересдачи карт не обойдется.

Да, но кому-то рано или поздно
должна достаться пиковая дама.

* * *

Что это? Назвав состояние воздуха ветром,
готов согласиться, что я бы ошибся с ответом,
отвергнув возможность вечернего бриза,

который без жалоб капризных сюда долетает,
где улица к порту ведет и где на перекрестке
мне выбор еще предстоит между морем и сушей.

* * *

Проснулся. Как я встал, никто не слышал.
Оделся молча. Так же молча вышел,
дверь осторожно придержав,
чтобы не стукнула. Открыл другую,

входную, напугав замок
его же собственным щелчком.
На темной лестнице,
когда спускался,
нащупал не дававшуюся ноту.
Мир изменился. Пусть на йоту.

* * *

Вдоль берега пройти,
увидеть перевернутые лодки,
с которых лето напоследок
скребком песочным соскоблило краску.

На гребне дремлет пламя
и обессиленное меркнет, чтобы кануть
здесь, где неспешно затопляет море
вечернюю безбрежность.

* * *

Время в зеркале времени — то и не то.
Кто часы перевел,
кто забыл или делает вид, что не вспомнил.
Если сверить часы,
по одним еще рано и поздно уже по другим.
Циферблату помехою грим —
стрелки дружно буксуют,
время мстит за себя.

* * *

Смешались тени, корчась
в опасном замкнутом пространстве памяти.
Фильм жизни мог бы выиграть, закончись
монтаж не так. Украсть монтажный стол...
Все переделать...

* * *

Прибой своим катком укатывает берег,
все волны в одинаковых барашках,
одна перед другой не входит в раж,
нахлынет — и назад, навстречу новой,
непогрешимый маятник.

Орхан Памук

Нобелевская премия 2006 года

Смотреть из окна

Рассказ

Перевод с турецкого М. Букуловой

1

КОГДА нечего смотреть и нечего слушать — это уже не жизнь, а сплошная скука. В моем детстве со скукой боролись, слушая радио или глядя из окна на улицу, на прохожих, в окна домов напротив. В то время, в 1958 году, в Турции не было телевизоров. Не то чтобы не было совсем, скорее это "не было" походило на то, как в стамбульских кинотеатрах с оптимизмом говорят "в прокат еще не поступила" о какой-нибудь голливудской мелодраме, которую сняли три-пять лет назад.

Смотреть из окна стало настолько въевшейся привычкой, что, когда телевизоры появились, их стали смотреть так же, как смотрели из окна на улицу. Отец, дядя и бабушка, уставившись в телевизор, разговаривали и переругивались, не глядя друг на друга, они будто смотрели в окно и сообщали друг другу то, что видели.

— В этот раз снег долго продержится, — говорила, например, моя тетка, с утра глядя из окна на медленно падающий снег.

— Этот торговец халвой опять стоит на углу Нишанташи, — говорил я, наблюдая за трамвайными путями из другого окна.

По воскресеньям дяди, тети и наша семья обедали у бабушки. Все мы жили в одном доме, только несколькими этажами ниже. Ожидая, пока накроют на стол, я смотрел в окно и чувствовал себя таким счастливым среди родных, что даже тусклый свет, который отражали хрусталь-

© 1999 Iletişim Yayıncılık A. Ş.
© М. Букулова. Перевод, 2006

ные люстры над длинным обеденным столом, казался мне ярким. Хотя в бабушкиной столовой всегда был такой же полумрак, что и в других квартирах, а может быть, и еще темнее. То ли от пугающих теней, что отбрасывали тюль и шторы, висящие на никогда не открывающихся балконных дверях. То ли от постоянного запаха пыли в душных комнатах, заполненных ширмами с перламутровой инкрустацией, старыми сундуками, огромными столами, столиками, гигантским хвостатым роялем с фотографиями в рамках и кучей других предметов.

После обеда дядя выкуривал сигарету в одной из смежных со столовой темных комнат.

— У меня есть билет на футбольный матч, но я не пойду, — сказал он в этот раз. — Пусть отец поведет вас на футбол.

— Папа, поведи нас на футбол, — попросил брат.

— Дети воздухом подышат, — добавила мама из гостиной.

— Сама поведи их, — ответил отец.

— Я иду к матери, — возразила мама.

— Я не хочу к бабушке, — сказал брат.

— Я и машину тебе дам, — вставил дядя.

— Ну, папа, ну, пожалуйста, — стал канючить брат.

Наступило долгое странное молчание. Казалось, все сидящие в гостиной ждали, что скажет отец, и он это чувствовал.

— Ты дашь машину? — спросил он наконец дядю.

Позже, когда мама надевала на нас толстые шерстяные носки в клетку и два свитера, отец ходил взад-вперед по длинному коридору и курил. Дядин светло-зеленый "додж" 52-й модели был припаркован перед мечетью Тешвикийе. Отец разрешил нам обоим сесть спереди, и мотор завелся с первого раза.

На стадионе совсем не было очереди.

— Один билет на этих двоих, — сказал папа человеку у турникета. — Одному восемь лет, другому — одиннадцать.

Старательно избегая взгляда этого человека, мы вошли. На трибунах было много пустых мест, и мы сразу сели.

Команды вышли на грязное поле. Мне очень понравилось смотреть, как футболисты в белоснежных трусах бегают по полю, чтобы согреться.

— Посмотри, вон Кючюк Мехмет, — указал на одного из них пальцем брат. — Его перевели из юношеской команды.

— Сам знаю.

Матч начался, и мы замолчали. Через какое-то время я стал думать не об игре, а совсем о другом. Почему у футболистов форма одинаковая, а имена разные? Я представил, что по полю бегают не футболисты, а их имена. Их трусы постепенно становились все грязнее и грязнее. Потом я наблюдал за медленно приближавшейся трубой парохода. Пароход пересекал Босфор и был виден из-за открытых трибун. До окончания первого тайма гол не забили, и в перерыве мы купили по пиде[1] с сыром и кулек леблеби[2].

— Папа, я не смогу это все съесть, — сказал я.

— Оставь тут, — ответил он, — никто не увидит.

В перерыве мы, как и все, пытаясь согреться, переступали с ноги на ногу. Мы с отцом, засунув руки в карманы шерстяных штанов, повернu-

1. Пиде — турецкая лепешка. (*Здесь и далее – прим. перев.*)
2. Леблеби — сладкий горох.

лись спиной к полю и смотрели на других зрителей, когда вдруг кто-то из толпы окликнул отца. Отец поднес руку к уху, показывая, что ничего не слышит из-за шума.

— Не могу подойти, — сказал он, кивая на нас, — я с детьми.

Человек из толпы был в фиолетовом шарфе. Он пробрался к нам, расталкивая других.

— Это твои дети? — спросил он, обнявшись с отцом. — Да они большие уже! Не могу поверить!

Отец ничего не ответил.

— Когда ты успел? — продолжал папин знакомый, с удивлением глядя на нас. — Ты женился сразу после школы?

— Да, — ответил отец, не глядя ему в лицо.

Они еще поговорили. Человек в фиолетовом шарфе положил нам в ладони по одной американской фисташке. После того как он ушел, отец опустился на скамью и долго молчал.

Когда команды снова выбежали на поле, уже в чистых трусах, отец сказал:

— Идемте домой. Холодно.

— Мне не холодно, — ответил брат.

— Нет холодно. И Али мерзнет. Давайте вставайте.

Спотыкаясь о колени сидящих и наступая им на ноги, мы раздавили пиде, которое я оставил на земле. Когда мы выходили со стадиона, послышался свисток судьи. Начался второй тайм.

— Тебе было холодно? — спросил меня брат. — Отчего ты не сказал, что не замерз?

Я молчал.

— Дурак, — сказал он.

— Второй тайм послушаете дома по радио, — сказал отец.

— По радио этот матч не передают, — ответил брат.

— Тихо, — сказал отец. — Обратно поедем через Таксим[1].

Мы замолчали. Проехав Таксим, отец припарковал машину, чтобы, как мы подумали, сделать ставки в тотализаторе.

— Двери никому не открывайте. Я сейчас вернусь.

Он вышел. Перед тем как он закрыл машину на ключ, мы заперли ее изнутри. Но отец не пошел к кассам. Быстрым шагом он перешел на другую сторону проспекта и зашел в магазин, витрины которого пестрели плакатами с большими самолетами, кораблями и пейзажами экзотических стран.

— Куда это папа ушел?

— Когда приедем домой, поиграем в чет-нечет, — предложил в ответ брат.

Когда отец вернулся, брат увлеченно переключал рычаг на коробке передач.

Мы приехали на площадь Нишанташи, машину припарковали перед мечетью. Проходя мимо лавки Алааддина, отец сказал:

— Давайте куплю вам что-нибудь. Только не требуйте опять жвачек вашей серии "Знаменитости".

— Ну, папа! — взмолились мы.

1. Фешенебельный район на европейском побережье Босфора.

В лавке Алааддина отец купил нам по десять жвачек нашей любимой серии. Мы вошли в подъезд, я так разволновался, что в лифте мне захотелось в туалет. Дома были жарко, а мама еще не вернулась. Мы начали с нетерпением разворачивать жвачки, бросая обертки на пол. В результате мне достались два вкладыша с изображением Февзи Чакмака Паши, по одному — с изображением Чарли Чаплина, борца Хамита Каплана[1], Ганди, Моцарта и де Голля, два вкладыша с изображением Ататюрка и еще один с изображением Греты Гарбо под номером 21 — такого вкладыша у брата не было. Таким образом, у меня оказалось ровно 173 вкладыша, но для того чтобы собрать всю серию, мне недоставало 27 разных вкладышей. Брату достались четыре вкладыша с маршалом Февзи Чакмаком Пашой, пять вкладышей с Ататюрком и один вкладыш с Эдисоном. Мы закинули в рот по жвачке и начали читать надписи на оборотной стороне вкладышей:

Маршал Февзи Чакмак (1876–1950),
главнокомандующий времен Освободительной войны.
Соберите 100 разных вкладышей из серии "Знаменитости"
и получите кожаный футбольный мяч в подарок от
МАМБО ШЕКЕР-ЧИКЛЕТ САНАЙИ[2].

Брат сжал в руке свернутые в трубочку 165 вкладышей, которые ему удалось собрать за все время.

— Поиграем в чет-нечет? — спросил он.

— Нет.

— Меняешь моих двенадцать Февзи Чакмаков на одну твою Грету Гарбо? Тогда у тебя будет ровно 184 вкладыша.

— Нет, — ответил я.

— У тебя две Греты Гарбо.

Я промолчал.

— Завтра, когда будут делать прививки, ты опять струсишь, — сказал он. — Тогда ко мне не беги.

— Не прибегу.

Ужин прошел в молчании. Мы послушали "Мир спорта" и узнали, что матч закончился со счетом 2:2. Мама пришла к нам в комнату, чтоб уложить нас спать. Брат собирал портфель, а я побежал в гостиную. Отец стоял у окна и смотрел на улицу.

— Папа, я не хочу завтра идти в школу.

— Ну, слушай, разве же так можно?

— Нам завтра прививки делают, — сказал я. — У меня температура поднимается, а потом дыхание перехватывает. Мама знает.

Он ничего не говорил, просто смотрел на меня. Я побежал за ручкой и бумагой.

— А мама знает? — спросил он, кладя бумагу на Кьеркегора, которого он постоянно читал, но никак не мог дочитать до конца. — В школу ты пойдешь, но я напишу, чтоб прививку тебе не делали.

Он написал записку. Я подул на чернила, сложил записку и сунул ее в карман. Потом побежал в комнату, положил ее в портфель и начал прыгать на кровати.

— Не сходи с ума, — сказала мама. — Ложись спать.

1. Хамит Каплан — победитель Олимпийских игр 1956 г. в Мельбурне по вольной борьбе.
2. Фабрика, изготавливающая кондитерские изделия и жевательную резинку "Мамбо".

2

В школе во время перемены весь наш класс, построившись парами, спустился в столовую на прививку. Одни плакали, другие просто со страхом ждали. От запаха йода сердце мое учащенно забилось. Я вышел из строя и направился к стоявшему у лестницы учителю. Класс громко протопал мимо.

— Что случилось? — спросил учитель.

Я вытащил из кармана отцовскую записку и протянул ее учителю. Он прочел ее с кислой физиономией.

— Твой отец ведь не доктор, — сказал он. Потом немного подумал: — Ладно, поднимись наверх. Подожди во 2-м "А".

Наверху, во 2-м "А", были еще шесть-семь таких же, как я, которым не делали прививки по "уважительной причине". Один обреченно смотрел в окно. Из коридора доносились плач и крики, толстый очкарик, грызя семечки, читал Кинову. Дверь открылась, и вошел Сейфи бей, глупый помощник директора.

— Возможно, кто-то из вас действительно болен, — начал он свою речь. — Я обращаюсь не к ним, а к тем, для кого уважительная причина всего лишь предлог. Очень скоро все вы вырастете, пойдете служить родине, может быть, отдадите за нее жизнь. И возможно, те, кто сегодня уклонился от прививки, в будущем станут предателями родины. Пусть им будет стыдно!

Наступило долгое молчание. Я посмотрел на портрет Ататюрка, на глаза навернулись слезы. Затем, стараясь не привлекать ничьего внимания, мы направились в классы. У кого-то, кому сделали прививку, рукава были засучены, у кого-то были заплаканные глаза, и все, толкаясь, с поникшими лицами, шли в свои классы.

— Те, кто живут близко, могут идти домой, — сказал учитель. — Те, кого забирают, будут ждать последнего звонка. Не бейте друг друга по рукам. На завтра занятия отменяются.

Все радостно закричали. У выхода "привитые", засучив рукава, гордо показывали консьержу Хильми-эфенди следы йода на руке.

Я взял сумку, вышел на улицу и пустился бежать.

Перед мясной лавкой Карабета повозка, запряженная лошадью, перекрыла дорогу. Я прошмыгнул мимо, перебежал дорогу и ступил на наш тротуар. Пробежал мимо торговца готовой одеждой Хайри, продавца цветами Салиха. Дверь открыл наш консьерж Назым-эфенди.

— Почему ты здесь в такое время? — спросил он.

— Нам делали прививку и потому отпустили, — ответил я.

— А где твой брат? Ты один вернулся?

— Да, трамвайные пути я сам перешел. Завтра мы не учимся.

— Твоей матери нет, — сказал он. — Поднимись к бабушке.

— Хочу домой, — ответил я. — Я заболел. Открой мне дверь.

Он снял ключи со стены, мы сели в лифт. Пока мы поднимались, кабина заполнилась сигаретным дымом, от которого у меня стали слезиться глаза. Он открыл нашу дверь.

— Смотри не балуйся с розетками, — сказал он, закрыл за собой дверь и ушел.

Дома никого не было, но я все равно закричал:

— Дома есть кто-нибудь? Есть кто-нибудь дома?

Я кинул сумку, выдвинул ящик брата и начал рассматривать коллекцию билетов в кино, которую он мне не показывал. Потом я стал разглядывать фотографии футбольных матчей, которые брат вырезáл из газет и клеил в тетрадь, и так увлекся, что, когда кто-то снаружи повернул в двери ключ, я оцепенел от страха. По звуку шагов я понял, что это не мама; это был отец. Я осторожно положил билеты и тетрадь брата обратно в ящик, так, чтобы он не заметил, что их кто-то брал. Отец вошел в спальню, открыл шкаф и заглянул в него.

— Ты здесь? — спросил он.

— Нет, в Париже, — ответил я, как обычно отвечали в школе.

— Ты не пошел сегодня в школу?

— Сегодня нам делали прививки.

— Твоего брата нет? — спросил он. — Хорошо, иди в свою комнату и сиди там тихо.

Я пошел в комнату и стал смотреть в окно, прижавшись лбом к стеклу. По звукам я догадался, что из шкафа в коридоре отец взял чемодан. Затем он вернулся в комнату. Начал вытаскивать из шкафа брюки, свитера, я понял это по стуку вешалок. Он открывал и закрывал ящики, в которых лежало нижнее белье, рубашки, носки. Я слышал, как он кладет их в чемодан. Зашел в ванную, вышел из нее. Затем щелкнул замок чемодана. Пришел ко мне в комнату.

— Что ты здесь делаешь?

— Смотрю в окно.

— Ну-ка, иди сюда, — сказал он.

Он обнял меня за плечи, и мы вместе долго смотрели в окно. Верхушки высоких кипарисов, растущих между нашим домом и домом напротив, тяжело раскачивались на ветру. Я с наслаждением вдыхал запах отца.

— Я уезжаю далеко, — сказал он и поцеловал меня. — Не говори ничего маме. Я сам скажу потом.

— А ты на самолете летишь?

— Да, — ответил он. — В Париж. Но никому ничего не говори.

Он вытащил из кармана большую монету в две с половиной лиры и дал ее мне.

— И об этом никому не говори, — сказал он, снова целуя меня. — И о том, что видел меня здесь.

Деньги я сразу положил в карман. Отец отпустил меня и взял чемодан.

— Папа, не уходи, — попросил я. Он поцеловал меня еще раз и ушел.

Я смотрел ему вслед из окна. Он шел прямо по направлению к лавке Алааддина, затем остановил проезжавшее мимо такси. Перед тем как сесть в него, он поднял голову, посмотрел на дом и махнул мне рукой. Я тоже ему помахал. Он уехал.

Я долго смотрел на опустевшую улицу. Проехал один трамвай, затем проехала повозка водовоза, запряженная лошадью.

Я вызвал Хазыма-эфенди.

— Ты звонил? — спросил он, войдя. — Не играй со звонком.

— Возьми эти две с половиной лиры, — сказал я ему. — Пойди в лавку Алааддина и купи мне 10 жвачек из серии "Знаменитости". А 50 курушей принеси обратно.

— Деньги отец дал? — спросил он. — Смотри чтобы мама не рассердилась.

Я ничего ему не ответил, и он ушел. Я наблюдал, глядя в окно, как он заходит в лавку Алааддина. Немного погодя он вышел, на повороте столкнулся с консьержем из дома напротив, поговорил с ним.

Вернувшись, он отдал мне сдачу. Я немедленно развернул жвачки: еще три вкладыша с маршалом Февзи Чакмаком, один — с Ататюрком, по одному вкладышу с Линдбергом, которого у меня раньше не было, Леонардо да Винчи, Кануни Султан Сулейманом, Черчиллем, генералом Франко и еще один вкладыш под номером 21 с изображением Греты Гарбо, которого не было у моего брата. Таким образом, у меня было 183 вкладыша, и мне нужно было еще 26 разных вкладышей, чтобы получить мяч.

Я смотрел на вкладыш с самолетом, на котором Линдберг впервые пересек Атлантику, когда в двери повернули ключ, и она открылась. Мама! Я быстро собрал раскиданные по полу обертки и выбросил их в мусор.

— Нам прививку делали, поэтому я рано пришел, — сказал я. — Брюшной тиф, сыпной тиф, столбняк.

— А где твой брат?

— Их классу еще не сделали прививку, — сказал я. — А нас отправили домой. Я сам перешел дорогу.

— Что-нибудь болит?

Я ничего не ответил. Чуть позже пришел брат. У него болела рука. Он лег на кровать, прижимая к себе правую руку, насупился и заснул. Когда он проснулся, было уже темно.

— Мама, очень больно, — сказал он.

— К вечеру температура поднимется, — сказала мама, гладя белье в другой комнате. — Али, а тебе больно? Полежите спокойно, не двигайтесь.

Мы лежали не двигаясь. Брат еще немного поспал, а когда проснулся, стал читать спортивную газету. А потом сказал, что это я виноват, что мы пропустили четыре гола на матче, с которого ушли.

— Если бы мы не ушли со стадиона, может быть, эти голы не были бы забиты, — сказал я.

— Что?!

Брат опять заснул. Проснувшись, он предложил мне поменять шесть вкладышей с Февзи Чакмаком, четыре — с Ататюрком и еще три других вкладыша из тех, что у меня уже были, на один вкладыш с Гретой Гарбо. Я отказался.

— Сыграем в чет-нечет? — спросил он.

— Давай!

Держишь в ладонях стопочку вкладышей из серии "Знаменитости". Спрашиваешь: верхняя или нижняя? Если он скажет "нижняя", то ты вытаскиваешь самый нижний вкладыш и смотришь на него, например, это номер 78, Рита Хейворт. А верхний вкладыш — номер 18, Данте. Тогда выигрывает нижний, и ты отдаешь один из тех вкладышей, которых у тебя больше всего. До вечера вкладыш с изображением маршала Февзи Чакмака гулял от меня к брату и обратно. Когда настало время ужина, мама сказала:

— Пусть один из вас поднимется и посмотрит, не пришел ли отец?

Мы оба пошли наверх. Дядя с бабушкой курили, отца не было. Мы послушали новости по радио, почитали страницу спорта в газете. Когда бабушка и дядя сели ужинать, мы спустились вниз.

— Куда вы подевались? — спросила мама. — Вы там, наверное, не поели? Я налью вам супу. Поешьте спокойно, пока папа не пришел.

— А есть жареный хлеб? — спросил брат.

Мама смотрела, как мы бесшумно едим суп. По тому, как она держит голову, по тому, как рассеянно смотрит на нас, я понимал, что она прислушивается, не едет ли лифт. Когда мы закончили есть, она спросила: "Налить еще?" — и заглянула в кастрюлю.

— Поесть, что ли, пока он не остыл, — задумчиво произнесла она. Затем встала и подошла к окну с видом на площадь Нишанташи, какое-то время молча смотрела вниз. Затем вернулась, начала есть суп. Мы с братом стали обсуждать вчерашний матч.

— Тихо! — вдруг сказала она. — Это не лифт?

Мы замолчали и стали внимательно прислушиваться. Это был не лифт. Тишину нарушил грохот трамвая, заставивший задрожать стол, стаканы, графины и воду в них. Потом, когда мы ели апельсины, послышались звуки лифта. Он приближался, приближался, а потом, не останавливаясь, поехал наверх, к бабушке.

— Наверх поехал, — сказала мама.

После ужина мама сказала:

— Отнесите ваши тарелки в кухню. А папина пусть остается.

Мы убрали со стола. Папина тарелка долго ждала на чистом столе.

Мать подошла к окну, из которого был виден полицейский участок, и долго смотрела на улицу. Затем, словно ей внезапно пришла в голову какая-то мысль, решительно взяла папину тарелку, вилку, нож и отнесла их в кухню. Посуду она мыть не стала.

— Я поднимусь к бабушке, — сказала она. — Не деритесь.

Мы с братом стали играть в чет-нечет.

— Чет, — начал я.

Брат вытащил первый вкладыш из стопки и показал мне:

— Самый известный в мире борец Громадный Юсуф[1], номер 34. — Посмотрел на нижний. — Ататюрк, номер 50. Ты проиграл, — сказал он. — Давай мне один вкладыш.

Мы долго играли, и он все выигрывал. Девятнадцать маршалов Февзи Паша, а их у меня было двадцать один, и два Ататюрка быстро перешли к нему.

— Я больше не играю, — сказал я, разозлившись. — Я иду наверх, к маме.

— Она рассердится.

— А, боишься остаться дома один, трус!

Бабушкина дверь, как всегда, была открыта. Ужин закончился, повар Бекир мыл посуду, бабушка с дядей сидели друг напротив друга. Мать стояла у окна с видом на площадь Нишанташи.

— Иди сюда, — сказала она, не отнимая головы от стекла. Я тут же втиснулся в пространство, образовавшееся между телом матери и окном и словно специально созданное для меня. Я прижался к ней спиной, и мы стали внимательно смотреть на Нишанташи. Мать положила руку мне на голову и долго гладила меня по волосам.

— Твой отец приходил домой в полдень, и ты его видел, — прошептала она.

1. Кара Юсуф Измаелло (1865–1898) — знаменитый турецкий борец.

— Да.

— Он взял чемодан и ушел. Хазым-эфенди видел.

— Да.

— А он сказал тебе, куда идет?

— Нет, — ответил я. — Он дал мне две с половиной лиры.

Внизу, на улице, одиноко темнели магазины, мерцали фары машин, все было одиноким и грустным: пустое место для инспектора дорожной полиции посредине улицы, влажные камни в парке, буквы на подвесных рекламных щитах. Начался дождь, а мать все гладила и гладила мои волосы.

И вдруг я заметил, что радио, которое стояло между дядей и бабушкой и всегда играло, молчит, и испугался.

— Девочка моя, не стой там, — сказала бабушка. — Идите сюда, садитесь, пожалуйста.

Брат тоже поднялся наверх.

— Идите в кухню, — сказал дядя. — Бекир, — позвал он, — сделай им мяч, пусть поиграют в коридоре.

Бекир уже закончил мыть посуду.

— Садитесь сюда, — позвал он нас в кухню. Он принес с бабушкиного балкона, превратившегося в застекленную лимонную оранжерею, газеты и начал делать из них мяч. Когда мяч стал размером с его кулак, Бекир спросил: — Хватит?

— Сделай его чуть побольше, — попросил брат.

Пока Бекир оборачивал мяч газетными страницами, через неплотно прикрытую дверь я наблюдал за мамой, сидящей напротив бабушки и дяди. Бекир тем временем вытащил из ящика шнур и начал обвязывать мяч. Потом он слегка увлажнил его тряпкой, чтобы смягчить торчащие углы, и еще раз сжал его руками. Брат не вытерпел и потрогал мяч.

— Ух ты, — сказал он, — будто каменный.

— Надави-ка сюда, — сказал Бекир.

Брат осторожно надавил пальцами на указанное место, и Бекир еще раз закрепил мяч веревкой и отдал его нам. Мы начали бить по мячу и подбрасывать его в воздух.

— Играйте в коридоре, — сказал Бекир, — здесь вы что-нибудь разобьете.

Борьба была не на жизнь, а на смерть. Я воображал себя Лефтером из "Фенербахче" и изворачивался, как он. Пытаясь забить гол в дверь, я несколько раз ударил в привитую руку брата. Он тоже меня стукнул, но я в тот момент этого даже не заметил. Мы были совсем мокрыми от пота, мяч разлетался на части, я выигрывал со счетом 5:3, когда опять попал по больной руке брата. Он опустился на пол и начал плакать.

— Когда боль пройдет, я тебя убью, — пригрозил он, лежа на полу.

Он злился из-за проигрыша. Я прошел через коридор в гостиную, бабушка, мама и дядя перешли в кабинет. Бабушка крутила телефонный диск.

— Алло, алло, — говорила она тем же голосом, каким говорила матери "девочка моя". — Алло, аэропорт "Ешилькой"? Милочка, мы хотим спросить об одном пассажире, улетевшем в Европу на одном из самолетов. — Она произнесла имя отца и какое-то время ждала, накручивая телефонный шнур на руку. — Принеси мне сигарету, — попросила она дядю. Когда дядя вышел, она отвела трубку от уха. — Девочка моя, пожалуйста,

скажите, — повернулась она к матери. — У него есть другая женщина? Вы что-нибудь знаете?

Я не расслышал, что ответила мать. Бабушка смотрела на нее так, будто та ей ничего не ответила. Затем по телефону что-то сказали, и она рассердилась. "Не дают такой информации", — сказала она дяде, который подходил к ней с сигаретой и пепельницей в руке.

Тут дядя заметил меня, и по его взгляду мать поняла, что я в гостиной. Она схватила меня за руку и вытолкала в коридор. Затем сунула руку мне за воротник, увидела, что я сильно вспотел, но не рассердилась.

— Мама, у меня рука болит, — сказал старший брат.

— Сейчас мы спустимся вниз, я вас уложу.

Внизу, на нашем этаже, мы все трое долго молчали. Перед тем как лечь, я в пижаме прошел на кухню, набрал воды в стакан и вошел в гостиную. Мать стояла перед окном и курила.

— Ты же босиком, замерзнешь, — сказала она, услышав, как я вошел. — Твой брат уже лег?

— Заснул. Мама, я хочу тебе что-то сказать.

Я ждал, когда можно будет втиснуться между матерью и окном. Мать немножко подвинулась, и я занял это уютное теплое местечко.

— Папа уехал в Париж, — сказал я. — Знаешь, какой он взял чемодан?

Она ничего не ответила. Мы долго смотрели на дождливую улицу в ночной тишине.

3

Дом моей бабушки со стороны матери находился прямо напротив мечети в Шишли. Это была последняя остановка перед трамвайным депо. Сейчас на этой площади полно автобусных остановок, больших магазинов с огромными рекламными щитами. Вокруг возвышаются уродливые офисные здания, в которых работает огромное количество людей, каждый день во время обеденного перерыва они высыпают на тротуары и разбегаются словно муравьи. А тогда это была просто одна из окраин европейской части Стамбула. И когда мы шли под липами и тутовыми деревьями, держась с обеих сторон за руки матери, к широкой, тихой, покрытой брусчаткой площади, находившейся в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома, нам казалось, что мы чуть ли не на самом краю города.

Бабушка жила в четырехэтажном доме, построенном из бетона и камня и напоминающем тонкий спичечный коробок, поставленный вертикально. Один фасад дома был обращен на запад, то есть на город, а другой — на восток, на холмы, покрытые тутовником. После того как умер бабушкин муж и бабушка выдала замуж своих дочерей, она стала жить только в одной комнате этого дома, который весь был забит шкафами, столами, столиками и пианино. Еду ей готовила старшая дочь и приносила ее сама или присылала с водителем. Бабушка не выходила из своей комнаты, даже чтобы спуститься в кухню двумя этажами ниже и приготовить себе еду, не входила в другие комнаты, чтобы убрать широкие шелковистые сети паутины и невообразимой толщины слои пыли — точь-в-точь, как и ее мать, которая годами жила одна в большом деревянном доме. От нее бабушка заразилась этой таинственной болезнью, именуемой "одиночеством", и не позволяла войти в дом ни сиделке, ни поденной работнице.

Когда мы приходили навестить бабушку, мать бесконечно долго звонила в звонок, стучала кулаком в железную дверь, в конце концов бабушка открывала железные, ржавые ставни окон на втором этаже, выходивших на мечеть Шишли, смотрела на нас сверху вниз и требовала, чтоб мы подали голос и помахали ей рукой, так как она не доверяла своим близоруким глазам.

"Отойдите от двери, пусть бабушка вас увидит, дети", — говорила мама. Мы отходили на середину тротуара, мама махала ей рукой и кричала: "Мамочка, это я с детьми, это мы, вы нас слышите?" Когда на лице бабушки появлялась приторно-сладкая улыбка, мы понимали, что она нас увидела, узнала. Она сразу отходила от окна в глубь комнаты, доставала из-под подушки огромный ключ, заворачивала его в клочок газетного листа и бросала на тротуар. Мы с братом наперегонки кидались поднимать ключ.

Так как сейчас брат из-за больной руки не мог бежать за ключом, я поднял ключ и передал его маме. Мать с трудом повернула ключ в замке. Железная дверь со скрипом поддалась, и из темноты навстречу нам пахнуло запахом пыли, плесени, духоты, нищеты и старости. Похожего запаха я больше никогда нигде не встречал. На вешалке, сразу около двери, висело меховое пальто дедушки, его фетровая шляпа, а внизу стояли сапоги, всегда пугавшие меня. Все это бабушка держала здесь для того, чтобы воры, если залезут в дом, думали, что в нем есть мужчина.

Потом мы увидели бабушку, возвышавшуюся на самом верху деревянной лестницы. Она стояла в темноте подобно привидению, не шевелясь, с тростью в руке, освещаемая слабым светом, просачивающимся сквозь заиндевевшее окно в стиле ар-деко.

Поднимаясь сейчас по скрипучим ступеням лестницы, мама с бабушкой не разговаривали, хотя обычно мать спрашивала: "Как вы, мамочка? Я соскучилась, мамочка. На улице очень холодно, мамочка". Наверху лестницы мама поцеловала руку бабушки, стараясь не смотреть на огромные родинки на ее лице и руках. Мы вновь испугались однозубого рта, отвисшей челюсти и волосков на подбородке и, войдя в комнату, сели, прижавшись к матери с обеих сторон. Бабушка была в длинной ночной рубашке, в которой проводила большую часть дня, так как все время лежала в постели, и длинном шерстяном жилете. Она улыбнулась нам и посмотрела с лукавым выражением, означающим: "Ну-ка, повеселите меня".

— Ваша печка плохо греет, — сказала мама. Она взяла щипцы и перемешала дрова в печке.

Бабушка немного подождала.

— Оставь ты эту печку. Лучше расскажи мне что-нибудь. Что нового происходит в мире?

— Совершенно ничего, — ответила мать, сев рядом с нами.

— Совсем ничего?

— Абсолютно, мамочка.

После короткой паузы бабушка спросила:

— Ты ни с кем не виделась, ни с кем не встречалась?

— Вы же знаете, мамочка, — ответила мать.

— Бога ради, неужели вообще ничего нового?

Наступило молчание.

— Бабушка, а нам сделали прививку, — сказал я.

— Да?! — удивилась бабушка, широко раскрывая большие голубые глаза. — Больно было?

— У меня рука болит, — сказал брат.

— О-о-о! — посочувствовала бабушка.

И опять наступило долгое молчание. Мы с братом подошли к окну и стали смотреть на холмы вдалеке, на тутовые деревья, на пустые старые курятники на задних огородах.

— Значит, совершенно никаких новостей? — спросила бабушка у матери умоляющим голосом. — Вы же поднимаетесь к свекрови. К ней никто не приходит?

— Вчера после обеда приходила Дильрубе-ханым, — сказала мать. — Они играли в безик.

Как мы и ожидали, бабушка тотчас же воскликнула:

— Она жила во дворце!

Мы, конечно, понимали, что она имеет в виду не разукрашенный, как кремовое пирожное, дворец Баты, о котором я в те годы много читал в газетах и журналах, а дворец Долмабахче. Ее презрение вызывала не сама Дильрубе-ханым, которая в молодые годы была наложницей в гареме последнего падишаха, и не то, что потом она вышла замуж за торговца, — ее презрение вызывала бабушка, водившая дружбу с такой недостойной особой, но это я понял много лет спустя. Затем они перешли к другой теме, которую тоже каждый раз обсуждали с матерью: бабушка раз в неделю ездила в дорогой и популярный ресторан Абдуллаха-эфенди, обедала в нем в одиночестве, а потом долго жаловалась на пищу. Третья неизменная тема открывалась внезапно задаваемым вопросом: "Дети, ваша бабушка кормит вас петрушкой?"

Мы в один голос отвечали так, как советовала нам мама: "Нет, не кормит".

Как обычно, бабушка стала рассказывать нам, как она видела однажды в каком-то огороде кошку, мочившуюся на петрушку, а ведь потом эту петрушку нарежут в еду какому-нибудь глупцу в каком-нибудь ресторане, рассказывала о том, как все еще ругается с продавцами зелени Шишли или Нишанташи.

— Мамочка, — сказала мать, — детям скучно, они хотят посмотреть другие комнаты. Я открою им дверь комнаты напротив.

Для того чтобы вор, если он заберется через окно в какую-нибудь комнату, не смог проникнуть в другие, бабушка запирала их на ключ. Мать открыла нам дверь большой и холодной комнаты, окна которой выходили на трамвайные пути, и какое-то время смотрела с нами на кресла и диваны, покрытые белыми покрывалами, на проржавевшие и пыльные лампы, столики и сундуки, на кипу газет, на скрученный руль дамского велосипеда, прислоненного к стене. Но она не подбежала, как раньше, к сундуку и не стала вытаскивать оттуда вещи, с радостью показывая их нам. "Дети, ваша мать в детстве носила эти сандалии, посмотрите! А хотите видеть школьный фартук вашей тети? А детскую копилку вашей мамы?"

— Если замерзнете, приходите, — сказала она и ушла.

Мы с братом подбежали к окну и стали смотреть на мечеть напротив дома, на трамвайную остановку на площади. Затем мы почитали, что пишут в газетах о прошлых матчах.

— Мне скучно, — сказал я. — Поиграем в чет-нечет?

— Поверженный борец мечтает отыграться, — прокомментировал брат, не поднимая головы от газеты. — Я сейчас занят.

Вчера утром и после обеда мы тоже играли, и брат все время выигрывал.

— Ну, пожалуйста! Давай сыграем!

— У меня одно условие: если я выиграю, ты даешь мне два вкладыша, если ты выиграешь — ты забираешь один.

— Нет.

— Тогда я не играю, — сказал брат. — Я читаю газету, как видишь.

Он держал газету немного нарочито, явно подражая английскому детективу, фильм про которого мы недавно смотрели в кинотеатре "Мелек". Посмотрев еще немного в окно, я принял условие брата. Я вытащил стопку серии "Знаменитости" из кармана, и мы стали играть. Сначала я выигрывал, а потом проиграл 17 вкладышей.

— Я все время проигрываю, — сказал я. — Если мы не будем играть по старым правилам, я больше не играю.

— Хорошо, — ответил брат, подражая тому детективу. — Тогда я почитаю газеты.

Я немного посмотрел из окна. Внимательно пересчитал вкладыши — их осталось 121 штука. Вчера, когда папа ушел, их было 183! Я решил из-за этого не расстраиваться и принял условия брата.

Вначале я немного выиграл, затем выигрывать опять начал он. Брат с удовольствием добавлял выигранные у меня вкладыши к своим. Чтобы не злить меня еще больше, он совсем не улыбался.

— Если хочешь, поиграем по другим правилам, — сказал он через какое-то время. — Кто выигрывает, тот берет один вкладыш. Если я выиграю, я буду выбирать, какой вкладыш я у тебя возьму. У меня нет некоторых, ты мне их никак не даешь.

Я решил, что выиграю, и согласился. Как так получилось, я не знаю: я проиграл три раза подряд, и, прежде чем я понял, что произошло, обе Греты Гарбо, № 21, и один из королей Фаруков, № 78, перешли к брату, но они у него и так были.

Я захотел забрать их всех обратно за одну партию. Ставки возросли, и в результате от меня уплыли Эйнштейн, № 63, Мевляна, № 3, Саркис Назарян, №100, основатель кондитерской фабрики "Мамбо", и Клеопатра, № 53, — эти вкладыши были у меня в единственном экземпляре, а у него их не было вовсе.

У меня в горле встал ком. Я боялся заплакать, поэтому побежал к окну и стал смотреть на улицу. Как все было прекрасно пять минут назад: и приближающийся к остановке трамвай, и дома, что виднелись сквозь ветви деревьев с опадающими листьями, и собака, которая лежала на уличной брусчатке и лениво почесывалась, — как все было прекрасно! Если бы время остановилось, если бы мы могли отойти назад на пять квадратов, как в лошадиных скачках! Тогда бы я никогда, ни за что не стал бы играть с братом в чет-нечет!

— Поиграем еще? — спросил я, не отнимая лба от стекла.

— Нет, я не буду играть. Ты будешь плакать.

— Я не буду плакать, Джеват, клянусь, — сказал я с жаром в голосе, приближаясь к нему. — Только поиграем как вначале, на тех же условиях.

— Я буду читать газету.

— Хорошо, — сказал я. Уходя, я перемешал похудевшую пачку вкладышей. — Но на моих условиях, скажи — чет или нечет?

— Только не плакать. Хорошо, чет.

Я выиграл, и он протянул мне один вкладыш с изображением маршала Февзи Чакмака. Я не взял.

– Пожалуйста, отдай мне назад короля Фарука, номер 78.

– Нет, – ответил он. – Мы так не договаривались.

Мы поиграли еще две партии, и я проиграл. Лучше б я не играл третью партию! Дрожащей рукой я отдал и Наполеона, № 49.

– Я больше не буду играть, – сказал брат.

Я упросил. Мы еще поиграли две партии, и я опять проиграл. Когда он потребовал у меня вкладыши, я швырнул всю стопку, что была у меня в руке. Мэи Уэст, № 28, Жюли Верны, № 82, Фатихи Султаны Мехметы, № 7, королевы Элизабеты, № 70, журналисты Джеляли Салики, № 41, и Вольтеры, № 42, которых я собирал два с половиной месяца, думал о каждом из них каждый день, так берег их и так дрожал над ними, все они теперь взлетели в воздух и рассыпались по комнате!

Если бы у меня была совершенно другая жизнь в совсем другом месте! Не входя в комнату бабушки, я бесшумно спустился по скрипучим ступеням лестницы, думая о нашем дальнем родственнике страховщике, который покончил жизнь самоубийством. Бабушка сказала, что те, кто кончают самоубийством, не попадают в рай, а остаются под землей в темноте. Спустившись до самого низа, я оказался в темноте. Потом я вернулся наверх и сел на ступеньку перед бабушкиной дверью.

– Твоя свекровь ничего не сможет тут поделать, – сказала бабушка. – Ты будешь растить детей и ждать.

– Я вновь прошу вас, мама, я хочу вернуться сюда с детьми.

– Ты не сможешь жить с двумя детьми в этом пыльном доме, полном привидений и воров, – сказала бабушка.

– Мамочка, после того как сестры вышли замуж и переехали от нас, мы так хорошо жили здесь втроем в последние годы жизни покойного папы!

– Моя красавица Мебруре, ты тогда целыми днями разглядывала старый папин "Иллюстрасьон".

– Я затоплю большую печь, что стоит внизу. За два дня дом хорошенько прогреется.

– Говорила я тебе – не выходи за него, – сказала бабушка.

– Нужна еще одна женщина, и мы за два дня все здесь вычистим, – сказала мама.

– Я в этот дом этих воровок-прислуг не пущу, – отрезала бабушка. – А на то, чтобы вытереть пыль и убрать всю паутину, у тебя уйдет полгода. К тому времени твой непутевый муж вернется.

– Это ваше последнее слово, мамочка? – спросила мама.

– Мебруре, девочка моя дорогая, если ты заберешь детей и переедешь сюда, на что мы будем жить?

– Мамочка, сколько раз я просила, умоляла вас продать участок в Бебеке, чтобы его не конфисковали.

– Я не могу подписывать эти бумаги и иметь дело с этими грязными воришками из кадастрового управления!

– Мамочка, прошу вас, не надо так говорить. Мы с сестрой привозили нотариуса прямо к вашим дверям, – сказала мама, повышая голос.

– Я этому нотариусу не могла доверять, – сказала бабушка. – По его лицу было видно, что он жулик. А может, он и не нотариус вовсе. И не разговаривай со мной таким тоном!

— Хорошо, мамочка, не буду, — ответила мама. Затем позвала нас: — Дети, дети! Собирайтесь, мы уходим.

— Стой! Куда?! — спросила бабушка. — Мы же даже толком и поговорить не успели!

— Вы нас не хотите, мамочка, — прошептала мать.

— Возьми это. Держи, рахат-лукум для детей.

— До обеда они не едят сладкое, — сказала мама и пошла в комнату, которую открыла для нас с братом. — Кто разбросал эти вкладыши? Быстренько соберите. Ты тоже помоги ему, — сказала она брату.

Мы молча собирали вкладыши. Мать открывала старые ящики, смотрела на детскую одежду, тюль, коробки. От пыли, поднявшейся из-под черного скелета ножной швейной машинки, у меня першило в горле, слезились глаза, забился нос.

Моя руки в маленькой ванной, мы слышали мягкий умоляющий бабушкин голос:

— Мебруре, девочка моя, возьми заварочный чайник, ты его очень любишь, и он — твой. Мой дед привез его моей матери, когда был губернатором Шама. Привез из Китая! Возьми, пожалуйста.

— Я, мама, больше ничего от вас не хочу. А чайник поставьте в шкаф, разобьете ведь. Дети, поцелуйте бабушке руку.

— Мебруре, девочка моя, не сердись на свою бедную маму, — сказала бабушка, протягивая нам руку для поцелуя. — Что бы ни случилось, не оставляй меня одну без присмотра, навещай.

Мы быстро спустились по лестнице, толкнули втроем большую железную дверь, увидели на улице удивительный свет солнца и глубоко вдохнули чистый воздух.

— Закройте хорошенько дверь! — крикнула сверху бабушка. — Мебруре, приходи на этой неделе, хорошо?

Мать взяла нас за руки, и мы пошли. Мы молчали и когда слушали кашель других пассажиров, которые тоже ждали отправления трамвая. Как только трамвай разогнался, мы с братом, под предлогом, что хотим сидеть в кресле, из которого видно вагоновожатого, пересели в первый ряд и стали играть в чет-нечет. Я отыграл у него несколько вкладышей, которые проиграл раньше. На радостях я увеличил ставки и тут же стал проигрывать. На остановке "Османбей" брат предложил:

— Меняю пятнадцать любых вкладышей по твоему желанию на все оставшиеся у тебя.

Я начал играть и все проиграл. Я проиграл все вкладыши, что у меня были, кроме тех двух, которые я спрятал. Я пересел к маме. Я не плакал. Я, как и мама, с грустью смотрел в окно на быстро пробегающие странные магазины, в которых сегодня уже ничего не было, хлебопекарни, палатки продавцов молочного киселя на рисовой муке, кинотеатр "Тан", в котором мы часто смотрели разные фильмы, на детей, стоящих немного поодаль у стены и продающих дешевые романы, на парикмахеров с острыми ножницами, которых я всегда боялся, на стоящих у дверей парикмахерских полуголых местных сумасшедших, какие есть в каждом квартале. На остановке "Харбийе" мы сошли с трамвая. Брат был явно всем доволен, и это сводило меня с ума. Я вытащил из кармана вкладыш с изображением Линдберга.

Он в первый раз видел такой вкладыш.

— Номер 91, Линдберг, — с удивлением прочитал он. — На самолете, на котором он пересек Атлантику. Откуда у тебя это?

— Мне вчера не сделали прививку, — сказал я. — Я рано вернулся домой и видел папу перед тем, как он ушел. Мне папа купил.

— Тогда половина моя, — сказал он. — К тому же мы договорились, что все вкладыши, которые останутся в последней игре, мои.

Он попытался выхватить вкладыш у меня из рук, но не смог. Тогда он схватил меня за запястье, крепко сжал, но я лягнул его по ноге. Мы стали драться.

— Стойте! — крикнула мама. — Стойте! Посреди улицы!

Мы остановились. Мимо прошли мужчина в галстуке и женщина в шапке. Мне стало стыдно из-за того, что мы дрались на улице. Брат сделал два шага и опустился на землю.

— Очень больно, — сказал он, держась за ногу.

— Вставай, — прошептала мама. — Вставай скорее. Все смотрят.

Брат встал и пошел, припадая на одну ногу, как это делают главные герои в фильмах. Я боялся, что ему действительно больно, но, с другой стороны, мне было приятно видеть, как он страдает. Какое-то время мы шли молча, а затем он сказал мне:

— Я тебе покажу дома. — А затем маме: — Мама, а Али не сделали прививку!

— Нет, мне сделали прививку, мама!

— Тише! — прикрикнула мать.

Мы подошли к дому, осталось только перейти дорогу. Мы ждали, когда проедет трамвай из Мачки[1]. За ним проехал грузовик, потом автобус из Бешикташа[2], выпускающий клубы дыма, а с другой стороны дороги проехал и скрылся "десото" цвета гиацинта. Тогда я увидел дядю, который смотрел из окна. Он не заметил нас, он смотрел на проезжающие мимо машины. Я долго-долго на него смотрел.

Дорога давно уже была пустой. Я повернулся к матери, не понимая, почему она не переводит нас через дорогу, и увидел, что она беззвучно плачет.

1. Мачка — район в азиатской части Стамбула.
2. Бешикташ — район на европейском побережье пролива Босфор.

Надин Бисмют

Scrapbook

Роман

Перевод с французского Е. Клоковой и Н. Хотинской

Часть третья
Скромное обаяние гамбуржуазии

Глава 7
Одолжения

– Не понимаю, – сказала я Леони. – Эрве Юдон дал ей всего полторы звезды, а эта дрянь как-никак на седьмом месте в списке бестселлеров.

Сборник новелл Мартины Хури – тот самый, где речь шла о мастурбации, проституции, обмене партнерами и пирсинге гениталий, – вышел в издательстве "Эгль" в прошлом месяце. Сестра заметила, что секс сейчас в моде, и выжала сок лайма в миску с дольками авокадо.

Сидя на табурете по другую сторону кухонной стойки, я терла моцареллу и обескураженно поглядывала на вчерашнее воскресное приложение к "Журналь де Монреаль". Там красовалась реклама "Юной самки" с фотографией Мартины Хури. "Жаркая книга" – прочла я под луковой шелухой и очистками авокадо, которые сбросила на газету Леони.

– Секс, всегда и везде секс! Не слишком ли большое значение ему придают?

Сестра включила кухонный комбайн, чтобы растереть в пюре авокадо с луком, цедрой лайма и кориандром, так что ее ответ я плохо расслышала, но движение бровей расценила как согласие.

Я посыпала тертой моцареллой кукурузные чипсы в четырех алюминиевых тарелках, сунула их в духовку на верхнюю решетку и поставила нагрев на максимум. Леони добавила в гуакамоле[1] пару капель табаско и выложила его на блюдо рядом с тремя шариками густой сметаны и чашечкой острой сальсы. Я спросила, где у нее кухонные рукавички, и, дождавшись, когда сыр покроется золотистыми пузырьками, вынула тарелки.

Супербоул начался уже минут сорок назад. Гийом и дюжина его приятелей, одетых по большей части в потертые джинсы и фланелевые рубашки с вышитыми эмблемами спортивных клубов, смотрели матч в гостиной. "Food, man! Oh! Yeah!"[2] – заорали они, увидев нас в дверях. Сестра метнула встревоженный взгляд на фикус у окна; на улице пошел снег.

– Не хватало, чтобы эти свиньи переломали мои цветы.

Окончание. Начало в "ИЛ", 2006, № 11.

1. Мексиканское национальное блюдо: пюре из авокадо с зеленью, чесноком и перцем чили; подается с чипсами начос.
2. Еда, ребята! Ура! (*англ.*)

Перешагивая через разнокалиберные бутылки пива и полные пепельницы, мы поставили тарелки на кофейный столик. Леони пихнула бедром Гийома, чтобы тот подвинулся, и плюхнулась на диван; я взяла подушку и устроилась на полу возле мулата с косичками. Когда он привстал на колени и затряс кулаками, выражая несогласие с решением арбитра, размахивавшего руками на экране, я спросила, что происходит. "Проехали", – сказал он и длинно выругался. Я вздохнула: четыре попытки, чтобы продвинуть мяч на десять ярдов, – вот все, что отложилось у меня в голове из правил. Я смотрела на игроков в желтом, атаковавших противников в черном, и лихорадочно пыталась припомнить уроки, которые давал мне в этой самой гостиной на таких же Гийомовых сборищах Бенуа Гужон, как вдруг он появился на экране собственной персоной – в пиджаке, при галстуке и с микрофоном в руке. Толпа вокруг него вопила так, что ему приходилось крепко прижимать огромные наушники к ушам, чтобы расслышать вопросы коллег из квебекской телестудии.

– Это мой кузен Бен! – сообщил Гийом с полным ртом острых чипсов.

Так значит, Бенуа Гужон ушел из "Газетт" и осуществил свою мечту – стал спортивным тележурналистом? При виде его рыжеволосой головы и внушительной фигуры я заерзала на подушке, вдруг осознав, до чего же изменилась моя жизнь с тех пор, как он и его "хонда-сивик" уехали из нее на буксире Монреальской снегоочистительной службы.

За этот год я узнала любовь с ее радостями: "Жена ужинает с Жюлем у сестры в субботу вечером" – и, что хуже, с ее безысходными тупиками: "Она рвет и мечет, но хочет все же попытаться сохранить наш брак, хотя бы ради Жюля, понимаешь?" Именно эти слова сказал мне Лоран Вьо по телефону вечером 6 декабря, после того как во всем признался жене. У меня была в разгаре партия в "Тетрис", и после этой новости все блоки, появившиеся наверху дисплея, медленно сползли вниз, а я не могла даже пальцем шевельнуть, чтобы совместить их с нижними собратьями, так что вскоре на экране образовалась бесформенная груда и замигала надпись GAME OVER. Назавтра я обнаружила подвешенный к почтовому ящику пакет. В нем оказался мобильный телефон, который я подарила Лорану, и записка:

Возвращаю твой телефон. Жюль перестал спать по ночам: ему теперь всюду мерещатся инопланетяне. Я люблю тебя, Анни, и объявлюсь, как только смогу, обещаю.

Лоран.

P. S. Если ты еще не сдала письменную работу, пишется "des articles de revues" (определение ставится во множественном числе, если оно выражено исчисляемым существительным, см. "Гревисс", № 219). Удачи.

Удачи? Видел бы он, как я у себя на балконе, всхлипывая, топтала злополучный аппарат. Мне хотелось так же растоптать все воспоминания о Лоране, уничтожить их, лучше бы я никогда не подслушивала его разговор с коллегой в кафе на углу улицы Онтарио, никогда не очаровывалась его руками в пятнышках красной пасты, никогда не дарила ему конфет, никогда не впускала его в мою трехкомнатную квартиру с холлом. Телефон содрогнулся в вибрационных спазмах и в последний раз прохрипел "би-бип!". Я пнула его ногой, и он разбился на мелкие кусочки внизу, на тротуаре рядом с мусорными мешками.

Бенуа Гужон продолжал надрываться на экране.

– Фотогеничен, как ломоть бекона, да еще и раскатывает "р"! – фыркнула Леони и пожаловалась, что в комнате слишком накурено для беременной женщины.

Матч продолжался; она ткнула меня большим пальцем ноги под лопатку и спросила, не хочу ли я посмотреть с ней фильм.

– Не здес-с-сь! – хором зашипели парни.

– Вы чего, совсем ошалели?

В белой, как яичная скорлупа, спальне занавески из бежевой тафты были раздвинуты, и пухлые, словно ватные, хлопья так густо облепили окно, что я едва разглядела сад соседнего дома. Леони вставила кассету в видеомагнитофон и уселась рядом со мной на голубое пуховое одеяло с пультом в руке. Пока она перематывала рекламу и анонсы, я успела прочесть краткое содержание фильма на коробке. Нам сулили "the best romantic comedy in years"[1], в которой "the world's most famous actress"[2] встречает скромного книготорговца, владеющего магазинчиком в районе Лондона, давшем название фильму.

– Мне слишком грустно, чтобы смотреть романтическую комедию.

Сестра пообещала, что это пройдет, и приложила палец к губам – тсс! – потому что на экране уже появились титры. Я поудобнее подоткнула подушку за спиной и насупилась. Пошла череда клипов: Джулия Робертс показывает ослепительные зубы перед вспышками фотокамер, Джулия Робертс красуется на обложках журналов, Джулия Робертс в вечернем платье вышагивает по красной ковровой дорожке, Джулия Робертс скрывается за зеркальными стеклами лимузина, и прочее, и прочее. В общем, Джулия Робертс в разных ситуациях, по всей вероятности подходящих для "world's most famous actress", но в которых, если не случится чуда, вряд ли светило оказаться Леони. "Могла бы с ним так не миндальничать! – фыркнула она, прочитав мейл, который я послала Жослену Монетту. – Старый пердун заслужил!" На экране появился Хью Грант, весь из себя красавчик, он шел развязной походкой по торговой улице. Леони прибавила звук, чтобы заглушить вопли парней, от которых и здесь не было спасения. Стало так громко, что, когда мобильник сестры заиграл на синтетических нотах "Болеро" Равеля, пришлось нажать "pause" как раз на первом поцелуе Джулии Робертс и Хью Гранта, чтобы убедиться, что нам не послышалось.

– "Номер не определился" – прочла сестра на дисплее. Поколебавшись, она все же нажала кнопку: – Алло?

Разом помрачнев и вцепившись пальцами в мою ногу, Леони проговорила несколько коротких, отрывистых фраз: "Хорошо", "О'кей", "Долго же собирался!", а напоследок выругалась: "Shit!" После этого она швырнула телефон в изножье кровати, закрыла лицо руками, застонала, как расстроенный орган, и натянула на себя одеяло, совсем скрывшись в ворохе ткани.

Выждав с полминуты, я ощупала бесформенный голубой бугор и положила руку туда, где по идее должно было находиться плечо Леони.

– Что случилось? – спросила я и потеребила его.

– Это был Пьер! – раздался приглушенный одеялом голос сестры.

– Пьер?

1. Лучшая романтическая комедия последних лет (*англ.*).
2. Самая знаменитая в мире актриса (*англ.*).

Я еще ее потормошила, чтобы объяснила толком. Тогда, рывком откинув одеяло, всклокоченная из-за наэлектризованных волос, Леони встала на колени, молитвенно сложила руки и сказала, что просит меня об огромном одолжении.

– Об одолжении? – переспросила я, слегка насторожившись.

Джулия Робертс и Хью Грант сами по себе вышли из паузы и хотели было продолжить поцелуй, но Леони положила конец их объятию, нажав "stop", – экран погас. Пытаясь так и этак пригладить вставшие дыбом волосы, сестра поведала мне, что друг Пьера, тот, что уступал им свой лофт по четвергам, нашел ее золотую цепочку под кроватью.

– Ты должна поехать забрать ее! – взмолилась она.

Я поморщилась, выражая свой протест против этой миссии, но Леони аж подпрыгнула на коленях и заныла:

– Ты не понимаешь! Это может быть подстава! Откуда я знаю, вдруг Пьер договорился со своим дружком и прячется в шкафу! С него станется, он бешеный, ты же читала его письмо!

Я сказала Леони, что у нее чердак съехал, что все гомо сапиенс мужского пола в подлунном мире сейчас смотрят супербоул, а Пьер наверняка позвонил, воспользовавшись очередной Бенуа-Гужон-паузой. И потом, какой смысл забирать эту старую цепочку, если Гийом подарил ей точно такую же? Сестра вскочила, кинулась к комоду и стала выбрасывать все подряд из третьего ящика, попутно объясняя мне, что та цепочка ей дорога как память и незаменима: можно, например, сделать из нее браслетик для будущего малыша.

– Его лофт совсем недалеко отсюда, такси я тебе оплачу. Не хочешь помочь мне – сделай это хотя бы для твоего племянника или племянницы.

Я схватилась за голову: какой племянник? Какая племянница?

– Разве можно вообще быть в чем-либо уверенной до четырех месяцев?

Но Леони, как я ни отбрыкивалась, напялила мне на голову черную вязаную шапочку и нацепила на нос темные очки.

– Пойдешь инкогнито!

Она потащила меня за руку обратно в гостиную. В матче был перерыв. На экране платиновая блондинка и латиноамериканский плейбой нестройным дуэтом пели балладу. Приятели разбились по интересам: одни крутили косяки на кофейном столике, другие, сгрудившись у письменного стола, нырнули в Интернет; в общем, никто не заметил, как Леони стянула двадцатку из креманки, служившей на сегодняшний вечер общей копилкой.

– Не за так же мы им готовили начос, – пояснила она, сунув деньги в задний карман моих джинсов, и подтолкнула меня к двери. – На углу Мари-Анн есть стоянка такси. Если вызывать, дольше прождешь.

Из-за снегопада такси еле тащилось, и я уже взмокла в вязаной шапке, когда машина наконец затормозила на пересечении улиц Рашель и Кларк перед красным кирпичным зданием промышленного типа с португальским рестораном в пристройке, обшарпанный фасад и запотевшую витрину которого освещала потрескивающая неоновая вывеска. Я хлопнула дверцей, и машина укатила.

Я хотела было перемахнуть через сугроб, отделявший меня от тротуара, но сразу увязла чуть ли не по пояс и все стряхивала снег с джинсов, поднимаясь на третий этаж в сыром подъезде с выкрашенными зе-

леной краской стенами. Так, по коридору налево: там была только одна дверь, и я решила, что это и есть квартира 24. "Самюэль Шалифу" — значилось на карточке над звонком, намертво заклеенным изоляционной лентой. Я достала темные очки и, нацепив их на нос, трижды постучала. Послышались торопливые шаги. Почувствовав, что на меня кто-то смотрит в глазок, я отступила назад и подбоченилась. Через пару секунд щелкнул замок и дверь открылась. На пороге стоял парень с костистым лицом, белой кожей и темными вьющимися волосами. На нем были очки в широкой серебристой оправе, джинсы, черная футболка и наспех зашнурованные кроссовки. Лет двадцать шесть — двадцать семь, больше я бы ему не дала. "Леони? — спросил он строго и презрительно дернул подбородком в мою сторону. — Заходи".

С моих сапог натекла лужа. Я сделала два шага и остановилась на коврике с геометрическим узором в индейском духе. Парень направился к кухонной стойке, расположенной слева, перед одним из пяти окон — овальных проемов в кирпичной стене. Посреди комнаты висел на двух балках гамак, ближе ко мне, как бы на авансцене, стояли два кожаных дивана буквой "Г", между ними низкий столик, заваленный журналами, по диагонали телевизор с выключенным звуком — шел, конечно, супербоул. По другую сторону, справа — стереосистема, этажерки с компакт-дисками, письменный стол, большая незастеленная кровать и платяной шкаф с распахнутыми настежь дверцами, в который было кое-как втиснуто столько барахла, что я бы удивилась, если бы Пьер или кто другой смог туда поместиться. Из-за темных очков все виделось мне в одном цвете.

— Что, слишком много воспоминаний? — фыркнул парень.

Он достал из микроволновки пластмассовый лоток и вилкой перемешал содержимое. Я моргнула под темными очками и опустила голову. Отправив в рот порцию риса, парень выразил удивление: мол, после всего, что рассказывал его друг Пьер, он ожидал увидеть не столь робкую особу. Что он имел в виду — какие-то постельные откровения Пьера или просто манеру моей сестры молоть языком прямо с порога? Он обошел стойку и сел на табурет, не спуская с меня глаз. Я потопталась на индейском коврике.

— Так насчет цепочки... — не выдержала я, когда он молча принялся жевать.

— Знаю, — кивнул парень, отправив в рот очередную порцию.

Он поставил лоток на стойку, утер подбородок и шагнул ко мне. Золотая цепочка повисла в его вытянутой руке над моей рукавичкой.

— Знаешь, ты сделала ему очень больно. Не будь я так хорошо воспитан, сказал бы все, что о тебе думаю.

Я пожала плечами, потянула цепочку к себе и сунула ее в карман пальто.

Он вышел вслед за мной в коридор.

— Ты хоть позвони ему, скажи спасибо! Моя бы воля, я бы снес твою цепочку в скупку, а деньги пропил.

Я была уже на лестнице, и он начинал меня всерьез утомлять.

— Ага, — ответила я, не оборачиваясь, — что ж не снес, балда? Избавил бы меня от этой комиссии.

Я уже спустилась на пролет, когда услышала, как он топочет следом.

— Ты это о чем?

Не ухвати он меня за капюшон пальто, я так и пошла бы своей дорогой, не признавшись, что я на самом деле всего лишь младшая сестра

бывшей любовницы его друга, которого он так рьяно защищал, будто они в детстве были в одном отряде бойскаутов.

— Сестра?!

— Ты меня задушишь!

Он отпустил мой капюшон с меховой опушкой и почесал голову обеими руками, после чего рассыпался в извинениях и настоял, что сам вызовет мне такси.

— Не пойдешь же ты пешком в такую пургу!

Он потянул за конец моего шарфа, будто это был буксирный трос, и я поднялась за ним обратно.

Самюэль — на карточке возле двери было написано действительно его имя — предложил мне пива, но я отказалась. Не хватало еще, чтобы Леони закатила мне сцену, если я слишком задержусь. Я сняла темные очки и снова осталась стоять на индейском коврике, пока он вызывал по телефону такси. Лофт обрел краски: медно-красный кирпич стен, лиловый с желтым гамак, золотисто-коричневые блики полированного шкафа. Выбросив свой ужин в мусорное ведро, Самюэль сел на тот диван, что был прямо напротив меня. Он снял очки и принялся массировать виски, шумно вздыхая. В этом было что-то театральное. У него оказались худые ноги, и руки тоже. Лицо было почти такое же белое, как снег, по-прежнему круживший за окном позади него.

— Закурить можно?

Я уже достала из сумки сигареты. Самюэль надел очки и пошел в кухню за пепельницей.

— Я бросил в прошлом году, — сказал он, поднося мне зажигалку. — У меня астма.

Я отвернулась, чтобы не дымить ему в лицо.

— А у меня вот аллергия на вишню.

В бетонной стене у двери была дырка; Самюэль машинально сунул туда палец.

— И никакой я не бойскаут.

На самом деле, пустился он в объяснения, он в обиде на мою сестру по другой причине: Пьер был так в нее влюблен, так переживал, когда она перестала отвечать на его звонки, что, сославшись на переутомление, закрыл свою лавочку "Продакшн Вау!" и усвистал отдыхать на яхте в Карибское море со своей подругой, трудоголичкой, у которой в самом деле кончился завод. Причем уехать Пьер решил в одночасье, наплевав на то, что "Продакшн Вау!" подрядилась выпустить на телевидении рекламу автомобилей, целую серию клипов, по заказу "Бум-бум комьюникейшн".

— "Бум-бум комьюникейшн"? — перебила я, выпуская колечки дыма.

— Рекламное агентство номер один в Канаде.

Так вот, продолжал он, когда шеф "Бум-бум комьюникейшн" сообщил директору по маркетингу автомобильной фирмы, что в связи с неожиданным отъездом продюсера съемки и выход в эфир рекламной кампании будут задержаны на неделю, этот самый директор по маркетингу обозвал "Бум-бум комьюникейшн" халтурщиками и обратился в конкурирующее агентство.

— Это все понятно, но при чем тут цепочка моей сестры и почему ты хотел сдать ее в скупку?

Самюэль выдержал паузу. Он с завистью смотрел, как я затягиваюсь сигаретой.

— А связь такая, что криэйтер этой рекламной кампании — я, и моя концепция была так хороша, что босс сулил мне "Льва" в Каннах. Я ненавижу твою сестру.

— Так ты рекламщик!

Я прикусила губу.

— Что-что?

Он перестал скрести дырку в стене и часто заморгал. Глаза у него были коричневые, как два каштана, и, возможно в силу оптического эффекта, за стеклами очков казались круглыми, точно у персонажей японских комиксов.

Я отвернулась и посмотрела на метель за окном, с трудом сдерживая душивший меня смех: к месту вспомнилось, что сказал мне однажды Лоран. Впервые за два месяца при мысли о нем хотелось смеяться. Его сарказм был очень кстати; мне его не хватало. "Что?" — повторил Самюэль.

— То есть ты зашибаешь шестьдесят тысяч долларов в год, придумывая игру слов, благодаря которой лучше раскупают гамбургеры?

Самюэль как-то сдавленно усмехнулся, кивнул и добавил, что "грязными" зашибает все-таки немного больше. Тут я прибалдела, потому что всегда думала, что Лоран цифру преувеличил. "Вот как!" — промямлила я. От порыва ветра задрожали стекла в окнах. Я сказала: "Что-то такси долго нет"; Самюэль прошел через комнату, чтобы посмотреть в окно. "Ни одной машины на горизонте", — констатировал он и снова опустился на диван.

Мне стало жарко, и я сняла шапку. Самюэль устроился поудобнее, положив ноги на кофейный столик, сцепил руки на затылке, после чего оглядел меня с головы до ног и осведомился, чем я занимаюсь. "Пишу книги", — ответила я. Он надолго замолчал, и я подумала, что род моих занятий произвел впечатление.

— То есть ты заносишь в компьютер фрагменты своего интимного дневника, в которых идет речь о сексе и неземной любви, печатаешь, кое-как связав все вместе, и называешь это романом?

Лицо его перекосилось в победоносной ухмылке, и он спросил, опубликовала ли я хоть что-нибудь. "Вечеринку в саду", — ответила я, загасив сигарету в пепельнице. Самюэль усиленно наморщил лоб, давая понять, что никогда не слышал о такой книге, и предположил, что гонорары у меня, должно быть, миллионные. "Зараза!" — подумала я, а вслух призналась, что еще и учусь в Университете Макгилл, но слегка завысила стипендию, которую мне платили за будущую научную работу. Действительно, на что это было бы похоже, скажи я ему, что моя стипендия У. Д. Мак-какого-то-там составляет всего три тысячи в год, а отец дает мне в восемь раз больше.

— Тридцать тысяч долларов в год за еще не написанную работу! — протянул Самюэль. — Не слабо.

— Налогом не облагается.

— А зачем все-таки ты изучаешь французскую литературу в Макгилле?

— Ради престижа.

Снег все сыпал, как сахарная пудра. Самюэль взял пульт и прибавил звук в телевизоре. "Буд", "Вай", "Зер"[1], — проквакали три мультяшные лягушки в пруду.

— Я смотрю супербоул только ради рекламы, — сказал Самюэль, не отрывая глаз от экрана. — Это гениально.

1. Знаменитая реклама пива "Будвайзер".

Он с сосредоточенным видом погрыз ногти и сообщил мне, что тридцать секунд эфирного времени обходятся рекламодателям в два миллиона долларов. "Bud", "Wei", "Ser", – промычали еще какие-то животные, и ролик закончился крупным планом пивной бутылки.

Снова выключив звук, Самюэль взял у меня из рук пепельницу и толкнул приоткрытую дверь справа. Когда он зажег свет, я, вытянув шею, разглядела допотопную ванну на ножках за душевой занавеской в пятнах побелки, раковину, опирающуюся на две ржавых трубы, и черно-белый плиточный пол, местами щербатый, – теперь ясно, почему Леони больше года предпочитала принимать душ у меня.

– А какая, собственно, у тебя тема? – спросил Самюэль, вытряхнув пепельницу в унитаз.

Я услышала звук спускаемой воды. Когда он закрывал за собой дверь, желудок у меня противно скрутило. Я смяла шапку в руках и кашлянула:

– "Новый литературный генезис: издательские редакторы в Квебеке с 1960 года до наших дней".

Самюэль убрал пепельницу в кухонный шкафчик.

– Редакторы, оказывается, составляют предмет университетских исследований? – удивился он. – Не знал. У нас в "Бум-бум" они тоже есть, двое.

Раздался автомобильный гудок, и он посмотрел в окно.

– Такси приехало.

Я натянула шапку на уши и попрощалась.

Вернувшись к сестре, я пересекла задымленную гостиную, переступая через тарелки, бутылки и поддатых парней, уставившихся в телевизор, где осаждаемый толпой Бенуа Гужон сообщал, что до конца игры осталось всего три минуты.

– Тебя только за смертью посылать!

Сестра, лежа под одеялами, досматривала фильм и с хрустом жевала стебли сельдерея. Я бросила ей злополучную цепочку; она перебрала ее пальцами, как четки, внимательно осмотрела и заявила, что это действительно ее цепочка.

– А чья же еще, по-твоему? – фыркнула я.

Леони вылезла из-под одеял, держась за поясницу, и спрятала свое сокровище в розовом шелку первых попавшихся трусиков в верхнем ящике комода.

– Друг Пьера, уж наверно, иногда водит к себе девушек.

Я сказала Леони, что друга зовут Самюэль Шалифу, он рекламщик и гигантские анимационные лягушки, похоже, интересуют его куда больше, чем девушки. Не утаила я и того, что она сорвала крупную рекламную кампанию в автомобильной промышленности, потому что ее Пьер так переживал, что сбежал из "Монтаж мондьяль" не в "Монтегю", а на яхту в Карибском море.

– А! – въехала Леони. – Вот почему на моем мобильнике номер не определился! Он, значит, звонил мне оттуда.

Она убрала трусики обратно в комод и шепнула мне, что Гийому пока ничего знать не надо: не может же она ему сказать, что цепочка свалилась с неба.

– Наркоша, обколовшийся в раздевалке гимнастического зала, уж точно не принес бы украденное год спустя. Придется еще придумывать что-нибудь правдоподобное!

Сестра снова забралась в постель, и тут из гостиной раздался многоголосый вопль. "С-с-скоты!" — прошипела она и прибавила звук своего телевизора. На экране Джулия Робертс давала пресс-конференцию толпе журналистов, осыпавших ее вопросами.

— А что тут произошло? — спросила я Леони, но она отмахнулась, мол, долго рассказывать, лучше мне самой взять в прокате кассету, если интересно.

Вдруг дверь в комнату распахнулась, крики приятелей сразу усилились на несколько децибелов.

— Кто-нибудь из вас брал деньги из копилки? — прорычал Гийом.

Сестра, скрестив руки на груди, поинтересовалась, похожи ли мы на воровок. Я тоже скрестила руки на груди и изо всех сил нахмурилась. Гийом быстро переводил подозрительный взгляд с Леони на меня и обратно. Наконец он растерянно почесал в затылке, извинился и закрыл дверь.

В первые дни после разрыва с Лораном я строила планы: молниеносно напишу второй роман, пошлю его в издательство "Дюфруа" и буду ждать звонка мадам Венн — пригласит же она меня работать с корректурой. Мне будут гарантированы как минимум два часа наедине с Лораном в его каморке, два часа я буду смотреть, как он вымарывает мои наречия и прилагательные — а я нарочно напихаю их побольше, — и объяснять ему, что он не должен был меня бросать, ведь сам говорил, что любит. Окрыленная этой идеей, незадолго до Рождества я предприняла попытку, отыскав на жестком диске моего компьютера одно из продолжений "Вечеринки в саду", взяться за работу прямо с того места, где остановилась почти год назад. Но, едва сев за компьютер, я поняла, что эта затея, пожалуй, будет для Лорана лишним основанием никогда ко мне не возвращаться.

В тот день, выключив компьютер, я пошла на улицу Сен-Дени за покупками к Рождеству, а по дороге вспоминала, как однажды — сидя на унитазе, по пояс голый, и нагнув голову, чтобы я побрызгала ему жавелевой водой за ушами, — Лоран мне кое в чем признался. Это было через несколько дней после нашей счастливой встречи в преподавательской гостиной в Петерсон-холле. "Знаешь, в то утро в кабинете Софи Бланше ты мне сразу понравилась — такой симпомпончик в мини-юбочке, но только прочитав твой роман, я сунул нос в бухгалтерию, чтобы посмотреть твою авторскую карточку. Ой! По спине течет, вытри скорей. Ну вот. Мне очень, очень понравился твой роман. Я с нетерпением жду второго. Точно тебе говорю, у тебя талант". Да уж, в тот вечер Лоран мог больше ничего не говорить, мне и так стало ясно, чем я лучше его жены. Она, конечно, знала массу всяких тонкостей, вроде того, что базилик в томатный соус надо класть в самом конце варки, чтобы сохранить его аромат. Она наверняка умела готовить изумительные ризотто, брускетты и оссобуко, может, вообще выращивала круги пармезана в своем саду — но книг она не писала. Удивительно ли, что Лорана, который сам втайне мечтал об этом поприще, больше прельщала писательница, чей труд он оценил, чем специалистка в области итальянской кухни?

Я воплощала мечту — она варила спагетти.

"Я объявлюсь, как только смогу". Это будет скоро, убеждала я себя, открывая дверь бутика "Синяя ночь". Спустя пару минут, когда я придирчиво рассматривала халат, ко мне подкралась продавщица. "Мужчины обожают эту модель!" — проворковала она. "О нет! — простонала я,

подавив вдруг вырвавшееся рыдание. — Он вернулся к ней! Это всего лишь для моего зятя!" Продавщица, рассыпавшись в извинениях, поспешила принести мне шоколадку из вазочки у кассы, но несчастья не кончились: надо было случиться, чтобы именно в этот вечер я увидела в витрине книжного магазина Рено-Брей книгу Мартины Хури на ложе из красного и серебристого серпантина.

В сочельник у меня не было никакого настроения веселиться. "Ты же сама жаловалась, что живешь как на биваке!" — утешила меня Леони, когда я, утерев две-три слезинки рукавом платья, поведала ей, что Лоран даже не позвонил меня поздравить. "При чем тут бивак! — возразила я, сморкаясь. — Я писала в своих мейлах о съемном доме!"

"Съемный до-ом! — воскликнула мама, внося в столовую блюдо с индейкой. — Только не говорите, что безумная старуха с Кейп-Кода опять звонила! Ни гроша она не получит! Мальчики, мальчики! К столу!"

Пока мама трезвонила в серебряный колокольчик, я успела объяснить Леони, что слишком привязалась к этому дому, в котором прожила всю осень, и что его хозяйка, набив синяков об углы мебели, которую я, не отдавая себе в том отчета, переставила, наверняка скоро взвоет, правда?

В первый день занятий в январе я пришла в университет пораньше, пока еще было мало народу, и постучала в кабинет Бернара: мне нужна была его подпись на розовом бланке с новой темой.

— "Новый литературный генезис: издательские редакторы в Квебеке с 1960 года до наших дней", — прочел он, хмуря брови. — Я думал, мы остановились на отсутствии самоубийства в "Поисках утраченного времени".

— Я передумала.

— Ты же писательница! Зачем тебе понадобилась теоретическая работа?

Бернар напомнил мне, что он *литератор* и руководить подобными исследованиями не имеет права. Да еще покатил на меня бочку: я-де и так прибавила ему работы, посадив на шею сводную сестрицу Юбера Лакасса.

— Она показала мне черновой вариант "Стихов на грани". Это детский лепет, и что я должен, по-твоему, ей сказать? Ей и без того хватает в жизни несчастий. Ты знаешь, что она была балериной, солисткой в нью-йоркской труппе, но из-за травмы коленной чашечки никогда больше не сможет танцевать?

Бернар подул на горячий кофе и посоветовал мне поискать другого научного руководителя.

— Ну пожалуйста, Бернар! Ты же знаешь, что половина преподавателей факультета с предубеждением относятся к студентам, которые закончили магистратуру по твоему творческому профилю. Никто меня не возьмет!

Бернар вздохнул, сдаваясь, а я пообещала, что справлюсь с исследовательской частью сама: благодаря обязательным семинарам по литературному генезису, на которые я ходила осенью, у меня набралась кое-какая библиография и целая куча конспектов. Дело нехитрое: читай и комментируй написанное. Бернар покусал ручку и нацарапал-таки свои инициалы внизу розового листка.

— Не пойму, какая муха тебя укусила!

Я от всего сердца поблагодарила его.

Ну и пусть моя тема не имеет никакого отношения к литературе! Зато, пока Лоран не вернулся ко мне, она будет каждый день делать его чуть-чуть ближе. А потом он прочтет и оценит мою преданную любовь. Лоран вечно хаял свою работу; во имя Науки я докажу ему обратное — ее ценность, пожалуй даже основополагающую.

За весь январь только сестра ухитрилась однажды оторвать меня от книг, упросив помочь ей приготовить начос к очередному телерепортажу. "Я не хочу никого видеть!" — сказала я ей, но куда там! "Я же беременна, мне нельзя долго стоять, у меня ноги опухают!" С утра до ночи я штудировала классиков генезиса. Эспань "От архива к тексту. Исследование исторического генезиса". Фарж "Вкус архива". Грезийон "Элементы критического генезиса", ну и, конечно, статья Хэя в журнале "Поэтика": "Текста не существует". Все это была заумь и скука, но ради своей высокой цели я читала и читала, упорно и тупо, как автомат.

Исписав массу карточек и разложив их по темам в коробке из-под туфель, я более-менее представила себе будущую работу. Теперь можно было заполнить остальные графы розового бланка и сдать его мадам Дюбуа, которая, приложив университетскую печать, не преминула заметить, что сейчас у нас середина февраля и я больше чем на год отстаю от других учащихся, — конечно же потому, что выбрала творческий профиль в магистратуре, а стало быть, несобранна, недисциплинированна и так далее, и тому подобное.

Февраль подходил к концу. Чем выше воспаряла моя любовь в сферы абсолюта, тем меньше, казалось мне, имела шансов в реальном мире. Признаться, помимо того, что всякий раз, когда на моем пути оказывался "Макдоналдс", я, приставив руки козырьком ко лбу, приникала лицом к витрине и высматривала в зале длинноволосого молодого человека с маленьким мальчиком, упоенно поглощающим наггетсы, я по-прежнему раз пять в день проверяла электронный почтовый ящик. Однако, кроме посланий от мадам Дюбуа и счетов от TetrisWorld.com, ничего не было. Какого черта он тянет? "Он любит меня, любит!" — твердила я себе. Разве что безмолвные послания, которые я регулярно находила на автоответчике, вернувшись из университета, слава богу, вселяли в меня надежду. Я уверяла себя, что Лоран конечно же пытается связаться со мной и звонит из издательства, но говорить в пустоту не хочет, потому что собирается сказать мне что-то очень важное. Когда бросают девушку и не подают признаков жизни целых два месяца, разве можно признаться автоответчику в том, что ее любят и жаждут увидеть, не рискуя выставить себя законченным болваном? Мне же часто становилось невмоготу, и я писала ему электронные письма в три сотни килобайтов, в которых рассказывала о своих исследованиях и умоляла хотя бы по этому поводу зайти ко мне как-нибудь после работы. Правда, я их не отправляла, а выбрасывала в корзину. Было страшно, что Лоран не ответит, что мои монологи ухнут в пустоту. В такие вот мрачные часы я думала обо всех литературных героинях, брошенных любовниками. Дидона, португальская монахиня, президентша Турвель, госпожа Бовари — бедняжки либо делали себе харакири, либо удалялись в монастырь в сельской глуши и сходили с ума. Как хорошо, утешала я себя, что цивилизация с тех пор шагнула далеко вперед и не только открыла нам двери университетов, но и подарила "Тет-

рис", мороженое "Häagen-Dazs" с шоколадной крошкой и кабельное телевидение, иначе насколько меньше было бы нас таких сегодня на земле.

Однажды вечером я отдыхала от трудов праведных, выскребая остатки мороженого и рассеянно нажимая кнопки пульта, и случайно попала на очередное идиотское ток-шоу в прямом эфире с не в меру активной публикой. "Ах, зараза!" — вырвалось у меня. В кресле для гостей сидела Мартина Хури. Она, похоже, нервничала перед камерами, то и дело приглаживала рукой волосы, но когда ведущий спросил, как она сама относится к пирсингу, с готовностью задрала свитер и продемонстрировала серебряный гвоздик в пупке, вызвав восторженный свист толпы. Ведущий вытаращил глаза в камеру, притворившись, будто шокирован дерзостью гостьи, а потом спросил Мартину Хури, нет ли у нее где-нибудь еще гвоздиков.

— Все может быть, — изрекла она загадочно.

— У-у! У-у! У-у! — возбужденно взревела толпа, будто бы загоревшись желанием увидеть скрытое от глаз.

Публику поддержал оркестр. "Фу!" — сморщилась я и переключила канал.

Однако этой ночью в постели я долго ворочалась с боку на бок. Восторженные "У-у! У-у! У-у!" звучали в моей голове, и в душу начало закрадываться сомнение: быть может, после девяти месяцев воздержания с женой Лоран ждал от меня большего? Я старательно припомнила день за днем всю осень: да нет, все как будто соответствовало законам высокого искусства. Мы занимались любовью всякий раз, когда встречались, и не только на моей кровати, но и на всех поверхностях, расположенных на подходящей высоте, в гостиной, ванной и кухне. "'ИКЕА' — это надежно!" — часто шутил он. Один раз мы даже сделали это на лестничной клетке, что было небезопасно, потому что мои соседи-аптекари работали по скользящему графику. Достаточно ли этого, мучилась я вопросом, или некая темная часть сексуального "эго" Лорана осталась для меня за семью печатями? Неужели поэтому он не звонит? Быть может, ему бы больше понравилось, будь я смелее, раскованнее в постели? Будь я способна задрать свитерок перед полумиллионом телезрителей? И он кричал бы вместе со всеми "У-у! У-у! У-у!", стоило девице намекнуть, что у нее, возможно, есть пирсинг под трусиками? Вот когда я пожалела, что до него у меня был только один мужчина! В общем, я пребывала в раздрае и совсем потеряла голову, когда, еще через день, прочла письмо на фирменном бланке издательства "Дюфруа", пришедшее по почте. Сам господин Дюфруа любезно просил "дорогих авторов" как можно скорее прислать ему какие-нибудь из своих фирменных рецептов — закуски, супы, салаты, мясные и рыбные блюда, десерты и прочее — для запуска проекта кулинарной книги, вся прибыль от которой пойдет в благотворительный фонд помощи голодающим квартала Ошелага-Мезоннёв. В постскриптуме господин Дюфруа сообщал, что презентация проекта состоится в штаб-квартире упомянутого фонда; о дате, писал он, будет сообщено дополнительно.

— Презентация! — завизжала я и повалилась навзничь на диван.

Слава господину Дюфруа, слава бесплатным обедам для неимущих, я скоро увижу Лорана! Но тут я села и призадумалась. Если моя догадка верна и Лоран бросил меня, потому что наши отношения его разочаровали, есть ли лучший способ снова влюбить его в себя, чем показать, что я желанна для кого-то еще? Почему засвистели мужики на идиотском ток-шоу, когда Мартина Хури продемонстрировала гвоздик в пупке? Не из

стадного ли чувства? Достаточно было свистнуть одному — и все подхватили? Боюсь, покажи Мартина Хури свой гвоздик каждому в отдельности, реакция будет иной. Один спросит, больно ли прокалывать пупок, другой поинтересуется, не воспалился ли прокол, а третий, может быть, за этот гвоздик подергает, чтобы проверить, крепко ли он держится, но, положа руку на сердце, много ли найдется таких, что засвистят? Трое-четверо от силы, да и те свистнут раз-другой, кто же свистит в одиночестве часами, невелико удовольствие! Так вот, если Лоран увидит, что другой мужик на меня, так сказать, свистит, разве не захочется ему свистнуть тоже, причем громче соперника? Ведь и жена Лорана засвистела на мужа именно тогда, когда узнала, что вот уже три месяца это делаю я, верно? Чем дольше я об этом думала, тем сильнее у меня звенело в ушах и тем больше я убеждалась, что была для Лорана слишком легкой добычей. В "Шепотах песка" Мария регулярно заводила себе мужчин, чтобы раззадорить своего вечного мужа, и всякий раз это срабатывало; если вспомнить, как исходил злобой Бернар, когда Марсель Жоликёр любезничал с Марион на сцене Овальной гостиной "Ритца-Карлтона", срабатывает и сегодня. А я-то, я, господи, всю осень только и делала, что считала часы от встречи до встречи — три раза в неделю, — а в промежутках ждала звонков и писем! Да еще так и кинулась ему на шею, когда после ссоры мы увиделись в университете! Никогда я не посмела бы дать ему понять, что в моей жизни может быть кто-то другой. Никого и не было, это же так очевидно, что даже смешно, достаточно вспомнить, как потешался Лоран над чесалкой для спины, висевшей на двери моей ванной! "На кой тебе это безобразие?" — спросил он тогда, помахав передо мной перламутрово-розовой палочкой с ладошкой на конце. "Спину чесать, а ты что подумал?" Стоило ли объяснять ему, что, когда живешь одна, без такой штуки не обойтись? "Ха-ха-ха!" — закатился он, а потом испробовал "безобразие" на себе, да с такой силой, что моя чесалка разлетелась на куски. Лоран извинился; через день он даже подарил мне новую. Но как могла я не уловить скрытый смысл эпизода? Этим вопросом я терзалась, комкая письмо господина Дюфруа и затягиваясь сигаретой. Что Лоран восхищается мной как автором романа, по его мнению неплохого, — это одно; что он думает, будто я сижу день и ночь в четырех стенах и пишу, прерываясь время от времени, чтобы почесать спину пластмассовой палочкой, — совсем другое. Тут, без сомнения, его жена меня обставила. Лоран подозревал, что у нее есть любовник; мало того, он наверняка скрипел зубами, воображая ее за кастрюлями спагетти в кухне, где хозяйничают толстые повара-итальянцы и снуют шалуны-официанты.

— Как ты думаешь? — спросила я Леони, поделившись с ней своими размышлениями. — Надо мне найти себе кавалера на эту презентацию?

— "Пускай ревнует Тит — ревнуют лишь любя"[1], — устало вздохнула она. — Я, что ли, изучаю литературу?

На следующий день, наскоро перекусив в буфете Шатнер-билдинга, я спустилась в холл, протиснулась сквозь толпу студентов и побежала к телефонам, находившимся возле автомата с напитками. Найдя в справочнике нужный номер, я бросила в щель двадцатипятицентовую монетку.

— "Бум-бум комьюникейшн", добрый день, — пропел конфетно-сладкий голос в трубке.

1. Расин. Береника. Действие 2, явление 5. Перевод Н. Рыковой.

Я попросила к телефону Самюэля Шалифу. Меня переключили в режим ожидания так быстро, что, когда я добавила "из креативной службы", мне в ухо уже лился мотив "Alegria". "Ох, нет!" — мысленно ужаснулась я, вдруг почувствовав себя как на заднем сиденье машины с неисправным кондиционером.

— Псст! Псст!

Я обернулась. Держа в руке надкушенную булочку, передо мной раскачивался вперед-назад Юбер Лакасс.

— Птичка моя, угадай-ка, что я тебе скажу!

Он сглотнул, прищелкнул языком, как ящерица. Капля желтого крема повисла у него на губе. В трубке по-прежнему звучала "Alegria". Я решила, что уж лучше поговорить с Юбером Лакассом, чем слушать это ангельское пение.

— Что? Отстроили особняк на Мон-Руаяль? Брэд Питт съехал из своих апартаментов в "Ритце"?

Юбер Лакасс мотнул головой снизу вверх и объяснил мне, что сие событие произошло еще за две недели до Рождества.

— Это так затянулось, потому что пожар возник из-за короткого замыкания в отопительной системе. Все пришлось менять. Но ты не угадала.

Он куснул булочку своими длинными зубами.

— Ты меня достал. Сегодня вечером намечается beer bash в Квебекском университете, и ты заранее знаешь, что мне идти туда с тобой неохота, но все-таки хочешь попытать счастья?

Юбер Лакасс опять сглотнул и сказал, что beer bash был на прошлой неделе и он ходил туда со сводной сестрой, чтобы ей развеяться, только без толку, она в двенадцать отвалила домой спать.

— Короче, я на телефоне.

Он вытер рот рукавом своего замшевого пальто, посмотрел на толпившихся вокруг студентов и наклонился к самому моему уху.

— Я бросаю докторскую работу. "По ком звонит кол?" выйдет в Париже. В одном маленьком парижском издательстве очень заинтересовались. Мне сам издатель сказал, и он не знает, кто мой отец.

Юбер Лакасс повел своими густыми бровями и откусил от булочки. Вдруг "Alegria" смолкла и в ухо мне ударил звонок.

— Что ж, рада за тебя, — сказала я и повернулась к нему спиной.

— Я слушаю! — раздался голос в трубке.

Я сделала глубокий вдох.

— Это Самюэль Шалифу?

— Слушаю!

Тон был жесткий, и я растерялась, не зная, с чего начать.

— Это Анни Бриер.

— Кто-кто?

Вот черт.

— Сестра золотой цепочки, вечер супербоула...

— А, да! — вспомнил Самюэль.

Правда, тут же сказал, что у него "сумасшедший день" и что ему "надо мчаться" на встречу с заказчиками. Можно ли перезвонить мне вечером? Я продиктовала свой номер, и он первым повесил трубку со словами: "Ладно, пока!"

Я положила трубку на рычаг и уткнулась в нее лбом: вздумай я засечь время разговора, стрелка не пробежала бы и пятнадцати секунд. Облом. А я-то всю ночь строила планы! Прежде всего, на днях — если понадо-

бится, под предлогом внезапно возникшего научного интереса к лингвистическим изыскам в рекламе — встретиться и выпить с Самюэлем где-нибудь пива. Далее — звонить ему как минимум раз в неделю, ни в коем случае не терять связи, чтобы, когда господин Дюфруа объявит дату презентации, я запросто могла бы попросить его пойти со мной. Да можно ли вообще записать телефонный номер за такое короткое время? Что-то я в этом сомневалась.

— Псст! Псст!

Я вздрогнула.

— Какого черта ты еще здесь?

Юбер Лакасс уже доел булочку и облизывал зубы.

— А как насчет моих авторских прав на ту фотографию? Когда расплатишься?

Я подхватила с пола рюкзак и закинула его на спину.

— Да я скорее похороню себя в монастыре в сельской глуши, чем проведу хоть час с тобой!

— Ну и дура ты, Анни Бриер! — рявкнул он мне вслед, когда я уже неслась на рысях к выходу.

В этот день, вместо того чтобы отправиться штудировать литературный генезис на шестой этаж библиотеки Макленнана, я побрела домой. Под ранним мартовским солнцем тускло блестели крыши старых домов в гетто Макгилла. На бульваре Сен-Лоран по краю тротуара текли грязные ручейки талой воды, пересекаясь, разливались лужицами, и прохожим приходилось либо огибать их, либо упражняться в прыжках в длину. На авеню Мон-Руаяль уличный торговец разливал густой кленовый сироп и наматывал по просьбам прохожих липкие волокна на леденцовые палочки. Дома я обнаружила, что мои брюки забрызганы серой грязью, переоделась и улеглась на диван в обнимку с радиотелефоном.

"Позвони мне, позвони, позвони", — шептала я, уставившись в потолок.

За шторами потихоньку село солнце. Я зажгла свет и заказала курицу с рисом в ближайшей тайской лавочке.

Телефон зазвонил в десятом часу.

— Алло, это Анни?

"Ай!" — прошипела я, потирая ухо. Звонок я поставила на максимальную громкость, и у меня чуть не лопнула барабанная перепонка. Какого черта придумали такие мощные звонки? Неужели маркетинговые исследования показали, что много нас, таких дур, ни за что на свете не желающих пропустить звонок парня, который может помочь нам вернуть другого? "Ай!" — еще раз прошипела я.

— Алло?

— Алло, да, извини. Это Самюэль?

— Да. Что делаешь?

Постаравшись, чтобы мой голос звучал непринужденно, я ответила Самюэлю, что не делаю ничего особенного: недавно поужинала и листаю газету. На самом деле я так боялась не дождаться его звонка, что мой ужин в белой картонной коробочке с красными драконами остался почти нетронутым. Я ощупала бок телефонного аппарата в поисках регулятора громкости и спросила Самюэля, как прошла его встреча с заказчиками.

— Хорошо.

Голос был какой-то слабый, и я вспомнила, что у него выдался сумасшедший день. Как знать, не исчерпаны ли сегодня все возможные вари-

анты игры слов с существительным "гамбургер", подумалось мне, и как знать, не оказался ли из-за этого Самюэль в глубоком профессиональном тупике?

— А ты?

Я соврала, что провела день в университетской библиотеке за научной работой. "Гм-гм", — только и промычал он в ответ. Повисла пауза, и по легкому шипению в трубке я определила, что Самюэль звонит мне с мобильного телефона. Впрочем, откуда я знаю, может быть, его тариф предусматривает неограниченное количество бесплатных звонков по вечерам и в выходные, выбрала же я такой прошлой осенью для Лорана? Самюэль, наверно, ждал, чтобы я перешла к делу.

— Слушай, не хочешь как-нибудь на днях выпить со мной пива?

В трубке снова наступила тишина, и я села на диване.

— Самюэль?

— Гм.

— В общем, если ты не слишком занят, мы могли бы встретиться на этой неделе или на следующей.

— Да. Продолжай.

Продолжать? — на минуту удивилась я. Потом хлопнула себя по лбу: Самюэль зарабатывает больше шестидесяти тысяч долларов в год, и если только он не скряга из скряг, то месячный счет за мобильный телефон его вряд ли волнует. Я все-таки порой бываю редкостно тупа. Расслабившись и устроившись поудобнее на диване, я перечислила наобум названия нескольких баров, в которые водила меня Леони: "Джелло-бар", "Софа-бар", "Гого-Лаундж". Или у него есть другие предложения?

— Не знаю. Поговори со мной.

Может, Самюэль боится, что я не способна поддержать разговор? У рекламщиков такой плотный график, что они все проясняют заранее, дабы не терять времени за пивом с бессловесным существом? Какова, однако, наглость, возмутилась я, но все-таки поведала Самюэлю, что опять видела по телевизору рекламу с тремя земноводными.

— Земноводными?

Его дыхание в трубке стало частым и прерывистым.

— Самюэль?

— Я хочу знать, как ты одета.

— Не поняла?

Самюэль повторил вопрос, сопроводив его на сей раз умоляющим "Come on"[1]. Я зажала рот рукой; его дыхание становилось все чаще, и мне вдруг почему-то стало интересно, занимался ли он *этим* с самого начала нашего разговора. Я отставила трубку от уха, ошарашенно посмотрела на нее и тихо выругалась. Твою мать... Из дырочек трубки по-прежнему вырывалось прерывистое дыхание. И что же мне делать? Палец уже нащупал кнопку "End", но я медлила. Конечно, дата презентации кулинарной книги пока не назначена, и я успею найти кого-нибудь еще, но ценой каких усилий? Мои возможности не так велики. С Бенуа Гужоном все так резко оборвалось прошлой зимой, что, если я позвоню, он, пожалуй, будет польщен, примерно как хоккеист, которого сначала отправили к юниорам за полную непригодность, а потом призвали в команду Национальной лиги, откуда четыре игрока выбыли из-за травм. А Самюэль Шалифу — вот он,

1. Давай же (*англ.*).

на проводе и даже, как ни странно, правильно записал мой телефон. Я провела рукой по своим потертым джинсам, по длинному шерстяному свитеру цвета сливок, снова прижала трубку к уху и вздохнула.

— На мне ничего нет.

— Как? Ничего?

Уж не знаю, какого ответа он ожидал, но я не собиралась морочить себе голову ни дезабилье из красного атласа, ни поясом с резинками и хитрыми застежками. Самюэль задышал громче, и я отчетливо расслышала звук трения.

— Говори, не останавливайся. Мне нравится твой голос.

Я задумалась — о чем, собственно, с ним говорить? — и решила, что, коль скоро он так внимательно меня слушает, было бы глупо не воспользоваться этим и не расставить все точки над "i". Конечно, своей прямотой я рискую обидеть его, но, судя по тому, как он взял меня в оборот, Самюэль явно не поборник этикета. И я объяснила ему, что, в сущности, нам даже не обязательно пить вместе пиво. Все, что от него требуется, — пойти со мной на презентацию кулинарной книги (я позвоню и сообщу когда) и усиленно обхаживать меня, особенно когда некий интересный брюнет, которого я покажу ему в начале вечера, будет смотреть в нашу сторону.

— Стерва!

— Брось! Если б ты знал, что я от него терплю уже три месяца, ты бы так не говорил.

Самюэль еще несколько раз повторил "Стерва!", и я больше не возражала. В конце концов, какая разница, что этот тупой рекламщик думает обо мне? Пожалуй, так даже лучше. Чтобы внести полную ясность, я предупредила его, что готова сегодня вечером оказать ему необходимую помощь в снятии стресса после тяжелого дня, но и только, на большее пусть не рассчитывает. Что нет, то нет, и он должен это понять, ведь едкое замечание о его профессии в тот вечер я отпустила не просто так. Достаточно уже того, что я почерпнула его у человека, которого люблю, но скажу больше: все преподаватели, чьи лекции я слушала в университете, рано или поздно поднимали вопрос о том, насколько рекламный стиль засоряет язык. А я, как ему известно, писательница, так что связаться с рекламным криэйтером для меня равносильно кощунству.

— Все равно что Джейн Гудалл[1] спуталась бы с браконьером.

— Джейн Гудалл? — пропыхтел Самюэль между двумя выдохами. — Мерзавка. Так ты с подружкой? Скажи ей, пусть возьмет вторую трубку.

Я гнула свое: все, что от него требуется, — сделать мне пустяковое одолжение, я уже сказала какое. Я это заслужила, хотя бы за то, что уже больше пяти минут слушаю свинские звуки в трубке.

— Потрогай.

— Не поняла?

— Потрогай свою киску, Анни! Там мокро?

Я опять отставила трубку от уха и дернулась к кнопкам: на сей раз Самюэль Шалифу зашел слишком далеко. Ладно, оказать ему пассивную поддержку я готова, но участвовать в его играх? "Come on!" — снова заклинал меня его голос из дырочек трубки. "Да за кого он меня принимает?" — возмутилась я. Палец снова потянулся к кнопке "End", и опять у

1. Джейн Гудалл (р. 1934) — ученый-биолог, занимающаяся сохранением исчезающих видов обезьян в Африке.

меня не хватило решимости. Теперь, когда полпути, можно сказать, пройдено, отключившись, я вернусь к исходной точке. К тому же если я выполню требование Самюэля, то, возможно, не без пользы для себя самой — почему бы нет? За последние три недели книга Мартины Хури перебралась в списке бестселлеров с седьмого места на второе. Мне подумалось, что если я включу в свой следующий роман сцену с подобным телефонным диалогом двух героев, то могу рассчитывать на такой же шумный успех и меня, возможно, тоже пригласят на вечернее ток-шоу, пусть трижды идиотское, зато его смотрят полмиллиона телезрителей, а сколько народу читает литературную хронику Эрве Юдона? Даже сравнить страшно. "Потрогай!" — гнусил издалека голос Самюэля в трубке. Но если такая сцена необходима моему будущему роману, то должна же я, хотя бы из уважения к читателям, знать, о чем пишу!

— Минутку.

Я потянула вниз молнию на джинсах. Самюэль, наверно, опустил свою трубку, потому что звук трения стал слышнее.

Его рука двигалась стремительно, живо, бурно. Подобно лукавым змеям-искусителям, телефонные провода глубоко под землей пересекали город из конца в конец, огибая сточные трубы, чтобы нашептать ей на ухо эту грязную мелодию. Она поняла, что ждать осталось недолго, он вот-вот кончит, но желала ли она развязки, или ей хотелось еще оттянуть этот миг? "Что сказал бы об этом Александер Грейам Белл?" — подумалось ей.

Пожалуй, такой пассаж мог бы украсить мой будущий роман. Вот только неудобно, держа одной рукой телефонную трубку, а другую запустив в трусики, одновременно записывать. Не знаю, как с этим справлялась Мартина Хури, я же на всякий случай повторила свой пассаж, чтобы не забыть.

— Мокро у тебя там, Анни, а?

В трубке раздался писк: кто-то прозванивался ко мне. Я замерла. Леони по средам ходит вечером в школу матерей. А что, если это Лоран? Нет уж, его звонок я никак не могу пропустить! Если он не оставляет сообщений на автоответчике днем, то с какой стати сделает это вечером? Может быть, ему удалось ускользнуть от бдительного ока жены, выйти, например, будто бы за сигаретами?

— У тебя там мокро, Анни, я знаю! — урчал Самюэль.

В трубке снова пискнуло, и я попросила его минутку подождать.

— Ну, скажи!

Я нажала кнопку "Flash".

— Алло?

— Будьте добры, я могу поговорить с Анни?

Голос был мужской, но я сразу поняла, что это не Лоран. У него голос был ниже, и потом, уж Лоран-то точно знал, что кроме меня некому снять трубку в моей квартире.

— Это я.

Я хотела было добавить, что у меня нет ни времени отвечать на опрос общественного мнения, ни желания подписываться на какую бы то ни было газету, но тут голос произнес:

— Привет, это Самюэль.

— ...

— Алло?

Меня как подбросило на диване.

— Кто? — пролепетала я, сглатывая слюну.

— Самюэль. Я тебя разбудил?

Резким движением я застегнула молнию.

— Если я не вовремя, могу перезвонить завтра.

— Но... какой Самюэль?

— Ты что, издеваешься? Сама мне сегодня звонила.

Пробормотав: "Подожди секунду", я нажала на "Flash" и заорала:

— Это кто? Извращенец! Кто это?

Дыхание в трубке стало натужно-хриплым.

— Злись, Анни, да, злись, еще!

Я пригрозила полицией; голос в ответ прорычал:

— Да! О! Да! Мамма миа, синьорина! Да!

В трубке захлюпало, послышалась нецензурная брань, потом щелчок. Мамма миа, синьорина! Эти слова отдавались эхом в моей голове несколько долгих секунд. Я снова нажала "Flash".

— Самюэль?

Мне самой было слышно, как дрожит мой голос.

— Послушай, если ты с кем-то разговариваешь...

— Мамма миа, синьорина — это ведь по-итальянски?

— Да, а что?

— Зараза! — пробормотала я. — Вот зараза!

Лицо у меня горело, как от пощечины. Мне подумалось, что в "Шепотах песка" жена Бернара хотя бы не привлекала никого со стороны для сведения счетов. Значит, все эти звонки без сообщений с января месяца... Я вскочила и кинулась к окну гостиной. Все машины, припаркованные у тротуара, казались мне подозрительными. Я побежала в кухню и задернула шторы: как знать, что могло скрываться в темноте на черной лестнице?

— Что-нибудь случилось? — спросил Самюэль.

Загудел холодильник, и я вздрогнула. Черт, если этот человек знает мое имя и телефон, он вполне может знать и мой адрес! Я не знала, в котором часу Леони с Гийомом возвращались из этой самой школы для беременных. Под ногами скрипнула половица, и я опять вздрогнула. Подумала было сбежать к родителям в Ахунтсик, но что я им скажу? Что влюбилась в женатого мужчину и теперь его жена, которая работает у итальянского ресторатора и, стало быть, наверняка дружит с мафией, решила мне отомстить? И что я, ума палата и кладезь премудрости, чтобы вернуть себе ее мужа и ради правды жизни в будущем романе ответила на авансы первого же подосланного ею мерзавца, который дрочил в телефонную трубку?

— Анни, ты еще здесь?

Открыв мне дверь своего лофта, Самюэль спросил, почему зимними ночами я всегда выхожу из дома в вязаной шапке и темных очках.

Глава 8
Плавание

Лучи июльского солнца били во все пять овальных окон. Самюэль в набедренной повязке из полотенца сидел на одном из кожаных диванов и

стриг ногти на ногах. Услышав мой зевок, он бросил мне: "Поторопись". Я выползла из постели и, уж не знаю, в который раз за последние дни, повторила ему, что вряд ли мне стоит с ним ехать — это не самая лучшая идея, на мой взгляд.

— Поздно. Я вчера купил тебе туфли с не пачкающимися подошвами.

На кофейном столике поверх кипы журналов стояла обувная коробка из ослепительно желтого картона.

— При чем тут это?

Я приподняла крышку: внутри, утопая в красной шелковой бумаге, лежали бежевые полотняные тапки на прозрачной резиновой подошве.

— Это чтобы не наследить на обшивке яхты.

Он надел бермуды, футболку и кроссовки.

— Они что, думают, мы свиньи? — вздохнула я, накладывая себе в чашку мюсли, села на табурет у кухонной стойки и спокойно принялась за еду.

На прошлой неделе Самюэлю позвонил Пьер. Его яхта теперь бороздила воды озера Шамплейн, и он приглашал друга провести с ним уик-энд. "Ты сказал ему, что я сестра Леони? — возопила я, когда Самюэль, предупредив Пьера, что приедет не один, сообщил мне об этом задним числом. — Да он меня за борт выкинет!" Всю неделю Самюэль уговаривал меня смотреть на вещи проще: "Он уже полгода живет вдвоем с Жозе на своей яхте. А про твою сестру и думать забыл!" Такова была его точка зрения. Взглянув на висевшие над плитой часы, Самюэль решил, что сходит за взятой напрокат машиной один.

— А ты чтоб была готова, когда я вернусь!

"Хоть бы дождь пошел, что ли!" — подумала я. Но небо сияло голубизной. Я встала и поплелась под душ. Первое, что я сделала, осев здесь, прямо на следующий день, — сняла старую душевую занавеску в пятнах побелки и повесила новую, из нейлонового волокна, в красную и белую полоску, а заодно купила и коврик в тон, чтобы прикрыть щербатую плитку. "Это еще зачем?" — нахмурился тогда Самюэль, но я его уговорила: хоть что-то я должна для него сделать за то. что он согласился приютить меня до тех пор, пока я не смогу спокойно жить дома. Я, конечно, могла бы презентовать Самюэлю бутылку хорошего вина, но, при том, в каком состоянии была его ванная, рассудила, что ему вряд ли будет приятно делить свою квартиру с девушкой, которая не моется, и направила свои стопы в хозяйственный магазин, а не в винный. Разумеется, еще раньше я позвонила Леони и спросила, нельзя ли мне пожить у нее, но, как выяснилось, на диване уже две ночи спал Гийом, так что это было совсем некстати. "Что-нибудь случилось?" — поинтересовалась я. "Случилось", — мрачно ответила сестра. Оказывается, Гийом с самыми лучшими намерениями и согласно памятке, выданной в школе матерей, решил загодя собрать вещи Леони для больницы. И надо же было, чтобы ему попались те самые розовые трусики, в которые сестра спрятала золотую цепочку. Он закатил такую сцену, что Леони частично призналась: да, у нее был прошлой весной "мимолетный флирт на один вечер", и теперь этот самый флирт вернул ей потерянную драгоценность. "Даже за это он чуть меня не убил, представь, что было бы, выложи я ему всю правду про Пьера". Я посочувствовала, пробормотав какие-то дежурные слова утешения, и попросила сестру ни в коем случае не говорить Гийому, что в это была замешана я: как раз сейчас, когда меня преследуют сексуальные

маньяки из мафии, и не исключено, что я буду вынуждена спешно покинуть свою квартиру, мне может понадобиться помощь зятя, иначе кто же демонтирует мою мебель из "ИКЕА"? "А ты не преувеличиваешь?" — спросила Леони. "Разве что совсем чуть-чуть". Это была правда: с утра я несколько раз проверяла автоответчик, а гнусный итальяшка — уж не знаю, тот же самый, или у жены Лорана был целый штат исполнителей? — обнаглел настолько, что уже оставлял сообщения. "Анни, где ты? — гундосил он, все так же пыхтя. — Ладно, не хочешь трогать там — не надо, но поговори со мной еще. Как ты хороша, синьорина!" У меня от этого кровь стыла в жилах. "Ну, если ты поддерживала разговор целых пятнадцать минут, понятно, что парень тебе названивает: думает, что сорвал банк!" — "Ничего смешного!" — простонала я. Твердо решив разобраться с этим делом, я написала Лорану: рассказала, какую кампанию устрашения повела против меня его жена, и попросила сделать что-нибудь, чтобы положить этому конец. В пять часов, так и не получив от Лорана ответа, я поняла, что придется ждать до понедельника, а стало быть, мне предстоит задержаться у Самюэля на весь уик-энд, вот тогда-то я и побежала за душевой занавеской.

Суббота и воскресенье тянулись долго. Я слонялась в одиночестве по лофту Самюэля; он был очень занят разработкой концепции для профсоюза монреальских рабочих против плана приватизации водопроводной сети и появлялся дома не раньше десяти-одиннадцати вечера. Его отсутствие не тяготило меня, наоборот: мне было трудно смотреть моему гостеприимному хозяину в глаза, не краснея. До чего же я глупа, если могла хоть на минуту подумать, что говорила по телефону с ним! К тому же, если не считать подробностей телефонного диалога — "Мужской голос звонил раз пятнадцать, я бросала трубку, а он опять...", — Самюэль был в курсе моих дел: Лоран, его обещания, его жена, разоблачение, месть — я все ему выложила, оно и понятно, я была сама не своя от ужаса, когда он открыл мне дверь. "Влюбленная девица, обольститель, его безумная жена и сексуальный извращенец, — перечислил Самюэль. — Отличный может получиться роман, а?" Я подозревала, что он надо мной издевается; однако мама, видно, хорошо его воспитала, потому что, когда я устраивалась на ночь в гамаке, Самюэль, вернувшись с работы, уговаривал меня занять его кровать. Он боялся, что я наживу прострел, и уверял, что вполне может спать на диване. "Что ты, спасибо, мне и здесь хорошо". Находя в мусорном ведре мои стаканчики из-под "Häagen Dazs" с шоколадной крошкой, Самюэль напоминал мне о существовании других пищевых продуктов и просил без стеснения располагать холодильником в его отсутствие. Очень мило, но мне в моем идиотском положении было так стыдно, что, будь на свете пилюли, от которых уменьшаются до лилипутского роста, я приняла бы их три ящика.

В понедельник, около одиннадцати утра, обнаружив "o new messages" в почтовом ящике и дюжину сообщений в духе "Поговори со мной, синьорина, о-о!" и т. п. на автоответчике, я решила, что пора звонить Лорану на работу. "Издательство 'Дюфруа', добрый день", — сказал в трубке голос мадам Венн. Меня чуть не стошнило при мысли, что из-за этой старой грымзы мой роман с Лораном так скоро и плачевно закончился. Ведь если бы не мадам Венн, Лоран не боялся бы моих звонков на работу, я не стала бы покупать ему этот дурацкий мобильник, его сын не услышал бы инопланетян под кроватью и его жена никогда бы ничего про нас не узнала. "Издательство 'Дюфруа', добрый день", — повторил гнусавый

голос. Мне хотелось заорать, но я вовремя взяла себя в руки. "Будьте добры, могу я поговорить с Лораном Вьо?" Мадам Венн спросила, как меня представить. "Это Анни Бриер. Я предлагаю рецепт азиатского супа для кулинарной книги господина Дюфруа и хочу проконсультироваться с Лораном по поводу французского написания названий некоторых ингредиентов". Опа! Стоило ли беспокоить господина Дюфруа лично из-за такого пустяка? Мадам Венн немедленно соединила меня, но когда Лоран взял трубку, я услышала в его голосе раздражение. "Анни? — прошипел он. — Зачем ты звонишь мне сюда? Я же тебе говорил — не надо". Я рассказала ему про свою хитрость и услышала, как он встал — вернее, потянулся, — чтобы закрыть дверь своей каморки. "Меня не было на работе в пятницу. Я позвонил бы тебе в обед". Он замолчал, глубоко вздохнул, и я, не удержавшись, сказала ему, что скучаю. "Я тоже по тебе скучаю, Анни, но не сходи с ума: мстить — это совсем не похоже на Женевьеву". Я поперхнулась: впервые Лоран в разговоре со мной назвал ее по имени, а не просто "моя жена". Легко было догадаться, что этот терминологический сдвиг не сулил мне ничего хорошего: их отношения, судя по всему, налаживались. Почему, например, Лорана не было в пятницу? Возможно, он взял день в счет отпуска, чтобы провести с ней долгий уик-энд в какой-нибудь дивной сельской гостинице в Квебеке. А меня-то, несмотря на все его красивые слова, разве свозил Лоран хоть раз в такую гостиницу? "Ты сказал ей, как меня зовут? — сухо спросила я. — Мое имя есть в телефонном справочнике! Один кинорежиссер именно так нашел меня прошлой осенью". — "Ты снимаешься в кино?" — удивился Лоран. "Не твое дело. Так ты сказал ей, как меня зовут?" Лоран признался, что да, сказал, но еще раз повторил, что это совсем не похоже на *Женевьеву* и что итальянский акцент звонившего вовсе не означает, что она к этому причастна. "Тебе известно, что итальянская община в Монреале насчитывает свыше трехсот тысяч душ?" Он говорил со мной как с малым ребенком. "Да хоть десять миллионов, мне-то что! Они почему-то не звонили мне, чтобы помастурбировать, пока ты не сказал своей жене, как меня зовут! Мой адрес в справочнике тоже есть, и мне пришлось сбежать из дома, я боюсь". Следующая фраза вырвалась у меня сама собой: "Я вынуждена жить у малознакомого человека!" Какая же я дура! Как я не сообразила упомянуть эту деталь в письме, которое послала в пятницу? "У кого?" — спросил Лоран, и я уловила в его голосе нервные нотки. На минуту я представила, какой взрыв хохота услышу в ответ, если скажу "у рекламного криэйтера". "У кого? Кто он?" — повторял Лоран. Я заозиралась в панике, и мой взгляд упал на магниты в виде музыкальных инструментов, украшавшие холодильник Самюэля. "Он виолончелист!" — выпалила я: а что, вполне достойное и благородное занятие! "Вот как?" Теперь голос был откровенно встревоженный. "И как, по-твоему, я у нее спрошу, замешана ли она в это дело? Ведь тогда она узнает, что я говорил с тобой", — таково было его следующее соображение. "Ах, зараза!" — мысленно выругалась я: значит, они действительно помирились, если Лоран так боится допустить малейшую промашку. "Это твои проблемы!" — заорала я в ответ так громко, что Лоран запел по-другому и стал просить меня не кипятиться: "Все не так просто. Я думаю о тебе каждый день, клянусь". Я спросила, почему же в таком случае он три месяца не дает о себе знать. "Все не так просто", — повторил он. "Та-та-та-та! — взвизгнула я. — Смени пластинку, скажи наконец раз и навсегда, что это безнадежно и у нас с тобой ничего больше не будет!" Нетерпеливо барабаня пальцами по кухонной стойке, я смотре-

ла, как секундная стрелка на часах над плитой обежала полный круг, потом другой. "Я не наложу на себя руки из-за этого", — чуть не добавила я, но решила, что, пожалуй, не стоит. Стрелка обежала еще полкруга. "Послушай, Анни, я должен выправить две асинтаксические депрессии до конца недели. Извини". Он выждал несколько секунд и первым повесил трубку. "Черт! — рявкнула я в микрофон. — Дерьмо!"

В тот вечер к приходу Самюэля с работы я успела залить в себя такое количество водки, что меньшего хватило бы, чтоб истребить все население Лилипутии. "Как ты?" — спросил он, немного удивившись, когда я кинулась помогать ему снять пальто и шарф. "Потрясающе!" Брови Самюэля нахмурились под очками, но, поскольку профсоюз монреальских рабочих отверг три его концепции и надо было все начинать сначала, он не отказался от предложенного мной стаканчика. "Эти идиоты хотят чего-то лаконичного и ударного, с упором на затраты, связанные с приватизацией, а я-то отыскал гидрографические карты времен Мезоннёва, чтобы подчеркнуть историческую ценность сооружений, — пожаловался он, рухнув на диван. — Они боятся, что водопровод после этого сочтут совсем уж древностью!" — "Со льдом?" — спросила я. Он устало вздохнул и дал добро на три-четыре кубика. Я принесла ему стакан и села рядом. "А тебе не приходила в голову игра слов, что-нибудь вроде '*прайс*-ватизация'?" Самюэль задумался, а я, воспользовавшись этим, погладила его волосы. "Анни, — кашлянул он, — не думаю, что это хорошая мысль". Что он имел в виду — игру слов или мои шаловливые пальчики, которые уже расстегнули первую пуговицу на его рубашке? Я еще теснее прижалась к нему. "А ты знаешь, что я запускала руку в трусики, думая, что говорю с тобой?" Самюэль посмотрел на меня озадаченно и залпом осушил свой стакан. "Oh, boy! — выдохнул он, передернувшись. — Сегодня?" Я ответила, что не помню, поцеловала его в губы и не отрывалась, пока мы вместе не скатились на пол. Наконец — прошло несколько минут, — я спросила, есть ли у него диск Джей-Джея Йохансона или Леонарда Коэна. Самюэль нацепил на нос упавшие очки и побежал к стереосистеме. Я глотнула еще водки прямо из бутылки, глядя, как он роется на этажерках с компакт-дисками, и убеждая себя, что и Джейн Гудалл имеет право на послабление, когда ее жизнь летит под откос, это никого не касается, а что хорошо для антигероев новелл, которые пишут ребята из Бернарова семинара по литературному творчеству, может быть, сработает и для Анни Бриер. "Кого ты предпочитаешь?" — спросил Самюэль, вертя в руках диски. "Все равно, — ответила я. — Best of[1], если можно".

Это было почти четыре месяца назад. Сработало или нет — сказать трудно. По крайней мере, я не выплюнула две таблетки эдвила на кухонную стойку Самюэля наутро после той ночи.

Как и после всех остальных.

Самюэль приехал за мной минут через сорок на белом седане. Я, в солнечно-красном платье и не пачкающихся тапочках, ждала его на улице Рашель с двумя нашими рюкзаками и сумкой-холодильником, набитой льдом. "Открой багажник!" — весело скомандовала я, швырнув недокуренную сигарету в водосток. Душ взбодрил меня, и я была в лучшем настроении, чем когда проснулась. В конце концов, плохо ли сбежать из

1. Лучшее (*англ.*).

города на уик-энд в такую дивную погоду? Ну и пусть на яхте бывшего любовника моей сестры. Самюэль прав: Пьер не выкинет меня за борт только потому, что отец и мать той, что разбила ему сердце, произвели на свет и меня. Если вдуматься, я должна бояться другого: как бы Пьер не опознал по голосу злобную секретаршу, которая впаривала ему, пребывавшему в пучине отчаяния, ложь о том, что Леони на совещании с Уолтом Диснеем и будет занята целый месяц. Но избежать такой катастрофы несложно, если не раскрывать при Пьере рта.

— А вода очень холодная в это время года? — на всякий случай спросила я Самюэля, пока мы стояли в очереди с несколькими ранними завсегдатаями в рыбном ряду рынка Этуотер.

Он успокоил меня на этот счет и взял четыре стейка из рыбы магимаги. Мы пошли дальше под аркадами между пестрых рядов. Я помогла Самюэлю выбрать головки спаржи, два сладких перца, несколько луковиц и две корзиночки с земляникой и малиной. Самюэль остановился у цветочного киоска и купил дюжину красных роз для Жозе. "Великолепные! — оценила я, понюхав мясистые венчики. — Ты с ней спал?" Самюэль в ответ обозвал меня дурой: просто Пьер, когда звонил на той неделе, сказал ему, что Жозе никак не оправится от переутомления. Откуда мне знать? Этот вопрос я задала Самюэлю, убирая наши припасы в сумку-холодильник. Если Самюэлю было известно, что Пьер спит с моей сестрой, что мешало ему самому переспать с Жозе, не чувствуя за собой вины? "Тсс-тсс!" — прищелкнул языком Самюэль, и дискуссия была закрыта, оно и к лучшему. В конце концов, какое мне дело до прошлого Самюэля? Он сказал мне только, что три года встречался с манекенщицей по имени Мод. Познакомились они на съемках рекламы пива. Сейчас она жила в Германии и была лицом рекламной кампании квашеной капусты. К этому скупому досье я накопала еще только одну крупицу информации: однажды утром, когда Самюэль принимал душ, а я взяла полистать его журнал, на пол выпала фотография высокой блондинки в мини-юбке, снятой на платформе метро под металлической крышей. "Мод в Берлине, Gorlitzer Bahnhof, лето 199*" было написано на обороте. "На лягушку она мало похожа", — обронила я, когда Самюэль вышел из ванной.

Чтобы не помять розы, Самюэль хотел положить их на заднее сиденье, но я ему отсоветовала: если их увидит таможенник, запросто может конфисковать.

— Но это же просто цветы! — недовольно ворчал Самюэль, глядя, как я запихиваю букет поглубже в багажник, за сумку-холодильник и наши рюкзаки.

Пока мы ехали по сто тридцать третьему шоссе, я рассказывала Самюэлю, какие американцы большие оригиналы: они пересчитывают изюмины в мюсли, требуют сопроводительную документацию, покупая бутылку вина, и могут месяцами таскать по судам съемщиков летнего дома за несколько брызг на полу в ванной. "It's the law"[1], — изрекают они по любому поводу.

— Это сегодня твоя тема дня? — вздохнул Самюэль.

Зато когда мы подъехали к американской границе и таможенник в будке спросил, везем ли мы пищевые продукты или растения, Самюэль замямлил, и мне пришлось перегнуться через его колени, чтобы ответить решительно "нет".

1. "Таков закон" (*англ.*).

— And why are you going to lake Champlain?[1] — спросил таможенник, украдкой обшаривая цепким взглядом салон.

— We are going on a плавание with some friends![2] — пропела я, и таможенник пожелал нам приятного отдыха.

Самюэль взял курс на Берлингтон, а я достала из кармашка сумки "Тетрис" и нажала кнопку "Power on".

Я получила его в подарок на день рождения, 25 июня. По этому случаю мама собрала нас всех за столом в саду дома в Ахунтсике. Голубое полотно было намотано на солнечный валик, вода в бассейне чуть морщилась от легкого ветерка.

Этот вечер был знаменателен тем, что Самюэль впервые встретился с моей семьей. "Вы работаете в рекламе? — воскликнула мама, ставя на стол блюдо с гигантскими креветками под соусом карри. — Какое поразительное совпадение! Анни говорила вам, что я руковожу школой дикции? Если вдруг захотите прослушать моих учеников для рекламы мюсли, сиропа от кашля или моющих средств, дайте мне знать, я оставлю вам свою карточку. Я уверена, что вам нужны дети с хорошим произношением". Самюэль вежливо ответил, что будет очень рад. "О да! — подхватила Леони. — А если тебе понадобится новорожденный младенец мужского пола для рекламы памперсов или мишленовских шин, я рожу через два месяца". Но Самюэль, возможно, оттого, что все еще был в обиде на Леони за упущенного "Льва" в Каннах, только буркнул в ответ: "Угу, ясно", — и принялся разделывать первую креветку. "На мели мы налима лениво ловили, на мели мы ловили линя..." — прочирикала я, отвлекая внимание. "Нет уж, — вступил Гийом, — о том, чтобы мой сын проходил какие бы то ни было прослушивания, не может быть и речи! Мой ребенок не станет жертвой нереализованных амбиций своей матери!" Что-то Гийом стал суров с моей сестрой, не с тех ли пор, как узнал про ее "флирт"? Леони, услышав это, густо покраснела и убежала в дом, придерживая двумя руками свой огромный живот. "Не принимай так близко к сердцу! — извинился Гийом, поспешая следом и с сожалением косясь на оставшуюся на столе тарелку с дымящимися креветками. — Я не отдам его ни в хоккейную секцию, ни в бейсбольную, если он сам не захочет..." Застекленная дверь со стуком закрылась за ними. "'Бум-бум комьюникейшн'? — переспросил отец, открывая бутылку рислинга. — Вы зарегистрированы на бирже, не правда ли?"

В десятом часу я задула двадцать пять свечей на сырном пироге с начинкой-сюрпризом. Из-за моей аллергии на вишню мама всегда пекла мне именинный пирог с разными начинками, отступая от традиционного рецепта: это могли быть клубника, черника, ежевика, лимон, карамель, шоколад. На сей раз оказалась малина. "Загадай желание!" — хором скомандовали все. "Увидеться с Лораном! Увидеться с Лораном!" — пожелала я про себя и дунула так сильно, что перед глазами заплясали черные и серые точки. Мне зааплодировали, а я погрузилась во тьму и ничего не видела. К счастью, зрение вернулось ко мне быстро, и я смогла распаковать подарки. Гийом и Леони подарили мне "Тетрис"; родители — чек и постельное белье от Ральфа Лорена. Несколько минут спустя, в такси, которое везло нас обратно в центр, Самюэль тоже протянул

1. А зачем вы едете на озеро Шамплейн? (*англ.*)
2. Мы отправляемся... с друзьями! (*англ.*)

мне маленький плоский сверток, квадратный и твердый, в желтой бумаге, с голубым бантом. "Ну что ты, Самюэль, зачем?" Накануне он уже пригласил меня по случаю дня рождения во французский ресторан и угостил омаром. "Да ладно, пустяки какие, — ответил он, убирая в бумажник карточку, которую дала ему мама. — Открой". Я разорвала бумагу, и глаза у меня полезли на лоб. "Вау! — выдохнула я, вертя в руках компакт-диск. — "More Best of"[1] Леонарда Коэна!"

Я сыграла всего три партии, и батарейки сели. "Зараза!" Я постучала "Тетрисом" о бедро в надежде оживить экранчик. Увы, пришлось смириться: я убрала игру в сумку и проморгалась, очищая поле зрения от падающих кубиков.

Простирающаяся перед нами дорога была залита солнцем, с обеих сторон к ней подступал густой лес. На обочине то и дело попадались желтые щиты с надписью большими черными буквами: MOOSE[2]. Машина мчалась, шоссе было таким ровным, что клонило в сон. Я заерзала и поискала ручку, чтобы откинуть сиденье.

— Что ты делаешь? — спросил Самюэль.

— Не видишь, что ли, закидываю ноги на приборную панель.

— Убери сейчас же ноги! — приказал он голосом, не располагавшим к веселью.

Я не шевельнулась и резонно возразила, что если мои новые тапочки были куплены, чтобы не испачкать обшивку яхты, то и на приборной панели они не оставят следов, тем более что она, как он мог заметить, темно-серого цвета — да хоть бы и белее молока, какая нам разница, машина-то не наша!

— Анни, сейчас же убери ноги! — нахмурился Самюэль, испепелив меня взглядом сквозь желтые солнечные очки.

Впервые я видела его таким сердитым.

— Да что ты заладил? Все женщины закидывают сюда ноги, когда едут отдыхать на машине! Так удобнее!

Чтобы подтвердить свою правоту, я показала на обгонявшие нас слева машины: в самом деле, четыре женщины из пяти сидели, закинув ноги на приборную панель, — одни болтали со спутниками, другие изучали карту дорог, чистили фрукты или принюхивались к содержимому термоса. "Вот видишь!" — выпалила я, но Самюэль ответил, что ему плевать на другие машины и их пассажиров.

— Если на такой скорости случится авария, твои ноги пробьют ветровое стекло, осколки вонзятся в них до костей, перережут вены и артерии! И потом, подушка безопасности защитит вместо головы зад, если будешь сидеть в такой позе! Навернешься от толчка и сломаешь шею!

— Ни фига себе! — только и промямлила я, опуская ноги на пол.

Больше я не открывала рта до самого Берлингтона. И только там Самюэль спросил меня, того ли размера он выбрал тапочки.

Мачты пронзали синее небо. Если не считать трех детишек, которые с оглушительным визгом гонялись друг за другом, размахивая веслами, гавань казалась спокойной. "Вот они!" — объявил Самюэль, закрывая ба-

1. "Самое лучшее" (*англ.*).
2. АМЕРИКАНСКИЙ ЛОСЬ (*англ.*).

гажник, и показал на мужчину и женщину в шезлонгах перед яхтой футов в сорок.

Пока мы шли через стоянку к причалу, я рассматривала Пьера: сначала, издалека, я увидела мужчину атлетического сложения лет тридцати пяти. Потом, когда мы уже шагали с рюкзаками и сумкой по шатким мосткам, я разглядела, что лицо у него квадратное, а черты до того надменные, что, не представь мне Леони неопровержимое доказательство, я никогда бы не поверила, что письмо на тему: "За идиота меня держишь?" мог написать этот человек. Пожимая мне руку, Пьер снял темные очки. "Пьер", – представился он. Тон был радушный. "Анни", – чуть было не ответила я, но только улыбнулась. Вообще-то, если моя сестра никогда не говорила ему, как меня зовут, наверняка успел сказать Самюэль. "Эгей! Капитан!" – крикнул мой спутник, от души стиснув его в объятиях. Тем временем Жозе представилась мне и сказала: "Добро пожаловать", почему-то глядя на мои туфли. Она была полноватая, с малиновыми от солнца щеками и тонким голосом.

– Подошвы не пачкающиеся, – успокоила я ее, перешагивая через леер.

Пока Пьер и Самюэль поднимали якорь, я спустилась следом за Жозе по лесенке в каюту. Изнутри яхта была обшита красновато-коричневым деревом.

– На случай морской болезни, – показала Жозе на коробочку с содовыми бисквитами в подвешенной к потолку сетке.

Шкафчики и ящики в крошечной кухоньке закрывались с помощью кожаных петелек: чтобы их содержимое не высыпалось при сильной качке, объяснила Жозе. Мы убрали продукты в холодильник, вернее, маленький ледник, оборудованный прямо в кухонной стойке. Потом Жозе провела меня через центральную каюту с двумя обитыми серой шерстью диванчиками у стен и показала каморку в носовом отделении. Кровать, соответственно форме судна, была треугольная.

– Ты тоже работаешь в рекламе? – поинтересовалась Жозе, приподняв сиденье одного из диванчиков и извлекая из-под него постельное белье и две подушки.

Через ее плечо я разглядела их каюту под кормой, еще меньше нашей, зато с кроватью традиционных геометрических очертаний.

– Ничего подобного! Я писательница.

Выставив меня из каюты – иначе ей было не застелить постель, – Жозе поведала, что работала адвокатом в артистическом агентстве и часто имела дело с драматургами и сценаристами.

– Ну и зануды они все! Видела бы ты меня перед Рождеством, я работала по тридцать часов в сутки и выглядела – краше в гроб кладут. Пьер меня просто спас. Когда он увидел, что я дошла до точки, сказал мне: "Жозе, так продолжаться не может!" И представляешь, в два дня закрыл свою лавочку и сдал нашу квартиру в кондоминиуме. Ну вот, а потом мы улетели на Карибские острова и купили эту посудину. У отца Пьера в молодости была яхта...

Жозе с силой взбивала подушки и расправляла простыни, стараясь не оставить ни одной складочки на поверхности кровати; упорство, с которым она все это проделывала, напомнило мне о ее неустойчивом душевном состоянии. Только тут я сообразила, что розы-то Самюэль забыл в машине.

– Мы были на Багамах, а этой осенью думаем махнуть на Великие озера. А ты... Анни, да? Как ты познакомилась с Самюэлем?

Увы, правдивый ответ на этот вопрос мог окончательно снести крышу у моей собеседницы и поставить сразу несколько человек, включая меня, в затруднительное положение. Вообразите: "Сначала я пришла за цепочкой, которую посеяла в его постели моя сестра, когда трахалась там с твоим Пьером, а потом пряталась у него, после того как помогла незнакомому мужику расслабиться на телефоне, потому что думала, что это Самюэль, и хотела попросить его об одолжении..." Так что я ответила коротко: "В баре 'Вторая чашка'". Заурчал двигатель, и, пожелав мне хорошего отдыха, Жозе скрылась в своей каюте, прихватив содовые бисквиты.

Когда яхта отплыла от берега, Пьер показал Самюэлю, как обращаться с фалами, чтобы поднять грот и фок. Ветер, однако, был слабый, паруса обвисли, и наше судно шло со скоростью полтора узла, то есть в сто раз медленнее разноцветных катеров на подводных крыльях, с адским шумом рассекавших воды озера. Так что мальчики, поиграв немного со шкотами и штурвалом, свернули паруса, запустили двигатель и уселись играть в триктрак на кокпите.

Что до меня, то я пообещала себе добить труд по литературному генезису, который мусолила уже три недели, но была вынуждена пересмотреть свои планы, когда мой ярко-желтый маркер выскользнул у меня из рук и упал в воду. "Плюх!" — вздохнула я и улеглась на носу яхты, над нашей каютой, которую мне было видно через круглое плексигласовое оконце. Конечно, у меня в сумке был еще один маркер, но теплое солнце, морской воздух, плавное покачивание яхты — все это располагало скорее к лени и грезам. Надо признаться, мне повезло, что Бернар не потребовал развернутую библиографию или подробный план работы: мой интерес к теме"Новый литературный генезис: издательские редакторы в Квебеке с 1960 года до наших дней", а с ним и энтузиазм сильно поостыли за весну. Да и как могло быть иначе?

Поправив бретельки бикини, я села по-турецки, запрокинула голову и глубоко вздохнула. Понаблюдала за кружившими надо мной серыми чайками и сказала себе: "Анни, возьми себя в руки". Чтобы облегчить себе эту трудную задачу, я вспомнила, что не прошло и трех дней после моего разговора с Лораном, как гнусные звонки прекратились. Значит, приревновав меня к таинственному виолончелисту, Лоран наверняка поговорил с женой, чтобы я могла как можно скорее вернуться в родные пенаты и жить дальше в своей трехкомнатной квартире с холлом, одна-одинешенька, с чесалкой для спины. Тем самым он решился нарушить шаткое равновесие, которое, судя по всему, им с женой удалось восстановить после декабрьской грозы, — это ли не доказательство, что он еще думает обо мне? И весьма обнадеживающее доказательство? Однако Женевьева, надо полагать, разбушевалась после этого еще пуще, потому что с тех пор Лоран не подавал признаков жизни, и кто знает, сколько мне еще предстоит томиться в ожидании? К тому же в мае я нашла в почтовом ящике новый конверт со штампом издательства "Дюфруа". В суровом тоне — *К сведению всех авторов* — Софи Бланше сообщала, что, поскольку господин Дюфруа не оценил юмора некоторых авторов, приславших рецепты сандвичей с арахисовым маслом и макарон быстрого приготовления "Kraft Dinner" с кетчупом, он решил отказаться от проекта издания кулинарной книги совместно с благотворительным фондом квартала Ошелага-Мезоннёв. "Черт побери!" — выругалась я, перечитав письмо второй

раз, чтобы уж точно быть уверенной, что все поняла правильно: если не будет кулинарной книги, значит, не будет и презентации. То есть теперь я понятия не имела, когда выпадет возможность увидеть Лорана. Какой-нибудь коктейль, конечно, состоится, но скоро ли?

А может быть, господин Дюфруа злопамятен и вообще никогда больше не пригласит своих авторов в "Ритц-Карлтон"...

За этими размышлениями я провалялась на палубе до вечера. Иногда от проносившегося мимо катера яхта покачивалась; потом все снова замирало, и был слышен только плеск воды о форштевень. Садясь, чтобы нанести очередную порцию крема для загара, я неизменно обнаруживала рядом другие яхты, с которых нам весело махали. Сперва я отвечала всем, но их было так много, что мне пришлось скорректировать свой кодекс вежливости: я игнорировала заполонившие озеро "Love Boat", "Farniente", "Wet Dreams", "My Mistress", "Lady Blues" и "My Lover"[1], а моего приветствия удостаивались только суда с литературными именами: два "Моби Дика", один "Милый друг", один "Жюль Верн", два "Улисса", один "Пьяный корабль" и одно "Сентиментальное путешествие".

— А мы как называемся? — спросила я Самюэля, когда он пришел ко мне с двумя стаканами кира и сказал, что я нелюдимая русалочка.

Солнце клонилось к закату. Пока Самюэль, стоя на четвереньках и перегнувшись через леер, вытягивал шею, чтобы разглядеть борт судна, я объясняла ему, почему при его друге Пьере мне и вправду лучше быть русалочкой, потерявшей голос.

— А если ее высочество твоя сестрица прикажет тебе лизать ей туфли, ты тоже послушаешься?

— Дурак! Я всего лишь *один раз* ответила по ее мобильнику. Подумаешь, это же не преступление.

Самюэль нахмурил брови за темными очками и со вздохом сказал, что русалочкой он меня назвал просто потому, что я очень хорошенькая в бикини, а вовсе не намекая на мультфильм. Потом поднялся, потирая колени.

— Написано "Сиддхартха", — сообщил он и, усевшись рядом со мной, принялся листать журнал.

"*Сиддхартха?*" — повторила я про себя. Мое воспоминание об этой книге, которую заставил меня прочесть преподаватель философии в колледже, было смутным и неприятным одновременно. Что-то про молодого брахмана в поисках истины, терзающегося малопонятными вопросами о добре и зле, страдании и блаженстве, грешниках и святых, сансаре и нирване, мирском и вечном — в общем, я не въехала. "'*Наверно, у него бывали минуты просветления и даже радости, но он вынужден был признать, что жизнь, настоящая жизнь, проходит мимо, не затрагивая его*'. В свете прочитанного истолкуйте эту фразу из романа Германа Гессе" — такое задание дал нам философ на экзамене. Правда, ответить на этот вопрос я так и не успела. Признаться, к утру перед экзаменом книга еще не была дочитана, я попыталась наверстать упущенное в последний момент, но не смогла и вдобавок опоздала, потому что жизнь, может быть, и проходит мимо кого-то, не затрагивая его, а вот автомобили, особенно когда оказываются в непосредственной близости от фонарных столбов, —

1. "Корабль любви" (*англ.*), "Праздность" (*итал.*), "Влажные грезы", "Моя возлюбленная", "Леди блюз", "Мой возлюбленный" (*англ.*).

дело иное. "Я попала в аварию на машине отца", – запыхавшись, оправдывалась я перед преподавателем. Но старый хрен не стал ничего слушать и влепил мне неуд.

– Может, объяснишь, почему мы так называемся?

Самюэль даже головы не поднял от журнала. Обидевшись, я помахала экипажу "Корабля дураков" с мотором и снова улеглась на спину.

В час, когда первые блики вечернего света легли на озерную гладь, мы доплыли до якорной стоянки – это была бухта в окружении густых деревьев, узловатые стволы которых опасно кренились к воде. Здесь уже стояли на якоре десятка два яхт. Из воды торчали несколько намыленных голов: кто-то "принимал ванну", барахтаясь у трапа своего судна. У самого берега катались в надувных лодках дети; в спасательных поясах, которые были им велики, они походили на безголовых моллюсков с оранжевыми панцирями.

Жозе, до вечера проспавшая в своей каюте, пожаловала на палубу, чтобы помочь Пьеру встать на яко́рь. Мы с Самюэлем тоже предложили свою помощь, но она не потребовалась, и мы остались на носу допивать кир.

– Отлично! – провозгласила Жозе, когда маневр был успешно завершен. – Если ветер не переменится, будем всю ночь стоять кормой на юго-запад.

Пьер и Самюэль разожгли угольные брикеты в жаровне-хибачи на кокпите, а мы с Жозе спустились в центральную каюту. Укрепив откидной стол посередине, между двумя серыми диванчиками, мы разложили на нем разделочную доску, ножи и все наши припасы. Жозе приготовила маринад для маги-маги с тамариском и кленовым сиропом, а я нарезала спаржу, перцы, лук и чеснок. Во время этого кулинарного сеанса Жозе просветила меня по поводу древнеиндийской холистической науки, именуемой *васту*, согласно которой правильная ориентация комнат является важнейшим условием поддержания нашего внутреннего мира и приумножения жизненной энергии. Покосившись в сторону люка, через который нам были видны волосатые ноги Пьера и Самюэля, она продолжала:

– Юго-запад воплощает мощь, поэтому хорошо, если окна спальни смотрят в эту сторону. Раньше, пока мы не бросили все и не пустились в плавание, мы с Пьером довольно редко занимались любовью. Императивы общества потребления утомляли его. А теперь затруднения возникли у меня. Все из-за антидепрессантов: я стала хуже переносить солнце (щеки у меня не всегда были такие красные), набрала лишние фунты (раньше весила сто пятнадцать), но самый неприятный побочный эффект паксила – потеря либидо. Я показалась врачу во Флориде, и он сказал, что это в порядке вещей... но сегодня, в каюте, обращенной на юго-запад, я надеюсь обрести форму.

Я вежливо улыбнулась Жозе, очищая от семян второй перец, и подумала, что имя для яхты выбрала, наверное, она.

– *Васту* может помочь всем, – не унималась Жозе. – Каждая сторона света обладает определенными свойствами. Вот скажи, например, где расположен в твоей квартире письменный стол?

Жозе обмакнула мизинец в маринад и лизнула, пробуя. Я задумалась и припомнила, что письменный стол в моей квартире расположен на северо-востоке; она неодобрительно покачала головой и сказала, что

надо его немедленно переставить на северо-запад, тогда голова будет работать лучше. "Это невозможно", — ответила я, часто моргая: как раз начала резать луковицу, и, смахнув покатившиеся по щекам слезы тыльной стороной ладони, объяснила Жозе, что северо-запад в моей квартире — там, где входная дверь, ведущая в коридор.

— О! Это скверно, очень скверно! — воскликнула она, поливая маринадом стейки из маги-маги. — Все входные двери в доме должны располагаться на востоке.

Я шмыгнула носом и пообещала Жозе поговорить об этом с моим домовладельцем.

— А знаешь что? — встрепенулась она. — Тебе бы стоило завтра вместе со мной позаниматься йогой. Каждое утро я выношу матрасик на палубу "Сиддхартхи" и приветствую солнце. Потом принимаю позы кобры, воина, лотоса и дерева — тебе это о чем-нибудь говорит? Если хочешь, могу тебе все показать. Ты знаешь, что, когда мы принимаем позы и контролируем дыхание, наше существо возвращается в свое исконное состояние и вливается в великое Целое? Выходи на палубу утром, в восемь. Озеро в это время тихое.

Очищая зубчики чеснока, я сказала Жозе, что, как балерины не катаются на горных лыжах, чтобы не нарастить могучие ляжки, так и я, будучи писательницей, не могу заниматься йогой. Дело в том, объяснила я, что воображение писателя является компенсирующей силой, посредством которой он выражает свое желание воссоздать ту пресловутую целостность, которую мы все утратили, обретя сознание, а опыт отдельного существа — его основное топливо.

— ...Но если йога действительно позволит мне влиться в великое Целое, моему воображению грозит атрофия, потому что оно утратит смысл, понимаешь?

Жозе отрицательно покачала головой, что было вполне естественно, так как я сама не вполне понимала собственную теорию, да и уверена в ней не была. Просто подниматься в такую рань в воскресенье было ужасно лень, к тому же, если мне не изменяет память, кажется, Бернар на своих семинарах, предостерегая об опасности мистицизма для писателя, говорил что-то похожее. Я взяла бальзамический уксус из сетки над раковиной и вернулась к столу.

— Тебе все-таки стоило бы попробовать, — настаивала Жозе. — Йога — замечательная вещь: выводит токсины. "В здоровом теле здоровый дух", и не говори мне, что это правило не распространяется на писателей: движение необходимо всем.

Меня так и подмывало спросить Жозе, здоровы ли духом, по ее мнению, те, кто полагается на космические силы сторон света для налаживания своей сексуальной жизни; однако на столе лежали ножи, и я поостереглась.

— Но мы двигаемся! Только мы выбираем ту деятельность, которая не низводит наше "я" до примитивного состояния, а позволяет нам одновременно размышлять о проблемах человека. Вирджиния Вулф, например, каждый день совершала долгие пешие прогулки по Риджентпарку или Суссексу.

Жозе низко наклонила голову над миской, в которой мариновалась маги-маги.

— Много же ей это принесло пользы, если на последнюю прогулку она отправилась в реку, набив карманы камнями!

Я полила овощи оливковым маслом и бальзамическим уксусом и вышла на левый борт выкурить сигаретку.

Может быть, левый борт — несчастливый? Через несколько секунд рядом возник тот, кого я весь день успешно избегала, — Пьер.

— Эй! Если люди увидят, что ты стряхиваешь пепел в воду, им это не понравится. Здесь на озере экологическая чистота. Мы как-то помылись мылом "Нетрогена" и нарвались на замечание. С тех пор покупаем биологически разлагаемое, а оно воняет пачулями. Вот, возьми пепельницу.

— Спсбо.

— И вообще, я тут с ней и ее заморочками насчет сторон света, будь они неладны, сам скоро сдвинусь. Ничего, если я стрельну у тебя одну? Мои "Мальборо" внизу, но я так давно не курил канадских. Спасибо... Огонь у тебя есть?.. Ты что, дрожишь?

— Ньт!

— Да ладно, не держи меня за идиота! Она тебе наверняка говорила, что я псих, что я преследовал ее как маньяк несколько месяцев, что она из-за меня чуть не потеряла работу, что...

— Ньт.

— Знаешь, ты, по-моему, совсем на нее не похожа. Какое-то семейное сходство есть, но не более того. Леони, она... В ней... какая-то страстность, понимаешь, будто все ее тело источает силу, желание... Нет-нет, накинь! Как она живет?

— Гм-гм.

— Все еще с любовью своей юности? С этим, которого она называла плоским, потому что он распластывался на диване в гостиной и все вечера напролет смотрел спорт по телевизору?

— Угум.

— Пфф!

— Гм!

— Послушай, я не хочу долбать тебя этим, но... У нас с твоей сестрой было что-то такое... Мы с ней... между нами искрило, понимаешь? Я... Когда Самюэль на прошлой неделе сказал, что приедет с тобой, я написал ей письмо, пока Жозе спала. Моя подруга жизни спит целыми днями, потому что из-за паксила не переносит солнца, она тебе говорила? А говорила, что раньше не была такой пышечкой? И что утратила либидо? И что до недавнего времени была законченной трудоголичкой, а теперь верит в трансцендентальные силы севера и юга? Можешь себе представить, как я прожил последние семь месяцев? Короче, вот письмо.

— ...

— Знаю, знаю! Я преследовал ее, донимал звонками, мейлами... Но... как бы тебе сказать... Я на твою сестру запал, понимаешь? Даже в открытом море ни на минуту не забывал ее. Это как будто... как будто... короче, нечто. О, черт! Знаю, я дуб дубом, она мне говорила, что ты писательница, а мне даже не хватает слов, чтобы сказать тебе, как я ее люблю.

— ...

— В общем, ты передай письмо, когда с ней увидишься, ладно? В Нассау я встречался с big cheese[1] одной голливудской студии, он предло-

1. Важная шишка (*амер. разг.*).

жил мне работать у него, после Рождества. Жозе счастлива, она говорит, что в Калифорнии лучшие центры йоги. Но я бы хотел, чтобы со мной поехала Леони. Мы бы начали новую жизнь вдвоем, купили бы дом на берегу океана, завели детей, я знаю, она всегда этого хотела. Вот, возьми. Скорее! Спрячь в сигареты, чтобы Жозе не увидела.

— Э-э...

— Послушай, что такого? Берешь письмо, отдаешь его сестре, и проехали! Нечего из себя овечку-то передо мной строить! Ты куда хуже поступала, когда пускала ее к себе мыться.

— ...

— Спасибо, очень мило с твоей стороны.

— Гм.

— Нет, правда, спасибо большое. Извини, что вспылил.

— Гм.

— Ну, а как тебе яхта, нравится? Не укачивает?

— Угум.

— Если ветер завтра будет посильнее, хочешь, научу тебя поднимать паруса и управляться со штурвалом?

— Угум.

— Черт побери! Что, все писатели такие неразговорчивые?

— Гм?

— Пьер! Жаровня разогрелась, иди помоги мне!

Было уже за полночь, когда мы закрыли дверь нашей каюты. Мои реплики за ужином были все такими же односложными, но Самюэль не стал мне за это пенять. Кажется, он выпил слишком много вина, которое Пьер непрестанно подливал нам весь вечер, каждую опустевшую бутылку тотчас заменяя новой. "Это Шираз с виноградников одного австралийца, с которым мы познакомились на Багамах, он подарил нам два ящика". Настроение у Пьера было отличное. Непосредственно ко мне он ни разу не обратился после нашей "беседы" на палубе. Его письмо попало ко мне в руки, и он, надо думать, успокоился, чувствуя, что миссия выполнена. Я, понятное дело, на недостаток его внимания не жаловалась.

— Это как это? — спросил Самюэль. — Куда головой ложиться?

Он смотрел на треугольное ложе. Жозе положила подушки с широкой стороны, и я решила, что лечь лучше головой туда, иначе будет слишком тесно. Мы разделись, забрались под простыни, и Самюэль погасил лампочку на стене.

В плексигласовое оконце над нами было видно прошитое звездами небо. Только хлюпанье́ воды, лизавшей корпус яхты, да уханье птиц, наверно, сов или сычей, свивших гнезда в дуплах старых деревьев, нарушали ночную тишину. "Сиддхартха" легонько, но непрерывно покачивалась, и мне казалось, будто я лежу на топкой поверхности и не могу подняться. Я закрыла глаза и попыталась подумать о чем-нибудь другом. Например, что бы я выбрала: добро или зло? Северо-восток или юго-запад? Грех или добродетель? Великое Целое или отдельное существо? Мирское или вечное? Йогу или пешие прогулки? Боже мой, подумала я, ночная тьма, не иначе, вдруг окутала эти вопросы густой и тревожной мглой! Кажется, мне стало еще хуже.

— Самюэль, — позвала я, потерпев еще немного, — ты спишь? — и слегка потрясла его.

Он вздрогнул.

— Что случилось?

Я призналась, что меня тошнит. Самюэль зажег лампочку, надел очки и, подтвердив, что я зеленая, вызвался сходить за содовыми бисквитами.

Пьер закрыл на ночь люк, и в брюхе "Сиддхартхи" было темно хоть глаз выколи. Наша лампочка выхватила из мрака часть кают-компании: висевшие над раковиной чашки, яблоки в верхней сетке, красную коробочку с содовыми бисквитами в нижней. Самюэль зевнул, отпил минеральной воды из бутылки, лениво почесал ягодицы и, взяв коробочку, вернулся на цыпочках в нашу каюту.

Он снова забрался под простыни, но лампочку не погасил и не отвернулся к стене, а смотрел, как я отправляю в рот первый бисквит. "Что?" — спросила я, давя языком хрусткий брусочек: неужели я такая уж зеленая? Самюэль убрал прядь волос с моего лба.

— Я не знаю, думаешь ли ты еще о нем, но хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя, — выпалил он на одном дыхании и смахнул пальцем крупинку соли, упавшую на мою подушку.

Я чуть не подавилась бисквитом, который держала во рту, и, чтобы скрыть волнение, притворилась, будто ищу крошки на простыне.

Должна ли я развеять сомнения Самюэля и сказать ему, что да, я все еще мечтаю о Лоране? Неужели чувство, которое он, по его словам, испытывает ко мне, так ослепило его, что он ничего не замечает, ведь в моем отношении к нему — за исключением тех дней, когда мы слушали Джей-Джея Йохансона и Леонарда Коэна, — никогда не было ничего *любовного?* Содовый бисквит размягчался у меня на языке, а я думала, как бы объяснить Самюэлю, что в основе наших отношений лежит та же геометрическая форма, что и у кровати, на которой лежим мы. Я мысленно выстраивала фразу, но вдруг мне пришло в голову, что это, возможно, и ни к чему. Если вдуматься, можно ли верить человеку, у которого так хорошо подвешен язык, что он способен уговорить все население Запада поглощать гамбургеры, жареную картошку и газированные напитки, хотя всем известно, что от этого толстеют и прыщавеют? Сегодня Самюэль говорит мне "я люблю тебя", а через неделю теми же словами впарит тушенку из бешеных коров самой английской королеве, если босс ему прикажет, и, как знать, возможно, это принесет ему каннский трофей.

Не найдя больше в постели крошек от содового бисквита, я выдала Самюэлю полуулыбку и сглотнула. Самюэль закусил нижнюю губу, потом отвернулся к стене, снял очки и погасил лампочку.

"Угу! Угу!" — ухнула ночная птица.

Меня разбудила мелодия из "Розовой пантеры". "Телефон! — застонала я и пихнула Самюэля в плечо. — Телефон!" Он протер глаза и схватился за свой рюкзак. Интересно, кто бы это мог звонить ему среди ночи? Впрочем, подняв голову, я обнаружила, что серая масса, закрывшая верхнее оконце и тем самым погрузившая нашу каюту в кромешную тьму, была ничем иным, как матрасиком, на котором Жозе занималась йогой. Я даже разглядела очертания босой стопы и пяти пальцев.

— Сюзанна Бриер! — сонным голосом произнес Самюэль, взглянув на светящийся дисплей своего телефона. — Это твоя мама, что ли?

"Мама?" — нахмурилась я. Мне стало неловко. На прошлой неделе Самюэль сказал, что моя мама прислала в "Бум-бум" брошюру "Говорим красиво" с запиской на ядовито-лиловой самоклейке: "Я всегда к Вашим услугам, если Вам понадобятся дети для рекламы". Но названивать с утра в воскресенье...

— Нечего было оставлять ей свою карточку! — огрызнулась я на Самюэля. — Дай мне трубку!

Над нашими головами Жозе потеряла равновесие, матрасик отъехал, и в каюту наконец проник дневной свет.

— Анни, где ты? — кричала мама. — Я тебя уже целый час везде ищу!

Узнав, что я нахожусь посреди бухты на озере Шамплейн, она велела мне немедленно возвращаться в Монреаль. Леони родила сегодня ночью и требует нас всех к своему одру.

— А я думала, у нее срок только через десять дней!

— Ну что теперь поделаешь? Приезжай скорее!

Весь обратный путь Пьер просидел на палубе, уставившись пустыми глазами на озеро и время от времени наклоняясь вперед: его рвало.

— А я-то что? — то и дело отбивался Самюэль, натыкаясь на мой испепеляющий взгляд. — Я не знал!

Выйдя первым на кокпит "Сиддхартхи" после звонка моей мамы, Самюэль сразу выложил всю горькую правду своему другу, который по утреннему холодку спокойно чистил решетку жаровни, сбрасывая, благо никто не видел, обугленные остатки за борт.

— Капитан, — объявил Самюэль, — мы не сможем остаться до завтра. Анни с этой ночи официально зовется ма тант[1].

Пьер отложил решетку и медленно повернулся ко мне. "Ма тант?" — с трудом выговорил он, и мне ничего не оставалось, как подтвердить новость слабым "угум". Пьер бессильно опустился на скамью кокпита и, не сняв испачканных жиром перчаток, схватился обеими руками за голову. "Морская болезнь?" — спросила Жозе, подходя с носа "Сиддхартхи" со свернутым матрасиком под мышкой. Она предложила принести содовые бисквиты, но Пьер только махнул рукой — мол, не надо, — и слава богу, потому что я ночью доела последние. Собравшись наконец с силами, Пьер помог Жозе поднять якорь, попросил ее запустить двигатель и возвращаться в гавань, а сам ушел на правый борт, не сказав больше ни слова.

— Ну откуда, черт побери, мне было знать? — продолжал бушевать Самюэль, пока мы собирали вещи в каюте. — Уже год, как у них все кончилось, это же надо быть полным идиотом, чтобы думать, будто возможно продолжение! Где у тебя письмо? Дай посмотрю, что он ей написал.

Я буркнула, что об этом не может быть и речи, застегнула свой рюкзак и вышла, захватив сигареты.

Пьер сидел на палубе, обхватив руками колени.

— Эй, — тихонько позвала я.

Не оборачиваясь, он произнес в ответ такое же "эй" слабым голосом. Я присела на корточки в метре от него и, чтобы он не решил, будто я за ним наблюдаю, повернулась лицом к озеру, постукивая по шершавой обшивке корпуса "Сиддхартхи" носком туфли. Пожалуй, подумала я, отме-

1. Ma tante — тетя (*франц.*).

тив, что подошвы и вправду не пачкающиеся, это даже хорошо, что мне нельзя говорить при Пьере, иначе пришлось бы выдавливать из себя какие-то слова утешения. А ведь я, в сущности, нахожусь в том же положении, что и он, и кому, как не мне, знать, что его горю не поможешь. Мы с ним — жертвы любви, непонятые, отверженные и осмеянные всем остальным миром, да что говорить, если люди пляшут на наших костях, называя свои яхты "My Mistress" и "My Lover"! Это вульгарно, но кому интересны наши кровоточащие сердца!

Я подвинула к Пьеру свою пачку сигарет. Из-под картона торчал уголок белой бумаги. Пьер повернул ко мне осунувшееся лицо. Морща лоб, он сказал, что теперь понимает, почему я вчера не хотела брать у него письмо. Его пальцы потянули было бумагу, но тут я вспомнила, что он любит канадские сигареты, и подтолкнула к нему пачку, давая понять, что я ее ему дарю. Пьер поблагодарил измученным движением век, потом перегнулся через леер, и его снова вырвало в озеро.

Жозе проводила нас до машины. Пользуясь случаем исправить свою промашку, Самюэль достал из багажника дюжину роз.

— Как мило, — пропела Жозе, — но ваза с водой и цветами — это не очень удобно на яхте.

Она сказала, чтобы я подарила букет сестре, когда буду у нее в больнице. Не потому ли, что их венчики совсем смялись под целлофаном? Когда наша машина выезжала со стоянки, я в последний раз оглянулась на гавань и увидела Жозе, выходившую из магазина с коробкой содовых бисквитов. Самюэль, не отрывая глаз от зеркальца заднего вида, покачал головой.

Глава 9
Зимний коктейль

После нашего укороченного уик-энда на озере Шамплейн я не рассталась с Самюэлем. Это был ленивый выбор: если существующее положение вещей его не устраивает, говорила я себе, он может в любой момент сам положить всему конец. Попытки, кстати, были несколько раз за это лето. "Мне осточертело!" — выходил он из себя. Или вопрошал: "Наши отношения для тебя ничего не значат?" Но всякий раз он возвращался ко мне, присмиревший и несчастный, а я, за неимением лучшего, его принимала.

Когда Монреаль окрасился в осенние цвета, Самюэль перестал допекать меня выяснением отношений. Я же к тому времени в определенные моменты уже не нуждалась в навевавших депрессию голосах Джей-Джея Йохансона и Леонарда Коэна. Стереосистема могла наигрывать под сурдинку мелодии "Morcheeba", Эрики Баду, "Bran Van 3000", Ману Чао или вообще ничего — я больше не чувствовала разницы. В стаканчике в моей ванной теперь стояла вторая зубная щетка, которой пользовались не меньше четырех раз в неделю. У нас с Самюэлем завелись свои привычки. Если мы не валились с ног в субботу вечером и опаздывали на последний сеанс в комплексе "Экс-Центрис", где шел корейский фильм с субтитрами, — не проблема: мы хватали такси и успевали на ночной показ голливудского блокбастера в "Парамаунте" на улице Сент-Катрин. У нас были одни и те же любимые рестораны: суши мы ели в

"Микадо", тандури во "Вратах Индии", паэлью в "Каса Тапас", сегодня ты выбирай, мой ангел, и вот, не успела я купить новую пару зимних сапог, а город уже накрыл первый снег.

Наутро после Нового года, когда мы лениво доедали остатки пирога с мясом, принесенного накануне мамой, Самюэлю кто-то позвонил. Повесив трубку, он высоко подпрыгнул и хлопнул себя по ляжкам.

– Я еду в Брюссель! Oh yeah! Клиент клюнул на нашу концепцию "Маннекен-Пис"! Я еду в Брюссель!

Незадолго до Рождества Самюэль рассказал мне о проекте, над которым он работал со своим арт-директором. Это была реклама памперсов для людей преклонных лет. "Только учти, я тебе выдаю top secret! Никому не говори, пока мы не заключим контракт, ясно? Поклянись. Ну вот, представь себе группу старичков на экскурсии. Автобус останавливается на площади перед брюссельской ратушей. Старички окружают фонтан 'Маннекен-Пис'[1]. Они любуются им со всех сторон, фотографируют, снимают на видео. Титр на экране: "Искусство – это прекрасно". Струя фонтана остается на переднем плане, когда мы видим, как старички садятся в автобус. Появляется новый титр: "Но у нас есть памперсы..." Ну, и название! Гениально, правда? Старичье не лишено чувства юмора!"

– Надолго? – спросила я, слизнув с губ капельку кетчупа.

– Дней на десять, не меньше. Кастинг придется провести на месте.

Всю неделю Самюэль был очень занят в "Бум-бум", и пришлось мне идти в "Radio Shack" за переходником с европейской вилкой для розетки на 220 вольт, чтобы он мог взять с собой ноутбук. "У вас есть вопросы – у нас есть ответы", – прочла я слоган на чеке. Увы, я не могла сказать того же о себе утром перед его отъездом, когда он спросил:

– Ну что ты надулась?

Мы стояли в моей гостиной у входной двери. Я пожала плечами. И не сказала правды: что буду без него скучать. Самюэль надел пальто и поцеловал меня.

– Поешь мидий с жареной картошкой за мое здоровье, – напутствовала я его.

Внизу хлопнула дверь, и я осталась одна с моей глупостью.

В его отсутствие я много размышляла о нас. Кажется, события принимали самый неожиданный оборот. Кто бы мог подумать? "Неужели я всерьез привязалась к парню, который придумывает словесные игры ради продажи гамбургеров и выстраивает концепции для страдающих недержанием мочевых пузырей?"

А пока я мучилась этими вопросами, в высоких сферах, в кабинете на третьем этаже дома 1713 по улице Сангине, господин Дюфруа решил, что пора забыть инцидент с арахисовым маслом, и в почтовые ящики авторов полетели голубенькие карточки с приглашением на два лица в Овальную гостиную отеля "Ритц-Карлтон" в понедельник 22 января, с 18 до 20 часов, на празднование Литературного Нового года.

Сидя с маленьким Антоненом, припавшим к ее левой груди, Леони прочла карточку, которую я оставила на кухонном столе, и спросила меня, что я собираюсь делать. Я сняла чайник с огня.

1. Знаменитый фонтан "Писающий мальчик", символ Брюсселя.

— Ума не приложу! Я ждала Самюэля сегодня, но у них возникли какие-то проблемы со съемками, вчера он звонил мне и сказал, что прилетит только завтра. Самолет прибывает в Дорваль в шесть вечера. Ему никак не успеть добраться до города вовремя. А я-то ответила этой грымзе, мадам Венн, что нас будет двое! Одна я туда пойти не могу.

— И никаких признаков жизни после тех свинских звонков?

— Он помирился со своей Женевьевой. Но хуже другое: я гораздо реже думала о нем в последнее время. И даже решила снова поменять тему работы. Надо только поговорить с Бернаром, мало ли, вдруг он отдал мою бывшую тему по Прусту другому студенту, хотя я оставила ему три сообщения на автоответчике перед Рождеством, но он мне так и не перезвонил. Чай есть зеленый, жасминовый и ромашковый. Ты хоть знаешь, как это вредно — рыться в пыльных папках национальных архивов четыре дня в неделю? Никакого порядка, попробуй найди нужный документ! Половина рукописей нечитаема, остальные неполные. А! Остался еще пакетик вербенового. И такие вредные там сотрудники! Прямо тебе хранители сокровищ Нефертити. "Мадемуазель, сдайте сумку у входа" — только и слышишь от них каждое утро. Можно подумать, что я собираюсь украсть бумажки Жака Феррона там или Клода Анри Гриньона[1] и продать их за пятнадцать тысяч долларов через Интернет! Если завтра я умру...

— Не говори глупостей!

— ...предупреждаю сразу: рукописи "Вечеринки в саду" и моих ранних рассказов я поручаю тебе. Это необременительно и непыльно: все хранится на дискете в верхнем ящике моего стола.

Антонен отпустил грудь. Его головка слегка качнулась. Леони потерла ему спинку, приговаривая: "Тихо, тихо, тихо".

— Правда, когда я вскрыла конверт от Дюфруа, сразу подумала о Лоране. Почему бы это? Очень хочется его помучить.

— Я могу одолжить тебе Гийома, если хочешь. Он опять спит на диване, уже две недели. Ему, видите ли, снятся розовые трусики, из которых выползают золотые цепочки и превращаются в липких ужей. Он сказал, что сдерживался, пока я была беременна, но теперь не уверен, сможет ли меня простить. А сам в таком раздрае, что даже отменил супербоуловское сборище на будущей неделе. Говорит, что пойдет смотреть один в спортбар! Боюсь, что это Самюэль выложил ему всю правду. Они ведь теперь играют в одной хоккейной команде, и кто их знает, о чем сплетничают в раздевалке!

— Хоть Самюэль тебя и ненавидит, вряд ли с него станется сказать Гийому, что твой романчик продолжался год, а не одну ночь.

— Он меня ненавидит? Неужели все еще из-за той дурацкой истории?

Я поставила чайник на стол. Мой племянник смотрел, как я разливаю по чашкам горячий чай. Его розовый ротик в форме сердечка улыбался мне так мило, что хотелось засюсюкать: "Тебе нравится в гостях у тети Анни-ни-ни?" Он звучно срыгнул. Леони встала и пошла укладывать его в манеж, захватив погремушку.

— У меня идея! — сказала она, вернувшись к столу. — На прошлой неделе я посмотрела "Двенадцатую ночь". Хочешь, я, как Виола, переоде-

1. Жак Феррон (1921–1985) — франко-канадский писатель; Клод-Анри Гриньон (1894–1976) — франко-канадский романист и эссеист.

нусь мужчиной и пойду с тобой в "Ритц"? У меня отлично получится, я уверена!

— Особенно если вдруг пойдет молоко и на сюртуке выступят пятна.

Не успела Леони подуть на свой чай, как Антонен громко заревел. Мы пели ему песенки, укачивали, даже дали пососать меду с кончиков пальцев, но успокоить никак не могли.

— Орет, какает, ест — и так целый день. А теперь у него еще и зубы режутся.

Сестра сердито сложила манеж и запихала игрушки и одеяльца в сумку с подгузниками.

Я смотрела из окна гостиной, как она укрепляет стульчик для Антонена на заднем сиденье Гийомова "гольфа". Ветер трепал ей волосы, снежная пыль летела в лицо, заставляя щуриться. Когда Леони наконец убрала в багажник весь свой скарб молодой мамаши, я с удивлением подумала: неужели когда-то она приходила ко мне налегке, только с запасными трусиками да набором косметики от Лизы Ватье в сумке. Но сейчас не время предаваться воспоминаниям, сказала я себе и задернула занавеску. Мне надо было найти провожатого на коктейль к господину Дюфруа. И срочно.

— Анни Бриер, черррт! — приветствовал меня Юбер Лакасс, когда я забралась в его черный "патфайндер". — Не ты ли, когда мы в последний раз виделись, разорялась, что, мол, скорее зачахнешь в монастыре, чем проведешь хоть один вечер со мной?

— Это я просто так сказала.

— Да ладно, проехали! Если хочешь перепихнуться, предупреждаю сразу: только сегодня вечером. Через сорок восемь часов я буду в Париже вычитывать гранки. "По ком звонит кол?" выходит в мае, ты не знала?

— Езжай по улице Христофора Колумба до поворота на Шербрук.

Служащий автостоянки принял ключи от машины. В холле к Юберу подлетел молоденький рассыльный в темно-синей ливрее.

— Это крутой дилер, — объяснил мне Юбер, когда мы сдавали пальто в гардероб. — Мы с ним на пару курили косяки, когда я здесь кантовался. А сейчас он толкнул мне экстези, прямо из Бельгии. Хочешь, потом вместе опробуем?

— Из Бельгии? — повторила я и поняла, что слышать ничего не желаю об этой стране. Не потому ли, что там чтут бронзового человечка, круглый год писающего в фонтан, мне приходится терпеть сегодня вечером общество записного придурка?

Пестрая шумная толпа текла от входа в Пальмовый дворик к Овальной гостиной. Женщины в блузках, кто с короткими, кто с длинными рукавами, закутанные в красные, желтые или леопардовой расцветки шали, мужчины в галстуках в цветочек, горошек или полоску как могли пускали пыль в глаза друг другу в общей сутолоке. За белой с зеркальными стеклами дверью сияла люстра. От мысли, что где-то в этой толпе может быть Лоран Вьо, меня зазнобило. Я подхватила Юбера под руку.

— Иди за мной!

— С удовольствием! А ты знаешь, что твое платье липнет к заднице?

Я одернула подол. Это платье подарил мне Самюэль на Рождество, очень красивое, но надо же было сообразить, что чистая овечья шерсть прямо-таки насквозь пропитывается статическим электричеством.

В Овальной гостиной царила суматоха. Группки гостей кружили, распадались и сливались в новые, их то и дело рассекали официанты в

черных передниках и белых перчатках. Все брали снедь с подносов под нестройные звуки рояля.

– Вон моя сестра! – показал Юбер.

– Балерина?

– А ты не знала?

– Что?

Юбер что-то сказал, понизив голос, но я не расслышала – такой стоял шум. В облаке дорогих ароматов и клубах табачного дыма мы пробились сквозь толпу к бару, оборудованному слева от сцены. Ким Лакасс, подпрыгивая на здоровой ноге, устремилась в объятия брата, а меня расцеловал в обе щеки сияющий Бернар Самсон.

– Эге! Анни, рад тебя видеть!

Он извинился, что так и не перезвонил мне. Осень у него выдалась нелегкая, так что сразу по окончании семестра они с Ким сбежали на остров Сен-Мартен.

– У ее отчима там вилла. Это было изумительно, к тому же тепло и море полезны для колена Ким. Мы отлично провели время!

– Что будешь пить? – спросил меня Юбер.

– Э-э... красного?

– Правда, было чудесно! – проворковала Ким, опуская головку на плечо Бернара. – С погодой повезло, и я почти закончила "Стихи на грани". У тебя прелестное платье.

– Мне тоже нравится. То есть, я хочу сказать, твое очень красивое.

На ней было длинное платье из ангоры, выгодно подчеркивающее стан сильфиды, копну волос цвета спелой пшеницы, алые губы и золотистый загар. Бернар смотрел на Ким, и глаза его блестели, как два стальных шарика.

– Она настоящая русалка. Представляете, плавала с дельфинами.

– А он даже попробовать не захотел! Это было потрясающе, и потом, какая получилась бы сцена для романа!

– Слоеные пирожки с паштетом из дичи и белых грибов?

– Что ж, поедем туда еще! Вперед, к славе! За "Шепотами песка" последуют "Песни дельфина"!

Кончиками пальцев Ким высвободила прядку волос, запутавшуюся в черных с проседью бровях Бернара. До меня начало доходить. Расклад был прост: пятнадцать лет назад Бернар ушел от жены к Марион, которую теперь променял на Ким. Бернар ни от кого не скрывает своего маниакального страха перед уходящим временем – значит ли это, что, пока он в силах, всегда будет бросать своих женщин ради более молодых и свежих? Возможно, обладание юностью и красотой создавало у него иллюзию, что песок в песочных часах его жизни, вопреки закону тяготения, течет вверх. Но... было одно "но" в этой картине: Ким Лакасс ходила, опираясь на трость. Эта деталь скорее напоминала Бернару о грядущей старости, а не возвращала к молодости, и я решила, что моя теория, пожалуй, не выдерживает критики.

Вернулся Юбер с двумя бокалами красного вина.

– Ничего страшного, – сказала я Бернару. – Мне просто надо с тобой поговорить, я хочу сменить тему работы.

– Этого следовало ожидать! Заходи когда хочешь.

Я поднесла бокал к носу и принюхалась.

– Я ничего туда не подсыпал! – заверил меня Юбер.

– Устрицы в раковинах?

— Раз-два, раз-два, — произнес господин Дюфруа в микрофон. — Дорогие друзья, дорогие коллеги и верные сотрудники, добро пожаловать!

Во время речи господина Дюфруа Юбер успел задолбать свою сестру и Бернара подробным рассказом об издании "По ком звонит кол?" в Париже. Я делала вид, будто тоже слушаю, а сама привстала на цыпочки, из конца в конец обшаривая глазами зал в поисках высокого парня с длинными темными волосами, одетого скорее всего неформально.

В первых рядах я увидела мадам Венн. В конце каждой фразы, произнесенной патроном в микрофон, секретарша издательства "Дюфруа" кивала головой в кудряшках. Рядом с ней стоял мужчина в черном костюме с синим галстуком-бабочкой. Когда господин Дюфруа, выразив благодарность Квебекскому совету по культуре и искусствам за программу поддержки книгоиздания, картинно протянул руку в его сторону, я поняла, что вижу господина Дидье Венна, президента и генерального директора этой щедрой организации, того самого благодетеля, который осыпал издательство "Дюфруа" субсидиями, в то время как основатель оного издательства спал с его женой. В центре зала я высмотрела Софи Бланше, которая расточала угодливые улыбки в адрес окружавших ее пузанов. Облокотясь на стойку бара у зеркальных дверей, заказывал выпивку и одновременно почесывал между ног Марсель Жоликёр. В каталоге издательства "Дюфруа", который пресс-атташе раздавали в Пальмовом дворике, его имени не было, стало быть, Жоликёр пока не закончил свой второй роман. Чем же он был так занят, что не успел ни сходить в парикмахерскую, ни зашить рваные джинсы, ни сменить башмаки строителя и рубашку охотника на что-нибудь более элегантное? По другую сторону бара что-то записывал на бумажке Эрве Юдон, держа в свободной руке изрядный запас птифуров.

Зал разразился бурными аплодисментами.

— Хочешь еще вина, дорогая? — шепнул мне Юбер в самое ухо. — А потом перейдем на воду: лучше сочетается с экстези.

— Да-да, хорошо. Принеси мне красного.

— Тарталетки с луком-пореем?

Теперь, когда господин Дюфруа закончил свою речь, группки гостей мельтешили так, что мне было гораздо труднее разглядеть лица. "Да где же ты прячешься, изверг?" — подумала я и, не в силах больше терпеть боль в пальцах, опустилась на пятки.

— Анни?

Я тотчас узнала мускусно-лимонный запах моего редактора.

Я обернулась не сразу, постаравшись сначала сделать самое равнодушное лицо, какое только могла. Однако сохранить его мне не удалось.

— Лоран! Что случилось с твоими волосами?

У него была совершенно лысая голова. Лоран смущенно улыбнулся мне, и я догадалась, почему он молчал все эти долгие месяцы. Дни отпуска по пятницам он брал не для того, чтобы свозить жену в романтическую сельскую гостиницу. Нет, целый год Лоран боролся со страшным недугом — у него рак. Печени, легких, половых органов — поди знай. Может быть, и ушей, если вспомнить, сколько жавелевой воды я в свое время на них вылила. Как бы то ни было, курс химиотерапии он явно прошел по полной программе, раз потерял все волосы. Отрастут ли они

когда-нибудь, успеют ли? Не доживает ли Лоран свои последние дни? А я-то, я, вместо того чтобы поддержать его и утешить, не придумала ничего лучшего, как назвать его извергом. Бревно я бесчувственное!

— Жюль осенью подцепил вшей, с тех пор я брею голову. А как твои дела?

Метастазы, стало быть, Лорана миновали. "Жюль осенью подцепил вшей". Я повторила его слова про себя, чтобы успокоиться, но только еще сильнее разозлилась, тем более что в остальном он совсем не изменился: те же мясистые губы, выпуклые надбровные дуги, зеленые миндалевидные глаза.

— Очень хорошо. У меня теперь есть друг. Все просто отлично.

Я вытянула шею — куда же запропастился Юбер Лакасс? Надо было помахать ему, чтобы срочно подошел, но у бара толпилось столько народу, что мне никак не удавалось его высмотреть.

— Виолончелист?

Я вспомнила магниты на дверце холодильника у Самюэля. Надо же, Лоран не забыл. О чем это говорит? О том, что он все еще думает обо мне. "Пускай ревнует Тит — ревнуют лишь любя". И тут я заметила, что в обеих руках с пятнышками красной пасты Лоран держал по бокалу белого вина.

— Тебе-то что, ты ведь пришел с ней!

— Горячий козий сыр с жареными лесными орешками?

— Анни, пойми, все совсем иначе, когда есть ребенок. Это вовсе не потому, что ты для меня ничего не значила...

Впервые после нашего разрыва мне пришло в голову, что Лоран бросил меня именно поэтому: он боялся, что я буду плохой мачехой для Жюля. Мы с ним ни разу не заговаривали на эту тему. Нет, конечно, я никогда бы не смогла, да и не захотела заменить мальчишке настоящую мать, но зачем же думать, что я была бы бесполезным и ненужным человеком в его жизни? Я, например, могла бы научить Жюля, как стать чемпионом по "Тетрису". А что, спокойная игра, развивает логическое мышление и внимание.

— Думаешь, я не знаю, что такое дети? Я, между прочим, теперь тетя! Ребенок, конечно, требует много сил. Но ты мог бы подумать об этом раньше и не морочить мне голову.

— А ты как будто сама не хотела! Ты же дала первый толчок! Шпионила за мной в кафе возле работы...

— Ничего себе заявочки — *шпионила*! Я просто подарила тебе конфеты, и поверь, на том бы все и кончилось, если бы ты внес ясность с самого начала!

— Легко сказать!

— Яйца "мимоза" с икрой корюшки?

— Легко сделать! Впрочем, теперь мне все это безразлично. У меня есть друг, и я очень счастлива.

Я снова вытянула шею в сторону бара — да где же черти носят Юбера Лакасса? Вот сейчас все решится... Лоран опустил голову и вздохнул.

— Ты права, Анни. Моей вины здесь больше, чем твоей. Но ты значишь для меня больше, чем сама думаешь. Это все, что я могу тебе сказать. Я просто хочу, чтобы ты знала, и смотри сама, сможешь ли простить меня со временем. Пока.

И Лорана Вьо унесла от меня толпа. Широкие брюки и рубашка, покатые, чуть ссутуленные плечи — да, если не считать прически, он был

все тот же. Я смотрела ему вслед со странным чувством: неужели из-за этого человека я так мучилась целых полтора года? Из-за него соседи могли вытурить меня из квартиры, если бы, не дай бог, застукали нас на лестничной клетке. Из-за него я резко повысила цифры продаж компании "Häagen-Dazs". Из-за него взялась за научную работу, скучнее которой не вообразить. И вот теперь, когда мы снова увиделись, я только и смогла, что шпынять его посреди тусовки, а он пошел себе спокойно своей дорогой.

— Вишни с ликером в черном шоколаде?

— Нет, спасибо, у меня аллергия.

"Смотри сама, сможешь ли простить меня со временем". Я крутила последнюю фразу так и этак: что же этим Лоран хотел сказать? Опять ни к чему не обязывающие слова, решила я, и тут из толпы вынырнул наконец Юбер Лакасс с бокалом красного вина.

— Ты там что, виноград собирал?

— Черррт! Видишь красивую брюнетку, высокую, вон там? Она попросила у меня прикурить, и мы разговорились. Она иллюстратор. Мне надо вернуться к ней!

Я посмотрела в указанном направлении. У высоких окон, задернутых белым тюлем и лиловыми бархатными гардинами, беседовали господин Дюфруа, Ким Лакасс и Бернар, а поодаль, в серебряном платье с глубоким декольте, стояла высокая красивая брюнетка, которую я сразу узнала.

— Это же Марион Гулд, Юбер! Бывшая пассия Бернара!

Он порысил еще быстрее, лавируя между гостями. Или был уже слишком далеко и не услышал, или известие только еще сильней раззадорило его. От этого субчика можно ожидать и такого.

Если бы в этом еще был смысл, я, наверное, подошла бы к Марион Гулд, чтобы внести ясность: Юбер Лакасс пришел в "Ритц" со мной, он мне отчаянно нужен, чтобы кое-кого помучить, так что руки прочь, старушка. Но Лоран ушел, и Юбер был мне уже ни к чему, пусть попользуется моим кавалером, пусть хоть совсем оставит его себе, оно и к лучшему. Тем более что я, как первая виновница встречи Ким Лакасс и Бернара Самсона, пожалуй, даже обязана оказать Марион Гулд эту маленькую услугу, верно? Она, бедняжка, шептала что-то на ухо Юберу Лакассу, а сама украдкой поглядывала через плечо собеседника, проверяя, смотрит ли на них Бернар. Я тяжко вздохнула и решила, что пора и честь знать.

Стены в дамской комнате были кремово-желтые. У раковин стояли маленькие корзиночки с темно-розовой ароматической смесью, распространявшей запах корицы. Когда я мыла руки, дверь одной из кабинок открылась, и оттуда вывалился Марсель Жоликёр, громко топая своими строительными башмаками, шнурки на которых были развязаны.

— Гррркх!

— О! Вы, кажется, ошиблись туалетом!

Он прошел мимо, не взглянув на меня. Следом из той же кабинки вылетела встрепанная Софи Бланше и кинулась за ним. "Марсель! Вернись!" — заголосила она, швырнув на стойку свои лодочки на шпильках. Во все стороны полетели лепестки из смеси. Через полминуты, вернувшись, чтобы обуться, Софи Бланше разоткровенничалась со мной:

— Марсель Жоликёр — мужчина моей жизни, но два раза из трех у него не встает. Вот сейчас ему показалось, что он готов, — ан нет. Мы

были вместе два с лишним года. Какая была страсть, и надо же, в тридцать семь лет у него встает через два раза на третий, нет, ты представляешь? Даже когда я беру в рот, без толку – дряблый, как желе. Я должна была кому-то излить душу. Прости, Анни, мне жаль, что это оказалась ты. Мне правда жаль, ты ведь писательница и наверняка используешь эту подробность в какой-нибудь книге.

С этими словами она упала мне на грудь.

– Нет, нет, что ты, – забормотала я, успокаивая ее. – Ну-ну, тише, что ты, нет.

Значит, вовсе не из-за пьянства Марселя Жоликёра, как говорил мне Лоран, рассталась эта парочка. И не потому ли, что у него встает через два раза на третий, Марсель Жоликёр озаглавил свой роман "Железная рука"? Я взяла со стойки коробку с бумажными салфетками и протянула ее Софи Бланше; она утерла слезы, повторяя, что я очень милая.

– От этого есть лекарства, ты не знаешь?

Я попыталась вспомнить, что говорила мне Жозе на яхте: какая-то сторона света вроде бы стимулирует сексуальную мощь, но я забыла, какая. Впрочем, на это вряд ли можно уповать, потому что Пьер, когда в последний раз звонил Самюэлю, сообщил, что расстался с Жозе и уезжает в Калифорнию.

Пока главный редактор издательства "Дюфруа" трубно сморкалась, в дамскую комнату вошла женщина в платье цвета хаки; пройдя мимо нас, она скрылась в кабинке. Софи Бланше немного успокоилась, достала из сумочки расческу и сказала, что должна вернуться в Овальную гостиную: на ней гости господина Дюфруа.

– Приехали авторы из Торонто, и мне придется вести их ужинать к "Мойше". Старик отлично знает, что я терпеть не могу говядину! Он обращается со мной как с прислугой. Хочет, чтобы я уволилась. Ему только одно нужно – второй роман Марселя.

– Я знаю.

– Как это – знаешь? Откуда?

– Я хотела сказать, понимаю. Это ужасно.

– Да, война нервов, но я так просто не сдамся. Я не очень лохматая сзади?

– Все идеально.

Софи Бланше прополоскала горло остатками белого вина из забытого на стойке бокала, щелкнула замком сумочки и попрощалась со мной. Тут открылась дверь кабинки, и женщина в платье цвета хаки направилась к раковинам. У нее было продолговатое лицо, карие глаза и персиковая кожа, но особенно привлекли мое внимание каштановые, коротко, под мальчика, остриженные волосы. Мне подумалось, что этого не может быть, но чем дольше я на нее смотрела, тем больше убеждалась – так оно и есть.

– Что такое? – спросила она наконец, вытирая руки.

– Ваши волосы. Надо же, какие короткие.

– Ну и что?

– Можно подумать, что кто-то в вашем доме подцепил вшей этой осенью... или что вы работаете у итальянского ресторатора, и волосы ни в коем случае не должны попадать в блюда.

Она окинула меня с ног до головы презрительным взглядом.

– Анни Бриер?

Я приосанилась и подбоченилась.

— Не очень-то красиво было давать мой телефон маньяку!

— Не очень-то красиво было спать с моим мужем!

На вид она была ровесницей моей сестры Леони. Лет двадцать восемь-двадцать девять. Я всегда представляла ее старше и строже, что ли. Может быть, она тоже воображала себе совсем другую соперницу, секс-бомбочку, например, вроде тех нимфеток, что пляшут в видеоклипах на канале "Мюзик-Плюс". Так или иначе, при виде девчонки со стянутыми в простой "конский хвост" волосами, вздернутым носом и веснушками, в длинном платье, искрящем от статического электричества, она, похоже, успокоилась: разжала челюсти, повела плечами и стала рыться в косметичке.

— Лоран мне что-то говорил об этой истории, но неужели ты вправду думаешь, что у меня только и заботы поручать кому-то звонить тебе? Get a life[1], милочка.

— Это был итальянец!

— И что с того?

— Он дрочил и называл меня по имени!

— А ты слушала?

— Мне пришлось сбежать из собственной квартиры среди зимы!

Женевьева сняла колпачок с тюбика губной помады. Я раздавила в пальцах лепесток из смеси, отряхнула руку о платье и направилась к выходу.

— Эй! Один совет. В следующий раз, когда будешь охмурять женатого мужчину, постарайся, чтобы твоего номера не было в телефонном справочнике.

Уже взявшись за ручку, я обернулась.

— А ты в следующий раз, когда тебе понадобятся деньги, продай лучше телевизор, а не обручальные кольца. Я его любила, а когда все узнала, было уже поздно.

Кто-то толкнул дверь снаружи. Я потеряла равновесие и чуть не грохнулась.

— Ну разве можно стоять под дверью! — заверещала мадам Венн. — Так и покалечиться недолго, девушка!

— Ваша правда, мадам, она всегда стоит у кого-нибудь на дороге, — съязвила Женевьева, подкрашивая губы светло-сливовой помадой.

Больше не обращая на меня внимания, мадам Венн подошла к зеркалу и принялась поправлять свои кудельки.

Я задержалась в холле у окна, с Рождества украшенного разноцветными лампочками. На улице стемнело, и машины еле ползли по заснеженному шоссе. В свете фар снежинки казались желтыми. Я стояла и пыталась успокоиться.

— До свидания, Анни, заходи ко мне на днях насчет твоей работы! — окликнул меня Бернар.

Он скрылся в вертящихся дверях, заботливо обнимая одной рукой тонкий стан Ким Лакасс, закутанной в восхитительное манто из белого меха. Вот двое, которым, похоже, улыбнулась судьба, подумала я. Давно ли Бернар рвал и метал из-за того, что Марсель Жоликёр поцеловал ручку Марион, а сегодня даже не изменился в лице при виде бывшей спутни-

1. Зд.: очнись (*англ.*).

цы жизни, обжимающейся с его новоиспеченным шурином. Под козырьком подъезда он взял у служащего ключи и помог Ким сесть в серую "ауди А4". Я посмотрела вслед машине, растворившейся в оживленном движении на улице Шербрук, и направилась к гардеробу, где стояла очередь из нескольких человек. Это были молодые книготорговцы, затеявшие спор о вторжении в их магазины пены для ванн, декоративных солонок и индийских благовоний. "Скоро мы будем продавать машинное масло!" — кипятился один, в круглых очечках. "Литр бесплатно при покупке 'На дороге' Джека Керуака!" — вторил другой. "Револьвер к любому роману Агаты Кристи!" — подхватила девица с полным ртом семечек. "Алка-зельцер к 'Гаргантюа'!" "Прозак к автобиографии Габриэль Руа!"[1] Они взяли пальто и ушли, продолжая веселиться. Похоже, здорово набрались. Я шагнула к стойке. И в тот самый момент, когда гардеробщик взял мой номерок, чья-то рука сжала мне левый локоть. Я вздрогнула.

— А?

Это был Самюэль. Нерастаявшие снежинки блестели на его вязаной шапке и кожаном пальто.

— Но как ты...

Он крепко обнял меня. И вдруг, уткнувшись подбородком в его шею, сплющив щеку о его холодное ухо, я почувствовала, как расплываюсь в улыбке. Самюэль приехал. Сейчас мы вместе пойдем ужинать, он расскажет мне про Брюссель и про "Маннекен-Пис", наверняка рассказ будет долгим и, как знать, возможно, забавным, вечер закончится у меня дома, а завтра будет другой день. Каша, которую я заварила, явившись на этот вечер, навсегда осталась позади. Самюэль разжал объятие. Обычно такой невозмутимый, сейчас он смотрел встревоженно.

— Вот так. Позавчера по телефону мне показалось, ты очень расстроилась из-за того, что я не успеваю вернуться, чтобы пойти с тобой сюда, ну вот, я вышел из самолета и со всех ног помчался к стоянке такси.

— А твой чемодан?

В руках у него ничего не было.

— Мой арт-директор привезет его завтра на работу.

Гардеробщик подал мое пальто, и Самюэль помог мне его надеть.

— Ты есть хочешь?

— Не знаю. А ты?

— Спасибо. Немножко. Ну как, хорошо съездил?

Мы уже шли к выходу; слова из него вдруг так и посыпались.

— Неплохо. А ты знаешь, что творится в бальном зале? Я там был, искал тебя. Вот уж не знал, что интеллектуалы так гуляют. Там одна высоченная брюнетка с парнем, они улеглись на рояль и чуть ли не трахаются. А писатель в ковбойке, знаешь, тот, что получил Гонкуровскую премию несколько лет назад? Он лается со всеми барменами, требует выпивки.

— Это была Премия генерал-губернатора, и он от нее отказался.

— Не важно, наклюкался он здорово. Ты слушай дальше, я искал-искал и спросил одного малого, не видел ли он тебя. Угадай, что он мне ответил? Что, мол, съезд виолончелистов проходит на крыше! Я не понял, у него самого, что ли, крыша поехала?

1. Габриэль Руа (1909—1983) — канадская франкоязычная писательница.

Мы уже подходили к стойке регистрации, у которой какие-то постояльцы о чем-то спрашивали портье, как вдруг Самюэль остановился.

— Что такое? — спросила я невинным тоном и прочла в его глазах самое настоящее смятение.

Нерешительно оглянувшись направо и налево, Самюэль взял меня за плечи и силой усадил в тяжелое кресло на гнутых ножках, стоявшее у стены. Он присел передо мной на корточки, снял шапку и скомкал ее в руках. Его влажные волосы завились и прилипли ко лбу.

— Все, Анни, хватит. Нам надо поговорить.

Я погладила золоченые подлокотники кресла и решила: ну, раз он так настаивает... Что ж, Самюэль имеет право знать. Сейчас я скажу, что никто иной, как Лоран Вьо, тот самый, что так тревожил его — "не знаю, думаешь ли ты еще о нем..." — прошлым летом, только что посмеялся ему в лицо в Овальной гостиной. Я объясню, что почти год назад, во избежание шпилек, я ляпнула Лорану, что встречаюсь с виолончелистом, а не, боже упаси, с рекламщиком. Я уже готова была выложить ему все про свои подвиги, ничего не утаив, но Самюэль меня опередил и, прежде чем я успела открыть рот, сообщил, что из Мюнхена к нему в Брюссель приезжала Мод и они встретились у него в отеле.

— Мод?

— Моя бывшая девушка. Раз уж я в кои-то веки оказался в Европе... в общем, я позвонил ей как-то вечером. Просто так, привет — привет. Ни о чем таком я даже не думал.

— Ты имеешь в виду куколку, что променяла пиво на кислую капусту?

Я вспомнила выпавшую из журнала фотографию: блондинку в миниюбке на платформе берлинского метро.

— Мы с ней долго говорили. Она сказала, что соскучилась, что тоскует в чужой стране. И непременно хотела увидеться.

— Ты с ней переспал?

— Мы три года были вместе, и расставание далось нелегко. Она разрывалась между мной и своей карьерой. А теперь говорит, что готова вернуться в Монреаль.

— К тебе? Как будто вы и не расставались?

— Я ничего ей не обещал, Анни, клянусь тебе. Но у нас с тобой все так зыбко, ненадежно, я просто не могу больше держать свое сердце в узде, месяц за месяцем, лишь бы тебе было спокойно, и надеяться, что мне за это воздастся. Все шесть часов полета я только об этом и думал. Да я бы сюда из Дорваля бегом прибежал по снегу, если тебе это нужно. Я так больше не могу, я должен знать.

К стойке гардероба протиснулся, растолкав очередь, Эрве Юдон: "Земля горит под ногами! Опаздываю на премьеру!" — рокотал он, подкручивая усы.

— Что знать? — спросила я.

— Я же чувствую, что у тебя ко мне что-то есть. У тебя был такой потерянный вид в то утро, когда я уезжал. Я даже было подумал, что ты грустишь.

Самюэль поправил очки, нервно провел рукой по лбу и выговорил дрожащим голосом:

— Анни, ты меня любишь, черт побери, или нет?

В гардеробе Эрве Юдон, вызвав волну недовольства, получил-таки свое пальто. Я поглубже забилась в кресло, накручивая на пальцы шерстяную бахрому шарфика. Люблю, черт побери, или нет? Я чувствовала

себя на перепутье и сама понимала, что пора делать выбор. Иначе кто гарантирует, что и я в конце концов не улягусь на рояль в попытке вернуть мужчину, которому буду нужна как прошлогодний снег? Я вспомнила, что и правда была сама не своя, когда Самюэль уехал, а это что-нибудь да значит. И потом, прошло как-никак полтора года, может быть, моя проблема просто исчерпала себя? Ну что я выиграла сегодня, накинувшись на Лорана Вьо и сцепившись с его женой? Спасибо еще, что она глаза мне не выцарапала. Я глубоко вдохнула и положила руку на колено Самюэля. Да, конечно, профессия у него постыдная, но он сам говорил мне, что век рекламного криэйтера редко превышает десять лет, а он ишачит на "Бум-бум" уже целых пять и до сих пор не сорвал ни одного трофея, так что, возможно, его голова полетит раньше.

– Кажется, да.

– Правда?

Его лицо просияло широкой улыбкой.

– Псст!

– Да.

– Псст! Псст!

Самюэль поднял голову.

– Чем могу помочь? – отчеканил он, нахмурившись.

Я обернулась.

– Дорогая, ты здесь! – заплетающимся языком произнес Юбер Лакасс.

Поодаль, метрах в десяти, стояла Марион Гулд, растрепанная и тоже пьянехонькая, прислонившись к стене, чтобы не упасть, с литровой бутылкой "Эвиана" в вялой руке.

– Юбер, исчезни, пожалуйста. Сейчас не время.

Он почмокал, пытаясь сглотнуть слюну.

– Я только хотел предупредить, что перепихнуться сегодня не выйдет. Я закажу "люкс" на ночь, но мы идем с Марион. Сам знаю, гад я, пришел-то сюда с тобой. Да еще наобещал тебе экстези, а сам отдал твою долю Марион. Но я на нее запал, понимаешь, просто торчу. Вот, хотел тебе сказать, не обижайся. Надеюсь, мы останемся друзьями, но для траха, уж извини, надо было тебе подсуетиться раньше. По-моему, я влюбился.

– Да, Юбер, хорошо, доброй ночи.

Марион помахала мне и повисла на руке Юбера; шатаясь, они направились к стойке регистрации.

– Это совсем не то, что ты подумал, – сказала я Самюэлю.

Вид у него был ошарашенный. Он побагровел так, что я испугалась – не хватало только приступа астмы в холле "Ритца-Карлтона". "Это правда не то, что ты подумал", – повторила я, но уже не могла совладать с душившим меня смехом. Самюэль медленно кивнул и до самых очков натянул свою шапку.

– Fuck you, – прошипел он.

– Подожди!

Он быстрым шагом пересек холл. Вылетел за дверь, оттолкнул Эрве Юдона и нырнул в такси, в которое собирался сесть критик. Машина газанула и скрылась. Эрве Юдон затряс сжатыми кулаками.

"Твою мать!" – выругалась я вслух. Не в силах подняться с кресла, выкурила сигарету. Происшедшее не укладывалось у меня в голове. Таких выражений в мой адрес Самюэль не употреблял никогда. "Осточер-

тело!" — вот все, что он позволял себе в сердцах, да и то по совсем другому поводу и в пору, когда еще не маячил на его горизонте возвратившийся призрак кислой капусты.

Я была в таком раздрае, что, вскочив несколько минут спустя в такси, не сразу сообразила, что у меня нет с собой наличных.

— Остановите на углу Ланодьер и Жильфор.

Я выскочила к банкомату, чтобы снять деньги. "Недостаточно средств", — высветилось на экране. Наверно, пальцы у меня так дрожали, что я попадала не в те кнопки. "5-4-3-2-1", — набрала я второй раз, потом третий, четвертый, пока окаянная машина не проглотила мою карточку. "Да что же это за день сегодня!" — заорала я в камеру, мигавшую над дверью. Я ведь зачислила на счет папин чек не далее как позавчера. "Alegria", — завывали динамики в кабинке.

Снаружи просигналил таксист.

Часть четвертая
Падение на три счета

Глава 10
Клиника доктора Бриера

Три диванчика в приемной расположены буквой П, средний прямо напротив моего стола. Посередине низкий столик, заваленный номерами "Подружки" ("Выбери крем для загара"), "Домашнего очага" ("Худеем по гороскопу") и "Эль Квебек", с которым читательницы делятся теперь самым сокровенным, посылая вопросы в новую рубрику "Письма о сексе", которую ведет мадам Кики, она же Мартина Хури. В одном углу возвышается вешалка из лакированного дерева, в другом побулькивает аквариум с пятью красными рыбками, которым приходящие дети дают имена, когда не дерутся за сестриных старых Барби и моего потрепанного Месье Патата из ящика с игрушками.

— Клиника доктора Бриера, минутку, пожалуйста.

Вот уже четыре месяца моя жизнь — кромешный ад. Сорок часов в неделю я сижу на телефоне в папиной стоматологической клинике, в полуподвале на улице Флери, в сердце квартала Ахунтсик.

— Да, доктор Бриер может принять вас с острой болью сегодня в двадцать один час. Пока обязательно приложите лед.

Если на улице дождь, в мои обязанности входит просить пациентов снимать обувь и надевать одноразовые тапочки. В противном случае мне же придется очищать от грязи ковровое покрытие.

— Да, слушаю вас. Вы хотите записаться?

Покрытие маркого кремового цвета.

— Мы работаем с понедельника по субботу включительно, с восьми до восемнадцати.

Помимо звонков, у меня еще куча обязанностей. Я поливаю цветы. Раскладываю по местам зубные щетки, резиновые перчатки, фтор, цементирующие составы и прочее, и прочее. Вызваниваю папиных пациентов, которые не сделали своевременно чистку зубов, и напоминаю им, что прошло больше полугода и пора бы явиться. Вытираю пыль.

Убираю и мою посуду в кухоньке. Отношу в прачечную мешок с грязными халатами. Вызываю службу курьерской доставки за слепками зубов из полисилоксана. Протираю наши старые игрушки дезинфицирующим средством, от которого облезает кожа на руках.

– Но если это расписание вам не подходит, мы готовы в порядке исключения принять вас в удобное вам время.

Каждое утро я сыплю в аквариум вонючие коричневые хлопья, и пять красных рыбок теснятся у поверхности, широко разевая рты. "Хлюп! Хлюп!"

– В следующий вторник, 18 июня, пятнадцать тридцать, записываю, мадам... Вас не затруднит повторить по буквам? Д-о-к-и-к. Очень хорошо. Вы знаете о нашем особом тарифе "Изо рта в рот"? Доктор Бриер предоставляет десятипроцентную скидку каждому, кто приводит нового пациента. Разумеется, выгодно! Расскажите о нас вашим друзьям. Всего доброго.

Как дошла бедная Анни Бриер до жизни такой – темна вода во облацех. В тот злосчастный январский понедельник, упросив шофера не тащить меня в полицию, а послать счет за поездку в издательство "Дюфруа" – "Это сбой в электронике, как вы не понимаете!" – я кинулась домой, чтобы скорее позвонить Самюэлю. Я надеялась, что он хотя бы выслушает меня, хотела объяснить, что все случившееся – чудовищное недоразумение, а Юбер Лакасс – идиот. Увидев мигающую лампочку на телефоне, я даже подумала было, что Самюэль опередил меня и сделал первый шаг к примирению. Каково же было мое разочарование, когда я услышала на автоответчике голос мамы, назначавшей мне встречу завтра в полдень в кафе "Шерье". На эту встречу я пришла в растрепанных чувствах, потому что Самюэль, как выяснилось, отключил свой мобильный телефон.

– Абонент временно недоступен, попробуйте бла-бла-бла... – бубнил механический голос.

Когда я звонила в "Бум-бум", другой голос, конфетно-сладкий, говорил мне "Минутку, пожалуйста", но трубку брал арт-директор и сообщал, что Самюэль на совещании. "Придумал бы что-нибудь пооригинальнее!" – наорала я на него. Так что во вторник у меня не было никакого желания тащиться в полдень в кафе "Шерье". Среди гомонящей шикарно-богемной публики, на курьерской скорости поглощавшей пасту с лососиной под сливочным соусом, я сразу высмотрела маму. Закутанная в свою отливавшую рыжиной норку, в темных очках, скрывавших лицо, она сидела за столиком в углу, и перед ней стоял всего лишь бокал белого вина. Я не могла и помыслить, как скверно обстоят дела.

– Мне то же самое, – вздохнула я. – Как поживаешь, мама?

– По правде говоря, – она погладила пальцем пластик столешницы, – не очень хорошо.

Дальнейший ее рассказ был довольно путаным. Оказывается, отец вот уже несколько лет играет на бирже. Два года назад он потерял все, вложив деньги в некую компанию биотехнологий, якобы создавшую лекарство от артрита.

– Помнишь тот год, когда нам пришлось отказаться от каникул на Корсике и провести лето на Кейп-Коде? Кондиционер в "вольво" не работал, и у твоего отца не было денег на починку. Я оплатила всю поездку своей "Визой". А твой чек, который осенью потерялся на почте, – отец на самом деле его и не посылал. Он не мог выбраться из этой ямы,

пока банк не согласился принять новое оборудование кабинета как обеспечение под ссуду. Все могло бы уладиться, если бы твой отец не рискнул и этими деньгами, вложив их в компанию телекоммуникаций, которая незадолго до Рождества попала под закон о защите от банкротства... Вернуть ссуду вовремя не удалось... Ох, Анни, у твоего отца теперь ни гроша за душой... Никто больше не даст ему кредит... Чтобы не лишиться своего кабинета, он должен выплачивать каждый месяц бешеные деньги... Работать сверхурочно, искать новую клиентуру... Сама знаешь, беда не ходит одна: адвокаты старухи с Кейп-Кода прислали нам письмо в прошлую пятницу. С процентами с двух тысяч долларов, которые она требовала в позапрошлом году, мы якобы должны ей уже семь тысяч... американских долларов, разумеется...

Мама замолчала, поперхнувшись, отпила глоток вина. Руки у нее дрожали, и я почувствовала холодный ком в желудке: как же так, почему мне ничего не сказали раньше? В конце концов, это ведь мой отец! Разве мы не одна семья?

— Бедный папуля! Как ты думаешь, его хоть немного утешит, если мы с Леони пошлем ему открыточку или что-нибудь в этом роде?

Мама сняла темные очки. Очевидно, в последнее время она лишилась сна из-за этой истории: тонкая кожа под глазами имела нездоровый цвет, средний между желтым и лиловым.

— Анни, ты что, плохо слышишь? Твой отец на мели. Если хочешь, он готов предложить тебе место регистратора в клинике. Он сможет платить тебе жалованье, это входит в смету. Но давать тебе две с чем-то тысячи долларов в месяц он сейчас не в состоянии.

Ударь перед моим носом литавры, они бы меня так не оглоушили. Я залпом выпила вино, а мама между тем продолжала причитать: самое ужасное, что папины неудачи на бирже поставили под угрозу и ее детище "Говорим красиво".

— Реклама в газете, брошюры на глянцевой бумаге, оформление сайта в Интернете, костюмчики для представлений... Кто, по-твоему, финансирует мою школу? Вот если бы твой друг Самюэль приглашал моих учеников на прослушивания для рекламы, тогда, я уверена, все родители в округе...

Я перебила маму, сказав, что Самюэль разрабатывает рекламную кампанию памперсов для людей преклонного, а не дошкольного возраста, и тема была закрыта. Мама подвезла меня домой и дала сто пятьдесят долларов "на ближайшие дни". "Я подумаю над папиным предложением", — сказала я, перед тем как захлопнуть дверцу "вольво". Впрочем, что там было думать? Стипендия господина У. Д. Мак-как-его-там давным-давно кончилась. Конечно, в апреле я получу авторские за "Вечеринку в саду", но даже если сумма будет вдвое больше той, что мне выплатили в прошлом году, она все равно не превысит трехзначного числа. А не пройдет и двух недель, как господин Лагасе потребует квартплату! Мне живо представилось существование впроголодь, рацион из риса быстрого приготовления и арахисового масла...

— Мадам, а где руки от Месье Патата?

— Извините, в туалете кончилась бумага!

— Ну нет! Я ни за что не надену эту мерзость! Ничего, я как следует вытерла ноги!

Сидя в халатике поверх блузки за своим рабочим столом над календариками с рекламой зубной пасты, то и дело натыкаясь ногами на

ящик с образцами чашечек для полоскания, я иногда прикидываю, сколько может стоить оборудование, под которое папа взял ссуду: физиотерапия, программное обеспечение для цифровой рентгенографии с интраоральной камерой, автоматизированные кресла с плевательницами, подсветкой и лотками для инструментов, стерилизатор, центрифуга, бормашины и всевозможные боры... Четыреста тысяч долларов, пятьсот? Мне исполнится шестьдесят, когда мой отец снова будет платежеспособен, и то если повезет.

— Клиника доктора Бриера, добрый день.

Я жду единственного звонка, который может вызволить меня отсюда.

Леони жила у меня неделю из двух с середины марта. Вторую неделю она проводила в своей квартире и занималась Антоненом. Так они решили с Гийомом, чтобы ребенок по возможности меньше страдал от их разлада.

"Мы не разошлись, — часто повторяла Леони, — мы дали друг другу время на размышление".

В те недели, когда Леони возвращалась на улицу Сен-Юбер, Гийом уходил размышлять в кондоминиум своего кузена Бенуа Гужона, который, в силу своей работы корреспондента спортивных программ, в городе практически не бывал. В один из первых апрельских вечеров, оставшись дома одна, я откопала в ящике стола старую записную книжку и нашла телефон Бенуа Гужона.

— Он говорил тебе что-нибудь обо мне? — спросила я Гийома.

Мой зять зазвал Самюэля в свою хоккейную команду, и теперь это была единственная ниточка, связывавшая меня с моим, увы, бывшим другом. Но посредника я выбрала не лучшего.

— Да уж, он о тебе говорил! — рявкнул Гийом. — Он просто обалдел от того, как ты с ним поступила. Надеть его рождественский подарок, намылившись переспать с другим парнем, — ну, ты даешь, Анни! И еще он обалдел от того, что все это время ты пудрила ему мозги! Скрывала, что сидишь на папиной шее!

— Чтоб тебя! Ты сказал ему, что я теперь...

— Он смеется над тобой! Ты просто врушка! Такая же, как твоя сестрица! Знать вас больше не желаю с вашими дерьмовыми шашнями! Пока!

— Но!.. Но!..

Две недели спустя Гийом нарисовался в папиной клинике, чтобы сделать положенную раз в полгода чистку зубов. Он ждал своей очереди на диванчике и не сказал мне ни слова, кроме сухого "Привет"; я вытерпела десять минут, после чего покинула свое рабочее место и вырвала у него из рук газету.

— Гийом, пожалуйста, скажи мне хотя бы, его бывшая пассия вернулась к нему?

Гийом ответил, что хоккейный сезон закончился и он уже несколько недель не видел Самюэля.

— Врешь! Леони говорила, что вы собираетесь на финал! Я хочу знать! Стоит мне ему звонить или нет?

Именно в эту минуту из рентгеновского кабинета вышел отец.

— Анни, господи, телефон разрывается!

Гийом встал и ушел с отцом и мадам Дюфур в первый кабинет.

— Но, Анни, ты же всегда говорила, что у вас это не серьезно! — удивлялась Леони всякий раз, когда я изливала ей душу.

В те недели, когда она жила у меня, мы спали вдвоем в моей кровати и болтали перед сном в свое удовольствие. Что на это ответить, я не знала. Быть может, потому, что я сама скатилась по социальной лестнице, сменив статус писательницы и студентки университета на скромное положение регистраторши в стоматологическом кабинете, мне больше не казалась такой ужасной профессия Самюэля — ну и что с того, что он зарабатывает на жизнь, придумывая игру слов для продажи гамбургеров? Я снова и снова видела, как он исчезает за вращающейся дверью холла "Ритца-Карлтона", и меня пробирал озноб.

— Скажи, Гийом разрешал тебе закидывать ноги на приборную панель, когда вы ездили отдыхать? — спросила я сестру в одну из ночей, когда мне особенно долго не спалось.

— При чем тут это? — отозвалась она сонным голосом.

Я попыталась объяснить сестре, что Самюэль, по всей вероятности, дал мне лучшее доказательство любви из всех возможных в одно летнее утро на шоссе близ Берлингтона, но запуталась, а Леони тем временем уснула.

В этот год, когда мой отец так крупно погорел и увлек за собой в нужду меня, не посчастливилось и моему учителю Бернару Самсону. Я узнала об этом в конце февраля, когда мама согласилась на один день подменить меня в клинике. Я шла к Бернару не для обсуждения темы работы, а чтобы вычеркнуть мое имя из списков третьего цикла обучения кафедры французского языка и литературы Университета Макгилл. Шли экзамены, и непривычная тишина царила в коридорах Петерсон-холла. "Входи!" — крикнул Бернар, когда я поскреблась в дверь его кабинета. Я присела на деревянный стульчик, тот самый, на котором провела столько часов за обсуждением "Вечеринки в саду", и, заметив стоявшие на полу ящики, спросила Бернара, почему он собирает вещи — переезжает на другой этаж?

— Дальше! — вздохнул он. — Я должен до конца сессии перевезти все в Утремон! А ты еще не знаешь?

— Откуда? Я месяц здесь не появлялась.

И Бернар поведал мне свою беду: когда слух о его связи с Ким Лакасс дошел до ушей мадам Дюбуа, та немедленно побежала с доносом к декану, и Бернару Самсону было предъявлено обвинение в пристрастности.

— Я сдуру завизировал как экзаменатор "Стихи на грани". Вообще-то мне следовало бы выйти из комиссии, а я не вышел, подумал, ни к чему, ведь мнение-то мое о стихах Ким не изменилось: детский лепет. Я и ей это говорю без обиняков.

Если бы не прошлое Бернара, декан факультета искусств скорее всего ограничился бы простым предупреждением. Но поскольку таковых в досье проштрафившегося преподавателя уже имелось два — первое было вынесено еще в те времена, когда будущая жена Бернара была его студенткой, а второе в пору Марион Гулд, — дисциплинарная мера оказалась строже. Так что, когда Бернару было предложено взять отпуск без сохранения содержания на один триместр, он послал всех подальше и решил уйти на пенсию.

— Теперь я чувствую себя еще старше своих пятидесяти шести, но честь дороже!

— А кто же будет вести творческий семинар?

— Спроси что-нибудь полегче! Не удивлюсь, если Дюбуа выплеснет всю свою желчь и возьмет специалистку по бифокальному повествова-

нию. Но ты-то? Ты бросаешь докторскую работу, потому что засела за новый роман? Заметь, в этом нет необходимости. Ты могла бы получить отсрочку и защититься лет через пять-шесть.

Пока мой отец не пополнил ряды биржевых спекулянтов, у меня и в мыслях не было закончить учебу на третьем цикле раньше, чем через десятилетие. Когда я сообщила Бернару, что работаю теперь регистраторшей в стоматологическом кабинете, он напомнил мне о существовании грантов Квебекского совета по культуре и искусствам.

– Я заходила на прошлой неделе на их сайт в Интернете, – вздохнула я. – Запрос надо было послать до 15 февраля. А следующий конкурс будет объявлен не раньше весны.

Но Бернара мои новости, похоже, не очень-то потрясли.

– Что ж, – обронил он, задумчиво покусывая карандаш. – Я ведь и сам не знаю, чем теперь займусь. Не забывай, что Мари-Клер Бле[1] работала секретаршей, Мордехай Рихлер[2] – барменом, Хемингуэй – санитаром, а Колетт[3] выступала в пантомиме. Побочными профессиями не стоит пренебрегать. Они зачастую служат источником вдохновения.

Ой ли, думала я, сдавая в секретариат бумагу об отчислении со всеми необходимыми подписями, вправду ли служат, или это только романтический предрассудок пишущих людей? Конечно, куда как легко окружить чарующе-таинственным ореолом все, что бурлит во чреве мира, если сам и мизинца туда не окунул. Что далеко ходить за примером, не я ли сама была образчиком наивности, когда говорила Лорану Вьо, что его редакторский опыт может стать прекрасной основой для романа в духе Дэвида Лоджа? Да уж, мечтать о писательском поприще и сидеть под лестницей в бывшем чулане, который ходит ходуном всякий раз, когда кто-то идет в туалет, за весьма достойным занятием: вычеркивать наречия из чужих асинтаксических депрессий и выправлять анаколуфы в томах "Новой иллюстрированной истории коренных народов", – это может показаться романтичным, если смотреть в бойницы башни из слоновой кости. Но для заинтересованного лица все выглядит иначе.

– Клиника доктора Бриера, чем могу вам помочь?

Так или иначе, для меня моя новая работа была источником лишь скуки да головной боли. Если и есть в такой жизни романтика, значит, я недостаточно талантлива, ибо неспособна ее вычленить. Исхудавший и вздрюченный папа бледной тенью себя прежнего бродил по клинике, приветствуя пациентов вялыми рукопожатиями. Пунктуальная, как маятник, Моник Дюфур, дантистка лет пятидесяти, ежедневно в двенадцать минута в минуту устремлялась в кухоньку, чтобы поставить в микроволновку очередной лоток от "Lean Cuisine" – "филе индейки в темном соусе" или "спагетти с мясными клецками". Я ее избегала, так как всякий раз, стоило нам оказаться вдвоем, Дюфурша принималась сожалеть об уходе мадам Фаллю, работавшей раньше на моем месте.

– Бедняжка ужасно переживает, что потеряла работу. Они с мужем страдают эмфиземой. На прошлой неделе они были у меня в Репантиньи, и оба так кашляли! Наверно, им теперь не хватает денег на лекарства.

1. Мари-Клер Бле (р. 1939) – канадская франкоязычная писательница.
2. Мордехай Рихлер (1931–2001) – канадский писатель.
3. Сидони Габриэль Колетт (1873–1954) – французская писательница.

Чтобы не коротать обеденный перерыв в ее обществе, я выходила прогуляться под разноцветными навесами бутиков на улице Флери. Готовое платье, писчебумажные товары, женское белье, деликатесы, бижутерия, кондитерские, зоомагазины, кабинеты мануальных терапевтов, молочные... Мне случалось наткнуться на подругу детства, еще жившую здесь, и она ахала:

– Анни Бриер! Сколько лет, сколько зим! Как ты поживаешь?

Без особого аппетита я съедала в булочной сандвич с ветчиной и приносила такой же папе со стаканчиком капуччино и слоеным пирожком или яблочным пирожным. "Присмотри за ним, Анни, – просила меня мама. – Он совсем пал духом". Спасибо за напоминание, не он один. Если шел дождь, я оставалась на рабочем месте и заказывала "фирменный чоп-сви с говядиной $ 3,99" из китайского ресторанчика по соседству. Я ела утопающее в соевом соусе мясо из алюминиевого лотка, разгадывая кроссворд или просматривая почту мадам Кики. Через несколько недель этой отупляющей рутины я задумалась, что сделала бы Джейн Гудалл, если бы, изгнанная в одночасье из цветущей саванны, где она танцевала с гориллами, была бы вынуждена чистить лабораторные клетки от обезьяньего дерьма. Разве не попыталась бы она изыскать средства на продолжение исследований, пусть даже спонсором стала бы враждебная обезьяна?

– Клиника доктора Бриера, добрый день.

– Анни Бриер? Вас беспокоит Жослен Монетт из "Кенгуру-филмз". Мы можем встретиться на той неделе, в среду, в три часа?

– Да, конечно, спасибо, что перезвонили. Подождите, пожалуйста. Клиника доктора Бриера, минутку.

– Анни, господину Бенсаллу нужна квитанция для страховой компании. Оформи, пожалуйста.

– Сейчас. Папуля, скажи, можешь отпустить меня в среду на полдня?

– Если мама тебя подменит. Пфф! Пфф! Чем это у нас пахнет?

– Клиника доктора Бриера, слушаю вас. Да, наш особый тариф "Изо рта в рот" действует и в выходные.

– Анни! Две рыбки в аквариуме плавают брюхом кверху! Сколько раз я тебе говорил – их надо кормить каждый день! Убери эту гадость сейчас же! Ты хочешь, чтобы все пациенты разбежались? Фу, какая вонь!

– Я куплю новых! Тебя ждет мадам Гарьепи в кабинете физиотерапии.

– Ты взяла у нее расписку?

– Слушай, ей шестьдесят три года, по-твоему, она еще может залететь?

– А по-твоему, мы можем сейчас рисковать? Достань ее карту и бланк расписки, я сам все сделаю! Ну что ты за человек, даже за рыбками доглядеть неспособна, теперь понятно, почему все преподаватели от тебя открещивались! Идемте, мадам Дюфур!

– Вот мадам Фаллю – *она* никогда не забывала про рыбок!

– Месье Монетт, вы слушаете? В среду в три – где?

Кабинет на втором этаже коттеджа на улице Пане раскалился от жары. Письменный стол, поверхности которого не было видно под кипами бумаг, пустыми чашками и полными пепельницами, занимал почти все

пространство; в оставшемся помещались только два разномастных стула да книжный шкаф, готовый рухнуть под тяжестью принтеров, кубков, разобранных вентиляторов, теннисных ракеток и прочих диковинок, громоздившихся на его полках. Сквозь тюлевые занавеси, кое-где затянутые паутиной и немного смягчавшие солнечный свет, был виден кусок башни "Радио-Канада". Слева от меня плакат с синим кенгуру, на животе у которого вместо кармана красовалась бобина кинопленки, потихоньку отклеивался от стены.

В этой обстановке, по прошествии долгого уик-энда на Иоаннов день, Жослен Монетт — после семи моих звонков и девяти мейлов — принял меня.

— Могу я предложить вам "нечестного" кофе? — спросил он, обмахиваясь своим экземпляром "Вечеринки в саду".

Блестящая лысина, едва прикрытая двумя-тремя серыми прядями, старила его — я дала бы ему лет шестьдесят, не меньше. Я поерзала на стуле, заскрипели на все лады пружины.

— Легко.

Не тот был момент, чтобы робеть. Закурив сигарету, Жослен Монетт пропыхтел, что он-де перечитал мой роман на прошлой неделе и, по его мнению, "из этого можно-таки что-то сделать". Потом он полчаса распространялся о своем видении шедевров Феллини, Орсона Уэллса, Куросавы и иже с ними, после чего заявил, что экранизацию "Вечеринки в саду" мыслит в корне иной: это будет первый квебекский фильм, сделанный по канонам новой датской школы. Все больше воодушевляясь и хватая своими ручищами невидимые мне предметы вокруг себя, Жослен Монетт вещал:

— Я буду работать с ручной камерой, "с плеча". Освещение — только естественное. Никаких фильтров, никаких трюков и спецэффектов. Нашей съемочной площадкой будет настоящий сад настоящего бунгало в настоящем пригороде Монреаля. Никаких павильонных съемок, никакого звукового сопровождения, только шумы и музыка, записанные при съемке. Никаких костюмов, бутафории, декораций, ничего искусственного.

Тут я уже было подумала, что суетилась зря.

— Но, месье, а сценарий-то будет?

Жослен Монетт успокоил меня: для его эксперимента ему потребуется крепкая канва, хотя, конечно, достаточно эластичная, чтобы дать актерам простор для импровизации.

— Я хочу снять никому не известные лица! Это будет похоже на документальный фильм в продуманно любительском стиле.

— Понятно.

Проводив меня до первого этажа, Жослен Монетт сказал, что позвонит в самое ближайшее время, как только его жена даст согласие на проект.

— Она продюсирует мои фильмы. Но не ждите большого гонорара за сценарий. "Кенгуру-филмз" — независимая кинокомпания. Не больше пятнадцати тысяч долларов.

— Двадцать пять?

— Шестнадцать.

Я оседлала свой старый велосипед. Чтобы сэкономить на такси, я забрала его из родительского гаража позавчера, в свой двадцать шестой день рождения.

Через несколько часов после этой встречи, когда я поливала свои посадки специй, пришла с работы Леони.

— Ан-ни! — позвала она из коридора. — Я звонила тебе в клинику! Где ты была? Я попала на маму! Пришлось выслушивать ее стенания, она боится, что будет вынуждена закрыть "Говорим красиво" и вернуться на почасовку в начальную школу.

Красная, запыхавшаяся сестра ввалилась на балкон. Я поставила лейку на столик.

— Отпросилась на полдня, захотелось почитать в парке Лафонтена, — сымпровизировала я.

Леони выпуталась из лямок коричневого кожаного рюкзачка и рухнула в шезлонг, утирая платком потный лоб.

— Что я тебе скажу, никогда не догадаешься! Подлец, оказывается, он четыре месяца спал с Фойникой!

— Кто это — Фойника?

— Моя наперсница, когда я была Береникой!

С некоторым усилием я припомнила эту упитанную брюнетку, которая то ходила хвостом по сцене за моей сестрой, то удалялась к правой кулисе, за пластмассовую дорическую колонну. В тот вечер, когда мы с родителями пришли на представление "Береники", Фойника забыла перед выходом на сцену выплюнуть жевательную резинку, и это так возмутило маму, что она не постеснялась сделать ей замечание за кулисами, где мы поздравляли Леони. "Как не стыдно, девушка! Разве можно произносить строки Расина с теннисным мячиком во рту!"

— Но когда, где, как? — посыпались из меня вопросы.

Леони наматывала на палец золотую цепочку, уставившись круглыми, как два шарика в лототроне, глазами на жардиньерку с геранью, висевшую на балконе соседей. Лихорадочно и сбивчиво сестра рассказала мне все.

С тех пор как Леони вышла на работу в "Монтаж мондьяль" после отпуска по беременности и родам, к ее должности координатора прибавились кое-какие новые обязанности. В их число входил "постоянный контакт с клиентом", предполагавший время от времени отлучки из офиса. Сегодня, возвращаясь после утреннего просмотра в кинотеатре "Паризьен", Леони зашла в "Боди-шоп" на первом этаже торгового центра на Виль-Мари купить крем с маслом сального дерева для Антонена — у него в последнее время высыпали прыщики от подгузников. Там-то, встав в очередь к кассе, она и столкнулась с Фойникой, в миру Сильви Бле, которая работала теперь нотариусом в фирме, расположенной на двадцать шестом этаже той же башни.

— Мы с ней повспоминали те времена, наш спектакль, ну, знаешь, типа "А помнишь, как Аршак забыл свою реплику, а помнишь, как Паулин вышел на сцену в лоскуты пьяный" и прочее в том же духе. И вдруг она мне говорит: "А помнишь того парня, что ставил свет и декорации? Классно он попользовался тем, что все ребята слишком по-дурацки выглядели в юбчонках и сандалиях, чтобы нас кадрить! Он с тобой крутил или с костюмершей? Точно не помню, но он мне говорил, что кроме меня спит еще с одной девчонкой, просил, чтобы я ей не проболталась! У меня-то тогда был парень в Квебеке, а с этим так, развлечься захотелось. Как бишь его звали? Янник... Нет, Гийом, точно! Гийом Демер. Весь триместр это продолжалось. Ловко он работал на два фронта! Ну, а ты что поделываешь? Стала актрисой, как хотела? Извини, может, ты уже звезда, а я не

знаю, телевизор совсем не смотрю, некогда... Ну ладно, мне надо бежать, клиенты в офисе ждут! Вот моя визитка, давай как-нибудь повидаемся. Чао, Береника! 'Ума не приложу! Но вдруг тобой забыта размолвка некая...'[1] Так? Надо же! Никогда бы не подумала, что еще помню!"

Леони глотнула моего чаю со льдом и продолжала:

— Я стояла там как идиотка. Даже пообещала ей позвонить... хотя мне показалось, будто башня Виль-Мари обрушилась на меня! Подлец!

Я попыталась утешить сестру: ведь больше десяти лет прошло с тех пор. Гийом тогда был молод и наверняка закомплексован. И что, собственно, такого ужасного произошло? Я машинально теребила пальцами перышки лука.

— Сама посуди: разве твоя связь с Пьером не хуже?

— Ну нет! Куда естественнее развлечься на стороне после семи-восьми лет брака. Вдобавок у меня была веская причина. Но я никогда бы так не поступила на первых порах, когда наша страсть только начиналась и мы всего через три недели признались друг другу в любви. Теперь у меня такое чувство, будто он с самого начала меня предал. И этот придурок еще позволяет себе судить меня за мое приключение "на один вечер" и ставит под угрозу нашу семейную жизнь. Куда уж хуже? Да кем он себя возомнил? Мне нужно принять горячую ванну.

— Леони, на улице плюс тридцать два.

— Знаю, но после того, что Фойника мне наговорила, я была в таком раздрае, что еще прошлась по "Боди-шопу". Купила масло для ванны, успокаивающее, с экстрактами липы и иланг-иланга. Кассирша сказала, что это просто чудо. Мне необходимо расслабиться.

Я достала из холодильника бутылку ледяного пива и приготовила нам на ужин салат с остатками вчерашней курицы. "Сукин сын, мерзавец", — продолжала ворчать сестра, плескаясь в ванне. Интересно, подумалось мне, какими словами она припечатает меня, когда узнает, что я сама постучалась в дверь Жослена Монетта с протянутой рукой, мол, дайте работу? Я чуть не подавилась косточкой маслины от таких мыслей, но тут же одернула себя. Я ведь ясно сказала Жослену Монетту: звонить мне можно только в клинику.

Впрочем, с этой зимы телефон в моей трехкомнатной квартире с холлом на улице Бребёф звонил редко. Отключи я его, никто бы не заметил. Но через день, когда я примеряла старые летние шмотки, которые больше не носила Леони, вдруг раздался звонок.

— Самюэль! — вслух взмолилась я.

— Нет, это, наверное, Гийом, — возразила сестра, снимая трубку. — Я сегодня оставила ему сообщение, сказала, что знаю все и что лучше бы нам объясниться! Алло? Да, минутку.

Брючки-капри, которые я как раз натянула, были так тесны, что мне пришлось кузнечиком прыгать к сестре за трубкой, рискуя опрокинуть по пути вазу и книжный шкаф.

— Да? — нервно выпалила я.

— Анни Бриер, черррт! Это Юбер Лакасс. Я уж думал, ты умерла! Не отвечаешь на мейлы, я сколько писал тебе в Макгилл.

Я вздохнула.

1. Расин. Береника. Действие 2, явление 5.

— Да нет, просто у меня сменился адрес.

— Слушай, когда мы в последний раз виделись, я набрался по-свински, но у нас с Марион, честно, без дураков, настоящая любовь. Она со мной в Париже. Жизнь у нас тут — закачаешься! Знаешь, где мы сейчас? На вечеринке на барже, слышишь музыку?

— В основном слышу галдеж.

— Чего? Да, и мой роман здесь неплохо пошел. Я даже подписывал его во "Фнаке"[1]. Не было ни души, но это ведь как-никак веха в жизни писателя, правда?

— Говори громче.

— Ладно, я, собственно, повторю, о чем писал в мейлах. Мы тут осели в Одиннадцатом округе, в доме, который принадлежит моему папаше. Возле площади Бастилии, знаешь? Мы живем в здешней квартире моей кузины, она работает в компании. А дядина квартира, прямо под нами, будет свободна с августа до декабря, дядя взял отпуск на полгода. Если хочешь, она твоя. Бесплатно. Должен же я тебя отблагодарить за то, что встретил женщину своей жизни. Никогда не думал, что со мной такое случится.

Едва я успела, сославшись на занятость, отказаться, как связь прервалась. Я рухнула на диван и задрала негнущиеся ноги.

— Стащи их с меня, пока не лопнули!

Леони взялась за штанины и помогла мне снять брючки.

— Это был не Сэм, да?

— А ты как думаешь?

— Тьфу, черт! Ноготь сломала.

По всему выходило, что Самюэль вычеркнул меня из своей жизни. Конечно, я не знала наверняка, вернулась ли Мод в Канаду и живет ли она у него, но это была весьма правдоподобная гипотеза, подкрепленная фальшиво невинным видом Гийома, когда я пытала его на этот счет в приемной клиники.

Впрочем, я этим летом была слишком стеснена в средствах, чтобы жалеть себя. Подсесть на полулитровые "Häagen-Dazs" мне стало не по карману. От сети пришлось отключиться, и даже захоти я вырубить мозги, следя за падением разноцветных блоков на экране, это было бы невозможно. Мой карманный "Тетрис" я по доброте душевной положила в ящик в приемной, увидев, в каком плачевном состоянии тамошние игрушки, и какое-то дитятко его присвоило.

Но главное — на оплакивание потерянной любви мне катастрофически не хватало времени. С мая месяца все вечера без Леони я просиживала, делая наброски к новому роману. Выходит, прав был Бернар со своим законом четырехлетнего цикла? Я наконец выкинула из головы идею продолжения "Вечеринки в саду", и в ней прочно поселилась история о трех братьях, которые катаются с женами и детьми на яхтах по озеру Шамплейн. Впервые эта мысль посетила меня прошлым летом, когда Жозе призвала Пьера к жаровне присматривать за маги-маги. Оставшись одна на палубе "Сиддхартхи", я наблюдала за кипевшей в бухте жизнью и особенно заинтересовалась тремя парусниками, стоявшими на якоре рядом у соседнего буя. Мужчины хозяйничали на кокпите одной из яхт,

1. Крупнейшая сеть книжных магазинов во Франции.

женщины мыли детей, передавая друг другу бутылку шампуня. Кто они такие? Куда плывут? О чем мечтают? — подумалось мне тогда. Только на первый вопрос у меня нашелся ответ: если мужчины были братьями, то женщины невестками, а дети кузенами. Остальные ответы я пока искала.

Если бы свои дни я посвящала, как раньше, докторской работе или еще какому-нибудь умственному труду, то эти вечера, наверное, были бы плодотворнее, потому что меня бы не отвлекал гул в ушах от множества чужих голосов: "...я хотел бы отменить запись... а тариф "Изо рта в рот" действует при лечении канала?.. клиника доктора Бриера, добрый день... сколько у вас стоит вскрыть флюс?.. у меня болят зубы мудрости... Анни Бриер! Сколько лет, сколько зим!.. у моего мужа почернели десны... клиника доктора Бриера, минутку, пожалуйста... я не оставила у вас свои очки?.. да, добрый день, я звоню, чтобы подтвердить запись Матье Пеллетье, завтра в пятнадцать тридцать... кажется, мне попала инфекция в дупло..." Я не могла сосредоточиться, злилась и переполняла корзину в своем компьютере, но, когда готова была совсем приуныть, напоминала себе о выработанной стратегии: если жена Жослена Монетта одобрит проект сценария "Вечеринки в саду", то на гонорар в шестнадцать тысяч долларов я смогу прожить до весны и создам себе более подходящие условия для подготовки "Бухты вздохов" — такое рабочее название я дала новому роману. Тогда я во всеоружии подам запрос на грант Квебекского совета по культуре и искусствам и, если мне его дадут, буду спокойно работать над романом весь следующий год.

Однажды в середине июля, из-за проливного дождя, обрушившегося в то утро на Монреаль, мне пришлось оставить дома велосипед и отправиться на работу в метро. Пока я, зажатая между собратьями-трудягами в мокрых одежках, раздумывала, не пора ли мне самой напомнить о себе Жослену Монетту — может, он забыл о нашей встрече?.. или его жена сказала "нет"?.. зачем он с ней работает, если она не разделяет его вкусов, и вообще, как можно доверять мнению человека, не отличающего роман от кулинарной книги? — поезд почему-то застрял на станции "Кремази". Занервничав, я подняла глаза от пола. На платформе двое рабочих в спецовках вставляли афишу в одно из плексигласовых рекламных окон. Наверху плаката красовалась аббревиатура Федерации трудящихся Квебека, ниже шел следующий текст:

СОЦИАЛЬНЫЕ ЗАВОЕВАНИЯ ПРИНАДЛЕЖАТ ВАМ.
ПРАЙС-ВАТИЗАЦИЯ СТОИТ ДОРОГО!

"Господи!" — вырвалось у меня так громко, что стоявший передо мной мужчина резко обернулся, чуть не зашибив при этом ручкой зонтика свою соседку. Поезд тронулся и как ни в чем не бывало въехал в туннель. Сердце у меня отчаянно колотилось. Я чувствовала себя какой-нибудь Фабьеной из любовного романа, которая выходит на улицу и видит в небе огромный транспарант, подвешенный к самолету: "Фабьена, будь моей женой!" Я вышла на станции "Сове" и побежала под дождем за отходящим автобусом. "Прайс-ватизация стоит дорого!" Еще как! Примчавшись в клинику, я отмахнулась от мадам Дюфур, предлагавшей мне домашние булочки, — она всегда угощала меня подгоревшей сдобой или непропеченными бисквитами со вкусом рыбы, — и сразу же позвонила в "Бум-бум".

— Самюэль Шалифу в отпуске до 10 августа, — пропел в трубке конфетно-сладкий голос. — Что ему передать?

— Нет-нет, — залепетала я, — я просто насчет новой рекламы Федерации трудящихся Квебека.

Я подумала, что зря все усложняю, можно ведь позвонить Самюэлю на мобильный, но тут голос произнес:

— Соединяю вас.

В трубке щелкнуло, раздался гудок.

— "Бум-бум комьюникейшн", Гислен у телефона, слушаю вас.

Я хотела было бросить трубку, но передумала. Начальство, решила я, оценит Самюэля, если узнает, что он хоть и не срывает трофеев, зато покоряет сердца рядовых граждан. Как знать, может, кто-нибудь одобрительно похлопает его по плечу, когда он вернется из отпуска?

— Я насчет рекламы Федерации трудящихся Квебека.

— Реклама Федерации трудящихся Квебека?

— Да-да. Скажите вашему самому большому начальнику: это отличная реклама.

После короткой паузы Гислен сообщил мне, что Федерация трудящихся Квебека никогда не была заказчиком "Бум-бум".

Понурившись, я сняла мокрый плащ и пошла к вешалке. Так значит, Самюэль не посылал мне зашифрованного признания в любви? Куда же он укатил в отпуск? В шале своих родителей в Сен-Жовит? На мексиканский пляж с Мод? Если вдуматься, "прайс-ватизация" — не так уж и оригинально. Любой болван из любой левой лавочки мог додуматься до этой игры слов. Вернувшись на рабочее место, я заметила свои грязные следы на ковровом покрытии.

— А мыть кто будет? — нахмурился папа, который как раз вышел из кухоньки, застегивая халат.

— Я сейчас.

— Ладно, что там у нас на сегодня?

Он заглянул в журнал записи. От воды, накапавшей с моих волос, пока я говорила по телефону, половина имен на странице расплылась.

— Плохо? — испуганно пискнула я.

Папа скрылся во втором кабинете, громко хлопнув дверью.

— Вот мадам Фаллю — *она* все заносила в компьютер, — вздохнула мадам Дюфур, качая головой.

Это было худшее лето в моей жизни, и конца ему не предвиделось.

Потом, как-то в среду, ближе к середине августа, придя домой, я застала в кухне Леони. В углу работал вентилятор, а на столе перед ней лежала трубка радиотелефона.

— Вы опять поцапались? — спросила я, "паркуя" велосипед у стены в коридоре.

Через две недели после встречи с Фойникой сестра сумела-таки доказать Гийому верность своего уравнения, то есть убедила его, что четыре месяца двойной жизни в начале отношений стоят "одного вечера" на восьмом году брака. Теперь они снова жили вместе в своей квартире на улице Сен-Юбер.

— Он узнал, что ты встречалась с Пьером больше одного вечера?

Я просто не представляла, по какой еще причине, кроме этой, между сестрой и Гийомом могла опять пробежать черная кошка. Мой зять был готов забыть прошлое и, как последнее тому доказательство, из-

влек на свет первую золотую цепочку, — уж не знаю, куда он ее спрятал, обнаружив в розовых трусиках сестры, — и, как она хотела, заказал из нее браслетик к первому дню рождения Антонена.

— С ума сошла! — фыркнула Леони и показала пальцем в сторону плиты.

Я вздрогнула. К плите был прислонен красный пылесос, а вокруг лежали щетки и трубки разных размеров.

— Это в благодарность за то, что ты приютила меня на лето. У тебя ведь нет пылесоса, и ты на мели, а мы с Гийомом купили новый, два нам девать некуда, места мало, с тех пор как родился Антонен, вот мы и решили, что наш старый тебе пригодится.

Я подошла к агрегату и погладила красный пластмассовый бок. "Dirt Devil" — было написано на нем.

— Спасибо, но зачем это? Я была тебе рада.

Без пылесоса я всегда обходилась, раз в неделю подметала свою трехкомнатную с холлом квартиру, и мне этого было достаточно. Я не держала ни собак, ни кошек, от которых летела бы шерсть. Не занималась никакими пыльными работами, не полировала мебель, не шкурила оконные рамы. Интересно, подумалось мне, в магазине подержанных электробытовых приборов на улице Папино принимают такие пылесосы, и если да, то сколько заплатят? А если нет — где мне держать это чудовище? Может, влезет в стенной шкаф в прихожей? Сестра вдруг шарахнула кулаком по столу, оторвав меня от раздумий.

— Ты была мне рада! — заорала она. — Лицемерка! Как ты могла! Жослен Монетт экранизирует твой роман!

Она вскочила, опрокинув стул, и сунула мне под нос телефон.

— Я прослушала твой автоответчик, мой мобильный на зарядке, и я сказала Гийому, чтобы он позвонил сюда, если сможет забрать Антонена из яслей.

Я опустила глаза.

— Ведь просила же я его звонить мне только в клинику.

— Чертова сука!

Леони протопала по коридору, у входной двери резко обернулась и швырнула в меня что-то увесистое. Я едва успела заслониться рукой.

— Ты мне больше не сестра!

На полу из натурального дерева у моих ног валялись два ключа от квартиры.

Я опрометью помчалась вниз по лестнице. Я должна была объяснить сестре, что не хочу до конца своих дней проторчать в приемной стоматологического кабинета. Что поделаешь, Жослен Монетт поставил крест на ее призвании, но если он может спасти мое, как я могу пренебречь этой возможностью? Не хватит ли одной неудавшейся артистки в семье? Я вцепилась обеими руками в балконные перила.

— Леони!

"Гольф" заворачивал за угол улицы Жильфор. Я потопталась немного на балконе и вернулась в квартиру, проклиная Жослена Монетта: плохо же начиналось наше сотрудничество, если он оказался неспособен выполнить такую простую просьбу — не звонить мне домой! Споткнувшись о шланг новоприобретенного пылесоса, я налила себе чаю со льдом, устроилась в шезлонге, прихватив радиотелефон, и набрала номер сестры.

— Иди к черту! — рявкнула она, сняв трубку, и тут же отключилась.

Я вздохнула и прослушала автоответчик. Если бы я в свое время дала себе труд разобраться в статьях договора, который подписала с издательством "Дюфруа", этой трагедии могло не быть. Сообщение было оставлено в одиннадцать часов три минуты:

"Да, добрый день, мадемуазель Бриер, говорит Кристиан Дюфруа, издательство "Дюфруа". Должен вам сообщить, что некая Николь Монетт связалась с нами в понедельник по поводу экранизации вашего романа 'Пикник'. Она сказала, что у вас имеется договоренность с ее мужем и вы намерены сами писать сценарий. Что ж, браво, примите мои поздравления. Как указано в вашем договоре с нами, вы получите половину от полутора тысяч долларов, которые кинокомпания 'Кенгуруфилмз' выплатит нам по подписании контракта, плюс пятьдесят процентов от трех тысяч долларов, которые будут выплачены в первый съемочный день. Мы запросили семь тысяч долларов, но нам объяснили, что проект экспериментальный, малобюджетный, независимый и все такое... В общем, надеюсь, что ставка вас устроит. Все эти суммы будут включены в ваш авторский гонорар за 'Пикник' будущей зимой. Как я назвал, 'Пикник'? Да нет, я помню, 'Вечеринка в саду', конечно, прошу прощения! Софи Бланше на прошлой неделе нас покинула, так что можете себе представить, сколько работы на меня свалилось, невпроворот. Короче, вы можете мне позвонить, если захотите узнать подробности. Я могу быть занят, но мадам Венн наверняка ответит на все ваши вопросы. Всего доброго, надеюсь увидеться с вами на коктейле в сентябре".

Глава 11
Париж, ночной интерьер

Каждую ночь с тех пор, как я приехала в Париж, меня будили игрища Юбера Лакасса и Марион Гулд. "Зараза!" Я сдвинула пониже подушку и стала ждать, когда звуки наверху затихнут. Это занимало в среднем двадцать минут. Мебель скользила по паркету, что-то стукалось о стены. Октябрь был теплый, и я спала с открытым окном, так что грохот сопровождался охами-вздохами, хрипами и сюсюканьем.

— А-ах! Черррт! Черррт! — простонал напоследок Юбер и затих.

Традиционно зажурчало в трубах, спустили воду в туалете, открыли и закрыли кран, и наконец, если не считать далекого воя полицейских сирен да воплей припозднившихся гуляк на улице, наступила тишина. Часы на тумбочке у кровати показывали тридцать семь минут третьего. За бретельками моих развешанных на окне лифчиков в небе плавал лунный серпик. Я свернулась калачиком под одеялом, поняла, что уснуть не смогу, и пошла в кухню попить соку.

Крошечная кухонька с холодильником не выше метра и заколоченным мусоропроводом, пожалуй, единственная в квартире выглядела по-парижски. А в остальном, нарисовав в своем воображении, подогретом охотой к перемене мест, самую живописную обстановку, — мне помнился отель возле Опера-Гарнье, где мы останавливались, когда ездили во Францию всей семьей десять лет назад: кресла и комоды в стиле Людовика XV, украшенные завитушками и гирляндами рококо, обитые бархатом стены, лампы под абажурами из цветного стекла, хромированное биде, — я была разочарована. Парижская квартира дяди Юбера Лакасса была почти копией мо-

ей трехкомнатной с холлом на улице Бребёф. Расположение комнат, конечно, отличалось: квартира имела квадратную, а не прямоугольную форму. Ванная была за спальней, а кухонька отгорожена стойкой от большой комнаты, служившей столовой и гостиной одновременно. Но обстановка походила до мелочей: лакированная мебель четких форм — из "ИКЕА", не иначе, — бежевый диван, беленые стены, полы из натурального дерева, набор кухонной посуды "Лагостина" и даже чесалка для спины в шкафу.

Я налила себе стакан сока и выпила.

Через день после скандала, разразившегося из-за сообщения господина Дюфруа, я написала Юберу Лакассу, что передумала и принимаю его предложение. Вот так я оказалась месяц назад в Париже, с двумя чемоданами и ноутбуком под мышкой.

Чуть ли не каждый вечер мой гостеприимный хозяин и Марион спускались ко мне и зазывали в ресторан, на выставку или на концерт. Я почти всегда отказывалась, ссылаясь на прорву работы: Жослен Монетт, у которого я побывала накануне отъезда, хотел получить первый вариант сценария "Вечеринки в саду" не позднее 17 декабря — на эту дату у меня был обратный билет в Монреаль. Кроме того, я рассчитывала закончить две первые главы "Бухты вздохов" к февралю, чтобы успеть представить их на конкурс Квебекского совета по культуре и искусствам. Конечно, в отдельных случаях, то есть когда мозги после рабочего дня превращались в кашу, я присоединялась к ним. Как-то они затащили меня в ночной клуб на улице Оберкам, где праздновалось сорокалетие известного телеведущего. Сборище оказалось малоприятное, а в зале было полутемно, хотя мне хватило света, чтобы узнать среди гостей певицу из Квебека, с аншлагом выступавшую в "Олимпии", и юмориста, тоже земляка, который всю осень давал представления в "Батаклане"[1]. "У-лет!" — скандировал Юбер, принося нам выпивку. В другой раз Юбер вдруг решил, что не годится мне коротать осень старой девой, и зазвал присоединиться к нам своего издателя.

— Мне это совершенно не нужно! — отбрыкивалась я. — От всех моих романов один геморрой. Уж лучше я буду век вековать одна.

Но Юбер уперся.

— Разговорчики! Все идем есть дары моря в "Бофенже"! Я угощаю!

Тарек, молодой француз марокканского происхождения, выглядел выпендрежником: его белый костюм, заплетенная в косички-дреды шевелюра и три мобильных телефона — красный, синий и зеленый — привлекали всеобщее внимание. Сколотив на пару с братом состояние на ввозе роскошных машин, он основал издательский дом "Дрейф-Пресс", в каталоге которого, кроме "По ком звонит кол?", имелся еще десяток названий. В отличие от большинства парижских издательств, располагавшихся в Шестом округе, офис "Дрейф-Пресс" находился в Бельвиле, на верхнем этаже небольшой колбасной фабрики.

— Я продвигаю новую литературу, неукорененную, нестандартную и антибуржуазную, — просветил меня Тарек, наливая вино в мой бокал.

— Если я правильно поняла, — обронила я, больше занятая клешней краба, которую никак не удавалось разделать, — вы процветаете, раз ваши авторы подписывают книги во "Фнаке".

Тарек и Юбер дружно прыснули над блюдом с устрицами. Марион закатила глаза к потолку — роскошному стеклянному куполу, — и объяснила

1. Концертный зал в Париже на улице Вольтера.

мне, что Тарек упросил своего брата продать "мерседес" со скидкой директору монпарнасского "Фнака", за что ему и была оказана такая честь.

Жил Тарек на барже, стоявшей на приколе у набережной Тюильри, между мостами Сольферино и Конкорд. Ночь была светлая, Сена играла медовыми отсветами огней музея Орсе. Проплывали полупустые прогулочные теплоходы, чуть покачивая баржу. Пока Марион с Юбером забивали косяк на палубе, Тарек показал мне свое жилище. Вся мебель была из тикового дерева; на стене висела потемневшая серебряная табличка: "В этом отеле бывал Рембо".

— Я как-то сдавал свою баржу на три ночи парочке американцев за десять тысяч баксов. Но тебя пущу бесплатно, если хочешь. Останешься?

Я поднялась на палубу.

— К нему можно привыкнуть со временем, — поделилась со мной Марион чуть позже. — Со временем ко всему привыкаешь.

Юбер спал, уткнувшись носом в окно такси, которое везло нас на улицу Шаронн, и рука Марион рассеянно поглаживала его бедро.

В Париже я успела ближе познакомиться с Марион Гулд. Каждую неделю мы с ней затоваривались в "Монопри"[1] на авеню Ледрю-Роллен, а однажды сходили поплавать в бассейн Одиннадцатого округа. Марион рассказывала, какие контракты ей удалось заключить с издательствами учебной литературы. "Я-то нигде не пропаду. В моих картинках акцент не слышен". Она расспрашивала о моей работе, о прошлом, о личной жизни и, как правило, умела меня разговорить. Но никогда у нас не заходило речи о Бернаре Самсоне. Я немного удивлялась — ведь это он нас познакомил. Я, со своей стороны, обходила тему из опасения, что в разговоре всплывет имя Ким Лакасс и придется расколоться, кто привел ее к Бернару. Но почему Марион избегала упоминать о нем — не знаю. Вот например, в первый же день я услышала, как она зовет: "Черныш! Черныш!" во внутреннем дворе. Мне стало любопытно, и я высунулась из окна гостиной.

— Эй! Марион! Это что, тот самый кот, которого...

— Да, — отрезала она, поймав кота за шкирку. — *Он* мне его подарил. Это *мой* кот. Я оставила его себе.

Несмотря на это повисшее между нами табу, мне нравилось общаться с Марион. Она в какой-то мере заполняла пустоту, оставшуюся после ссоры с Леони. Сестре я пыталась дозвониться перед отъездом во Францию, но тщетно. Через две недели я послала ей открытку с площадью Форум.

На память о том неповторимом дне, когда мы пошли покупать себе туфли и заблудились! Помнишь, как перепугались папа с мамой?

Я думаю о тебе.

Анни

Но Леони по-прежнему не подавала признаков жизни. "Ты мне больше не сестра!" — этот ее крик я слышала и через Атлантический океан.

— Тебе не кажется, что она принцессу из себя строит, а тобой помыкает? — спросила Марион, когда я рассказала ей, почему Леони порвала со мной всякую связь.

Мы были в овощном отделе "Монопри". Выбрав пучок цикория, я пожала плечами.

— Ты не первая мне это говоришь.

Я положила пакет на весы, и мы перешли в следующую секцию.

1. Сеть недорогих супермаркетов во Франции.

Я вымыла стакан, обошла кухонную стойку и решила посмотреть, высохло ли бежевое платье. Вчера я повесила его у окна в гостиной. Ощутив под пальцами совершенно сухую ткань, я сказала себе, что его и надену, чтобы встретить через несколько часов Лорана Вьо.

Я опустилась на диван. Встретить Лорана Вьо? Эта фраза казалась мне цитатой из фантастического романа.

Он позвонил мне недели три назад.

– Я должен ехать с Дюфруа на книжную ярмарку во Франкфурт. С тех пор как Софи Бланше ушла от нас в Университет Альберты преподавать литературу XVI века, никто в издательстве лучше меня не знает наши книги. Старик обещал мне неделю отпуска по возвращении, так что я могу взять обратный билет через Париж и задержаться на семь дней. Мне надо тебя увидеть.

– А-ах! Черррт! Черррт! – прорычал наверху Юбер.

– Если, конечно, ты одна, – покаянно добавил Лоран.

– Но как ты узнал, что я здесь? – выдавила я из себя, протирая глаза.

Так ли уж сильно было желание Лорана или он только делал вид? Во всяком случае, оно заставило его забыть, что, когда в Монреале восемь вечера, в Париже уже два ночи.

– Я позвонил тебе во вторник вечером и не узнал твой голос на автоответчике. Думал, ты переехала. Назавтра я зашел в обеденный перерыв в кабинет Бернара и сунул нос в его записную книжку. Как я и предполагал, у него есть твои координаты. Что ты делаешь в Париже?

– Бернар Самсон, мой преподаватель? Кабинет? Какой кабинет?

– Как, ты еще не знаешь? Старик взял его месяц назад главным редактором вместо Софи Бланше.

– Да ну?

Я в последний раз говорила с Бернаром за неделю до отъезда, 3 сентября. В суете сборов я успела поместить объявление на Интернет-сайте Университета Макгилл:

Изумительная квартирка в самом центре Плато. Полы из натурального дерева. Две лоджии. Чистота. Косметический ремонт. Мебель, электробытовая техника и пылесос. Рядом с метро и всеми другими службами. Идеально подходит как для пары, так и для одиночки. $ 900 в месяц без отопления. Не упустите удачу. Рекомендации обязательны.

Назавтра я подписала договор о субаренде с первой же претенденткой, рыжеволосой девушкой с кукольным лицом по имени Элен Леме. "Ты приехала в Макгилл учиться?" – спросила я. Когда она сказала, что принята на должность доцента кафедры французского языка и литературы и будет преподавать литературное творчество, я задала еще пару вопросов, после чего, проводив ее до двери и сообщив двум бостонцам и трем торонтцам, ожидавшим своей очереди на балконе, что квартира уже сдана – "Goddam!" "Shit!", – позвонила Бернару. "Можешь не беспокоиться за будущее творческого профиля! – сообщила я ему. – Твоя преемница не из расчленителей-бифокалов. Она приехала из Квебекского университета в Римуски, где защитила диссертацию по искусству романа от Флобера до Кундеры и получила за нее почетную премию Франкофонной ассоциации знаний". Бернара это, кажется, успокоило. Как бы то ни было, на тот момент господин Дюфруа еще не предложил ему занять место Софи Бланше, потому что, записывая мой парижский теле-

фон, он вздохнул: "Ах! Европа! Знаешь, мы с Ким подумываем съездить осенью в Португалию!"

— Анни, — продолжал Лоран, — я понимаю, ты удивлена, что я звоню, но я же сказал тебе, когда мы в последний раз виделись: это лишь вопрос времени. У меня с женой в самом деле все кончено. Мы только ждали, когда ее хахаль купит квартиру поблизости, чтобы лишний раз не травмировать Жюля и не переводить его в другую школу. Это заняло больше времени, чем мы думали, и я не хотел впутывать тебя, понимаешь? Но теперь я правда очень хочу увидеться с тобой в Париже.

Я вздохнула в подушку.

— Можно я подумаю?

— Только недолго. Старик сказал, что я должен подтвердить билет самое позднее завтра, иначе мне придется доплачивать за изменения в маршруте из своего кармана.

— ...

— Алло?

— Ну ты и нахал! — будто со стороны услышала я свой голос и удивилась, что не вешаю трубку. — Бери билет через Париж, позвонишь мне из Франкфурта.

Вот так, сбежав в Париж от жестокого равнодушия Самюэля, мальчишеской круговой поруки Гийома и обиженного молчания сестры, я готовилась провести неделю с человеком, о котором после того окаянного коктейля в издательстве "Дюфруа" и вспоминала-то разве что три-четыре раза. Естественно, назавтра после его звонка я хотела дать отбой. Однако чем ближе был день его приезда, тем чаще я думала: раз я когда-то любила Лорана и он уверяет, что тоже меня любил, то, может быть, новая встреча возродит из пепла нашу былую любовь? К тому же, хотя бы ради симметрии в моих любовных метаниях, кто, как не Лоран, должен помочь мне забыть Самюэля, бросившего меня из-за глупостей, которые я натворила из-за него, Лорана? В общем, как ни крути, возможно, из всей этой несуразицы в жизни Анни Бриер что-нибудь и получится?

Был уже девятый час, когда я продрала глаза на диване в гостиной. Приняв душ и надев бежевое платье, я отправилась в кафе, в котором назначила свидание Лорану, и села на еще пустой террасе. Дворники в зеленых комбинезонах подметали тротуары. Шли с рынка старушки, волоча за собой сумки на колесиках, из которых высовывались перепачканные землей овощи. Витрины по большей части еще спали за железными занавесами. В этой части улицы Шаронн, расположенной к югу от бульвара Вольтера, были в основном бутики одежды средней руки, художественные салоны да маленькие ресторанчики и бистро. Улочка была узкая и местами извилистая; последний изгиб выводил на Фобур-Сент-Антуан, более оживленную торговую улицу, которая вела к площади Бастилии с ее новой оперой и трехэтажными кафе.

Я заказала чай с молоком и кусок пирога и стала высматривать Лорана Вьо. "Выйдешь из метро на 'Ледрю-Роллен' и иди по проспекту с таким же названием до улицы Шаронн, — объяснила я ему позавчера по телефону. — Там свернешь налево и на первом углу увидишь кафе". С рюкзаком за спиной, в черной рубашке с засученными до локтей рукавами, все так же наголо обритый, Лоран вынырнул из-за стоявшего перед кафе продуктового фургона и поцеловал меня в уголок рта.

— Ну и неделька выдалась! — вздохнул он, скидывая рюкзак на пол. — Просто с ног валюсь!

Заказав кофе и круассан, он принялся рассказывать, как им с господином Дюфруа пришлось представлять второй роман Марселя Жоликёра половине приехавших на ярмарку издателей.

— Он наконец вышел?

— Если бы! Им раздали копии рукописи, которую Жоликёр принес нам за три дня до отъезда. Ну а ты как?

Посетителей на террасе постепенно прибывало. Молодые ребята, оставляя на тротуаре мотоциклы, устраивались за столиками. Поднялся ветер, и я надела замшевую курточку. Лоран достал из рюкзака коробку с пакетиками растворимого шоколада, на ней была этикетка магазина дьюти-фри.

— Не так оригинально, как "Salt Water Taffy", но видишь — я думал о тебе.

Синие круги под его глазами были глубже, чем мне помнилось, лицо бледное. Я повертела коробку в руках.

— А знаешь, ты ведь только один раз сделал мне подарок — чесалку!

Испачканная красными чернилами рука Лорана легла на мое бедро. Другой рукой он отвел упавшую мне на лицо прядь волос.

— Язвишь?

Мы расплатились.

— 692B, — сказала я, набирая код на входной двери. — Запомнишь?

— Зачем?

Пока мы шли через внутренний двор между кустами в кадках, Лоран уверял, что в ближайшие дни не собирается расставаться со мной ни на секунду. Я достала почту из ящика с именем Мишеля Лакасса, а он вызвал лифт.

— У меня и так было мало сил, а теперь совсем не осталось, — сказал Лоран, натягивая на грудь простыню. — Во Франкфурте я не выспался из-за разницы во времени.

Я принесла пепельницу. Затушив окурок, Лоран спросил, почему я бросила курить. Стоило ли рассказывать ему про мое лето и нелегкую жизнь регистраторши стоматологического кабинета, вынужденной пересмотреть свой бюджет?

— Берегу здоровье! — выпалила я и вскочила с кровати. — Спи, я разбужу тебя к вечеру.

Я надела бежевое платье. Выпила в кухне полный стакан воды.

"А дальше-то что?" — билось в голове. Я рассеянно потянула за ручку мусоропровода. Он был замурован густой серой замазкой. Дальше-то что? Чтобы не мусолить этот вопрос — жаль времени, — я решила, пока Лоран спит, немного поработать.

Рабочим столом мне служил круглый столик по другую сторону кухонной стойки, за которым, наверное, обычно ели. Ноутбук, принтер, словарь, черновики "Бухты вздохов", пособие для сценариста, экземпляр "Вечеринки в саду" — все это вперемешку громоздилось на нем и грозило свалиться. Во второй раз за неделю я перечитала то место в пособии, где говорилось о важности чередования "интерьера" и "натуры", "дня" и "ночи". Автор утверждал, что чередование задает фильму ритм и указывает на течение времени; в этом смысле такие указания были настоящим *инструментарием* сценариста. Кроме того, указания призваны

были создать и психологическую атмосферу фильма. "Таким образом, — писал автор пособия, — как 'сверх-я' индивида соперничает с его 'оно', так и образ действий персонажа в 'дневной натуре', как правило, отличается от его же поведения в 'ночном интерьере'".

"Ладно, пусть так", — подумала я, прикусив карандаш. Проблема в том, что действие "Вечеринки в саду" разворачивалось в течение одного дня, с одиннадцати утра до шести вечера, в основном в саду, то есть в "дневной натуре", и немного в гостиной, в "дневном интерьере". Но если верить пособию, освещение, в котором будут действовать мои герои на протяжении фильма, может создать впечатление, что каждый из них осознает свои поступки и отвечает за них, а я этого вовсе не имела в виду. Полдня я ломала голову и решила, ради соблюдения законов кинематографа, сцены, разворачивающиеся в гостиной, просто-напросто перенести в подвал, где сможет раскрыться психологический полюс "ночного интерьера" моих героев. Несколько сцен у меня уже были написаны; я просмотрела файл с начала и заменила ремарки "дневной интерьер, гостиная" на "ночной интерьер, подвал". После этого я написала Жослену Монетту, что желательно предусмотреть в настоящем загородном доме, где он собирается снимать фильм, настоящий же подвал, в любое время погруженный в настоящий сумрак.

Около шести в дверь тихонько поскреблись.

— Мы с Марион едем на неделю в Довиль, хочешь с нами? — спросил Юбер Лакасс.

— Нет, спасибо, дел по горло.

Юбер вытянул шею и заметил рюкзак Лорана, валявшийся у кухонной стойки.

— О-о! В машину и вчетвером поместимся. Как его зовут?

— Не твое дело.

— Ну что ты как маленькая?

— Лоран. Ты его не знаешь.

— Вот Тарек-то расстроится! Я ему сказал, что от твоих романов один геморрой.

— Buzz off![1]

Юбер ретировался в лифт.

— Если передумаете, время еще есть, мы выедем не раньше полуночи, — сказал он, закрывая решетчатую дверь, и прищелкнул языком: — Лоран, Лоран! О-о, Лоран, да, Лоран, засади мне поглубже!

— Мудак! — крикнула я.

В ответ послышался шум движущегося лифта.

В спальню я заглянула в восьмом часу. Лоран спал на спине, раскинув мускулистые руки буквой V над головой. "Дальше-то что?" — опять подумалось мне. Я тихонько прилегла рядом.

— Аааах! — зевнул Лоран.

В животе у него заурчало.

— Просыпайся. Пошли поужинаем, ты, кажется, голодный.

Была суббота. Пока Лоран приводил себя в порядок, я заказала столик в ресторане на улице Лапп, в трех минутах ходьбы от дома. В зале было шумно. Приступив к закуске — улиткам с овернским сыром, Лоран поведал мне, что окончательно отказался от писательских амбиций.

1. Отвяжись! (*англ.*)

— Я знаю, что не стоит употреблять больше одного наречия на странице, а вот чем заполнять страницы между наречиями — не знаю.

Ничего себе — неужели он ехал ко мне аж в Париж, чтобы побеседовать о литературе?

— А ее хахаль — это тот, с кем она ездила на Кубу два года назад?

— Да, Венсан. Он ее давний друг, еще с Института гостиничного хозяйства. Когда я сказал ей про нас с тобой, она с ним порвала, и мы решили еще раз попытаться спасти наш брак. В основном ради Жюля, но нас хватило меньше чем на год. Попробуй.

Я едва успела подцепить улитку в густом соусе, повисшую на его вилке: так значит, сарказм Женевьевы (а не ярость, как я ожидала) при встрече со мной в туалете "Ритца-Карлтона" объяснялся тем, что к тому времени их с Лораном брак уже фактически распался. А знал ли об этой встрече Лоран? Я дала ему попробовать мою закуску — копченую сельдь.

— Венсан — шеф-повар в большом ресторане на улице Монтань, — просветил он меня чуть позже. — Женевьева будет работать у него.

"А мне-то что?" — подумала я.

Лоран расправился с отбивной из ягненка, я доедала филей с лукомшалот. Он закурил.

— Венсан и его бывшая удочерили вьетнамскую девочку, ровесницу Жюля. Дети уже подружились. Спят в одной комнате, когда Жюль живет у матери. У них там двухэтажная кровать, и он занял верхнее место, так что больше не боится инопланетян под кроватью, а то долго не мог успокоиться после случая с твоим телефоном. Бип! Бип! Бип! В три часа ночи, помнишь?

— Это был *твой* телефон. И у тебя что же, никого не было все это время, когда с ней дела были так плохи, а мне ты позвонить не решался? Где же ты проводил вечера? В бассейне?

Лоран вдруг как-то странно сморщился.

— Гарсон, где здесь туалет? — спросил он проходившего мимо официанта.

"Зараза!" Я смотрела Лорану вслед, пока он резво лавировал между столиками к лестнице. Когда он вернулся и сел, его сигарета успела догореть в пепельнице.

— Так что ты говорила? — спросил он, закуривая новую.

— Не помню.

Мы прикончили бутылку вина под сырное ассорти и вернулись на улицу Шаронн.

В сумраке внутреннего двора нам встретились Юбер и Марион. Юбер сгибался под тяжестью чемоданов; Марион бережно прижимала к груди клетку с Чернышом.

— О! Я могла бы взять его пока к себе! — затараторила я, чтобы отвлечь ее внимание, поглаживая свесившийся между прутьями пышный хвост кота.

Но Марион, расцеловавшись с Лораном, все же посмотрела на меня удивленно и шепнула на ухо: "Так ты опять с ним?"

Я опустила глаза: вот стыд-то! Я хорошо помнила, как рассказала Марион о своем романе с редактором издательства "Дюфруа". Мы были в бассейне Одиннадцатого округа и расслаблялись в сауне. "Он мучил меня несколько месяцев, — призналась я, — но теперь все кончено, я дала ему отставку!" — "Ба! Мы всегда так говорим, детка!" — позволила себе вмешаться пожилая француженка, лежавшая в чем мать родила на

помосте под нами. "Но в моем случае это самая что ни на есть правда, мадам!" – возразила я, утирая взмокший лоб.

Мы пожелали Юберу и Марион счастливого пути и пошли в дом. Мяуканье Черныша долгим эхом разнеслось по двору.

– Так вот почему Марион Гулд так давно ничего у нас не иллюстрировала! – хмыкнул Лоран, когда я снимала в ванной контактные линзы. – Я слышал, что они с Бернаром Самсоном расстались, но что она делает здесь с котом и наследником империи Лакасса?

– О, это долгая история. Ты разве не заметил их на рояле на последнем коктейле в "Ритце"? Бернар теперь живет со сводной сестрой Юбера.

В спальне наступила тишина, потом я услышала, как Лоран ложится в постель.

– Ладно, значит, она не доложит про нас с тобой мадам Венн или Дюфруа и бояться нечего. Завтра я хотел бы посмотреть площадь Вогезов. Я правда очень рад, что приехал к тебе сюда.

Кофе был уже готов, когда Лоран встал и прошлепал в ванную.

– Французский завтрак по-японски! – объявила я, когда он вышел из спальни в джинсах и футболке.

Я расставила все на низком столике в гостиной и положила подушки с дивана на пол. Лоран сел напротив меня и сконфуженно поскреб в затылке. "Нет, спасибо", – сказал он, когда я хотела налить ему кофе, и съел рогалик без джема. По небу плыли пухлые облака, пронизанные лучами солнца.

– Анни, я должен кое-что тебе сказать.

Я всыпала ложечку сахара в кофе и помешала.

– Вчера я не хотела донимать тебя расспросами с порога, – тихо сказала я. – Просто как-то странно, что ты здесь. Я много всего пережила за то время, что мы не были вместе.

Лоран сокрушенно покачал головой.

– Ужасно неприятно. Кажется, у меня глисты.

– Что-что?

– Кишечные паразиты. Жюль их подцепил до моего отъезда во Франкфурт. Я надеялся, что обойдется. На ярмарке мне иногда бывало нехорошо, а сегодня утром...

Я расхохоталась. Это же надо, а я-то собиралась рассказать ему про Самюэля.

– Вы слишком часто ходили в "Макдоналдс"?

– Ужасно смешно. Врач объяснил, что это очень распространенное явление, из-за идиотов, которые выгуливают собак в парках и позволяют им гадить в детские песочницы. А мы играем в песочек, а потом подносим руки ко рту, не нарочно, но...

– Хватит! – перебила я его, оттолкнув тарелку.

В следующие пять минут было решено, что я пойду в прачечную на улице Рокетт выстирать простыни, а Лоран пока найдет аптеку и купит нужные лекарства. Я отдала ему карманный путеводитель по Парижу, чтобы он не заблудился.

– Какой код-то? – спросил он у подъезда.

Я сказала: "692B", – и мы разошлись в разные стороны.

Простыни были выстираны и постель застелена, когда наконец вернулся Лоран. Часы показывали четвертый час.

— Воскресенье! Все аптеки закрыты! Пришлось топать аж до заставы Венсенн, только там нашел старичка-аптекаря, да и тот дремал в подсобке.

Лоран показал мне два пузырька с белыми таблетками и поставил их на стол.

— Нам надо принимать эти таблетки неделю, по одной три раза в день, перед едой или со стаканом молока.

— *Нам?*

Лоран почесал макушку.

— Я спросил аптекаря. Есть риск, потому что... понимаешь... мы же с тобой вчера...

Я испепелила его взглядом и пошла в кухню налить два стакана молока.

— Прими это как посвящение в семью!

Мы отправились гулять на площадь Вогезов. Под аркадами играли на гитаре цыгане. Мы присоединились к окружавшей их толпе зевак.

— Как романтично, — высказался Лоран и сжал мою руку.

— Меня тошнит, — жалобно пискнула я.

Лоран успокоил меня: аптекарь предупредил, что лекарство может давать побочные эффекты, в том числе тошноту, разбитость и головные боли. Мы купили сваренного на пару риса в китайском ресторанчике на площади Бастилии и вернулись в домой.

Мама имела привычку звонить мне каждое воскресенье. В этот вечер ее голос звенел от радости.

— Лапсик, ко мне в школу дикции записались двадцать два новых ученика!

Я лежала на диване в гостиной, держась за живот.

— Разве ты не вернулась на почасовку в школу Луи-Коллен?

— Я оттуда ушла. Представляешь, даже родители из Нотр-Дам-де-Грас приводят ко мне своих детей!

— Придется тебе расширить подвал. А Леони получила мою открытку с площадью Форум?

— Они с Гийомом уехали к друзьям в Мон-Трамблан на уик-энд, а Антонена подкинули нам. Видела бы ты, как отец играет с ним в опавших листьях! Знаешь, он, кажется, оживает.

— Только пусть не водит его в парк играть в песочек.

— Нет-нет, они в саду. Он понемногу выкарабкивается, и со старухой с Кейп-Кода мы расплатились. А как ты? Гостей принимаешь?

— Гостей?

Я покосилась на Лорана. Он сидел сгорбившись за моим рабочим столом и распечатывал корректуру романа Марселя Жоликёра. Только что, отправляя письмо Жюлю, Лоран получил мейл с вложением, отправленный господином Дюфруа не далее как сегодня утром с пометкой: СРОЧНО. ВЫЧИТАТЬ ДО ВОЗВРАЩЕНИЯ, К ПОНЕДЕЛЬНИКУ. Неужели мама, разговаривая со мной, услышала, что в квартире кто-то есть? Может, Лоран опять выругался, как только что, когда обнаружил письмо в своем ящике?

— Я хочу сказать, развлекаешься хоть немного? Не работаешь, надеюсь, день и ночь? Что-то голос у тебя странный.

— Ты находишь?

— Ладно, а теперь возьми-ка карандашик. Запиши название нового сборника упражнений по дикции и поищи его для меня в парижских книжных магазинах. Я никак не могу его раздобыть, мы здесь как будто в глуши живем!

Когда Лоран выключил принтер, перед ним оказалась кипа страниц в триста. Он заныл, что так и знал, старик Дюфруа даже в отпуске не оставит его в покое, вот они, щедроты начальства, выходит, он сопровождал шефа во Франкфурт за просто так.

— Псих, да и только, он хочет, чтобы книга вышла к Монреальскому книжному салону! Это значит, что в типографию она должна уйти самое позднее через двенадцать дней!

Я встала и поплелась в спальню.

— Словари на столе, "Малый Робер" и "Гревисс". Я пойду лягу. Меня все еще тошнит.

На следующей неделе в Париж нагрянула осень. Дожди опустошили улицы, от сильного ветра дрожали стекла в окнах. Лоран корпел не разгибаясь над корректурой Марселя Жоликёра, я работала то над сценарием "Вечеринки в саду", то над первой главой "Бухты вздохов". Кроме "Тебе еще нужен словарь?", мы могли за целый день не сказать друг другу ни слова. Моя тошнота почти прошла, но навалилась усталость, наливавшая свинцом каждый мускул и вынуждавшая в середине дня бросать дела и ложиться отдохнуть.

Когда я проснулась в среду ближе к вечеру, спальня тонула в полумраке. Бра над кроватью отражалось в окне, но еще не совсем стемнело, были отчетливо видны тяжелые серые облака, нависшие до самого горизонта, и раскачивающиеся во дворе голые верхушки деревьев. Лоран сидел у меня под боком. "Длинное лезвие" — прочла я на титульном листе корректуры романа Марселя Жоликёра. Лоран обводил кружочками красные вопросительные знаки на полях.

— А ты знаешь, что большинство издательских редакторов в Квебеке с 1960 года до наших дней работали карандашом? Со временем отсыревающая бумага впитывает свинец, и их пометки становятся нечитаемыми. Это очень осложняет работу исследователей.

— Ты давно проснулась?

— Минут десять.

Лоран снова глубоко вздохнул и попытался посмотреть на улицу. Но окно уже превратилось в большое черное зеркало, отражавшее спальню и нас. Он обвел кружочками еще несколько вопросительных знаков на полях другой страницы. Мне вспомнился наш первый вечер, греческий ресторан на авеню Дюпарк и моя идея вычитывать, как Вирджиния и Леонард, корректуры в постели. А Лоран — помнил ли он? Я не стала его об этом спрашивать.

— Софи Бланше, должно быть, плохо в Эдмонтоне, — вздохнула я. — Она же не ест говядины.

— Не знаю.

Я вскочила с кровати, похватала из шкафа первые попавшиеся вещи и запихала их в рюкзак.

— Я буду у Юбера и Марион. До конца недели.

— Угу. Мне не надо было...

— Кто же мог знать.

Я сунула ноги в тапочки, поднялась на лифте и нашарила ключ, который Юбер и Марион всегда оставляли под ковриком.

— Анни?

Я вздрогнула. Юбер сидел за письменным столом, уставясь в экран выключенного компьютера. Несмотря на то, что в комнате было полутемно, я заметила, как осунулось его лицо.

— Вы же уехали в Довиль на всю неделю?

— Мы вернулись в понедельник.

— Странно, я вас совсем не слышала...

— Черныш попал под машину.

И Юбер дернул подбородком в сторону спальни. Я подошла к приоткрытой двери и увидела на кровати Марион. Она лежала как мертвое тело в гробу. Руки сложены на груди, пустой взгляд устремлен в потолок, волосы разметались по подушке.

— И вот так уже три дня. Ничего не ест. Не разговаривает. Почти не встает. А ты-то зачем сюда пришла?

Я помахала рюкзаком:

— Сам догадайся.

Юбер кивнул, с сокрушенным видом почесывая подбородок.

— Бернар был нашим преподавателем литературного творчества. Понятное дело, я не того полета птица, но все-таки мне казалось, что у нас с Марион всерьез. Вина хочешь?

Две бутылки — пустая и ополовиненная — стояли перед Юбером на письменном столе.

— Нет, спасибо.

— Скажи мне хотя бы, раз уж ты здесь, она его все еще любит? Вы ведь наверняка обсуждаете это между собой, когда вместе ходите в магазин.

За его субтильным силуэтом, в окне над письменным столом, насколько хватало глаз, простирались серые крыши с дымящими трубами. Там и сям светились огни.

— Понятия не имею, Юбер. Может быть, ей просто надо привыкнуть.

Вернувшись в свои пенаты, я постояла в дверях спальни и швырнула рюкзак на пол. Лоран с сигаретой во рту продолжал мучить корректуру "Длинного лезвия".

— Иной раз хочется кого-нибудь спросить, чем отличается корявый синтаксис от стильного письма! Ты что-то забыла?

Я скинула тапочки. Мое место в постели еще не остыло. Я отвернулась к стене и накрыла голову подушкой.

Небо прояснилось утром в пятницу. Лоран встал чуть свет, чтобы закончить вычитку корректуры Марселя Жоликёра. Когда я вышла в халате к нему в гостиную, он сообщил, что идет в Лувр: ему хотелось посмотреть галерею французских художников XVII века. И конечно, надо было купить подарок для Жюля: головоломку-Джоконду, например, или книгу по истории музея. Он хлопнул себя по ляжкам.

— Я совсем закис, неделю просидел в четырех стенах. Пойду пешком, прогуляюсь. Это мой последний день здесь, надо хоть немного посмотреть город.

Понежившись в горячей ванне с пеной, я надела джинсы и старый свитер из серой шерсти. Сжевала на ходу кусок багета, чтобы принять таблетку, включила ноутбук и обнаружила письмо от Жослена Монетта. Он был в восторге от моей идеи с подвалом и желал дальнейших успе-

хов в работе над сценарием. Я села за работу и почти выстроила сцену, в которой Лиза Ланжевен видит в доме Форже свой украденный несколько лет назад телевизор, как вдруг в дверь дважды постучали.

— Ты одна?

Это была Марион, закутанная в большую буро-красную шаль-пашмину[1]. В одной руке она держала старый коричневый чемодан, такой набитый, что казалось, он вот-вот лопнет, в другой — пластиковый пакет из "Монопри", из которого свешивались наружу нейлоновые чулки и высовывался фен. Вдобавок к этой поклаже на плече висел черный ранец с ноутбуком. Волосы она стянула в узел на макушке, выбившиеся пряди падали на плечи. В уголках рта и на лбу залегли морщинки, которых я не замечала раньше.

— Абсолютно. Он ушел в Лувр.

Я пригласила ее присесть в гостиной, поставила греть молоко и достала из шкафа коробку, которую подарил мне в прошлую субботу Лоран, так до сих пор и не открытую.

— Бедный Юбер, — вздохнула Марион, — но я не виновата.

Перед тем как поставить чашки с горячим шоколадом на стол в гостиной, я позаботилась убрать с него корректуру Марселя Жоликёра, чтобы, чего доброго, не забрызгать, и сунула ее на книжную полку.

— На худой конец, — сказала я Марион, — ваша история вдохновит его на новый роман.

— Опять? Ну нет! Хватит с меня быть музой!

Марион решила не возвращаться в Монреаль, а пожить некоторое время у своей старой тетки в Фонтене-о-Роз — прийти в себя и подумать, как жить дальше. Сейчас она, по ее признанию, чувствовала себя такой опустошенной, одинокой и потерянной, что вообще не была способна ни на какие решения. Ну как начать жизнь заново в сорок лет, на пороге менопаузы и всего, что с ней связано? Зазвонил телефон, и Марион сделала мне знак: мол, ничего-ничего, сними трубку.

— Лапсик, это я. Ну что, книгу мне нашла?

— Слушай, мама, думаешь, у меня других дел нет?

— Но я же тебе сказала, что это очень важно! Ты что, нарочно? Эту книгу здесь не достать! У меня начинаются занятия!

— Завтра поищу. А сейчас извини, у меня гости.

— Ну конечно, я забыла. Передай ему от меня привет, ладно?

— Кому?

— Да Самюэлю же!

— Кому-кому?

Мама несколько секунд молчала.

— Да... Самюэлю? — нерешительно повторила она.

Я потянула за телефонный провод, чтобы унести аппарат в спальню. Закрыла дверь и привалилась к ней спиной.

— Господи! — ахнула я. — Двадцать два ученика в "Говорим красиво" — они же тебе не с неба свалились! Как я сразу не догадалась! Ты достала-таки его, когда я уехала, да? Ты опять послала ему в "Бум-бум" свои проклятые брошюры, и на этот раз дело выгорело!

— А ты думаешь, я была счастлива вернуться в школу? Сама-то ты побежала к этому паршивцу Монетту, когда припекло этим летом! Прекрасно зная, какую боль причинишь...

1. Шаль из кашмирской козьей шерсти.

— Не впутывай сюда Леони!

— Я послала письмецо Самюэлю в "Бум-бум" еще в июне.

— В июне!

— И все, больше ничего, он сам позвонил через неделю после твоего отъезда. Дело было срочное: я понадобилась ему для рекламы мармелада. Три карапуза, что остались у меня в субботнем классе, прошли прослушивание на ура, молва тут же разнеслась по всему кварталу и дальше, до Нотр-Дам-де-Грас, перебежчики, которые записали своих детей к мадам Сен-Сир, вернулись ко мне...

— А что он делает в Париже?

— Работает, наверное. Он должен был позвонить тебе и зайти, мы с твоим отцом передали ему для тебя подарочек.

— Какой? Я уже несколько месяцев с ним не говорила! Какой подарочек?

— Тс-тс-тс! Анни! Это сюрприз! Ну ладно, я прощаюсь, звонят по другой линии, это могут быть желающие записаться, нельзя упустить. Байбай. И не забудь про книгу!

— Но, мама!

Я села прямо на полупустой рюкзак Лорана, валявшийся у стены. Услышав за стеной покашливание Марион, взяла себя в руки и вышла в гостиную. Она стояла, снова замотанная в свою пашмину, с чемоданом, пакетом из "Монопри" и ноутбуком.

— Нет-нет! Посиди еще. Ничего особенного, это мама. Она вечно вмешивается не в свои дела.

Лихорадочное возбуждение охватило меня; я отнюдь не претендовала на первенство перед личной драмой Марион, но мне хотелось поделиться с ней своим смятением — ведь я рассказала ей и про Самюэля в тот день в сауне Одиннадцатого округа. "Мы всегда слишком поздно понимаем, кто нам по-настоящему нужен", — сказала она тогда. "Это точно!" — подтвердила снизу голая француженка.

— Спасибо, Анни, но я не хочу тебе мешать. Я сама не своя от всего этого. Пришла плакаться тебе на грядущую менопаузу... ну не смех ли? И потом, я не знаю расписания электричек до Фонтене. Лучше поеду прямо сейчас. А ты сможешь перезвонить маме. Да, спасибо за шоколад, было очень вкусно.

Я проводила Марион до входной двери. Мы расцеловались на прощание, и она скрылась за поворотом улицы Шаронн, между двумя серыми зданиями, сгорбившись под тяжестью своего скарба.

Железная решетчатая дверь со скрипом закрылась, лязгнул замок. Я поплелась назад, думая о том, что Самюэль дышит одним со мной воздухом. Почему же он не позвонил? Даже если он до сих пор на меня злится — ведь согласился же передать мне что-то от родителей, значит, должен был появиться, выбора у него не было. Я вошла в подъезд и машинально покосилась на почтовый ящик с именем дяди Юбера. Ячейка была пуста, но на двух крюках под ней лежал сверток. "Зараза!" — пробормотала я, охваченная недобрым предчувствием, и взяла его.

М-ль Анни Бриер
на адрес Мишеля Лакасса
27, улица Шаронн
75011 Париж

В лифте я торопливо разорвала коричневую оберточную бумагу. Там был мой карманный "Тетрис" с поцарапанной панелью и записка на зеленоватом листке с шапкой парижского отеля.

Париж, 15 октября

Анни,

регистраторша твоего отца нашла твою игрушку за диваном в приемной клиники. Ты, кажется, думала, что ее украли. Твои родители попросили меня передать ее тебе, когда я буду в Париже. Вот, передаю.

Всего наилучшего.

Чао,

Самюэль

P. S. Я сыграл в самолете несколько партий. Батарейки сели.

Я металась по квартире, на ходу допивая еще теплый шоколад. Есть не хотелось, и я знала, что вряд ли захочется, но надо было принять окаянную таблетку от глистов. Записку Самюэля я вертела и мяла в руках, пока не скомкала в катыш. Потом рассеянно попыталась включить "Тетрис", но экранчик только мигнул и тотчас снова стал серым. Я оставила игру на столике в гостиной и вернулась к ноутбуку.

Итак, Лиза Ланжевен видит в доме Форже свой телевизор, и что бишь она делает? Я пролистала "Вечеринку в саду" до шестой главы, вздохнула и швырнула книгу туда, где лежало пособие для сценариста.

Хотелось рвать и метать.

Я встала, подобрала бумажный катыш и попыталась расправить. Бумага хрустела в пальцах. Так, отель находится возле Марсова Поля. Добираться мне туда не меньше часа. А я должна была что-то сделать немедленно, просто в груди клокотало. Я набрала указанный в шапке телефон.

— Алло, — раздался в трубке заспанный голос Самюэля, когда меня соединили с его номером.

— Ты еще спишь, в три часа дня? Тяжелая же у тебя работа!

— Кто это?

— Анни Бриер по адресу Мишеля Лакасса.

— Чего ты хочешь?

— Хочу, чтоб ты знал: так не поступают. Очень вежливо: "P. S. Твои батарейки сели". Иди ты знаешь куда!

— Я помог твоей матери, и так ты меня благодаришь?

— Ах-ах! Вот этого не надо! Ты бы и не подумал ей звонить, если бы тебе что-то срочно не потребовалось.

— Ты так считаешь?

— Ты просто надутый индюк. Даже не выслушал меня.

— Я — индюк? Черт возьми, я вешаю трубку.

— Ну и пожалуйста. И вообще, если ты думаешь, что я так жаждала услышать твой голос, то ошибаешься. Я звоню из-за мамы, она очень просит передать с тобой книгу для нее, говорит, что так будет быстрее, чем посылать по почте. Алло?

В трубке щелкнуло и запищали короткие гудки. "Фу-у!" — выдохнула я, положила трубку и вернулась за рабочий стол. Снова открыла "Вечеринку в саду" и стала перечитывать шестую главу, то и дело косясь на телефон. Он стоял в круге солнечного света, игравшего яркими бликами на половицах. Когда, минут двадцать спустя, раздался звонок, я нарочно не сняла трубку сразу, а послушала немного, как он надрывается.

— Я очень занят до самого отъезда, улетаю в понедельник утром, но если у тебя есть время сегодня, можем встретиться, передашь мне книгу. В "Дё-Маго" в Шестом округе, тебе там должно нравиться. Говорят, это фишка писателей.

Я ответила, что это фишка туристов, и назначила ему встречу в бистро на острове Сен-Луи, куда однажды ходила поработать. Старый свитер из пушистой серой шерсти я сменила на ярко-красный топик. Посмотревшись в зеркало, вдруг увидела отражение рюкзака Лорана у стены и призадумалась: пусть загад не бывает богат, но мало ли, как все обернется?

Я принесла все вещи Лорана из ванной: бритву, дезодорант, тюбик с кремом для бритья, бальзам после бритья, одеколон с мускусно-лимонным запахом, зубную щетку. Собрала те, что валялись на кровати и вокруг: трусы, футболки, шорты, кроссовки. Запихала все в рюкзак и села сверху, чтобы застегнуть его. Потом, вытряхнув и хорошенько вымыв все пепельницы, порылась в ящике кухонного стола и отыскала карточку ресторана "Бофенже", на обороте которой Тарек записал номер своего мобильного телефона — красного. "Это мой телефон для самых срочных дел, — сказал он тогда. — Звони, и я молнией примчусь на мотоцикле". Тарек не сразу вспомнил, кто я такая, но через две минуты дело было улажено. Я взяла листок бумаги из принтера. "Ну, Анни Бриер, — сказала я себе, лизнув кончик синей ручки, — писательница ты или нет?"

Париж, 19 октября

Дорогой Лоран!

Я собрала твои вещи. Уходи из квартиры сразу, как только прочтешь это письмо. Помнишь, как сгорел особняк Лакассов на Мон-Руаяль два года назад? Полиция тогда приняла версию случайного возгорания, но теперь открылись новые факты, и доказано, что имел место криминал. Это дело рук группировки французских фермеров (у них есть свои люди в Квебеке). Империя Лакасса продвигает на европейский рынок сыры из цельного молока, и они опасаются конкуренции. Сегодня стало известно, что две квартиры в доме на улице Шаронн, принадлежащие Жан-Шарлю Лакассу, находятся под прицелом этой группировки и, возможно, заминированы, так что в твоих же интересах уйти. Обо мне не беспокойся, я уезжаю с Марион к ее тете в Фонтене-о-Роз. К сожалению, для тебя там не хватит места, но один парижский издатель готов приютить тебя на своей барже совершенно бесплатно. Его зовут Тарек, он будет ждать тебя на правом берегу у моста Конкорд ровно в девятнадцать часов. Я сказала ему, что ты обрит наголо; он узнает тебя (если нет, сам его узнаешь, у него вся голова в дредах). Торопись! Нельзя терять ни минуты. Здесь очень, очень опасно.

Счастливого возвращения в Монреаль. Надеюсь, Жюлю понравится подарок.

Анни

P. S. Уходя, будь добр, брось второй ключ от квартиры, который я тебе дала, в почтовый ящик Мишеля Лакасса, спасибо.

Я приколола записку к лямке рюкзака. Лифта ждать не стала, сбежала по черной лестнице и быстрым шагом пересекла внутренний двор.

— Пшшт! Пшшт!

Из-за куста возник Юбер Лакасс. От него разило спиртным, глаза опухли от слез.

— Она уехала? Она сказала мне утром, чтобы я пошел прогуляться, а сама тем временем собрала вещи. Она уехала, да? Женщина моей жизни.

— Иди спать, Юбер. Тебе надо выспаться. Завтра будет другой день.

— Какой смысл? — всхлипнул он, продолжая свой путь по затейливой траектории.

Я подумала, что все устраивается наилучшим образом: в таком состоянии Юбер вряд ли проснется до ночи. Стало быть, можно не бояться, что Лоран столкнется с ним, вернувшись из Лувра, и удивится, почему наследник империи Лакасса еще не эвакуировался из "горячей точки".

Я торопливо пересекла площадь Бастилии, у каждой витрины оглядываясь на свое отражение. Дул ветер, позолота Июльской колонны сверкала на солнце несмотря на предвечерний час. На ступеньках Оперы кишели зеваки и роллеры в поисках острых ощущений. На террасах кафе вокруг площади установили калориферы, похожие издалека на огромные грибы. Под их шляпками кучковались посетители.

— "Эрцгерцогиня и охотник", дополненное издание — вам знакома такая книга? — спросила я продавщицу в книжном магазине на бульваре Генриха IV.

Та, поправив очки на носу, обронила едва слышное "нет". Я двинулась дальше по узким проходам, у стеллажа "Лингвистические науки" наклонила голову, чтобы прочесть названия на корешках, и остановила свой выбор на "Фонетике" из серии "Что знаю я?". Книга была классическая и наверняка имелась в маминой библиотеке. Но для Самюэля предлог выглядел более чем серьезно.

Я как раз доставала из кошелька деньги, и вдруг глаза заволокла желтая пелена и голова поплыла куда-то. Я хотела было ухватиться за край прилавка, но задела рукой стопку закладок, и верхние посыпались на пол. "Вам нехорошо?" — спросила продавщица. Я крепко зажмурилась, поморгала и вновь обрела равновесие.

— Просто не успела пообедать.

Под мостом Сюлли безмятежно текла Сена, густая, зеленая. На улице Сен-Луи-ан-л'Иль японцы осаждали продавца мороженого "Бертильон". "Take us a picture?"[1] — попросил меня один, протягивая фотоаппарат. "No time!"[2] — ответила я и свернула налево, на улицу Дё-Пон. Мои каблуки стучали по булыжной мостовой. За витриной бистро я увидела Самюэля, уткнувшегося в чашку с кофе, среди десятка пустых столиков. Взявшись за ручку двери, я помедлила. Завитки волос придавали ему сходство с ангелом. Правда, его взгляд, как мне показалось, за восемь месяцев отчасти утратил прежнюю простодушную искренность, но, возможно, дело было в новой оправе очков. "О Самюэль!" — прошептала я, вспомнив ту ночь на "Сиддхартхе", когда он признался мне в любви над коробкой с содовыми бисквитами. У меня засосало под ложечкой, и я пообещала себе на этот раз быть с ним хорошей. Я потянула дверь на себя, звякнул над головой грубо сделанный колокольчик. Самюэль нахмурил брови.

— Ты опоздала на десять минут, — заметил он, когда я села напротив него.

1. Сфотографируете нас? (*англ.*)
2. Нет времени (*англ.*).

Я сняла замшевую курточку. За барной стойкой, под рядами подвешенных ножками вверх бокалов, барменша оживленно беседовала с поваром. Я заказала лимонад; она неспешно, с ленцой принесла его мне. Потом я довольно долго занималась подсчетом лопавшихся на поверхности пузырьков в моем стакане.

— Что же привело тебя в Город-светоч? — решилась я наконец спросить.

— Моя концепция "Маннекен-Пис" получила приз на Международном фестивале рекламы франкоговорящих стран, которая прошла в Париже на этой неделе.

— Приз! Ты, наверно, доволен.

— Не "Лев", конечно, но куррикулум витэ украсит. Ты пришла поговорить о моей работе?

Я поджала губы и щелчком подвинула по столу бумажный пакет к самым его пальцам.

— Вот. Похоже, ваш альянс принес ей столько новых учеников, что она ума не приложит, как обновить свой набор упражнений.

Я еще посчитала пузырьки в стакане, но газ улетучивался, и их было все меньше. Я сложила гармошкой бумажную салфетку со стола.

— Церемония закрытия фестиваля состоялась вчера вечером. Я валюсь с ног, Анни. Пойду, пожалуй.

Я удержала его за руку.

— Юбер Лакасс мне просто друг. Вообще-то даже не друг, а квартирный хозяин. Благодаря ему я приехала сюда. Я живу в парижской квартире его дяди, а он в другой, этажом выше. И я совершенно не собиралась чем-то там с ним заниматься в тот вечер в "Ритце". Юбер чуть ли не каждый день под кайфом. Он вечно несет черт-те что. Я просто попросила его помочь, чтобы мой редактор меня приревновал. Это было глупо, согласна, но все-таки не то, что ты подумал.

— Я не хочу говорить об этом.

Самюэль высвободил руку, и я послушно опустила свою на колено.

— А о чем же нам с тобой в таком случае говорить?

— Да, наверно, не о чем.

Он расплатился, и я поплелась вслед за ним по Орлеанской набережной к острову Сите. Часть собора Парижской Богоматери была окружена лесами и затянута огромным белым полотнищем. Мы пересекли паперть. Самюэль шел быстрым шагом, лавируя между зеваками, продавцами сувениров, группками школьников и жирными голубями; на меня он не обращал внимания. Временами мне приходилось почти бежать, чтобы не отстать от него. На набережной Марше-Нёф я сказала, что у меня свело ногу, и он остановился. Облокотившись о парапет, я перевела дыхание. Самюэль застегнул свою кожаную куртку, снял очки и стал их протирать. Неподалеку от нас какой-то старик бросал в Сену камешки. Я пыталась проследить их полет от руки до воды, но они терялись в беловатой дымке или почему-то раздваивались.

— Я приехал в Париж в прошлую пятницу. Я не хотел с тобой видеться.

— Я поняла.

— Зачем же тогда позвонила мне в отель?

— Ты мог написать свою писульку на чистой бумаге, если не хотел, чтобы я тебя вычислила.

— Я же теперь и виноват!

— Я тебе раз пятнадцать звонила после "Ритца". Ты даже не пожелал выслушать меня.

— Почему ты думаешь, что теперь захочу?

— Я приставала к Гийому, чтобы узнать, что с тобой происходит. Он не раскалывался. Я пыталась дозвониться тебе в "Бум-бум", не далее как в июле, но ты был в отпуске. Что еще я могла сделать?

— Много чего.

— У меня был тяжелый период. И я не знала, вернулась ли к тебе Мод.

— Не смеши меня! С каких это пор другая женщина в жизни мужчины стала для тебя препятствием?

— Тебе прекрасно известно, что я ничего не знала, когда первый раз была с Лораном.

— Ну и что? Когда ты узнала, все равно ведь осталась с ним.

— Что ж, считай, что я учусь на своих ошибках.

— Верится с трудом.

Я обхватила себя руками, пытаясь хоть немного согреться, и пожалела, что вышла без шарфа. Холод нещадно забирался под легкий топик. Отчего-то казалось, будто немеет затылок. Мы пошли дальше к собору. "Добрый вечер", — поздоровался с нами старик, бросавший камешки в Сену.

— Я не знала, вернулась ли к тебе Мод, — повторила я.

— Допустим, вернулась, тебе-то какая разница?

— Такая, что уж очень быстро ты переметнулся от меня к ней. Хоп! — и забыл меня. Значит, я была не так нужна тебе, как ты говорил или хотел сказать, но молчал, потому что боялся меня разозлить.

Мы остановились на паперти. Ветер трепал полотнище на лесах, наполняя уши оглушительным шелестом. Самюэль постукивал ногой об ногу; на нем были красные кроссовки с белыми полосками.

— А пошла бы ты! — вдруг взорвался он. — Ты же всегда плевать хотела на меня и на то, что я к тебе чувствую! Ты вломилась в мою жизнь на ночь глядя в метель и с порога наговорила гадостей о моей профессии, я, мол, продавец словесных игр для гамбургеров. Уже тогда ты держала меня за идиота. Представительница благородного писательского ремесла опускается до разговора с рекламщиком, о-ля-ля!

— Просто на занятиях в университете...

— Нет уж, помолчи, дай мне сказать! Сидеть в двадцать шесть лет на шее отца — еще вопрос, кто бы над кем посмеялся, если бы ты и тут не соврала.

— Мне было тогда двадцать четыре, и теперь, чтоб ты знал, я сама себя содержу!

— Я еще не закончил! Через месяц после супербоула я тебя приютил, такую несчастненькую, ты объедалась мороженым с утра до вечера и каждые пять минут проверяла почту! Черт его знает, почему я находил тебя очаровательной, хоть и догадывался, что ты просто используешь меня, чтобы забыть другого. Видела бы ты свое лицо, когда я сказал, что люблю тебя, на яхте Пьера! Все равно как если бы ты нашла у себя под подушкой тухлую рыбу! Я был для тебя только шуткой, глупой шуткой, потому что не рыпался всю осень и ползимы, смотрел, как ты пишешь работу о профессии бывшего любовника, и помалкивал, это было бы смешно, если бы не было так грустно, черт возьми! А те-

перь тебя, видите ли, интересует, вернулась ко мне Мод или нет, потому что *ты хочешь знать, была ли ты мне нужна!*

Обвинительная речь в мой адрес звучала посреди паперти собора Парижской Богоматери, в свете заката, под грозными взорами горгулий и любопытными — прохожих. Временами я переставала слышать слова, которые произносил Самюэль. Я только видела его розовые губы с трещинками, они беспрестанно шевелились, на миг замирали, когда он облизывал их языком, а потом шевелились еще быстрее.

— Ох! Извини меня! — перебила я его наконец. — Извини! Это правда, мне было трудно смириться с тем, что ты из категории людей, которые выдумывают словесные игры для продажи гамбургеров. Я не виновата, так меня воспитали, для меня это идиотизм, и чушь собачья, и все что хочешь, это глупо, да, все так говорят, что я могу поделать? А теперь отдай книгу, которую я дала тебе для мамы! Это не та! Это был только предлог, чтобы с тобой встретиться, ну что, доволен? Я опять соврала! Представь себе, я просто хотела тебя увидеть, потому что, представь себе, я полгода просидела в глубокой жопе, отвечала на звонки в стоматологической клинике и рекламировала особый тариф "Изо рта в рот", чтобы мой отец выбрался из финансовой ямы, и за это время я поняла, что даже будь ты мусорщиком, это бы ничего не изменило, мне хорошо, когда мы вместе, хоть и не самые благородные соображения привели меня к тебе. Я думала о тебе все это время, Самюэль, я и сюда-то сбежала, чтобы забыть, что ты меня больше знать не хочешь, забыть, забыться и работать. Хотела уподобиться дамочкам, которые в старину удалялись в монастыри, слышал про такое? Но мне и тут обломалось, все почему-то едут в Париж этой осенью, просто нашествие какое-то, а сейчас я окоченела и хочу домой! Отдай книгу.

Самюэль провел рукой по своим кудряшкам. Нерешительно задержал ее на затылке. Он прерывисто дышал.

— Твоя мать сказала мне, что ты вернешься в Монреаль к Рождеству.

— Ну и что из этого?

— Я отменю все деловые встречи и обеды с коллегами из парижских агентств на этот уик-энд. А потом ты будешь звонить мне на мобильный каждый день, каждый, до возвращения. Я больше не хочу ни на день с тобой расставаться, будем хотя бы говорить, пока не сможем видеться.

— А как же Мод?

— Мод не живет у меня и не жила. Обещай больше не играть со мной, Анни. Я хочу, чтобы все было всерьез и по-настоящему.

— Клянусь тебе, так и будет.

Солнце скрылось за башнями собора, погрузив зевак на паперти в дымчатый сумрак, в котором звездочками поблескивали дисплеи мобильных телефонов. У меня клацали зубы от холода. Самюэль продолжал постукивать ногой об ногу.

— Но сегодня придется пойти к тебе. Организаторы фестиваля поселили меня в одном номере с криэйтером из Руанды.

Я украдкой взглянула на часы. Стрелки показывали восемнадцать пятьдесят, по моим прикидкам, Лоран уже должен был подходить к мосту Конкорд.

— Ты хочешь сказать, что в Руанде есть реклама и криэйтеры?

Самюэль заверил меня, что есть, а как же. Мы пересекли Сену по мосту Арколь и поймали такси за ратушей, на углу улиц Риволи и Лабо.

Продиктовав шоферу адрес, я обессиленно закрыла глаза и уронила голову на плечо Самюэля.

В Париже был вечер пятницы. Машина еле ползла, повсюду гудели клаксоны, и шофер бранился вполголоса.

Мы заскочили в булочную, купили сандвичи с тунцом, пару салатов — картофельный и из крабов, соку, воды и кусок сладкого пирога. Когда мы шли через двор, я успокоилась: ни одно окно не светилось в моей квартире на четвертом этаже, и у Юбера на пятом тоже было темно. В подъезде я успела заглянуть в щель почтового ящика Мишеля Лакасса. Серебристый ключик поблескивал на его ржавом дне. Я с облегчением выдохнула.

В квартире повисла тишина. Я зажгла верхний свет. Не было даже записки на кухонной стойке. Лоран, видно, очень спешил унести ноги.

— Гийом говорил, ты бросила курить.

Я прошла в спальню, заглянула в ванную. Все было так, как я оставила. Самюэль зашел вслед за мной.

— Да, бросила. Но дядя Юбера курит как паровоз, неудивительно, если мебель и занавески пропитались дымом.

Мы обнялись и упали на кровать, торопливо раздевая друг друга.

— Ах, черт! — вдруг вскрикнула я и высвободилась из его объятий. Глядя в потолок, приподнялась и натянула трусики.

— Не бойся, я буду осторожен, но если ты хочешь, чтоб я надел презерватив...

— Нет.

— Хочешь диск?

— Я должна тебе что-то сказать.

— Леонарда? Джей-Джея?

Я еще немного подумала.

— На прошлой неделе я поела жареных колбасок в какой-то забегаловке в Бельвиле и подцепила глисты. А они, оказывается, и таким путем передаются. Лучше подождать до понедельника, когда я закончу курс лечения.

— Мясо было сырое?

— То же самое сказал и аптекарь!

Я уткнулась носом ему подмышку.

— Но в понедельник ты уезжаешь!

Самюэль погладил мои волосы.

— Ничего страшного, Анни. У нас все впереди.

Я закрыла глаза. В объятиях Самюэля было тепло и уютно, наши дыхания смешивались в одно, я подумала, что наконец-то я там, где должна быть, и с этим уснула. Когда я проснулась, часы показывали двадцать один десять. Самюэль был в гостиной, улаживал свои дела по телефону, чтобы освободиться на весь уик-энд. Он сказал мне, что зверски голоден, и мы распаковали в кухоньке сандвичи и салаты. Когда я доставала из ящика вилки и ножи, глаза вдруг снова заволокла желтая пелена.

— Что с тобой? — встревожился Самюэль, услышав стук падающих на плиточный пол приборов.

Он как раз нес в гостиную тарелки.

— Ничего-ничего, — успокоила я его, проморгавшись. — Я просто не обедала сегодня, вот и все.

Пелена постепенно рассеялась, я достала из ящика другие приборы. Сандвич из деревенского хлеба с тунцом — отлично, вот что вернет мне

силы. Мы приступили к пиршеству, держась за руки. Самюэль рассказал, как повысит его акции полученная премия: теперь он будет, например, сам выбирать арт-директора, работать с наиболее выгодными заказчиками. Я в ответ посвятила его в подробности фильма, который Жослен Монетт собирался снимать по "Вечеринке в саду", и поделилась замыслом нового романа.

Мы резали пополам кусок пирога на кухонном столе, когда в дверь постучали. Самюэль нахмурился, а я приложила палец к губам, призывая не шуметь. Шепотом на ушко я объяснила ему, что Юбера Лакасса сегодня бросила дама сердца, та самая высокая брюнетка из "Ритца-Карлтона", поэтому он пребывает в тоске и, наверное, хочет, чтобы я пошла с ним на какую-нибудь парижскую тусовку. Если мы будем сидеть тихо, он сам уйдет.

— Юбер мне просто друг, — сочла я нужным лишний раз успокоить Самюэля. — И квартирный хозяин.

Он кивнул, и мы оба молча уставились на входную дверь.

Стук повторился, еще громче.

— Откройте, полиция! — раздался хриплый голос. — Есть тут кто?

— Полиция? — тихо повторила я, вытаращив глаза.

Самюэль с задумчивым видом слизнул с пальца крошку от пирога.

— Наверно, они нашли его в квартире наверху повесившимся, — прошептал он. — Два года назад я разрабатывал в "Бум-бум" кампанию по профилактике самоубийств. Среди квебекских мужчин в возрасте от пятнадцати до тридцати пяти лет рекордный процент самоубийц. А в числе самых распространенных причин называют несчастную любовь.

— Не надо мне об этом!

Я закусила губу: а ведь выходит, я последняя видела Юбера живым? И даже не попыталась ему помочь! Как, спрашивается, мне теперь объясняться с властями? "Я очень спешила на свидание. Он плакал в три ручья и сморкался в мою жилетку. Я посоветовала ему лечь спать — а что еще я могла сделать?"

— Юбер Лакасс, боже мой! — ахнула я, горько раскаявшись в том, что всегда презирала беднягу. — Он умер!

— Есть кто дома? Откройте, полиция!

Лезвие ножа так и осталось в нежной мякоти пирога. В дверь, кажется, уже молотили кулаками, она тряслась и скрипела всеми петлями.

— Входите, — слабо пискнула я. — Не заперто!

В квартиру ввалился Тарек; его косички-дреды были скручены в узел наподобие сдвинутой на затылок шапки. Он огляделся, потирая руки.

— Ну-с, и где тут динамит?

— Что-что? — удивился Самюэль.

Тарек засунул два пальца в рот и свистнул.

— Вот видишь, тебя надули! — крикнул он в сторону прихожей.

В дверях появился Лоран. Скрестив на груди руки, он вперил в меня испепеляющий взгляд.

— Господи Боже! Неужели ты думала, что я могу улететь в Монреаль без корректуры Жоликёра?

— Ох, черт!

Только теперь я вспомнила, что убрала корректуру на книжную полку утром, когда пришла Марион.

— Так это он, твой редактор? — дошло до Самюэля. — Я мог бы догадаться, когда встретил его в "Ритце" и он почему-то послал меня на крышу! Какого черта он здесь делает?

— Хрен бы я торчал неделю в Париже, если б ты мне сказала, что у тебя кто-то есть! Это он, твой виолончелист? Где корректура?

— Почему этот тип опять называет меня виолончелистом? Или нас вообще трое?

— Нет никакого виолончелиста. Самюэль работает в рекламе.

— Пфуй! — фыркнул Лоран. — Неужто изобретает игры...

— Твоя корректура на книжной полке.

— ...игры слов для продажи гамбургеров, да, японский бог, что ж вам всем это не дает покоя? Анни, ты привела меня в ваше гнездышко, чтобы он приревновал, да? И наврала про сырые колбаски, потому что хотела еще и чистенькой остаться? Как я сразу не сообразил!

Самюэль шарахнул кулаком о стену.

— Да нет, такую длинную лапшу просто так на уши не вешают, по-моему, она очень не хотела, чтобы вы встретились!

Рядом со мной возник Тарек. В нос шибануло жасминовым одеколоном. На стойке в пластмассовом лотке оставалось немного крабового салата в майонезной лужице. Тарек зачерпнул его ложкой.

— Хи! Хи! Хи! — захихикал он с полным ртом. — Это, значит, и есть твои романы с геморроем, про которые говорил Юбер!

— Ничего смешного! Лучше приведи его сюда, и поскорее!

— Хи! Хи! Хи! — продолжал он веселиться, уходя.

— А я-то отменил все дела на уик-энд, и ради чего!

Я хотела объяснить Самюэлю, что, если не считать кое-каких деталей, которые я изменила или просто опустила, все, что я говорила ему раньше, — правда. Но как сделать, чтобы он мне поверил? Я чувствовала себя чемоданом, в кармашках которого при обыске ничего не обнаружено, но вдруг вскрывается на всеобщее обозрение двойное дно. Деваться было некуда. Мое сердце билось все чаще. Не в силах выдержать обвиняющий взгляд Самюэля, я отвернулась. Тут вошел Юбер — брови взъерошены, вид заспанный.

— Черррт! Что происходит, моя птичка? Тарек мне сказал, будто ты сказала Лорану, что здесь сегодня будет взрыв, потому что мой отец хочет выбросить на европейский рынок сыр из цельного молока? Чего ты накурилась? Поделись.

Я сглотнула пересохшим ртом.

— Видишь моего друга, не Лорана, другого, в очках, который бьется головой о стену, скажи ему, что я хотела перебраться к тебе еще в среду вечером, потому что у нас не склеилось. Скажи, что я пришла в твою квартиру с вещами. Что с Лораном у меня все было кончено еще до того, как я увиделась с ним, скажи ему. Это тоже не очень красиво, но все-таки не так гнусно, как он думает.

У меня шумело в ушах, дышать было трудно. Ладони так взмокли, что скользили по краю раковины. Я ухватилась за ручку мусоропровода, пытаясь успокоиться. И тут глаза снова заволокло желтой пеленой, а голова закружилась еще сильнее, чем раньше. "Но ведь я же поела, поела!" — твердила я про себя, а пелена все сгущалась.

— Почему это я должен тебе верить? Я слышал, ты не просыхаешь!

— Она пришла ко мне с вещами, клянусь тебе! Все у них было кончено, правда, и вообще, она сказала моей подруге задолго до того, как он к ней сюда явился, что знать его больше не хочет. Черррт! Моя подруга? Марион? Она ушла, как же я забыл! У вас тут не найдется чего-нибудь выпить? Марион!

Сквозь густую пелену я вдруг увидела две керамические чашечки, в которые наливала горячий шоколад сегодня утром, — и на фоне нарастающего скандала наконец поняла, что со мной случилось.

— Марион! — голосил Юбер, громыхая дверцами шкафчиков в поисках бутылки. — Марион!

Я еще крепче вцепилась в ручку мусоропровода. Идиотка, да съешь я хоть четыре бифштекса за день, мне все равно стало бы плохо. Оптимистка чертова, поверила, что Марион Гулд никогда не узнает, кто дал толчок ее разрыву с Бернаром?

— Юбер, — еле выговорила я: ворочать языком было все труднее, — твоя сестра сказала тебе, что это я свела ее с Бернаром?

— Еще бы! Ты ее так накачала в университетском сортире, что она во всеоружии встретилась с этим демоном пера. Слушай, может, у тебя водка в морозилке есть?

— И ты пересказал это Марион?

— Бога ради, я не хочу больше слышать это имя!

Все в моей голове встало на свои места. Когда злополучный Черныш на глазах Марион принял смерть под колесами машины в Довиле и она осознала, что ее жизнь с Бернаром окончательно и безвозвратно ушла в прошлое, ее ненависть ко мне, до тех пор сдерживаемая, взыграла с удвоенной силой. На сколько я отлучилась из гостиной, когда говорила с мамой по телефону? Минуты на три-четыре, не меньше, этого времени вполне хватило Марион, чтобы подлить кое-что в мою чашку с шоколадом. Для меня ей не нужен был мышьяк или цианистый калий: хватило простой вишневой эссенции. На память пришел один разговор, когда мы затоваривались в "Монопри". Марион хотела купить килограмм вишни на двоих, чтобы сделать наливку, а я ответила, что мне этого нельзя. "У тебя аллергия на вишню? — удивилась она. — Когда я училась в школе, одна девочка умерла на моих глазах от аллергии на арахис. Съела в буфете пирожное, и — хлоп! Рухнула замертво. Когда приехала 'скорая', было уже поздно". Я вспомнила, как поспешно Марион покинула мою квартиру, несмотря на мои просьбы остаться; пустой пузырек из-под вишневой эссенции она наверняка прятала в складках своей пашмины. Уж как анафилактический шок не убил меня на месте, когда я выпила шоколад, не знаю. Может быть, действие вишневой эссенции было отчасти нейтрализовано молоком. Но, по непостижимым для меня химическим законам, ее молекулы как-то активизировались в моем желудке, добрались до жизненно важных органов и стали раздувать их изнутри так, что уже, наверно, совсем не осталось места для прохождения воздуха и циркуляции крови... Судмедэксперт восстановит картину с помощью двух-трех анализов.

— Надеюсь, ни одна страничка не пропала, Анни, не то старик Дюфруа меня убьет!

— Черррт, да что это с тобой, Анни? Ты вся дрожишь и побелела как простыня!

— Вот-вот, комедию ломать — это она умеет! Все, я вызываю такси и сваливаю отсюда.

— Клянусь вам! Она сейчас хлопнется в обморок!

Все плыло и качалось вокруг меня. Остаток сил сосредочился в руке, сжимавшей ручку мусоропровода. Я все еще пыталась проморгаться. Пелена из желтой стала серой.

— О-ох, я умираю! — прошелестела я, обращаясь к приближавшимся ко мне размытым силуэтам.

Где-то в дальнем уголке сознания прозвучал голос сестры: "Не говори глупостей!" Но тут мои пальцы выпустили ручку мусоропровода, чернота накрыла меня, вскользь напомнив о технике затемнения из пособия для сценариста, и я успела почувствовать, как мое тело стукнулось о холодную плитку пола.

Глава 12
Эпилог

На улицу Бребёф почтальон обычно приходил до одиннадцати. По неведомой мне причине его коллега с улицы Кларк никогда носа не казал раньше двух. Как правило, меня это мало трогало. Но сегодня был особый день. В эту пятницу, 14 июня, мне предстояло узнать, дает ли мне Квебекский совет по культуре и искусствам грант на "Бухту вздохов".

— Результаты были высланы по почте во вторник, — заверили меня вчера по телефону. — Ваш вопрос уже решен, вы получите ответ до конца недели.

— Мой вопрос? — пропищала я и повесила трубку.

Я лежала в гамаке, разомлев от полуденного солнца, засовывала пальцы в разноцветные петли и всматривалась в прохожих на улице двумя этажами ниже. Сколько еще терпеть бедной Анни Бриер эту пытку? Когда же наконец появится почтальон, катя ручную тележку с письмами и посылками?

Чтобы совсем не расклеиться, я сказала себе, что, даже если в гранте будет отказано, дела мои, в сущности, не так уж плохи. Например, вопреки тому, что я предрекла себе, падая на плиточный пол в кухоньке парижской квартиры Мишеля Лакасса, я не умерла. Марион Гулд вовсе не покушалась на мою жизнь, и мне не грозило стать косвенной жертвой преступления страсти. Как объяснили мне, когда я очнулась, двое молодых людей в белых халатах, прибывшие по вызову Тарека, дело было, очевидно, в побочном действии таблеток от глистов, которые я принимала пять дней. По мнению врача "скорой помощи", действие это, усиленное индивидуальной непереносимостью, и привело в конце концов к обмороку. Однако его коллега, очень красивая темнокожая девушка с глазами цвета морской волны, считала, что стресс сам по себе является достаточным фактором, чтобы вызвать кратковременную потерю сознания, как это случилось со мной.

— Не пейте больше таблетки, тем более что никаких симптомов заражения глистами у вас нет, — посоветовала она, в третий раз измеряя мне давление. — И главное — хорошенько отдохните.

Последовать ее первой рекомендации было проще простого. Куда сложнее обстояло дело со второй. Сраженный красотой упомянутой девушки в белом халате — "Ну просто таитянка, как с полотна Гогена сошла!", — Юбер Лакасс принялся усиленно обхаживать ее прямо при исполнении обязанностей и так преуспел в этом, что на всю следующую неделю отзвуки игрищ в квартире этажом выше сделали мой отдых как минимум проблематичным.

Но не поэтому я решила вернуться в Монреаль на два месяца раньше, чем планировала. Этот выбор я сделала в тот же вечер, после того как врачи, Юбер, Тарек и Лоран покинули квартиру и мы с Самюэлем снова остались вдвоем. Да, хоть его и посетила нелепая мысль, будто я ломаю комедию, при виде моего обморока он так испугался, что даже про свой праведный гнев почти позабыл, и когда врачи сказали, что кто-то должен остаться со мной на ночь, вызвался сразу. Разумеется, поначалу "сиделка" у меня была суровая: он нервно расхаживал по гостиной, ограничивая свою заботу тем, что заглядывал каждые десять минут в спальню и ронял дежурное: "Ну как ты?" Очень скоро, однако, тон переменился.

— Какого черта, что ты делаешь? — вырвалось у Самюэля, когда в два часа ночи он застал меня за опустошением двух платяных шкафов, содержимое которых я запихивала в чемоданы.

— Ты хотел, чтобы я каждый день звонила тебе на мобильный, пока не вернусь? Так вот, в этом нет необходимости. Ты будешь видеть меня каждый день, Самюэль! Да-да, будешь меня *видеть*! Я возвращаюсь в Монреаль вместе с тобой в понедельник.

Самюэль заставил меня немедленно лечь в постель и снова положил мне на лоб смоченную холодной водой банную рукавичку. "Успокойся же! Это предписание врачей!" Ерзая под одеялом от нетерпения, я принялась объяснять Самюэлю, что больше не совершу ошибки и не дам ему сбежать от меня во второй раз.

— Теперь ты веришь, что я хочу быть только с тобой? Я лечу в Монреаль в понедельник! Билет можно купить через Интернет, я уверена! И жить нам, хочешь не хочешь, придется вместе, потому что моя квартира сдана до Рождества! Ты хоть понимаешь, чем я жертвую? Я готова променять Париж на тебя! Покинуть столицу искусств и литературы!

В ответ на мой монолог Самюэль, который расхаживал теперь вокруг кровати, рявкнул: "Ни в коем случае!", и мне от этого стало так худо, что пришлось вытирать банной рукавичкой слезы. "Я правда хочу, как ты не понимаешь?" — то и дело всхлипывала я, убежденная, что только непоколебимая воля поможет мне расхлебать ту кашу, которую я заварила. После получаса рыданий, вздохов и повышенных тонов Самюэль наконец раскололся.

— Ты не можешь вернуться в Монреаль в понедельник! Мод живет у меня!

До меня даже не сразу дошел смысл сказанного, настолько это не лезло ни в какие ворота.

— О господи! — ахнула я. — И вместо того, чтобы сказать мне об этом сразу, ты понадеялся, что за два месяца успеешь от нее избавиться?

Самюэль понуро кивал на мои обличения, а потом с покаянным видом залез ко мне под одеяло. Мы уснули, обнявшись, около трех часов ночи, а перед этим решили, что квиты, поклялись больше никогда друг другу не врать и договорились, что я вернусь в Монреаль через две недели, а он за это время разберется с Мод и приготовит свое жилище к моему приезду.

— Черррт! Как все-таки жаль, что ты уезжаешь! — сокрушался Юбер Лакасс, провожая меня в аэропорт Шарля де Голля. — Уже двух женщин я встретил благодаря тебе — женщину моей жизни и ту, что поможет мне

похоронить память о ней! И дальше бы в таком темпе, сколько еще могло быть встреч!

Он пока не отошел от потрясения. А вот когда позвонил в марте, тон был уже совсем иной.

— Помнишь Дафну, со "скорой помощи"? Мы теперь живем вместе, и не исключено, что через месяц-другой она и в Квебек со мной переедет.

Юбер действительно собирался вернуться в Монреаль, только хотел сначала закончить работу над новым романом.

— Я отдам рукопись в "Дюфруа", точно, ну и пусть мою книгу напечатают только потому, что мой отец — глава сырной империи. Про "Дрейф-Пресс" я слышать больше не хочу! Моя мачеха навещала этой зимой сестру в Хельсинки и наткнулась в книжном магазине на "По ком звонит кол?" в переводе на финский. Тарек продал права, а мне ни слова не сказал. Решил все барыши положить себе в карман, вот крыса, а?

Я сказала Юберу, что крысы нынче лезут из всех щелей, и для иллюстрации хотела рассказать про свои неприятности с Жосленом Монеттом, но Юбер звонил мне из машины и как раз въехал в туннель — связь оборвалась.

Однажды январским вечером, когда я уже почти полтора месяца ждала ответа от Жослена Монетта по поводу первого варианта моего сценария по "Вечеринке в саду", Самюэль пришел, как обычно, с работы.

— Ты газеты не читала? — спросил он меня возбужденно.

Он знал, что каждый день, пока он вкалывает в "Бум-бум", я тоже работаю не разгибая спины, доводя до ума две главы "Бухты вздохов", которые через пару недель предстояло послать в Квебекский совет по культуре и искусствам.

— Нет, а что?

Он зашел в мой рабочий кабинет, то есть за ширму, которую я поставила напротив одного из пяти овальных окон его лофта.

— "Кенгуру-филмз" — мыльный пузырь! Пишут, что Николь Монетт не один год облапошивала учреждения культуры, раздувая бюджеты своих проектов! Их с мужем ищут с Рождества! Похоже, они смылись куда-нибудь на Багамы!

— Нет! Молчи! А как же восемь тысяч долларов, которые они мне еще должны? На что я буду жить?

Конечно, после возвращения в чем-то мне стало легче: я освободилась от бремени квартирной платы. Элен Леме, преподаватель литературного творчества и преемница Бернара, платила теперь за квартиру на улице Бребёф, а Самюэль, под тем предлогом, что он собственник своего лофта, наотрез отказался от моего участия в выплатах по ипотеке.

— Но я не могу жить здесь и не платить свою долю! — упиралась я поначалу. — Достаточно того, что у меня больше нет своего угла! Я не могу допустить, чтобы ты обеспечивал мне крышу над головой. Когда за меня платил отец — еще куда ни шло, но любимый человек — это совсем другое дело! Симона и Вирджиния перевернутся в гробах! Я должна участвовать в расходах.

— Тогда покупай продукты и оплачивай телефонные счета, — разрешил Самюэль. — А потом получишь Гонкуровскую премию, как тот пьяный лесоруб из "Ритца-Карлтона", и твой бестселлер сделает нас миллионерами.

— Да не Гонкуровскую, Самюэль, а Премию генерал-губернатора. И потом, он от нее отказался.

— Whatever![1]

В общем, благодаря этому компромиссу я перебивалась после Парижа на остатки первой выплаты, поступившей от "Кенгуру-филмз" в сентябре, и чеки, которые посылала мне Элен Леме, постепенно выкупая мою мебель из "ИКЕА" и электробытовую технику. Да, кроме письменного стола, библиотеки и чесалки для спины (как знать...) я ликвидировала все.

— На Багамы? И адреса не оставили? — с досадой пробормотала я.

— Думаю, на этих деньгах тебе надо поставить крест, — вздохнул Самюэль, массируя мне плечи.

— Господи! Еще придется, чего доброго, вернуться на работу к отцу! Лучше смерть!

Но Самюэль сказал, чтобы я не дергалась.

— В июле ты получишь грант Совета по культуре и искусствам. А пока, если хочешь, можешь подрабатывать в "Бум-бум". Мы регулярно обновляем наш банк внештатников.

С этими обнадеживающими словами Самюэль взял журнал с кофейного столика и прилег на кожаный диван.

"Сука Монетт!" — выругалась я, наливая себе стакан воды в кухне. Сколько часов я убила на переделку моего романа в сценарий — и все зря или почти зря? А мои остроумные находки? Подвал, в котором создается "ночной интерьер", даже если на улице день, — и это впустую? Я была в отчаянии. Но тут мне бросился в глаза прилепленный к двери холодильника магнитом-виолончелью листочек оранжевой рисовой бумаги: это Жозе прислала нам на прошлой неделе приглашение на открытие "Жозеддхартхи", первого в Монреале специализированного консультативного центра по *васту ливинг*. Жозе! Она ведь была адвокатом в артистическом агентстве, до того как стала специалистом по ориентации комнат! "Пойдешь со мной?" — спросила я Самюэля.

— На улице минус пятнадцать! — возмущался он, зашнуровывая ботинки, которые еще не успели высохнуть на индейском коврике.

"Жозеддхартха" находилась всего в нескольких кварталах от нас, над школой йоги на бульваре Сен-Лоран. Войдя вслед за толпой девушек со свернутыми лиловыми или синими матрасиками под мышкой и поднявшись по узкой лестнице, мы постучали в дверь консультативного центра. Нам открыла тонкая как тростинка Жозе с изумительным цветом лица.

— Самюэль! И... и...

Я напомнила ей, как меня зовут, и она, извинившись, объяснила, что ее жизнь в корне переменилась с нашей встречи на озере Шамплейн и поэтому неудивительно, что память порой ее подводит. "Это поистине две разные жизни". Она попросила нас разуться и провела в просторное помещение с деревянным полом и большими окнами, в которые было видно серое зимнее закатное небо. Несмотря на курившиеся на буфете палочки, еще остро пахло свежей краской и лаком. Мы сели на разложенные на полу яркие подушки — на всех были вышиты лица с одним глазом посреди лба.

1. Зд.: без разницы! (*англ.*)

— Вы переезжаете? Со мной работает архитектор, он сделает для вас план квартиры *васту*.

Она налила нам по чашке ароматизированного чая, и я сказала ей о цели нашего визита.

— Может быть, все-таки удастся как-то получить эти деньги? Вряд ли перед бегством они все сняли с банковских счетов, это выглядело бы подозрительно!

Жозе, не удержавшись, поморщилась. Не от напоминания ли о прежней жизни?

— Я больше не занимаюсь юридической практикой, но если ты принесешь свой контракт с "Кенгуру-филмз", кто-нибудь из моих бывших коллег наверняка сможет тебе помочь.

Я сползла с подушки на пол. "Контракт?" Жозе кивнула, и я поняла, что могу считать свое дело заранее проигранным.

— Ты не подписывала контракта? — схватился за голову Самюэль, глядя на меня как на дремучую идиотку.

— Ну не подписывала! Он мне не предлагал! Его жена заключила соглашение с издательством "Дюфруа", и все.

Мы допили чай. Странная гримаска хозяйки будто приросла к лицу. Она и не думала посвящать нас в философию *васту*, не призывала ориентировать мебель в лофте Самюэля по сторонам света, не объясняла иконографию своих подушек — нет. Жозе принялась рассказывать, как два месяца назад ей позвонил из Лос-Анджелеса Пьер. Ему светил контракт с одной крупной студией, и он просил переслать ему музыкальный файл, оставшийся на жестком диске компьютерной сети "Продакшн Вау!" Для этого Пьеру пришлось сообщить Жозе пароли своего компьютера.

— Угадайте, что я там нашла? Десятки мейлов, его переписку со шлюшкой из одной монтажной фирмы. У них был роман целый год, представляете? Они встречались по четвергам после работы в квартире Самюэля. Я сначала грешила на тебя, хотела было пойти забросать твои окна тухлыми яйцами! Но потом я вспомнила: это другой Самюэль, музыкант, он работал в "Вау!" и трахал все, что шевелится, от стажерок до заказчиц. Пьер, видно, взял с него пример, нашел с кого! И каков мерзавец — он говорил этой девке, мол, все из-за того, что я вечно занята! Посвятил ее в мои проблемы со здоровьем, вообще, наплел с три короба... Хрен ему, а не музыкальный файл! Я этот его файл уничтожила, а вместо него послала все мейлы и написала: "Твой жесткий диск съел вирус"! Не подумайте, что я такая стерва, наоборот, я изо дня в день закаляю себя от стрессов современной жизни, но видели вы когда-нибудь такого мерзавца?

Мы с Самюэлем шумно вздыхали и наперебой выражали свое возмущение:

— Не может быть!

— Пьер — ты уверена?

— Но почему? С ума сойти!

— Надо же, как иногда люди раскрываются с неожиданной стороны!

Мы, конечно, поклялись никогда не врать друг другу, но распространять это правило на других было необязательно. Когда дверь "Жозеддхартхи" закрылась за нами, Самюэль дрожал как осиновый лист, и нам пришлось зайти в бар на бульваре Сен-Лоран, чтобы он выпил виски.

Во избежание подколок Леони я решила не говорить ей о своем конфузе. Но спустя четыре дня после моего визита в "Жозеддхартху" пришла рассылка от Гийома с приглашением на традиционную супербоуловскую вечеринку. Когда мы с сестрой готовили в кухне начос, а маленький Антонен путался у нас под ногами и запускал ручонки в гуакамоле, пришлось, хочешь не хочешь, затронуть тему, потому что на газете, над которой мы чистили лук и авокадо, красовался жирный заголовок: "Дело 'Кенгуру-филмз' нанесло удар и без того подорванному доверию к независимому кинематографу в Квебеке". Не нарочно ли расстелила Леони в кухне именно эту страницу газеты? А ведь мы с ней помирились. После того как мама, чтобы справиться с наплывом родителей, жаждущих увидеть своих чад в рекламе мармелада, взяла Леони в "Говорим красиво" ассистенткой, сестра решила заключить со мной мир. Когда я прилетела из Парижа, она упросила Самюэля позволить ей одной встретить меня в аэропорту Дорваль. "Я наконец-то нашла себя! — поделилась она за рулем Гийомова 'гольфа'. — Конечно, сидеть в подвале и долбить малышне 'На мели мы налима лениво ловили' три вечера в неделю — не предел мечтаний, но, честное слово, я постепенно изживаю все свои комплексы. Ну а ты как, закончила в Париже сценарий для Монетта? Я, наверно, должна перед тобой извиниться за свою реакцию". Почему же газета лежала на самом виду на кухонной стойке? Посыпая моцареллой тарелки с кукурузными чипсами, я не удержалась и фыркнула: "Сука он!", на что Леони тотчас отозвалась: "Надо было слушать старшую сестру! — и пропела сладким голосом: — Ан-то-нен, не трогай сальсу, язычок защипет! Иди сюда, мамочка помоет твой браслетик!"

— Oh yeah! Food man! — заорали приятели, когда мы внесли в гостиную дымящиеся тарелки. Их было человек пятнадцать, все в широких фланелевых рубашках с номерами. Пришел даже Бенуа Гужон, которому в потасовке, случившейся на одном боксерском матче в Австралии, сломали руку, и теперь он, загипсованный, был в отпуске по болезни.

— Четыре попытки, чтобы продвинуть мяч на десять ярдов, — объяснял он Кате, незамужней сослуживице моей сестры.

На экране творилась неразбериха, носились игроки, свистел, размахивая руками, судья. Самюэль занял мне местечко рядом с собой на диване.

— Я схожу принесу нам пива, пока не началась реклама, — сказал он. — Подержи это, ладно?

Он поставил мне на колени креманку, наполненную двадцатидолларовыми банкнотами, и скрылся в кухне. Чуть раньше, в начале вечера, моему любимому выпало по жребию быть официальным хранителем копилки.

— Была у нас неприятность два года назад, — объяснил ему Гийом. — Если чего недосчитаемся, возмещать будешь из своего кармана, так что лучше не выпускай ее из рук, даже в сортир с собой носи!

Вскоре после супербоула окончательный вариант двух первых глав "Бухты вздохов" был готов. Я позвонила Лорану и спросила, не возьмется ли он их вычитать. Было это в четверг утром.

— Здравствуйте, вы позвонили в издательство "Дюфруа", — проквохтал магнитофонный голос мадам Венн. — Если вы знаете номер нашего сотрудника, наберите его в тональном режиме.

"Зараза!" — подумала я и полезла в электронный справочник.

С Лораном Вьо после нашей парижской встречи я уже виделась. Это было в субботу, за три дня до Рождества. Мы с сестрой бегали по магазинам в центре, взяв с собой Антонена, он непрестанно хныкал, и Леони сказала мне:

— Слушай, отведи его в "Макдоналдс", он обожает жареную картошку. Я приду к вам через полчаса. Мне обязательно надо купить платье к сегодняшней вечеринке в "Монтаж мондьяль".

— Валяй! — ответила я, и мы спустились в лифте на третий подземный этаж торгового центра.

Зал был битком набит. И вот, усевшись на неудобный вертящийся стул с племянником на коленях и пакетом жареной картошки с кетчупом на подносе, повторяя как заведенная: "Не спеши, Антонен, прожуй хорошенько, а потом глотай!", я увидела перед собой Лорана Вьо с пухленьким мальчиком лет семи, который тараторил "та-ра-та-та-та!", целясь в окружающих из розового пластмассового автомата.

— Можно к вам подсесть? — спросил Лоран, показывая на два чудом оставшихся свободными стула, и поставил свой поднос рядом с нашим.

— Ты, наверное, Жюль, — приветливо обратилась я к мальчику, но про себя все же добавила: "Рассадник паразитов".

— А это кто? — поинтересовался он, набрасываясь на куриные крылышки.

Я испугалась, что Лоран ответит что-нибудь вроде "Не знаю" или, того хуже, "Инопланетянка, не смотри на нее". Ведь, хотя у нас и было все кончено, когда я выдумала историю со взрывом на улице Шаронн, Лоран здорово разозлился, узнав, что я пыталась избавиться от него таким подлым образом, да еще, можно сказать, застукав меня с Самюэлем. А вдруг и два месяца спустя он все еще на меня зол?

— Папина коллега, — услышала я его спокойный ответ. — Не разговаривай с полным ртом.

Антонену понравился медово-горчичный соус Жюля, и он тянул ручонку, пытаясь обмакнуть в него свою картошку, а мы с Лораном тем временем успели поговорить обо всем понемногу, для начала о предпраздничной толкотне в магазинах, потом об оглушительном успехе "Длинного лезвия" Марселя Жоликёра.

— Книга вышла месяц назад, и уже печатается второй тираж. А ты как? Тебе лучше, чем в прошлый раз?

Едва я успела успокоить его на этот счет, как влетела нагруженная свертками Леони.

— Что вы здесь делаете? Я вас уже час ищу! Я же тебе сказала, встречаемся у "Жакоба"!

— Ма-ма! — взвизгнул до ушей перемазанный соусом Антонен. — Ма-ма!

— Да ты что! Ты велела нам ждать тебя здесь!

Под насмешливым взглядом Лорана сестра бесцеремонно заторопила меня. Она присмотрела себе туфли в витрине одного магазина и боялась, как бы их не увели у нее из-под носа. "Ну ладно, пока", — сказала я Лорану. "Созвонимся", — ответил он. "Та-ра-та-та-та-та!" — расстрелял нас Жюль из своего автомата. С Антоненом на руках я шагнула вслед за Леони на эскалатор.

В общем, при всей скомканности этой встречи в "Макдоналдсе", мне показалось, что мы с Лораном можем остаться друзьями. Поэтому я без комплексов попросила его об услуге в это февральское утро четверга.

— Пошли мне твои главы по электронной почте, — сказал он. — Я вычитаю их в конце недели, а во вторник заходи за ними в "Дюфруа".

Я ответила Лорану, что крайний срок подачи документов в Квебекский совет по культуре и искусствам как раз следующий вторник, так что меня все устраивает.

— Около часа? — предложил он.

— Приду.

На следующий день я собрала остальные необходимые документы для подачи запроса в Совет по культуре и искусствам. Помимо фрагмента будущей книги объемом порядка тридцати страниц от кандидатов требовалось следующее: три экземпляра уже опубликованного произведения, пресс-досье (максимум десять страниц) и куррикулюм витэ. Им я и занялась в первую очередь. Козырнув изучением литературы в Университете Макгилл, стипендией У. Д. Макконнелди, а также недавней поездкой "для творческой и исследовательской работы" в Париж, я благоразумно обошла молчанием свой опыт регистраторши стоматологического кабинета и недолгое сотрудничество с "Кенгуру-филмз". Закончив этот опус, я извлекла из книжного шкафа экземпляры "Вечеринки в саду", оставшиеся от десяти авторских, которые мне дали в издательстве "Дюфруа". В свое время я подарила один экземпляр Леони и Гийому, один Бернару Самсону и Марион Гулд, один маме, один отцу, и один, позже, Самюэлю; еще один пришлось выбросить, потому что я надписала его "вверх ногами", и в моем распоряжении было ровно четыре. Отличная цифра: три послать в Совет по культуре и искусствам и один сохранить для себя. Оставалось только составить пресс-досье, иными словами, разыскать копию отзыва Эрве Юдона с его тремя с половиной звездами.

Я позвонила маме. Не знает ли она, куда девалась та газета, которую я не видела с тех пор, как бросила ее на буфет на веранде, тем летом на Кейп-Коде?

— Я ее сохранила, подшила в памятный альбом, — сказала мама.

— Памятный альбом?

Часы показывали четыре, когда я вошла в дом на улице Отёй. Мама в это время вела урок пластического выражения, и от лестницы, ведущей в подвал, доносился детский визг. За окном кухни розовый свет заливал сад. Натянутое над бассейном полотно было подернуто льдом и засыпано мусором, сухой листвой, веточками, еловыми иглами. "Анни, дорогая, — написала мама на желтой самоклейке, — вот то, что ты просила. Останешься ужинать? Твой отец вернется из клиники не раньше девяти. Мама".

Детские крики вдруг перекрыла мелодия "Alegria", звучавшая так громко, что даже пол задрожал под моими ногами. Я отклеила записку от альбома. Он был размером пятьдесят на тридцать сантиметров, на картонной обложке красовалась темноватая фотография — маяк, возвышающийся на мысе среди волн. "Lighthouse in Provincetown"[1] — гласила подпись. Возможно, мама купила этот альбом сразу, как только прочла отзыв Эрве Юдона, когда они с отцом пошли в тот день прогуляться к мысу Кейп-Код. Я открыла альбом и погладила пальцем титульный лист.

1. Маяк в Провинстауне (*англ.*).

THIS SCRAPBOOK BELONGS TO[1] *Анни Бриер*

Мое имя было приписано мамой от руки, красиво, старательно выведенными буквами, говорившими, думается мне, об огромной нежности. "Не в моем дворе", отзыв Эрве Юдона, занимал первую страницу. Вырезка, конечно, немного пожелтела, зато была аккуратно и надежно приколота скрепкой. Я осторожно вынула ее и стала листать альбом дальше.

В нем было порядка двухсот разноцветных страниц — четыре цвета, все пастельные, делили обрез альбома на четыре равные части. Бумага была толстая, грубая. Кое-где отчетливо выделялись попавшие в нее бурые или рыжие волоконца. Пальцы ощущали ее шершавость, почти мохнатость, в этом было что-то неряшливое. Поскольку Эрве Юдон единственный из критиков проявил интерес к "Вечеринке в саду", все страницы моего scrapbook'а, кроме первой, были девственно чисты. И мне отчего-то вдруг стало не по себе. Я снова прочла надпись на титульном листе: *This scrapbook belongs to Анни Бриер* и опять перелистала альбом. Что-то было не так: ведь с тех пор, как я закончила "Вечеринку в саду", столько всего произошло в моей жизни! Но зияющая пустота этих страниц, казалось, утверждала обратное, как будто три прошедших года обратились в дым. Я листала свой scrapbook, и мне приходили на ум все памятные эпизоды, все вырезки из жизни, которые я могла бы собрать здесь, будь у меня такая возможность. В самом деле, подумалось мне, ведь под таким ни к чему не обязывающим заглавием — "Scrapbook" — рассказать можно обо всем, о чем захочется, без самоограничений и лакировки. Что-то вспыхнуло в моей голове, и я буквально увидела будущий роман — пестрый, густонаселенный, без центра тяжести, он мог быть написан так, как хотел снять "Вечеринку в саду" Жослен Монетт, "с плеча", сумбурно и, наверное, немного неуклюже, в "рваной", прерывистой, дробной, хаотичной стилистике. Эта, само собой разумеется, новаторская литературная эстетика располагала бы к естественности: костюмы, грим и спецэффекты долой, все только настоящее, подлинное. И роли исполняли бы только чистой воды любители, ведь сказал же кто-то из великих, не помню, кто именно, что каждый из нас проживает свою жизнь, будто актер, введенный в спектакль без репетиций, — или что-то в этом роде?

Итак, в романе под названием "Scrapbook Анни Бриер" все персонажи будут жить весьма несовершенной жизнью. В этой беспорядочной галерее лиц незадавшиеся актрисы будут спать с продюсерами в надежде дать толчок своей карьере, а продюсеры западать на незадавшихся актрис и промышлять денежными махинациями, но, как бы то ни было, их путь завершится под кокосовыми пальмами; издательские редакторы будут разбивать сердца юных писательниц, а потом возвращаться к ним, но слишком поздно; юные писательницы будут отвечать на звонки маньяков в надежде вернуть своих редакторов, чтобы оказаться в итоге в лофтах рекламных криэйтеров; дантисты будут рисковать банкротством, увлекшись бездарными биржевыми спекуляциями, и увлекать за собой в нужду своих бедных дочурок; наследники империй, все сплошь с лошадиными зубами, будут влюбляться в зрелых женщин с разбитым сердцем; спортивные журналисты будут видеть не дальше дорожных знаков, университет-

1. ЭТОТ АЛЬБОМ ПРИНАДЛЕЖИТ (*англ.*).

ские профессора — до срока выдворяться на пенсию за потворство своим новым пассиям, адвокатши — ставить крест на карьере и давать советы по правильной ориентации посудомоечной машины, балерины — ломать ноги на сноуборде и переквалифицироваться в поэтесс, криэйтеры — месяцами держать сердце в узде, чтобы не действовать на нервы предметам любви, рекламные лица квашеной капусты — томиться ностальгией, главные редакторши издательских домов — бросать работу за две недели до открытия литературного сезона, успешные писатели — терпеть фиаско с дамами в туалете "Ритца-Карлтона", черные коты — гибнуть под колесами, чтобы их хозяйки осознали, что несчастливы, и все это будет вариться в одном котле, имя которому жизнь, это и еще многое, многое другое. "I'll bury my soul in a scrapbook", — пел Леонард Коэн в одной из песен альбома "More Best Of", подаренного мне Самюэлем, который мы столько раз слушали во время оно. Бог ты мой, подумалось мне, даже цитата есть, идеально подходящая для эпиграфа!

Я снова и снова перелистывала страницы, охватывая взглядом эту невозделанную целину. "Alegria" продолжала сотрясать пол под моими ногами, унося меня к вершинам вдохновения. Но очень быстро мой энтузиазм поостыл. "Scrapbook Анни Бриер"? Равносильно ее самоубийству. Да, на этот раз мне, пожалуй, нечего будет ответить на мамины причитания: "Люди подумают, что чокнутая семейка в твоей книге — это мы!" А когда Гийом узнает, сколько длился на самом деле "флирт на один вечер", Леони не простит меня во веки веков, не говоря уж о том, что Жозеддхартха не преминет запустить в окна Самюэля дюжины четыре тухлых яиц, а ведь теперь это и мои окна! А что скажет мой учитель Бернар Самсон — нетрудно представить: "Для того ли мы растим учеников, чтобы они потом выносили нашу частную жизнь на всеобщее обозрение?" А бедная Марион Гулд — каково ей будет снова попасть на страницы романа? А я сама во всем этом? Не полной ли дурочкой я буду в глазах читателей? Куда уж глупей — безответно влюбиться в женатого редактора, чтобы в итоге прийти к рекламному криэйтеру! А что сказать о цензуре, которой будет подвергнута эта книга? Придется ведь объяснить, что я не могла звонить Лорану Вьо на работу, потому что секретарша спала со своим шефом, а поскольку упомянутый шеф и есть директор моего издательства, он наотрез откажется публиковать эти компрометирующие сведения. В общем, музыка в доме смолкла, а идея романа "Scrapbook Анни Бриер" осела в дальнем уголке моего сознания, легла в копилку нереализованных замыслов, в тот самый стол, имеющийся у каждого писателя, в ящик с надписью "Романы, которые никогда не будут написаны". Как бы то ни было, сказала я себе, меня ждут три семьи в бухте озера Шамплейн, и было бы непростительно мне, как капитану, бросить их на произвол судьбы.

Я закрыла свой scrapbook, спрятала отзыв Эрве Юдона в сумку и устроилась с книгой в гостиной, дожидаясь, пока мама закончит урок.

Во вторник утром, перед тем как уйти в "Бум-бум", Самюэль закатил мне сцену: я сообщила ему, что встречаюсь с Лораном Вьо.

— Почему ты не сказала мне раньше?

— Милый, да успокойся же. Это все быльем поросло!

— Мне плевать! Ты не должна с ним видеться, даже по-дружески, во всяком случае, так скоро! Что бы ты сказала, если бы я попросил Мод сняться в моем клипе?

Я на минуту задумалась и признала, что мне это было бы в высшей степени неприятно. Самюэль ушел, шарахнув дверью.

— Только попробуй скажи, что она будет сниматься в рекламе нового энергетического напитка, о которой ты мне говорил на прошлой неделе! — заорала я, выбежав за ним на лестницу. — В той, где девушки в бикини пляшут в тропическом лесу на крыше небоскреба!

Даже не оглянувшись на меня, Самюэль скрылся в снегопаде, а я осталась стоять, дрожа в ночной рубашке, за стеклом подъезда. "Черт бы тебя взял!" — вырвалось у меня. Принимая душ, я думала о том, что таков, видно, удел всех пар. Клятвы клятвами, на веки вечные и сверх того, но тень сомнения всегда омрачает самое ясное небо и самые красивые обещания.

Когда я пришла в издательство "Дюфруа", мадам Венн строила пирамиду из коробок с отвергнутыми рукописями.

— Служба переработки опять запаздывает. Если так будет продолжаться, я выкину все на помойку. Лоран Вьо ждет вас.

Я пошла было к каморке под лестницей.

— Куда вы направились, девушка? Он сидит теперь на втором этаже, последняя дверь, у кофейного автомата.

Сумка оттягивала плечо. Я поднялась по лестнице и, запыхавшись, оказалась лицом к лицу с Марселем Жоликёром в натуральную величину — это был плакат, наклеенный на картон и стоявший без всякой опоры. "'Длинное лезвие' от скандального автора 'Железной руки'" — гласила подпись под фотографией, на которой оный автор стоял, скрестив руки на своей неизменной ковбойке, и смотрел на почтенную публику так, будто хотел укусить. Я прошла мимо, постаравшись не приближаться к нему. Миновав ксерокс, за приоткрытой дверью бывшего кабинета Софи Бланше я увидела Бернара: покусывая карандаш, он что-то читал.

— Добрый день, — проворковала я, просунув в дверь голову.

— О! Анни! Заходи, заходи!

В кабинете все еще витал тонкий аромат лаванды.

Седины в волосах Бернара прибавилось, но выглядел он бодрым, как никогда. Расспросив меня о поездке в Париж, он поинтересовался, какими судьбами я оказалась в издательстве "Дюфруа".

— Начала тренировки к Олимпийским играм.

Бернар нахмурил свои кустистые брови и спросил, о чем это я.

— Ты разве не помнишь? Это ведь ты мне говорил, что нельзя писать книги чаще, чем раз в четыре года. Чтобы не испортить перо.

— Я это говорил? Не помню. Надеюсь, это не симптомы подступающего Альцгеймера. Во всяком случае, теперь, будучи твоим издателем, а не преподавателем, могу сказать, что в корне переменил мнение. Пиши, пиши постоянно, всегда держи шлюзы открытыми!

"Вот зараза!" — подумала я. Как знать, может быть, три года назад я бы и засела всерьез за второй роман, не вбей мне в голову Бернар свою олимпийскую метафору.

Бернар продолжал покусывать карандаш.

— Тебе привет от Марион. Она теперь работает в кондитерской в Со[1]. Прислала мне на прошлой неделе шоколадные конфеты — объедение.

1. Городок в департаменте Верхняя Сена.

Он протянул мне изящную желтую коробочку с развязанной красной лентой. Я заглянула внутрь и увидела два десятка маленьких черных шариков, суховатых и каких-то жалких. Неужто Марион Гулд из художницы стала ученицей кондитера? Я вспомнила, как уплетала полулитровые порции "Häagen Dazs" с шоколадной крошкой, и подумала, что ей, должно быть, тяжелее, чем когда-либо приходилось мне.

— Гм! Гм! — кашлянул появившийся в дверях Лоран.

Он держал в каждой руке по стаканчику с кофе.

— Возвращаю ее тебе, друг мой! — сказал Бернар, провожая меня в коридор. Пол поскрипывал под нашими ногами.

Новый кабинет Лорана был как минимум вдвое больше прежнего и гораздо светлее, с широким окном в правой стене. На подоконнике растение в горшке соседствовало с забитой окурками пепельницей.

— Заметное улучшение, — одобрила я.

Лоран объяснил, что под давлением Бернара старик Дюфруа отдал его бывшую каморку в распоряжение Ким Лакасс.

— Она приходит три раза в неделю, разбирает поступающие рукописи, немного наводит порядок. Она ведь хромая, так что ей в том кабинете удобнее: не надо подниматься по лестнице.

Лоран показал мне свои поправки к двум первым главам "Бухты вздохов": кое-где вкрались англицизмы, было и несколько неуклюжих фраз. В целом, однако, он признал, что я больше не злоупотребляю наречиями и прилагательными, да и вообще, на его взгляд, пишу увереннее, чем во времена "Вечеринки в саду". Я внесла исправления прямо в файл, который посылала ему; пока принтер выплевывал мои три десятка страниц, Лоран открыл окно и выкурил сигарету.

— А ты не закурила снова? — спросил он.

— Нет. К тому же Самюэль астматик, а балкона у нас нет. Мне пришлось бы каждый раз выходить из квартиры.

Лоран спокойно кивнул и подергал за нитку, высунувшуюся из кармана джинсов. Я полюбопытствовала, как это старик Дюфруа взял на работу Ким Лакасс, если она живет с Бернаром. Неужели снова сделал исключение из своих антиэндогамных правил?

— Вроде того. Бернар его дожал перед Рождеством. Сказал, что у него завал работы, он один не справляется и пора, мол, отменить дурацкие правила, сейчас не дремучие времена отцов-иезуитов и раздельного обучения. Старик просто отпал. Может, со временем он смягчится и позволит нам всем "гадить, где едим", как он выражается. По крайней мере, я на это надеюсь.

Лоран улыбнулся с некоторым вызовом и добавил:

— Потому что нам с новой арт-директрисой надоело прятаться, если ты понимаешь, о чем я.

Было в этих словах что-то ребяческое, но, в конце концов, я могла понять Лорана: мне следовало знать, что он тоже теперь не один.

— Да, понятно. У тебя есть сшиватель?

Сложив свои главы в большой желтый конверт — отправлю, как только выйду из издательства, — я расцеловалась с Лораном и поблагодарила его за помощь. Уже взявшись за ручку двери, я обернулась и, чтобы окончательно внести ясность: у каждого из нас теперь своя личная жизнь, и точка, — показала на календарь издательства "Дюфруа", висевший над его столом. Это был так называемый вечный календарь, в кото-

ром нужно каждый день менять картонные квадратики с числами от единицы до тридцати одного.

– Видно, здорово она закружила тебе голову. Сегодня у нас не девятнадцатое, а восемнадцатое.

Лоран нахмурился и заглянул в ежедневник.

– Да нет же. Сегодня вторник, девятнадцатое февраля.

Он был в этом абсолютно уверен.

– Нет, нет! – заспорила я. – Сегодня восемнадцатое! Должно быть восемнадцатое!

Когда Лоран показал мне страничку ежедневника, я пошатнулась и рухнула на стул.

– Мне кранты! Запрос в Совет по культуре и искусствам надо было послать не позднее восемнадцатого!

Лоран выдохнул сочувственное "Shit!" От стыда я закрыла лицо руками. Что же теперь делать? Следующий конкурс будет только через год. А я-то так рассчитывала на этот грант! "Запросы, отправленные после указанной даты, рассматриваться не будут. Дата отправки определяется по почтовому штемпелю", – было написано в формуляре Совета жирным шрифтом. "Кранты", – повторила я. Мало мне было стоматологического кабинета и выброшенного коту под хвост сценария, теперь я еще и пролетаю с грантом!

Я все еще причитала над своей злой судьбой, когда все издательство вдруг огласил вопль – "Аааааааа!", – исполненный боли. Он доносился из кабинета Бернара. Мы вбежали без стука. Мой бывший преподаватель подпрыгивал на месте, двумя руками зажимая рот и то сгибаясь вперед, то выгибаясь назад, словно исполнял ритуальный танец или некий магический обряд, дошедший из глубины веков. Он поднял на нас лихорадочно блестящие глаза и простонал:

– Зуб, мой зуб!

На полу валялась обгрызенная ручка, и я поняла, что он в очередной раз укусил ее сильнее, чем следовало бы.

– Зуб! Мой зуб!

– Ну-ну, полноте, – успокоил его Лоран.

– У меня папа зубной врач! – подбодрила в свою очередь я и схватилась за телефон.

"Клиника..." – пророкотал сиплый голос мадам Фаллю. Попросив ее предупредить папу, что к нему едет пациент от меня с острой болью, я положила трубку и помогла Лорану спустить Бернара на первый этаж, что оказалось делом нелегким, потому что мой учитель продолжал сучить ногами и корчиться как припадочный. Плакат с Марселем Жоликёром в натуральную величину скатился по лестнице вслед за нами и чуть не сшиб стол мадам Венн, которая испуганно залопотала "Месье! Месье!", ловя разлетающиеся бумаги. Из-под лестницы высунулась Ким Лакасс и заковыляла к нам.

– Бернар, боже мой! Это ты так кричишь?

Прибежали бухгалтерша и компьютерщик, Бернар дал Лорану ключи от своей "ауди", Ким Лакасс проковыляла обратно в каморку за своим роскошным манто из белого меха, и все трое скрылись из виду.

– Улица Флери, 807! – только и успела я крикнуть Лорану.

Служащие разошлись, обсуждая вопрос, может ли потеря зуба при кусании карандаша считаться производственной травмой, подлежащей

оплате по страховому полису издательства "Дюфруа", и в здании вновь воцарилась тишина.

Я вернулась на второй этаж за брошенной там впопыхах сумкой, и невеселые мысли снова одолели меня. Что же мне теперь делать, если я безнадежно опоздала с запросом в Квебекский совет по культуре и искусствам? Я посмотрела на большой конверт, раздутый, едва не лопавшийся от обилия документов, и сказала себе, что, возможно, это знак. Не пора ли мне на пороге двадцатисемилетия чему-то в жизни научиться? Выпрашивать пособия у государства, чтобы писать романы, — разве это лучше, чем получать содержание от папы на учебу в университете? У меня есть диплом и знания, с которыми я могу многое: преподавать в колледже, например, или в центре приема иммигрантов, а то найти продюсера, который не сбежит на Багамы, не выплатив мне гонорар... Если вдуматься, Анни Бриер, пожалуй, будет чем гордиться, когда она напишет "Бухту вздохов" самостоятельно, без поддержки правительственной программы, принятой чиновниками с целью развития Культуры с большой буквы. Преисполнившись благих намерений встать наконец на ноги и быть отныне самой себе хозяйкой, я вышла из кабинета Лорана.

У лестницы мадам Венн ставила на место плакат с Марселем Жоликёром.

— До свидания, — вздохнула она.

— До свидания.

Я спустилась на три ступеньки и вдруг замерла, вцепившись рукой в лакированные дубовые перила. Как же мне это раньше в голову не пришло? Я повернула назад.

— Мадам Венн, ваш муж по-прежнему возглавляет Квебекский совет по культуре и искусствам?

Она утвердительно кивнула головой в кудельках. Я протянула ей пухлый конверт и очень-очень вежливо попросила передать его супругу сегодня же вечером, с тем чтобы он отнес его в комиссию по грантам отдела литературы с пометкой задним числом, которая скроет мое небольшое опоздание.

— Мало вам, что ваш издатель платит за вас, когда вы присылаете ему счета от таксистов? Вы представляете себе, какой ответственный пост у моего мужа? Вряд ли он станет злоупотреблять своим положением ради писательниц-свистушек, разевающих рот на субсидии!

— Я все понимаю, но прошу вас, пожалуйста. Я ведь опоздала всего на один день.

— Об этом не может быть и речи.

Я притопнула ногой и спросила, что скажет этот самый муж, занимающий ответственный пост в Совете по культуре и искусствам, если вдруг получит по электронной почте анонимное письмо, из которого узнает, чем занималась его жена с неким господином в кабинете бухгалтера издательства "Дюфруа"? Рот мадам Венн округлился, но она не издала ни звука.

— Большое спасибо, — сказала я, когда она буквально вырвала конверт у меня из рук.

Самюэль в тот вечер ждал меня с огромным букетом.

— Прости, что я так завелся утром. Я иногда веду себя как идиот.

Я крепко обняла его и сказала, что прощаю, с кем не бывает.

— А Мод я и не думал приглашать в мою рекламу энергетического напитка. И вообще, идея разонравилась заказчику. Тропический лес на крыше небоскреба обойдется слишком дорого.

Я поставила цветы в вазу и приготовила соус для спагетти, не забыв положить базилик в самом конце варки. Самюэль взялся мыть посуду, а я позвонила отцу.

— Ну что, как там Бернар?

— Ему уже лучше. Был задет нерв, но я прочистил канал, поставил штифт и временную коронку. Назначил ему прийти через две недели. Его дочь обещала позаботиться о нем. Очень милые люди.

"Его дочь!" — ахнула я про себя и хотела было просветить отца насчет истинного статуса Ким Лакасс, но у меня был к нему более насущный вопрос.

— Кстати, папуля, ты не одолжишь нам "вольво" на воскресенье? Мы с Самюэлем хотим съездить в Восточные Кантоны покататься на лыжах, но сейчас школьные каникулы, и в "Виа Рут" не осталось ни одной свободной машины.

— Только если ты мне обещаешь, что за руль сядет он.

— Ну папуля! Десять лет прошло, сколько можно!

— Иначе не дам.

Я было заспорила, но Самюэль, выйдя из-за кухонной стойки, хлестнул меня посудным полотенцем пониже спины — ай! — и прошипел на ухо, чтобы я заткнулась, не то мы вообще останемся на уик-энд в городе, так что пришлось согласиться на папино условие.

А в остальном... Весна прошла спокойно. Правда, в середине марта платежи от Элен Леме закончились. Зато мои авторские в этом году оказались весомее, с учетом приплюсованной суммы из аванса, выплаченного издательству "Кенгуру-филмз" за права на "Вечеринку в саду", и я продержалась на них до середины апреля. Только после этого, почти закончив третью главу "Бухты вздохов", я была вынуждена взять подработку в "Бум-бум комьюникейшн".

Досталось мне составлять брошюру, которую общество "Гидро-Квебек" намеревалось разослать своим абонентам вместе с июньскими счетами, дабы напомнить им о летних мерах безопасности. Например, не спиливать, стоя на стремянке, ветки, запутавшиеся в электрических проводах, не купаться в бассейне при включенной в стенную розетку стереосистеме и прочие очевидные вещи, о которых пара-тройка тупиц несмотря ни на что забывает, пополняя хронику происшествий душераздирающими заголовками.

— Надо быть полным идиотом, чтобы этого не знать! — то и дело верещала я из-за ширмы.

— Хватит тебе жаловаться! — отвечал Самюэль. — Подумай о том, что тебя прочтут шесть миллионов человек.

Это заставило-таки меня задуматься. А ведь пожалуй, даже поддайся я веяниям моды-однодневки и начни писать порнографические штучки, нашпигованные грошовыми метафорами, или под дурацким псевдонимом отвечать читательницам женских журналов, у меня не было бы столь обширной аудитории.

— Шесть миллионов читателей!

Голова у меня пошла кругом. Правда, я быстро опомнилась, соображая все-таки, что грант Совета по культуре и искусствам мне необходим,

если я хочу благополучно завершить "Бухту вздохов" и жить спокойно по крайней мере ближайший год.

– Анни, что с тобой? Почему ты еще в ночной рубашке?

Самюэль качнул гамак.

– Почему, почему! Ждала почтальона и уснула. Который час?

Он помахал белым конвертом со штемпелем Квебекского совета по культуре и искусствам.

– Ну что, вскрыть?

Самюэль надорвал конверт своим ключом и вынул белый листок. Гамак продолжал тихонько покачиваться.

– Ну хватит, не томи меня! Как начинается? "Имеем удовольствие" или "сожалеем"?

Имели удовольствие. Я повисла у Самюэля на шее, потом вприпрыжку побежала за ширму, расцеловала три главы "Бухты вздохов" и станцевала вокруг письменного стола. "Сэм?" – позвала я, покинув наконец свой уголок. Он был под душем. Я швырнула ночную рубашку на кровать.

– Все замечательно, но я умираю с голоду! – сообщила я, отдернув душевую занавеску. – В холодильнике есть киш[1]. Кишнём по такому случаю?

– Очень смешно, – фыркнул он, намыливая мне спину.

Но вечер обещал быть теплым, и Самюэль решил, что мы выйдем и поужинаем где-нибудь на террасе, чтобы отметить событие.

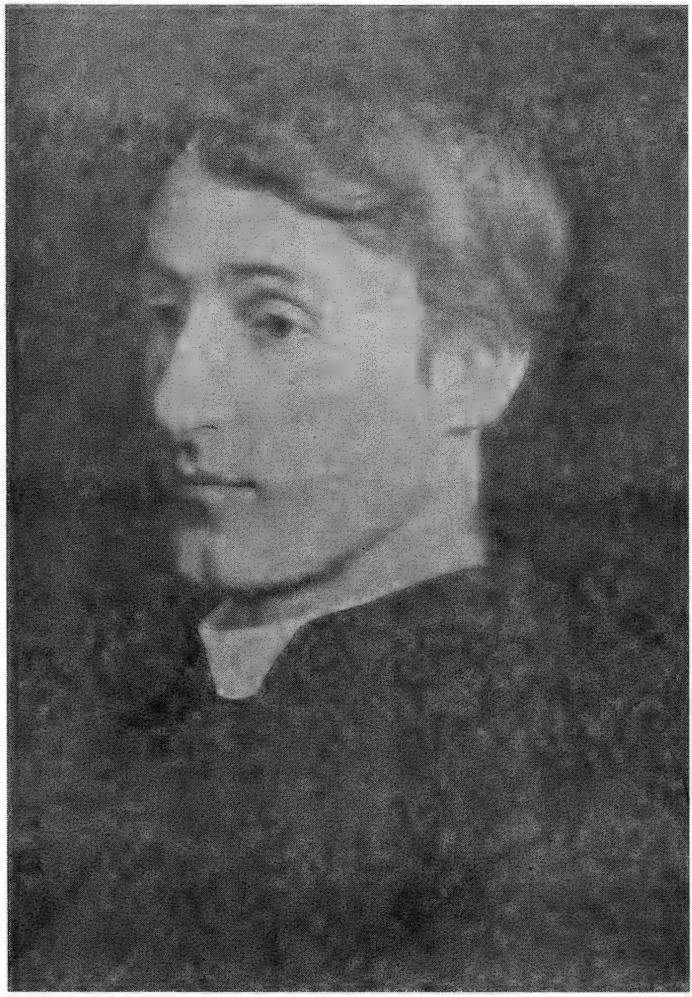
1. Пирог с овощами и салом.

Джерард Мэнли Хопкинс

“Проснусь – и вижу ту же темноту...”

Стихи

Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова



© Григорий Кружков. Перевод, вступительная статья, 2006
© Фото Г. Кружкова

“Брат Хопкинс”

Я есмь — конечно, есть и ты!
Г. Державин *Бог*

I

В 1864 году, когда отмечался трехсотлетний юбилей Шекспира, двадцатилетний Хопкинс начал набрасывать сонет; до нас дошли лишь первые восемь строк:

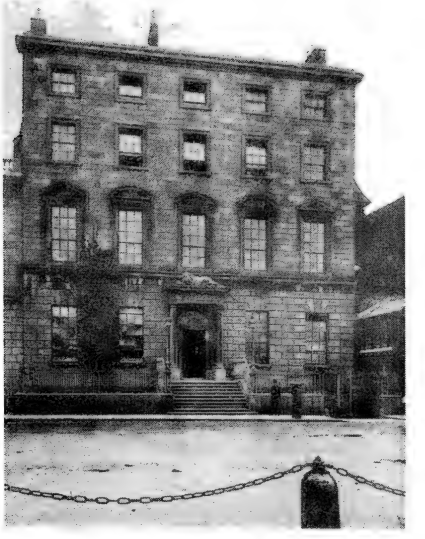
Шекспир

В жилищах душ людских он приобрел
Свой прочный угол. Бог, что отодвинул
От смерти день Суда — пока не минул
Урочный час и срок не подошел, —

Таит от нас верховный произвол;
Кто из поэтов спасся или сгинул —
Неведомо; тот редкий жребий вынул,
Кто сразу получил свой ореол...

Обратим внимание на смелое сравнение, сходное с “концептами” Джона Донна: мировой порядок, установленный Богом, — не судить душу человеческую сразу после ее смерти, — оказывается образцом для суда литературного: окончательное решение откладывается на неопределенное время.

Тут интересны сразу две вещи: во-первых, “метафизичность” мышления Хопкинса, во-вторых, предсказание собственной судьбы. Провидение отодвинуло суд и приговор поэту, вынесло их далеко за скобки его жизни. Разумеется, случай не единичный: так было с Блейком и с Китсом; но, в отличие от них, Хопкинс вообще не публиковал своих стихов; ближайшая параллель — Эмили Дикинсон.



Здание Дублинского университета, где он жил и умер

Джерард Мэнли Хопкинс (1844–1889), или, как принято было говорить в Обществе Иисуса, “брат Хопкинс”, умер от тифозной горячки в Дублине, где он преподавал древние языки в Университетском колледже. Один из собратьев-иезуитов, ухаживавший за ним перед кончиной, большую часть бумаг усопшего сжег, а часть, включая письма поэта Роберта Бриджеса, отправил адресату.

Имя Хопкинса на братской могильной плите иезуитов в Глесневине

Бриджес и опубликовал первый сборник стихотворений Хопкинса. Правда, он сделал это почти через тридцать лет после смерти своего друга, в 1918 году. Не знаю, был ли тут сознательный расчет, но эта оттяжка сыграла на руку стихам. В начале 1920-х в моду стали входить поэты-метафизики: в этом контексте стихи Хопкинса "прозвучали" (в конце XIX века их бы просто никто не понял). Потребовалось еще двадцать или тридцать лет, чтобы Хопкинс были оценен по достоинству и введен в поэтический канон.

Напомним, что посмертно были изданы и стихи преподобного Джона Донна, и его верного последователя поэта-священника Джорджа Герберта, который на смертном одре предоставил другу решать, публиковать ли его стихи или предать огню — в зависимости от того, "смогут ли они быть полезны хоть одной христианской душе или нет". Друг решил, что смогут, и книга стихотворений Герберта "Храм" была издана.

Хопкинс поступил еще радикальнее: он вручил судьбу своих стихов непосредственно Богу; 8 сентября 1883 года он записал в дневник: "Во время сегодняшней медитации я горячо просил Господа нашего приглядеть за моими сочинениями... и распорядиться ими по своему усмотрению, как они того заслуживают".

II

Из прожитых Хопкинсом сорока четырех лет первую половину он принадлежал англиканской церкви, вторую половину — католической. В 1868 году он вступил в Общество Иисуса, и вся его дальнейшая жизнь прошла под диктовку ордена, который двигал им как пешкой — вернее, как шахматным конем по доске: из Лондона в Стоунхерст, из Оксфорда в Уэльс, из Ливерпуля в Глазго — то учить теологию в иезуитской академии, то преподавать самому, то служить приходским священником... Пе-

ред каждым новым сроком послушничества он проходил очередные испытания, "дабы обновить рвение, которое могло остыть в занятиях и общении с миром". Испытания эти проходили в строгой изоляции: даже выйти погулять в сад Хопкинс мог, лишь испросив на то особое разрешение. Испытуемых могли поднять с постелей в полночь и отправить слушать внеочередную мессу. По средам их строили парами, как детей, и отправляли на прогулку во главе с "братом наставником", по пятницам и воскресеньям им разрешалось выбирать себе пару самому. Все это казалось странным его друзьям-поэтам, с которыми он состоял в переписке: Роберту Бриджесу и канонику Р. У. Диксону, которые порой деликатно намекали на чрезмерную тяжесть возложенных им на себя вериг.

Хопкинс в пятнадцать лет

Однако Хопкинсу для чего-то были нужны эти вериги. Вступив в Общество, он сжег свои стихи и не писал восемь лет; хотя в этом было его призвание и наслаждение. Тонкий наблюдатель природы, умевший видеть вещи ярко и подробно, как сквозь увеличительное стекло, он многие месяцы ходил с глазами, опущенными долу, ибо любование материальным миром представлялось ему греховным. Невероятным облегчением для Хопкинса стало знакомство с трудами средневекового схоласта Дунса Скотта, теоретически обосновавшего совместимость любви к природе с любовью к Богу; наконец-то он мог поднять глаза и без угрызений совести смотреть на мир.

Многое в характере и в судьбе Хопкинса было, очевидно, заложено в детстве. Его отец, по профессии морской страховой агент и человек широких интересов, писал стихи, рецензии и очерки для газет; мать увлекалась музыкой и поэзией. Джерард унаследовал от отца свое "среднее" имя Мэнли — "мужественный", которое ему мало подходило: с детства он рос нервным и тихим ребенком. Как вспоминают родные, бесстрашие его проявлялось только в лазанье по деревьям: он мог часами просидеть на каком-нибудь высоком вязе, наслаждаясь перспективой, которую он позже воспоет в своем знаменитом стихотворении "Пестрая красота": "луг, рябой от цветов; поле черно-зеленое, сшитое из лоскутов..."

Учился Джерард в школе-интернате в пригороде Лондона Хайгейте. Учился он хорошо, вдобавок обладал талантом художника и порой забавлял товарищей смешными картинками и стихами; но друзей у него не было, мешали странности: внезапно нападавшая задумчивость, стремление уединиться с книгой в руках. В старших классах ему должны были

претить сквернословие и подростковые пороки, процветавшие в те годы во всех английских школах-интернатах. Здесь, может быть, одна из главных причин принятых им впоследствии обетов. Увиденное в детстве зрелище зарезанной курицы оставит равнодушным тысячу мальчиков, а одного, тысячного, сделает вегетарианцем. Так и зрелище школьного разврата способно — хотя, конечно, не каждого — заразить на всю жизнь стыдом и отвращением; а в том, что Хопкинс был повышенно впечатлителен, можно не сомневаться. Спустя годы, когда он работал священником в трущобах Ливерпуля, его сострадание к беднякам и стремление им помочь было самым искренним, но он признавался, что виденное им ложилось на душу почти невыносимым бременем.

Да и что такое свобода? Предоставив другим определять внешние условия своего существования, отказавшись от денег и амбиций, он фактически раскрепостил свою волю для главного: созерцания мира и Бога.

III

С 1868 по 1875 год Хопкинс не писал стихов, от этого времени сохранилась лишь часть его писем и дневников. Вот в этих-то дневниках, абсолютно лишенных "самокопания", куда он записывал лишь то, что привлекло его интерес в окружающем мире, будь то закат, ручей, эволюция распускающегося цветка или форма градинок, появились и начали мелькать изобретенные Хопкинсом слова "инскейп" (inscape) и "инстресс" (instress). Условно их можно перевести как "внутренний пейзаж" и "внутренний посыл" объекта наблюдения. Критики сходятся на том, что однозначного определения этим понятиям дать нельзя, и у самого Хопкинса они употребляются в разных местах по-разному. В целом, "инскейп" подразумевает особое видение, проникновение в суть явления, "инстресс" — то, что данный объект стремится сообщить наблюдателю, его художественная доминанта. Во многих случаях "инскейпы" дневников Хопкинса представляют как бы заготовки стихов, они полны точных деталей и оригинальных метафор.

Но встречаются в его дневниках и записи совершенно простодушные, которые не отнесешь ни к какому жанру.

Дек. 17—18 ночью. Спас котенка с подоконника полукруглого окна возле раковины над газовой горелкой. Он залез туда, а спрыгнуть вниз не решался. Долго слушал его жалобное мяуканье, потом не выдержал и снял его оттуда. Записываю это из-за его удивительной благодарности: все время, пока я вел его вниз по ступенькам на кухню, он не только доверчиво следовал за мной, но на поворотах лестницы отбегал назад, просовывал голову сквозь стойки перил и пробовал лизнуть меня с верхнего пролета.

Долгий поэтический "пост" Хопкинса был прерван трагическим событием, о котором сообщали газеты. В декабре 1875 года возле устья Темзы во время сильной бури наткнулся на мель немецкий пароход "Deutschland". Сигналы о помощи из-за непогоды не были замечены; к утру прилив накрыл гибнущее судно чуть не до верхушек мачт. В конце концов помощь подоспела, но за ночь погибло около четверти пассажиров, в том числе пять изгнанных из Германии доминиканских монахинь. Хопкинса поразил этот случай, и он обмолвился об этом ректору

академии, который ответил: мол, вот тема для стихотворения. Этого намека было достаточно. Хопкинс немедленно приступил к делу и сочинил самое длинное из своих стихотворных произведений "Крушение 'Германии'"; оно содержало 35 гремучих, торжественных строф:

Ты, мой Господин,
Давший дыханье мне,
Владыка бурь и пучин,
Во гневе Бог и в огне!
Ты коснулся меня, и трепещу я опять,
Чуя длань твою на себе, дрожь бежит по спине;
Ты кости и жилы мои связал: или хочешь сломать
То, что сам ты, хозяин, возвел, укрепив, как тын?

Конечно, русский перевод лишь приблизительно передает тот новый ритм, который давно уже мерещился Хопкинсу, звучал в его ушах: он назвал его "скачущим размером" Sprung Rhythm в отличие от "плавного" Running Rhythm. Впрочем, слово "sprung" можно перевести и как "шатучий", "треснувший" и даже "подвыпивший". Речь идет, по существу, о *тоническом стихе*, основанном на счете ударных слогов при нефиксированном числе разделяющих их безударных. "Я не утверждаю, — писал Хопкинс в письме Диксону, — что эта идея абсолютно новая; есть намеки на нее в детских песенках и считалках, в народных стихах, встречается она и у поэтов; об этой возможности, я знаю, говорили и критики... Но никто, насколько мне известно, не употреблял этот принцип профессионально и последовательно. Мне же он кажется, должен признаться, лучшим и более естественным, чем обычная система, намного более гибким и способным на более сильные эффекты"[1].

Хопкинс признавал, что, кроме старой саксонской поэзии (от "Беовульфа" до "Поэмы о Петре Пахаре"), на него также повлияла и метрика валлийского стиха. В годы своего пребывания в иезуитской академии Сент-Бьюно в Уэльсе он увлекся валлийским языком и за несколько месяцев научился читать простые тексты, а также разбирать валлийские стихи. Одно стихотворение он даже сам написал по-валлийски. Впрочем, иезуитское начальство "не благословило" этих занятий — и вскоре перебросило Хопкинса в другое место.

Имеется ряд разъяснений Хопкинса о том, как надо читать его стихи, из которых самое последовательное и подробное — "Предисловие автора" к рукописному сборнику, составленному Робертом Бриджесом из стихотворений, присланных ему другом. В этом предисловии Хопкинс, между прочим, применяет музыкальный термин *контрапункт*. Это прием ритмической вариации — более сильный, чем простая *синкопа*, когда одна строфа ямба заменяется на хорей. Поясню на русском примере. Мандельштам мог бы начать один из своих переводов сонета Петрарки строкой:

Река, разбухшая от слез соленых...

Вместо этого он заменяет первый ямбический слог на хорей, создавая синкопу:

1. G. M. Hopkins. The Major Works. Oxford. 2002. P. 334–335.

Речка, разбухшая от слез соленых...

Здесь уже возникает некая шаткость — намек на силлабическую природу оригинала, но это все-таки еще ямб, поскольку нетронута вторая стопа (по Хопкинсу, особо чувствительная); ударение на четвертом слоге "раз**бух**шая" возвращает нас к ямбу. Но представим себе, что и вторая стопа заменена на хорей. Например:

Речка **на**ша, раз**бух**шая от **жа**лоб...

Это и есть то, что Хопкинс называет "контрапунктом": мелодия хорея ("речка наша") наплывает на ямб: "разбухшая от жалоб".

IV

Именно сонет вскоре стал главной и любимой формой Хопкинса. В некоторых сонетах он использует обычную силлаботонику, в других — тонику, а еще в иных — смесь того и другого. Для тонического ("скачущего") стиха основное значение, по Хопкинсу, имеют паузы (rests), а также "висячие слоги" или "выезды" (hangers or outrides). Речь идет не о лишних слогах, удлиняющих строку, а о лишних слогах внутри строки, которые как бы не считаются при скандировании стиха. Хопкинсу пришлось разработать целую систему подстрочных и надстрочных знаков вроде нотных, чтобы доводить до читателя свой замысел! В обычных изданиях Хопкинса эти знаки не воспроизводятся, так что каждый читает его стихи так, как ему подсказывает интуиция.

Можно вообразить, какие невероятные трудности представляют такие стихи для переводчика. Буквальное копирование ритма в данном случае будет медвежьей услугой и автору, и читателю. Сошлюсь на авторитетное мнение Бориса Пастернака:

> Снятие копий возможно только с фигур, прочно сидящих в своей графической сетке. Переводу с языка на язык поддаются лишь правильные размеры и тексты с обычным словоупотреблением... Чужой художественный беспорядок трудно изобразить без того, чтобы в беспорядочности не заподозрили самого изображения. За редкими исключениями вольные размеры в переводе производят впечатление хромоты и ритмической неряшливости[1].

Случай с Хопкинсом — совсем исключительный. Даже если бы можно было в точности повторить чередование безударных и ударных гласных в его стихах, мы все равно бы не достигли эффекта, предусмотренного автором, который, вводя свои музыкальные знаки, требовал, по существу, чтобы каждая строка репетировалась отдельно, как этюд Гедике: здесь *легато*, здесь *стаккато*, а там *триоль*. Но ведь и английские читатели не делают этого!

Таким образом, остается единственная возможность: добиться *похожего* впечатления, имея в виду цели Хопкинса: отход от монотонной плавности, музыкальные "спецэффекты", передающие взволнованность ре-

1. Б. Пастернак. Об искусстве. — М., 1990. С. 284.

чи: паузы, синкопы, акценты и тому подобное. Но все это — в умеренной, щадящей степени, с учетом русской просодии, чтобы не допустить впечатления хаоса звуков, чтобы "в беспорядочности не заподозрили самого изображения". Тут все зависит от мастерства и вкуса переводчика.

Дело осложняется тем, что не только ритм, но и смысл представляет проблему для читателей Хопкинса: его необычный словарь, полный неологизмов и составных слов, его сложный синтаксис, игнорирующий стандартный порядок слов, и общая темнота текста, часто нарочитая. Интересно и уникально, что первоначальные варианты многих строк Хопкинса были значительно яснее и проще; он сознательно менял их на более трудные. По его собственному признанию, он "не ставил себе цели, чтобы смысл целого был слишком ясен, безошибочно ясен" (I was not overdesirous that the meaning of all should be quite clear, at least unmistakable)[1].

Даже его ближайший друг Роберт Бриджес встал в тупик перед "Крушением 'Германии'". Хопкинс просил его прочесть стихотворение еще раз, чтобы лучше в нем разобраться. "Ни за какие деньги!" — отвечал Бриджес. В их переписке нередки случаи, когда Хопкинсу приходится пересказывать свои стихотворения прозой, чтобы объяснить их смысл. А сонет о своем любимом композиторе Генри Перселле он объясняет дважды: сперва в письме от 31 мая 1879 года, а потом — 5 января 1883 года. Видно, за четыре года Бриджес забыл, в чем там суть, и опять запросил помощи.

Передавать темноту, неоднозначность — труднее всего. Ведь перевод, по своей сути, интерпретация. Даже перевод одного отдельного слова есть выбор между несколькими словарными значениями. (Как перевести, например, "house"? Это и "дом", и "жилище", и "здание", и "хозяйство", и еще многое другое). То, что в оригинале звучит аккордом, приходится расщеплять на звуки и переводить одной нотой — даже не нотой, а, учитывая многозначность русских слов, совсем другим аккордом.

К счастью, в сонетах Хопкинса главный смысл просматривается довольно ясно: ведь Хопкинс, по сути своей, "смысловик": он заранее знает, о чем собирается писать. Поняв этот смысл — *"выведав сенс"* (по выражению Петра Первого из его знаменитого наставления переводчикам), — нужно лишь постараться так же, как Хопкинс, упаковать его в несколько заверток, чтобы читатель не ленился их разворачивать. То есть делать то же самое, что Хопкинс при доработке своих стихотворений.

V

Джерард Хопкинс, пожалуй, самый радикальный реформатор стиха в английской поэзии XIX века. В американской поэзии таковым считается Уолт Уитмен. Трудно, наверное, найти двух более полярных поэтов. Один — неукротимый оратор и зазывала, не стеснявшийся сам на себя писать восторженные рецензии; другой — смиренный иезуит, беспокоящийся, не осудит ли его Господь за праздноделание, за "оглядывания назад с рукой на плуге", за растрату сил на сочинение стихов и тщеславные мысли, порождаемые этим занятием. *"Безвестная участь лучше известности, лишь в ней мир и святость"*, — писал он другу[2].

1. G. M. Hopkins The Major Works. P. XXV–XXVI.
2. Ibid. P. 249.

Тем интереснее, что, когда Роберт Бриджес обратил внимание на сходные черты их поэзии и заподозрил влияние Уитмена на Хопкинса, последний (уточнив, что читал всего лишь несколько стихотворений Уитмена да еще критическую статью о нем в журнале "Атенеум") неожиданно признается:

Я всегда в глубине сердца знал, что ум Уолта Уитмена походит на мой более всех других современных умов. Поскольку он – большой негодяй, это не очень-то приятное признание. Оно также утверждает меня в желании прочесть больше его стихов и ни в коем случае не стать на него похожим.

Однако сходство стилей, по мнению Хопкинса, в данном случае чисто внешнее. Конечно, и тут и там бросаются в глаза длинные строки, нерегулярный стих. Но на этом общие черты кончаются. Стихи Уитмена, по существу, ритмическая проза, в то время как у него самого они основаны на древней традиции стиха, идущей, по крайней мере, от Пиндара.

Вышеприведенные соображения не ставят целью принизить Уитмена, – *заключает Хопкинс.* – Его "дикарский" стиль имеет свои достоинства; он выбрал этот стиль и стоит на нем. Но нельзя и съесть пирог, и сохранить его[1]: он съедает свой пирог сразу, я же сохраняю его. В этом вся разница[2].

Много чего можно было бы сказать по поводу этого загадочного "сходства умов" (которое Хопкинс не объясняет), "большого негодяя" и "несъеденного пирога". У меня есть некоторые версии, на которых, впрочем, я не настаиваю.

Сходство, на мой взгляд, заключается в центробежном темпераменте обоих поэтов, в восприятии мира как захватывающего разнообразия, в их поэтической жадности и всеядности – в случае Уитмена ничем не ограниченных, в случае Хопкинса сознательно введенных в определенные рамки (чему служит и форма сонета).

"Негодяйство" Уитмена состоит, по-видимому, в отсутствии каких-либо сдерживающих начал, аморальности и язычестве; в рецензии Джорджа Сентсбери на "Листья травы", которую Хопкинс прочел, есть также намеки на сексуальную распущенность в греческом, "сократовском" стиле – намеки, по условиям викторианского времени, очень завуалированные, но все же прочитываемые[3].

Что касается "пирога", то речь, как я понимаю, идет о поэтической тайне, о *несказанном* – той подводной части айсберга, которая удерживает на плаву истинно великую поэзию. У Уолта Уитмена нет тайны, он все выбалтывает сразу, съедает свой пирог на ходу; воображению читателя не остается ни крошки.

VI

Вспоминается эпизод, рассказанный Ковентри Патмором, поэтом, близким к прерафаэлитам, с которым Хопкинс познакомился в 1883 го-

1. Английская пословица: "You cannot eat your cake and have it".
2. G. M. Hopkins. The Major Works. P. 256.
3. R. B. Martin. Manley Gerard Hopkins: A Very Private Life. – London, 1991. P. 350–351.

ду и с тех пор состоял в переписке. В 1885 году по приглашению Патмора он провел у него в гостях несколько дней, и хозяин показал ему рукопись своей прозаической книги "Sponsa Dei" ("Невеста Божья") — о связи божественной и плотской любви. Хопкинс просмотрел книгу и сказал серьезно и неодобрительно: "Она разбалтывает тайны". Моральный авторитет гостя был так силен, что автор тут же приговорил свою рукопись к сожжению[1].

Суждения Хопкинса о современной поэзии бескомпромиссны и во многом, как кажется, предвосхищают вкусы символистов. Еще в молодые годы он понял и записал в дневник:

В поэзии нет царской дороги. Миру следовало бы знать, что единственный способ достичь Парнаса — это взлететь к нему. Тем не менее люди вновь и вновь стараются вскарабкаться на эту гору и либо гибнут в пропасти, размахивая флагами, на которых начертано "Excelsior!" — либо, чего-то достигнув, спускаются вниз с толстыми томами и изнуренными лицами. Старое заблуждение неколебимо[2].

Здесь, конечно, камень в огород Генри Лонгфелло. О другом кумире времени, Роберте Браунинге, Хопкинс писал: и автор, и его персонажи похожи на трактирных типов, вскакивающих из-за стола и орущих с набитыми едой ртами, что они этого не потерпят. В другом письме Бриджесу Хопкинс признавал, что в стихах Браунинга попадаются замечательные частности, но в целом они производят на него оскорбительное и отвратительное впечатление[3].

Что касается Альфреда Теннисона, то его портрет висел в студенческой комнате Хопкинса в Оксфорде рядом с портретами Шекспира и Китса. Хопкинс с благодарностью вспоминал, как в юности его околдовала и покорила "Волшебница Шэллот" и многие другие стихотворения Теннисона. Но затем произошло ужасное: он начал "сомневаться" в любимом поэте. В зрелые годы он писал о нем Роберту Бриджесу:

Я иногда поражаюсь этому парадоксу в Теннисоне: его талант выражения — чистейшее золото, но вчитайтесь, и вы обнаружите, что мысли, которые он выражает, банальны и им не хватает благородства (звучит жестоко, но вы, я надеюсь, понимаете, что я имею в виду)[4].

Нечто близкое говорили впоследствии Элиот и Оден, но слова "благородство" они не употребляли. Другие замечания Хопкинса позволяют думать, что речь идет о романтическом эгоизме в духе Байрона: *У Теннисона встречаются раздражающие байроновские нотки в "Леди Клара Вир де Вир", "Локсли-Холле" – и не только* (письмо Р. Диксону 1 декабря 1881 года).

...Есть городок Хейзелмир на границе графств Сарри и Сассекс; в нескольких милях от него в усадьбе Олдворт жил и умер Альфред Теннисон. Недавно я совершил паломничество в те края. В местной церкви мне показали два больших витража, посвященных поэту-лауреату и вос-

1. R. B. Martin. Manley Gerard Hopkins: A Very Private Life. P. 358.
2. Ibid. P. 67.
3. Ibid. P. 338–339.
4. G. M. Hopkins. The Major Works. P. 240.

петому им рыцарю Галааду, искавшему Святой Грааль. Рядом, на третьем витражном окне, изображен Джерард Мэнли Хопкинс. Почему, с какой стати? Оказывается, в последние пять лет жизни Хопкинс несколько раз заезжал в Хейзелмир навестить переселившихся сюда родителей. Местная жительница, прихожанка храма, гордо подчеркнула: "Это — единственное на всю Англию изображение иезуитского священника в протестантской церкви".

Если бы я был верующим, я бы сказал: воистину не люди, но Бог человеческими руками устраивает какую-то ведомую только ему справедливость.

VII

Литературная канонизация Хопкинса проходила отнюдь не гладко и не единодушно. Влиятельный кембриджский критик Фрэнк Ливис в 1932 году назвал его "лучшим поэтом викторианской эпохи, далеко превосходящим всех других в силе и утонченности". Но было немало других голосов, указывавших на искусственность стиля Хопкинса, узость его тем, скудость наследия.

Кто прав? Если говорить о Хопкинсе как о новаторе стиха, оказавшем важное влияние на поэзию XX века, я бы не стал преувеличивать значение этих заслуг. В конце концов, реформа произошла бы так или иначе — она назревала. Усталость от ямбов, стремление расковать английскую просодию привели бы к тем же результатам, даже если бы все стихи Хопкинса сгорели в дублинском камине. Скажу, для примера, еще одну вещь (которая иным покажется ересью): если бы Казимир Малевич не нарисовал свой черный квадрат в 1913 году, его нарисовал бы кто-то другой, и очень скоро. Я в этом уверен. Потому что квадрат этот буквально носился в воздухе.

Ценность поэзии Хопкинса определяется не формой, а ее внутренним напряжением и "красотой". Я заключил это слово в кавычки как одно из ключевых понятий самого автора. Хопкинс считал, что в человеке всё — душа; красота души может проявляться в красоте тела — или в красоте ума — или в красоте сердца. Последнее свойство иногда называют благородством.

Хопкинс писал сонеты, но эти сонеты по своему тону близки к оде — то есть возвышенной, хвалебной песне. Мы знаем оды Пиндара, оды Ломоносова и Державина, оды Китса. Пафос требует простора. Вмещая его в жесткие рамки, сдавливая, словно поршнем, в четырнадцать строк, поэт поступает так же, как природа, спрессовывающая уголь в алмаз.

Необычные, яркие метафоры Хопкинса напоминают о Донне и Герберте. Но с барочными чертами смешаны в нем традиции вордсвортианской школы. Чувствилища его поэзии оголенней, уязвимей, чем у поэтов-метафизиков. Присутствие Божье для Хопкинса — почти нестерпимый жар и свет, разлитые в природе. "Земля заряжена величьем Божьим; встряхни — и полыхнет, как лист фольги..." Эти разряды страсти проходят непрестанно. "Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя..." Восторг поэта — язык того же пламени:

...И огонь, что ветра поддувалом
В груди воспламенен, — жги, о мой командор!

Но в природе и в душе — не один свет; есть и мрак. Вкрадчивый, всепроникающий, во всех своих оттенках и градациях от смутной печали до черноты отчаяния, он тоже каким-то образом входит в замысел вселенной. "Пестрая красота" Божьего мира — не только его бесконечное, рябящее в глазах разнообразие, но и перемешанность света с тьмой, отсюда любимый эпитет Хопкинса dappled — "крапчатый", "пятнистый".

Импрессионизм Хопкинса проявляется и тогда, когда его поэзия не ослепляет своей яркостью и пестротой, а лишь мерцает сквозь сумрак, как в сонетах "Фонарь на дороге" и "Свеча в окне". В первом из них Хопкинс пишет о разлуке с друзьями, уносящими неповторимый свет, уходящими один за другим в ночь все дальше и дальше — "пока их смерть и мрак не поглотят". Тут полезно помнить, что иезуитов нарочно перемещали с места на место, чтобы они не успевали обрасти привязанностями: не дай бог, любовь к друзьям отнимет кусочек любви к Богу.

То, что влечет меня к Хопкинсу — вопреки колоссальной разнице в жизненном и духовном опыте, вопреки расхожим предубеждениям, — некое свечение, исходящее от его стихов, напечатленный на них облик поэта. Снова вспоминается тот сонет о Перселле, который он дважды растолковывал Бриджесу:

Пусть душа, которую я так люблю и которая дышит и проступает повсюду в его сочинениях, будет пощажена Господом вопреки его вере, причтенной к ереси. Ибо не его сладкозвучные ноты, не любовь, не пыл, не священный страх влекут меня, мучат и врезаются в слух, но неповторимый оттиск характера — узнаваемого, как репетиция меня самого. Так птица взлетает, раздвигая веером хвост, и хотя у нее нет намерения поразить нас своей красотой, но лишь желанье достичь своей цели, мы застываем, пораженные, как чудом, узором ее перьев[1].

Пестрая красота

Славен Господь, сотворивший столько пестрых вещей:
Небо синее в пежинах белых; форелей в ручье
С розоватыми родинками вдоль спины; лошадиные масти,
Россыпь конских каштанов в траве; луг, рябой от цветов;
Поле черно-зеленое, сшитое из лоскутов;
Для работ и охот всевозможных орудья и снасти.

Все такое причудное, разное, странное, Боже ты мой!
Все веснушчато-крапчатое вперемешку и одновременно —
Плавно-быстрое, сладко-соленое, с блеском и тьмой,
Что рождает бессменно тот, чья красота неизменна:
Славен, славен Господь.

1. G. M. Hopkins. The Major Works. P. 143, 258.

Сокол

Господу моему Иисусу Христу

Сегодня утром я приметил в вышине
Любимца утра, принца в пышно-розово-рябом камзоле.
Он, трепеща, на нитях солнечных над полем
Царил — он реял, крылья развернув, на воздуха тугой волне,
Ликуя и кружа, как конькобежец, в не-
оглядности небес! И вдруг душа моя, дотоле
Робевшая, как мышь, очнулась поневоле
И страх перед тобой превозмогла вполне.

О гордость, красота, паренье, хищный взор,
Сплотитесь! И огонь, что ветра поддувалом
В груди воспламенен, — жги, о мой командор!

Плуг в трудной целине так вспыхивает яростным металлом.
Угль, гаснущий в золе, хладеющий костер —
Нахлыньте, вспыхните и золотым и алым!

Щеглы *искрят, стрекозы мечут пламя*

Щеглы искрят, стрекозы мечут пламя;
В ущелье — камня раздается крик;
Колокола хотят, чтоб за язык
Тянули их, зовя колоколами;

Всяк просит имени и роли в драме,
Красуясь напоказ и напрямик,
И, как разносчик или зеленщик,
Кричит: вот я! вот мой товар пред вами!

Но тот, на ком особый знак Творца,
Молчит; ему не нужно очевидца,
Чтоб быть собой; он ясен до конца:

Христос играет в нем и веселится.
И проступают вдруг черты Отца
Сквозь дни земные и людские лица.

Гавань
(*Монахиня принимает постриг*)

Мои глаза глядят
В тот край, где зной не жжет,
Где не сечет лица граненый град,
Где Божий крин цветет.

Хочу уйти туда,
Где тихая лазурь
И в гавани зеленая вода
Не помнит бесов бурь.

Фонарь на дороге

Бывает, ночью привлечет наш взгляд
Фонарь, проплывший по дороге мимо,
И думаешь: какого пилигрима
Обет иль долг в такую тьму манят?

Так проплывают люди — целый ряд
Волшебных лиц — безмолвной пантомимой,
Расплескивая свет неповторимый,
Пока их смерть и даль не поглотят.

Смерть или даль их поглощают. Тщетно
Я вглядываюсь в мглу и ветер. С глаз
Долой, из сердца вон. Роптать — запретно.

Христос о них печется каждый час,
Как страж, вослед ступает незаметно —
Их друг, их выкуп, милосердный Спас.

Свеча в окне

Я вижу, проходя, свечу в окне,
Как путник — свет костра в безлюдной чаще;
И спиц кружащихся узор дрожащий
Плывет в глазах, и думается мне:

Кто и какой заботой в тишине
Так долго занят, допоздна не спящий?
Он трудится, конечно, к славе вящей
Всевышнего, с благими наравне.

Вернись к себе. Раздуй огонь усталый.
Свечу затепли в сердце. Холодна
Ночь за окном. Теперь начнем, пожалуй.

Кого учить? Кругом твоя вина.
Ужель не сохранишь ты горстки малой
Той ярой соли, что тебе дана?

Море и жаворонок

Вторгаются в уши два шума с обеих сторон,
Два голоса — справа, где лава морская кипит,
То с ревом штурмуя утесов прибрежных гранит,
То тихо качая луны убывающей сон,
И слева, где с неба несется ликующий звон:
Там жаворонок, как на лебедке, взлетает в зенит
И, петлями песни с себя отрясая, гремит —
Пока, размотавшись, о землю не грянется он.

Два шума, два вечных... О пошлый, пустой городок
У края залива! Погрязнув в никчемных делах,
Как можно не слышать ни волн окликанья, ни птах!

Венцы мирозданья! Над вами еще потолок
Не каплет? Сливайся, о слизь мировая, в поток,
Несущий в начальную бездну расхлябанный прах.

Весна и осень

Маленькой девочке

Маргрит, оттого ль грустна ты,
Что пустеют рощ палаты?
Что ложится, облетая,
Наземь крона золотая?
Ах, с годами заскорузнет
Сердце — в нем ничто не хрустнет,
Если все леса на свете
На клочки развеет ветер —
Лишь заплачут очи эти.
И тогда тебе, малютка,
Станет вдруг не жалко — жутко.
Скорбный разум угадает,
Что за червь его снедает;
И заплачешь ты сильнее,
Маргрит, девочку жалея.

Проснусь – и вижу ту же темноту

Проснусь — и вижу ту же темноту.
О, что за ночь! Какие испытанья
Ты, сердце, выдержало — и скитанья:
Когда ж рассвет? Уже невмоготу

Ждать снова отступившую черту.
Вся жизнь — часы, дни, годы ожиданья;
Как мертвые листки, мои стенанья,
Как письма, посланные в пустоту.

На языке и в горле горечь. Боже!
Сей тленный, потный ком костей и кожи,
Сам — жёлчь своя, и язва, и огонь.

Скисает тесто, если кислы дрожжи;
Проклятие отверженцев все то же:
Знать лишь себя — и собственную вонь.

Падаль

Я не буду, отчаянье, падаль, кормиться тобой,
Ни расшатывать — сам — скреп своих, ни уныло тянуть
И стонать: *Все, сдаюсь, не могу.* Как-нибудь
Да смогу; жизнь моя родилась не рабой.

Для чего ж ты меня тяжкой каменной давишь стопой
Без пощады? И львиную лапу мне ставишь на грудь?
И взираешь зрачком плотоядным, где жидкая муть,
И взметаешь, как прах, и кружишь в буреверти слепой?

Для чего? Чтоб отвеять мякину мою от зерна, чтоб, смирясь,
Целовал я карающий бич, пред которым дрожим,
Чтоб, смеясь, пел хвалу раб ликующий, вдавленный в грязь.

Чью хвалу? Сам не вем. Победил ли меня херувим?
Или я? Или оба? Всю ночь, извиваясь, как язь,
Я, бессильный, боролся впотьмах (Бог мой!) с Богом моим.

Карло Бонини

Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов

Фрагменты книги

Перевод с итальянского Е. Кисловой

Посвящается моему отцу

Глава 1

Залив осужденных

"Вот она. Мы на месте..." Сержант показывает в окно иллюминатора. В двухстах метрах под нами, там, где сходятся лучи отраженного света, появляется полоска коричневой, выжженной солнцем земли. Погруженный в серебристый океан остров. Куба. "Нет. Гуантанамо", – улыбается сержант. Убрав столик, он пристегивает ремень безопасности и произносит: "Забавно, вам не кажется?" Что забавно? "Каким прекрасным может быть ад".

Боинг делает несколько кругов. Наконец его тень вытягивается на узкой асфальтовой полосе Ливарда – самой южной оконечности острова. Поднимаются столбы пыли. Из динамиков раздается легкий треск, и командир корабля произносит свое традиционное обращение, как в любом другом аэропорту любого другого города: "Добро пожаловать на военно-морскую базу США Гуантанамо, остров Куба. Сейчас одиннадцать часов по местному времени. Мы желаем вам приятного пребывания и надеемся снова видеть вас на борту лайнера нашей авиакомпании..."

Группка мелких служащих выстраивается в ряд перед транспортным самолетом, который каждую среду привозит в залив все самое необходимое. Он доставляет еду, воду, товары и почту. Раз в неделю, точно по расписанию, на которое может повлиять только тропический шторм, самолет выполняет рейс: Джексонвиль–Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико–Гуантанамо, Гуантанамо–Пуэрто-Рико, Пуэрто-Рико – Джексонвиль. Наши сумки выгружают на мягкий тартан у края посадочной полосы. Под палящим солнцем немецкая овчарка с выпирающими ребрами обнюхивает их содержимое. Трусы, фотопленка, зубная паста, футболки, пожелтевшие газетные и журнальные вырезки. Взмокший от пота

© 2004 Giulio Einaudi editore s. p. a., Torino
© Е. Кислова. Перевод, 2006

морской пехотинец резко выкрикивает инструкции. "Сначала багаж, потом пассажиры..." Можно выкурить сигарету? "Не здесь. Не сейчас".

С 11 января 2002 года свободные люди прилетают в Гуантанамо при свете дня — по утрам. А заключенные в цепях — под покровом ночи. Мухаммад Наим Фарук, просидевший здесь взаперти несколько месяцев, сегодня не помнит, а может, никогда и не знал, в какой день его привезли сюда. "Меня схватили в Афганистане, потом нам сказали, что собираются переправить нас в другое место, но мы не должны были знать куда. Мне кажется, это было где-то в середине 2002 года. Нас посадили на самолет. Мне на голову накинули капюшон и связали руки за спиной. Наручники были так сильно затянуты, что через несколько часов запястья начали кровоточить. Я помню, что во время перелета многие из моих товарищей плакали и кричали, как сумасшедшие"[1]. Некоторым, например Алифу Хану, завернули рукав: "Они вкололи мне какой-то препарат. Я почувствовал, как что-то растекается у меня по венам, остаток пути я провел в бессознательном состоянии"[2].

Достоверность отчетов о прибывших и освобожденных заключенных сомнительна. Американское командование периодически их обновляет и публикует. Осенью 2003 года в Гуантанамо было шестьсот заключенных сорока двух национальностей, говорящих на девятнадцати языках. Количеству узников и, соответственно, количеству клеток в лагере "Дельта" суждено было увеличиться. Людей сюда доставляют с Востока. В администрации аккуратно записываются все данные: номер рейса, дата прибытия, число заключенных на борту.

На стоянке аэропорта припаркован белый свежевыкрашенный автобус. Это старый школьный автобус округлой формы — представитель несуществующей уже Америки. Какая-нибудь провинциальная администрация пожертвовала его на Войну с терроризмом, а может, и сами военные реквизировали его для своих нужд. Покрывающие корпус автобуса пузыри вздувшейся краски — свидетельство бесплодной борьбы с раскаленным воздухом, который терзает залив. Всегда. Двенадцать месяцев в году. Даже дуновенье ветра здесь похоже на проклятье. Липкий воздух высушивает слизистую, убивает запахи и придает цветам молочно-белый оттенок.

Из автобуса выходит высокий офицер лет сорока. Бледно-розовое лицо усыпано веснушками. Ни походка, ни жесты не выдают в нем военного. Форма узковата ему в бедрах. От него сильно пахнет солнцезащитным кремом. Волосы подстрижены "под ноль", но по цвету щетины можно судить об их натуральном морковном оттенке. "Майкл Мосс, восьмая пехотная дивизия, очень приятно. Добро пожаловать на последний аванпост Соединенных Штатов Америки на коммунистической территории и в наш дом — JTF 160. Вы часто будете слышать эту аббревиатуру. Joint Task Force — Объединенная оперативная группа Гуантанамо номер 160. Это мы занимаемся террористами, ради которых вы приехали. А сейчас проследуйте, пожалуйста, за мной в автобус. Здесь невозможно находиться". Кажется, дверные уплотнители служат исправно. А может быть, он просто включил вентилятор. "'Макдоналдс' и кондиционеры — вот то немногое, что мы привезли с собой из Амери-

1. Свидетельство получено "Международной амнистией" в городе Зурмат 5 августа 2003 г. и приложено к отчету 51/114/2003 от 19 августа 2003 г. (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. автора.*)
2. Свидетельство получено "Международной амнистией" в Кабуле в июле 2003 г.

ки", — шутит Мосс. Даже в лагерь "Дельта"? "Что же вы сразу с вопросами? Не волнуйтесь, увидите все своими глазами. Если можно, я дам вам несколько советов. Постоянно пейте. Лучше воду, если есть такая возможность. Даже если тошнит. Намажьтесь солнцезащитным кремом, покрывайте голову и старайтесь никогда не снимать солнечных очков. Особенно в лагере "Дельта". Он весь стальной — там очень сильное отражение света. И последнее. Мы с вами должны все время держаться вместе. А теперь поехали". Куда? "На ту сторону залива. В Уиндуорд. Увидите, куда попали. На Востоке — коммунисты Кастро, на Западе — несколько сотен террористов "Аль-Каиды". А посередине — мы..."

Паром, на котором мы пересекаем залив, — военный броненосец с молчаливым экипажем на борту. У штурвала — обгоревший на солнце филиппинец. В отгороженном решеткой отсеке сидят безмолвные рабочие, по виду азиаты, в грязной мешковатой одежде. Эти люди — не солдаты, не друзья и не родственники солдат. Они работают на армию. Каменщики, маляры, чернорабочие, нанятые американской компанией, получившей подряд на строительство лагеря "Дельта". Несколько месяцев они работают на острове, а потом возвращаются домой. Роют выжженную солнцем землю, огораживают территорию колючей проволокой, проводят канализацию, электричество, телефон. У них и у будущих узников одинаковый цвет кожи — они родились в одном полушарии. Но для рабочих Война окрашена в зеленый цвет стодолларовой банкноты. Целое состояние для тех мест, откуда эти люди родом.

Теперь, когда паром за швартовы притягивают к берегу, а дизельные моторы, издав последние хрипы, замолкают, вода в заливе снова становится кристально чистой, и сквозь нее просвечивает усеянное мелкими, безупречными по форме камешками дно. На берегу двухметровая игуана неподвижно следит за разгрузкой. С фальшборта лейтенант Мосс в свою очередь следит за рептилией. "По сути это равнодушие может показаться любопытным". Чье равнодушие? "Природы. Вода, игуана, тысяча окружающих нас кактусов — они будто не замечают того, что происходит вокруг. Они всегда были и всегда останутся такими. Эта война закончится, и они переживут ее". Вы всегда были военным? "Я в запасе. До 11 сентября работал в начальной школе в Виргинии. Через несколько месяцев, когда закончится срок моей службы, вернусь обратно. Домой. Я обожаю работать с детьми. И мне нравится преподавать. Кстати, раз уж вы итальянец, разрешаю вам пойти и поклониться вон тому дереву на берегу. На самом деле открыли это место не американцы..."

Каменная стела — свидетельство того, что зачастую История определяет судьбу места. У того дерева в ночь на 30 апреля 1494 года ступила на эту землю нога Христофора Колумба во время его второго путешествия через Атлантику. Как будто дурное предчувствие гнало Колумба из Гуантанамо. Его корабли подняли якоря на следующий же день в полной уверенности, что ничего здесь не найдут. Ни золота, ни еды, ни воды. Он окрестил эту землю Puerto Grande[1] — название затерялось во времени, после многочисленных пиратских сражений, а также Испано-американской войны 1898 года.

Оставив пирс позади, школьный автобус выехал на Киттери-роуд — растянувшуюся на пять миль асфальтовую дорогу, которая рассекает южную часть перешейка пополам, отделяя береговую линию лагеря "Дель-

1. Большая гавань (*исп.*).

та" от помещений военно-морской базы. Позади нас океан превратился в тонкую голубую полоску. Кряхтя и кашляя на ходу, наша реликвия на колесах движется в сторону ощетинившихся кактусами холмов, которые появляются на горизонте каждый раз, когда мы достигаем пика подъема.

Лейтенант Мосс показывает на этот колючий барьер – будто за ним притаился всегда готовый к нападению враг: "Кастро... его подарок". В этих краях говорят (и только Бог знает, правдива ли эта история и не является ли она всего лишь очередной легендой, придуманной "солдатским радио"), что колючий ковер, покрывающий сорок пять квадратных миль американской земли, его рук дело. Не сумев заполучить обратно этот кусочек острова, он засадил его кактусами. Кажется, Мосса эта мысль развеселила: "Видите тот хребет на северо-востоке? Посмотрите за пределы ничейной земли, где торчат вышки кубинской границы[1]. Кастро посадил там тысячи кактусов, а ветер разнес их пыльцу по эту сторону холма. И вот результат. Конечно, если учесть, сколько это место стоит..."

Четыре тысячи восемьдесят пять долларов в год. В пятнадцать раз меньше, чем арендная плата за трехкомнатную квартиру на Манхэттене. Правительство Соединенных Штатов платит эти деньги Гаване с сентября 1903 года, чтобы держать в непосредственной близости сначала от испанской, а потом от коммунистической территории, у берегов Флориды, свой четырехсоттысячный военно-морской флот. Этот контракт sine die[2] не удалось разорвать даже кубинской революции (которая, кстати, отказывается принимать арендную плату). Договор пережил Карибский кризис в октябре 1962 года, Войну за воду в 1964-м, наплыв беженцев из Гаити и Кубы в 1991-м[3].

Здесь стоят две стены. Первая – стена холодной войны и кубинского коммунизма, с колючей проволокой и старыми противопехотными минами. Вторая – стена Войны с терроризмом, скрывающая стальные клетки лагеря. Чтобы расторгнуть или пересмотреть соглашение 1903 года, обе стороны, Вашингтон и Гавана, должны "добровольно" отказаться от взаимных обязательств. Этого никогда не произойдет.

Киттери-роуд сворачивает в сторону, и неожиданно, на последнем подъеме, вереница кактусов раздваивается. С правой стороны проезжей части стоит покрытый морской солью железный указатель "Caribbean circle"[4]. Десяток зеленых проржавевших строительных вагончиков. Возможно, кто-то пытался расчистить площадку вокруг них под поле для гольфа, но с трудом верится, что мячи смогли бы преодолеть все неровности почвы и другие препятствия в виде высохшего кустарника и кактусов. Это похоже на попытку воплотить мечту в реальность. Единственный искусственный остров развлечений среди пяти квадратных миль пустыни, которые отделяют базу Уиндуорда от лагеря

1. Пограничная линия между Гуантанамо и Кубой протянулась на 17,4 мили к востоку от залива. Граница строго охраняется военными с обеих сторон, а с кубинской – еще и заминирована в зоне "ничейной земли".
2. Зд.: бессрочный (*лат.*).
3. Дипломатические отношения между Кубой и США были прерваны в 1961 г. В октябре 1962 г. во время Карибского кризиса американский президент Джон Фицджеральд Кеннеди приказал эвакуировать с базы всех гражданских лиц. 4 февраля 1964 г. Кастро приказал прекратить ежедневное снабжение базы пресной водой из глубины острова. С тех пор американские войска сами доставляют, опресняют и распределяют 14 миллионов литров воды и обеспечивают себя 800 КВт электроэнергии в день. В 1991 г. на Гуантанамо обрушилась волна беженцев с Гаити и Кубы, мечтающих перебраться в США, в сентябре 1994 г. эта цифра выросла до 45 000. В следующие два года количество беженцев постоянно росло. Последний из них покинул базу 31 января 1996 г.
4. Карибский круг (*англ.*).

"Дельта". "Отличное место, чтобы привести свою голову в порядок, когда выходишь оттуда..." – комментирует Мосс.

Море исчезло. За нашей спиной уже не видно голубой полосы, мы перестали чувствовать его близость, отъехав всего на две мили. Нам открывается мертвая земля, люди и предметы плавятся на глазах под палящим солнцем. Школьный автобус останавливается у сверкающего посреди дороги блокпоста. Из ржавой караульной будки выглядывают трое военных, вооруженные М-16, и просят разрешения проверить автобус.

Это последний рубеж, отделяющий землю свободных людей от лагеря "Дельта". Киттери-роуд – единственная дорога, что ведет на восток – к Freedom Heights, Холмам свободы, и это заграждение сохранило воспоминание о том, каким Гуантанамо был в первые четыре месяца 2002 года, когда лагерь "Дельта" существовал только на бумаге и приходилось довольствоваться лагерем "X-ray" – "Х- лучи". Еще одна лингвистическая абстракция, пришедшая из военного жаргона. Как и все здесь. Ч – как Чарли, Д – как Дельта, З – как Зулу[1], Х – как Х-лучи, чаша стыда. Когда Америка в первый раз показала всему миру, какое лицо может быть у мести. Когда взгляд объектива в январе 2002 года навсегда запечатлел на пленке образы скрюченных, запертых в стальные клетки узников в оранжевых робах[2].

Сегодня сия чаша скрыта от взгляда всех тех, кто не носит военную форму. Как будто закрыть доступ значит стереть из памяти. Теперь это снова пыльная равнина, заваленная колючей проволокой и ржавым строительным мусором. Лейтенант Мосс не умирает от желания говорить, а может, он сомневается, стоит ли ворошить прошлое: "Я видел в регистрационном журнале, что вы были здесь тогда. Когда лагерь только строился. Наверно, интересный был опыт?" Он был интересным для всех, кто в марте 2002 года, как и я, принял участие в одном из сафари, которые американское правительство периодически устраивает для международной прессы, показывая всему миру, что условия содержания узников в лагере соответствуют международным нормам. Именно так: сафари.

Нас посадили на "форд-транзит" с затемненными стеклами. Сквозь такие стекла видно только с одной стороны – изнутри. И "форд" три раза подряд объехал по периметру каменистый лагерь со скоростью человеческого шага – под наблюдением круживших в воздухе вертолетов. Сафари окрестили Windshield tour – Тур ветрового стекла. Я увидел затянутые колючей проволокой и окруженные наблюдательными вышками крошечные клетки, в которых под лучами палящего солнца и прожекторов скорчились человеческие существа. Клетки без воды и канализации были сделаны из дерева и железа и закрыты с одной стороны металлическими гофрированными листами. Я увидел в углах клеток ночные горшки (триста штук – по одному на каждого заключенного) – именно там, на виду у всех остальных узникам приходилось справлять нужду. При приближении "форда" головы заключенных, за секунду до того безвольно опущенные на грудь, резко поднялись. Точно так же ре-

1. Имеется в виду английский фонетический алфавит: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, Indigo, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform,Victor, Whiskey, Xray, Yankee, Zulu. (*Прим. перев.*)

2. Построенный в начале девяностых для временного пристанища кубинских беженцев, лагерь "X-ray" стал первым местом заключения террористов и использовался с 6 января по 29 апреля 2002 г., когда последнего заключенного перевели в лагерь "Дельта". За это время в лагере побывали четыреста заключенных, и только один из них был отпущен на свободу.

агируют на звуки животные. Вдруг один из заключенных начал биться о клетку, и я больше не мог отвести от него взгляда. Он засунул одну руку в рот, а ладонью другой махал из стороны в сторону, пытаясь изобразить "нет". Потом последовательными движениями, очевидно давно и детально продуманными, он поднял напряженные руки на уровень плеч. Растопыренные пальцы показывали число. Десять. Нет, четырнадцать. Четырнадцать заключенных объявили голодовку. Но такое больше не повторится. И в лагере "Дельта" я понял почему.

Проверка автобуса закончена, шлагбаум поднимается. Мосс вытирает со лба пот тыльной стороной ладони. Он видит, что я сосредоточенно о чем-то думаю. "Итак, вы готовы? Нас ждут в лагере".

Глава 3
Внутри

"Салли", или "Салли-8", – так называется дверь, ведущая в стальной ад. Попав внутрь, мы видим перед собой еще один забор с такой же дверью. Следующая дверь не растворится, пока не захлопнется предыдущая. И так на протяжении примерно десяти метров, как в термитнике, где виден вход, но не выход. На привинченной к забору рядом со входом табличке написаны слова, откровенно противоречащие тому, что предстает взглядам как победителей, так и побежденных, когда замок "Салли-8" защелкивается у них за спиной: "Лагерь 'Дельта' – честь защищать *свободу*". Эту мантру гордо повторяют на каждом углу, пытаясь оправдать причины, побудившие признать такое наказание "необходимым", а значит – "правильным". Условия содержания заключенных далеки от утвержденных Третьей Женевской конвенцией, потому что те, кто попадает в лагерь, не военнопленные, а enemy combatant – воюющий противник. На них можно испробовать новую практику заключения без обвинительного приговора. Единственная цель – утвердить волю тюремщиков, непостижимую для всех остальных.

Вытянувшись перед "Салли", то есть перед саркофагом (его истинные размеры и приплюснутый профиль открываются сейчас перед нашими глазами), лейтенант Мосс поучительно комментирует, как если бы мы входили в храм: "Мы называем его the wire – проволока. Думаю, не сложно понять почему". Нет, совсем не сложно. Прикрепленные к высокому, примерно десятиметровому, забору километры колючей проволоки тянутся по периметру лагеря, обвивая все вокруг сверкающей на солнце бесконечной спиралью. Проволока мешает разглядеть наблюдательные вышки и препятствует свободному передвижению по территории лагеря. Снизу вышки кажутся полыми засохшими стволами, а колючий железный вьюнок, the wire, выделяется на них подобно венам. Повсюду натыканы фотоэлементы, над башнями развеваются звездно-полосатые флаги, башни населяют охранники-призраки, чьи лица невозможно разглядеть, но чье присутствие выдают торчащие стволы винтовок. Слегка покачивая отполированными М-16, охранники направляют их то на внутренний двор лагеря, то на приграничные территории. Ритмичная смена цели столь же импульсивна, сколь предсказуемо рутинна.

Напротив "Салли" стоит лавка, похожая на скамейку бельведера. Что за абсурдная мысль поставить в самом центре пустыни эту скамей-

ку, обращенную к обнесенному забором саркофагу? А вот и ответ. Фотографировать лагерь "Дельта" можно только со скамейки. Мосс полагает, что должен объяснить как-то это "ограничение": "Вы, разумеется, свободны замечать все, что вам кажется важным. Но одно дело, если это фиксируют ваши глаза, и совсем другое — фотоаппарат. Знаете, почему здесь стоит скамейка? Из соображений секретности".

У того, кто наблюдает за лагерем снаружи, обзор не ограничен, но в то же время много ему увидеть не удастся. Десятиметровый забор из сетки закрыт еще и плотной зеленой завесой, сквозь которую невозможно ничего разглядеть оттуда, где нет наблюдательных вышек и колючей проволоки. Завеса закрывает обзор тем, кто снаружи. И тем, кто внутри.

Около "Салли" стоят двое военных с разными биографиями и разным цветом кожи, но одной профессии — они отвечают за режим и безопасность лагеря. Полковник Адольф Маккуин — черный, майор Джон ван Натта — белый. Первому на вид под сорок: подтянутая фигура, тонкие усики. Второму — около пятидесяти: светлые глаза, тучная фигура, медленные движения. "Натта", — представляется он, и на секунду тебе кажется, что у него итальянские корни, ты спрашиваешь, но на вопрос получаешь отрицательный ответ: "Нет, что вы. Просто частичка "ван" выпала из моей фамилии, когда меня перевели сюда. Ее никто не произносит, так что у меня остался только кусок фамилии, унаследованной, насколько я знаю, от какого-то голландского предка". — "Не слушайте его, — смеется Маккуин, — здесь никто не знает фамилии майора, все зовут его просто Доктором". Этот комментарий пробудил мое любопытство. Доктором? Почему? "Майор ван Натта защитил диссертацию по теории тюремного заключения... Он провел свою жизнь по ту сторону колючей проволоки". В замечании полковника Маккуина, возможно, чувствуются насмешливые нотки, но совсем легкие. Все-таки ван Натта защитил диссертацию. И по ту сторону колючей проволоки он был на гражданской службе, прежде чем его, офицера запаса, определили сюда, в залив. Он был начальником Miami Country Correctional Facility — исправительной колонии повышенной секретности на севере Индианаполиса.

Замок щелкает, и "Салли" тут же открывается, раздается стук каблуков — это караульные отдают честь и приветствуют двух офицеров и гостя. Ван Натта проходит первым и предостерегающе показывает на колючую проволоку. Под напряжением? "Нет, самая обыкновенная проволока. Но все равно опасна. Хотя лично я, честно говоря, у себя дома в Америке пустил по ней ток". Мы попадаем на большую площадку, засыпанную ослепительно белым, очень мелким и пыльным, нагревшимся на солнце гравием. Ван Натта истекает потом и почему-то продолжает рассказывать о себе. О службе в лагере, о своем хобби, которое многое о нем говорит: "Я увлекаюсь экзотическими птицами. У меня около пятидесяти пар в двух больших вольерах. Когда не работаю, я расслабляюсь, наблюдая за ними... А вы любите птиц?"

Мы отошли от "Салли" шагов на пятьдесят. Не больше. Но казалось, что мы на километры углубились в какую-то неведомую землю, где течение времени остановилось. Позади нас остались лежащие за пределами лагеря территории (до них практически можно дотянуться рукой), но тяжелая зеленая завеса из нейлона не пропускает идущие оттуда звуки и запахи. Она отменяет сам факт их существования. Ничто не может проникнуть сквозь завесу, даже ветер, из-за нее море, находящееся прямо напротив нас, превратилось в абсолютную абстракцию.

Полковник Маккуин неожиданно останавливается. Он протягивает руку, указывая на постройки слева от него, а затем на те, что справа. Как будто желая обнять одним-единственным жестом все то, что мы сейчас видим. Восемнадцать стальных параллелепипедов, со всех четырех сторон открытых для обозрения, с толстым слоем железобетона в качестве крыши. В каждом блоке по обе стороны коридора расположено сорок восемь клеток. В каждой клетке содержится один заключенный. Шесть блоков образуют крыло. Первое, Второе, Третье — номера присваивались крыльям без особых размышлений — по мере сооружения: 28 апреля 2002 года (Первое), 28 мая 2002 года (Второе), 22 октября 2002 года (Третье). Крылья абсолютно изолированы друг от друга: из одного крыла невозможно увидеть или услышать то, что происходит в другом. Согласно правилам, изоляция должна быть "максимальной". Мы идем налево в Первое крыло — там есть несколько свободных клеток, туда ван Натта проведет нас, чтобы мы смогли воочию убедиться в справедливости следующего утверждения полковника Маккуина: "Условия содержания заключенных полностью соответствуют стандартам гуманного обращения".

Еще какое-то время мы идем по гравиевой дорожке, проложенной подобно коридору между стальными блоками. Позади остаются четыре сооружения без окон из железобетона. Внутрь каждого из них ведет только одна узкая металлическая дверь, укрепленная поперечными стальными балками. Склады? Военные восприняли мой вопрос (и совершенно справедливо) как проявление наивности. Хотя в данных обстоятельствах он мог бы прозвучать провокационно. "По-вашему, похоже на склады? Это комнаты для допроса". Без света и воздуха? "Посмотрите внимательнее на крышу: помещения оборудованы кондиционерами. Свет тоже есть, только электрический. Круглосуточно". В таких условиях заключенный не может отличить дня от ночи и понять, сколько просидел на допросе: час, два, три или девять, что тоже случается. Ничего из того, что говорится или выкрикивается внутри, не отзывается даже слабым эхом в пустоте, отделяющей камеры от помещений для допроса. Их намеренно разместили в некотором отдалении, чтобы никто не знал и не видел, кто сюда входит и кто отсюда выходит. Когда, в каком состоянии и как часто.

Происходящее за этими стенами — дело избранных. Они называются командой "Тигры": это сотрудники ЦРУ и секретного полицейского управления, ФБР и Министерства юстиции, Государственного департамента и Ведомства по делам гражданства и эмиграции. Вы можете встретить этих людей самым обыкновенным утром, бодро вылезающими из внедорожника с затемненными стеклами, с обычными проездными билетами в руках, которыми пользуются и все остальные спешащие на работу пассажиры. Их "неформальные допросы" — триста в неделю — окутывает завеса тайны, как и методы, которыми они во время допросов пользуются. Скудные сведения о допросах передают нам те, кто был им подвергнут. Рассказывает Мухаммад Наим Фарук: "Меня допрашивали в день прибытия в Гуантанамо. Потом, на протяжении трех месяцев, — тишина. Затем вдруг, на четвертом месяце, они решили меня снова выслушать. Они начали таскать меня в камеру допросов примерно раз в месяц (календарей у нас, разумеется, не было). Допросы длились часами. Не знаю точно сколько. Мне всегда задавали одни и те же вопросы. И мои ответы тоже всегда были одинаковыми. В конце каждого допроса мне обещали, что следующего не будет. Чтобы я расслабил-

ся. И так продолжалось месяцами. И месяцами, возвращаясь в камеру, я понимал, что они не сдержат своего слова... Что они просто хотели потрепать мне нервы". Мухаммад Тахир, афганец, как и Фарук, помнит только очертания каземата: "Меня допрашивали восемь, возможно, десять месяцев подряд. Но с тех пор, как я вернулся домой, я ничего не могу вспомнить о проведенных там днях..."

До Первого крыла осталось несколько шагов, у майора ван Натты есть одно — он подчеркивает — требование. Легче всего запомнить единственное и безусловное правило, при несоблюдении которого меня сразу же выдворят из лагеря и конфискуют все аудио-, видео- и фотоматериалы. "Вы не имеете права никоим образом общаться с заключенными. Вам не следует отвечать на их вопросы, как бы они ни пытались привлечь ваше внимание. Если это произойдет, отвернитесь в другую сторону. Знаете, они очень хитрые. Они поняли, что периодически приезжают журналисты, и пытаются передать им сообщения. Вы можете мне не поверить, но многие из них прекрасно говорят по-английски. А теперь прошу вас. Добро пожаловать..."

Заживо похороненные в Первом крыле должны были слышать слова майора. Или по крайней мере догадаться о его присутствии, уловив звуки, не похожие на ритмичные шаги охраны. Один из несчастных, чьи очертания еле-еле различаются в клетке, издает стон, в котором смешались одновременно шутка и мольба: "Eeeeenglish... Eeeenglish... Eeeenglish..." Монотонное пение подхватывают другие голоса, с небольшим интервалом раздаются слова: "Eeeeenglish... Eeeenglish... Eeeenglish..." Два привидения в оранжевой униформе поднимаются из углов камер, где они сидели в полудреме. У них смуглая кожа и мелкие черты лица. Тупые улыбки обнажают белоснежные зубы. Они прижимаются лицами к стальной сетке, которая отпечатывается у них на лбах. Они просовывают маленькие пальцы в узкие, размером с осиное гнездо, отверстия сетки и принимаются шевелить указательным и средним пальцами, как в детской игре "ку-ку", возможно, это приветствие или элементарное движение жизни. Майор ван Натта ускоряет шаг и жестом приказывает охране прекратить представление. "Прошу, пожалуйста, проходите вперед. Будьте любезны, не вступайте в контакт с заключенными".

В воздухе чувствуется тяжелый запах дезинфицирующих средств и тошнотворной смеси пота и мочи. Система лагерной вентиляции направляет потоки вонючего воздуха вверх, где огромные лопасти гигантских вентиляторов выгоняют его на улицу через многочисленные отверстия в крыше саркофага. Ван Натта клянется, что благодаря этим отверстиям в клетки попадает чудотворный морской воздух, принося прохладу и свежесть. Я бы поверил, если бы, когда майор стоял прямо под одной из лопастей, по его лицу не заструился, стекая на форму, пот. И если бы я не знал, что крылья лагеря "Дельта" — это единственные помещения в заливе, не оборудованные кондиционерами.

Еще один тяжелый щелчок замка. Еще одна волна раскаленного воздуха. Мне предложили войти в свободную клетку Первого крыла: цементный пол, пара шагов сюда — три туда. Метр восемьдесят на два с половиной, плюс-минус сантиметр. В клетке нет ни одной сплошной стены — каждое движение, любой жест, выдающий намерение или желание заключенного, должен быть виден охране. Клетка выходит в разделяющий блок коридор. Она первая в ряду из двенадцати таких же. Приваренная к стене кровать (металлическая сетка с матрасом) по вы-

соте делит левую стену камеры пополам. Длина кровати равна длине клетки, а ширина составляет семьдесят сантиметров, значит, свободного места остается настолько мало, что передвижение поперек камеры становится практически невозможным. Заключенный вынужден проводить все свое время сидя или лежа: на спине и на боку. Ночью и днем. Уставившись в потолок и наслаждаясь пятьюдесятью сантиметрами свободного пространства над изголовьем кровати. Кроме кровати в клетке есть туалет — стальное отверстие в полу — и стальная раковина для омовения перед молитвой, из крана непрерывно льется тонкая струйка соленой воды. Правила запрещают какие-либо перегородки. Даже привязывать к сетке лоскуты напротив туалета. Заключенные в оранжевой униформе должны справлять нужду на корточках у всех на виду. А если им захочется уединиться, они всегда могут опустить голову на колени и закрыть глаза. Есть только один способ представить себе, что на вас никто не смотрит, — не смотреть самому.

К металлической сетке привязан Коран. На полу лежит коврик для молитвы: нарисованная черной краской стрела указывает направление на Мекку и расстояние до нее — 12 793 километра. Пять раз в день, следуя раздающемуся из громкоговорителя призыву лагерного муэдзина в военной форме, узники становятся на колени и молятся, повернувшись в ту сторону лицом.

В свободном углу клетки в безупречном порядке расположены: пара резиновых башмаков, два полотенца, два одеяла, подушка, пара оранжевых шорт, две белые футболки, головной убор, масло для молитвы, мыло, короткая зубная щетка с круглой ручкой из очень прочного материала, чтобы ни у кого не возникло желания выстругать из нее оружие. А также игры. Да, игры для двух партнеров. Шашки и шахматы. Как можно в одиночестве играть во что-либо кроме пасьянса? Этот вопрос на мгновение поколебал симпатию майора ко мне. "На самом деле... в шахматы можно играть и одному. А потом, у них есть соседи в клетках". Допустим, что сквозь крошечные отверстия сетки можно разглядеть шахматную доску. Но просунуть ладонь, не то что всю руку, — совершенно невозможно. Остается единственное удовольствие — чтение. У заключенных свободный доступ к книгам. Когда тележка на двух резиновых колесах проезжает по коридорам блоков, заключенные, показывая на обложку одной из сваленных в кучу книг, выбирают себе чтение. "Мы заказали новых книг на шестьдесят пять тысяч долларов, — говорит ван Натта, — спрос на книги невероятно высок, хотя нам трудно найти столько книг на арабском". По крайней мере таких, которые одобрила военная цензура. Сказки, древние легенды о чудесной любви, героические поэмы.

Теоретически клетка обращена к морю. С кровати должно быть видно, как в четырехстах метрах отсюда волны бьются о белый песок берега "Радио Рэндж". Должно быть. Потому что море здесь совсем не чувствуется. Зеленая нейлоновая завеса закрывает все. Море, берег, небо. Это двойное наказание убивает малейшую мысль о возможном существовании другого места и мечту о нем. Ван Натта неожиданно бойко принимается за объяснения, как будто разговор с иностранным журналистом приобрел вдруг для него лично большое значение: "Это и не наказание вовсе. Поверьте мне. Это всего лишь способ оградить заключенных". От чего? "От любопытных взоров. Потому что с моря могут приплыть корабли, не имеющие права находиться в водах залива. Кто-нибудь попробует с помощью телеобъективов сфотографировать заключенных. Вы

же прекрасно знаете, что военнопленных нельзя выставлять на всеобщее обозрение".

Заключенные выходят из клетки всего на девяносто минут в неделю. Три раза по тридцать минут с интервалом в два дня. Это минимум физических упражнений, без которого у заключенных начнется анкилоз конечностей и атрофия мышц. Узники в оранжевой униформе проводят эти минуты, впрочем, как и все остальное время, в одиночестве. Но, прежде чем выйти на прогулку, они должны надеть "три вещи" — это своего рода поводок, но поводок для человека. К прочным кольцам на кожаном поясе крючками крепятся двухметровые цепи, соединяющие запястья с лодыжками. Эта конструкция препятствует не только бегу, но и быстрому шагу, а также любому резкому движению и повороту туловища. "Три вещи" надевают на тех, кто получает поощрение — тридцать минут "на воздухе" — или ложится в лазарет. А также на тех, кто идет на допрос или переезжает в меньшую клетку за нарушение правил.

"Воздух" — это награда для ног, а не для головы. Потому что из одной клетки заключенного приводят в другую — точно такую же, только в шесть раз большую. Цементный пол, стальная сетка с четырех сторон. Клетка совершенно пуста, если не считать сдутого футбольного мяча: его можно пинать сколько влезет, но практически невозможно поднять, как будто он сделан из свинца ("Они отлично играют в футбол", — комментирует ван Натта). Итак, здесь дозволено только ходить или, если удастся, бегать. Взаперти и в одиночестве, как и все остальное время. Единственная отрада: отсюда видно небо, и после "воздуха" будет "вода".

Именно так: тридцать минут "воздуха" означают и десять минут "воды". Воды из душа. Здесь по два душа на каждые двадцать четыре клетки. Они находятся в конце крыла, у входа в прогулочные клетки. И души тоже расположены у всех на виду. Возле них прикованы к стене два умывальника, над ними — по маленькому зеркалу специально для тех, кому три раза в неделю захочется смотреть на себя в надежде узнать свое лицо. Или для тех немногих, кто решится побриться хитроумной пластиковой бритвой с закругленным лезвием, которое невозможно извлечь из бритвы.

Воздух и вода — основы жизни. В лагере "Дельта" — это вознаграждение за хорошее поведение. Ось, вокруг которой вращается система поощрений и наказаний, — плод научных исследований в области содержания заключенных. Или, что гораздо банальнее, разновидность правящей в нашей сфере автострахования системы "bonus malus"[1]. О "системе" майор ван Натта рассказывает с гордостью и объясняет механизм ее действия таким тоном, как будто говорит с новоприбывшим привидением в оранжевой униформе. "Существует четыре уровня заключения. На первом — наибольшее количество преимуществ: три раза в неделю по тридцать минут прогулки, а с душем и бритьем — по сорок. На втором уровне прогулки сокращаются до десяти минут. На третьем — до пяти. На четвертом уровне заключенный теряет право на одну из трех прогулок, а значит и на душ, продолжительность оставшихся двух такая же, как и на третьем уровне". Хорошо, все понятно. А вот и "bonus malus": "Все новые заключенные попадают на третий уровень. Если в течение первых тридцати дней они не допускают нарушений, то поднимаются на следующий уровень — второй. Еще через месяц хорошего поведения — на первый.

1. Система скидок к базисной тарифной ставке, которая применяется в страховании. (*Прим. перев.*)

Но если во время тридцати дней на втором уровне заключенный нарушает хотя бы одно правило, то падает сразу на четвертый. Однако четвертый уровень еще не означает перевода в одиночную камеру для нарушителей в 'Индийском блоке'". В "Индийском блоке" стоят такие же клетки, как везде, только стены их сделаны не из сетки, а из сплошных стальных листов, не пропускающих ни дневного света, ни ночной темноты. Они были созданы специально для того, чтобы подавить способность к мыслительной деятельности и сломить остатки сопротивления. Гладкая и холодная, как морг, коробка освещена электрическим светом двадцать четыре часа в сутки. "Достаточно соблюдать правила, чтобы наслаждаться всеми преимуществами первого уровня заключения и не попадать в изолятор. Правила просты для тех, кто их выполняет. Не отказываться от еды. Не кричать. Не оскорблять охрану. Не пытаться напасть на надзирателей и не выказывать желания сделать это. Не выплескивать на них воду и телесные выделения: мочу, кал. Не плеваться".

Соблюдать правила, возможно, было бы легче, если бы привидения в клетках и охранники в форме имели имена. Они могли бы общаться между собой. Здороваться по утрам, обмениваться банальностями, которые скрашивали бы заключенным тяжесть заточения. Но здесь это невозможно. Потому что слово — инстинктивное выражение человеческой природы — не разменная монета, а едва бьющий источник, и припадать к нему надзиратели имеют право только для отдачи приказаний, а заключенные — лишь для демонстрации повиновения.

У узников нет имен. Только номера, совпадающие с номерами клеток. У надзирателей тоже нет имен. Правила безопасности, действующие в лагере, предписывают им заклеивать скотчем полоски с именами на кителе и берете. Во всех остальных армиях мира как раз эти полоски и дают безликому человеку в форме имя. Крылья лагеря — это Вавилонская башня, где на сорока двух языках и семнадцати диалектах раздаются обрывки рваной, грубой речи, когда хотя бы парой слов пытаются обменяться незнакомые между собой узники, которым никогда не суждено познакомиться и которые вынуждены делить друг с другом время и страх. "Четвертый! Что ты делаешь?", "Семнадцатый! Почему кричишь?", "Тридцать первый! Ты разве не знаешь, что должен есть что дают?"

Заключенные снова обретают имена, оказавшись далеко от залива, в странах, где родились (сорок две страны) или где какое-то время назад пустили корни. Правительства этих стран получили уведомление об их поимке и месте заключения. У Италии восемь заключенных. <...>

В лагере "Дельта" никогда не бывает темно. Солнечный свет на закате сменяется электрическим. В клетках заключенные никогда не расстаются со своей тенью: короткой и размытой, когда огненный шар неистовствует над крышей саркофага, раскаляя гравий на дорожках между крыльями; длинной и черной, когда охрана освещает голубым психоделическим светом стальные камеры и запертых в них узников. Рассказывает Саид Абассин, просидевший в лагере "Дельта" год: "В Гуантанамо у меня ухудшилось зрение. Из-за ослепительного дневного света и электрических ламп ночью. Надзиратели запрещали нам укрываться с головой, чтобы заснуть. Я жил в зоопарке, где все было запрещено. Мы не имели права даже зарядку делать в своих клетках. Однажды я попытался, и меня на пять дней посадили в изолятор с глухими стенами..."

Майор ван Натта прекрасно знает, что такое Третья Женевская конвенция и каковы ее положения. Ведь чтобы нарушать, их надо знать. Изо-

ляция военнопленного допускается лишь в том случае, если это необходимо для охраны его здоровья и безопасности; заключенному должно быть позволено хранить личные вещи, курить и, если есть такая возможность, готовить себе еду; должны активно поощряться его желание заниматься спортом и образованием, а также стремление к общению, а ни в коем случае не пресекаться. "Да, я знаком с Третьей Женевской конвенцией, — комментирует ван Натта, — но это не мое дело. Я не занимаюсь политикой, моя задача состоит в том, чтобы это учреждение работало так, как было задумано. Если изменится приказ, поменяются правила. В любом случае, вы сами увидите: мы делаем все возможное, чтобы соблюдались стандарты международного права. И я не боюсь признаться в том, что у нас есть проблема. Наша проблема — это то, что заключенным неведома их судьба. Они не знают, когда отсюда выйдут и выйдут ли вообще".

Проблема немаловажная. А возможно, очень даже серьезная. Тед Коновер проработал год в нью-йоркской тюрьме "Синг-Синг"[1]. В июне 2003 года "Нью-Йорк таймс" отправила его в лагерь "Дельта", чтобы американец, знакомый с условиями содержания американцев, смог рассказать, как далеко желание мести завело потрясенную событиями кровавого вторника страну. Он написал: "Работая в тюрьме "Синг-Синг", я заметил, что большую часть времени заключенные заняты тем, что бесконечно пересчитывают, сколько времени уже отсидели и сколько еще осталось до условного освобождения, а также перечитывают правила: что нужно и чего не нужно делать для сокращения срока. Каждый день — мельчайшая, но ценная часть целого, шаг вперед, к цели. Если знаешь длину туннеля, сможешь выдержать темноту, расстояние и вонь. К Гуантанамо это не относится. Заключенные не знают, когда их отпустят и отпустят ли вообще, им не на что надеяться — расследования и судебные процессы там не ведутся. Официально они находятся в лагере 'Дельта' для допросов, но, судя по условиям их содержания, здесь же они и отбывают наказание".

Глава 4
Готово к употреблению

В клетках набирают вес. В доказательство этого факта в лагерных журналах содержатся постоянно обновляемые статистические данные. В среднем заключенный поправляется на тринадцать фунтов, или примерно на шесть с половиной килограммов. Этим любят хвастаться перед представителями Международного Красного Креста: узники избавляются от болезненной худобы, что является "симптомом здоровья". В Гуантанамо категорически отрицают, что еда, которую заключенные в принудительном порядке судорожно поглощают три раза в день, может вызвать депрессивные состояния и нарушения в организме человека, приговоренного к неподвижному лежанию на прикованной кровати и не привыкшего к такому высококалорийному и разнообразному питанию, какое является обычным для людей из другого полушария.

Офицер, отвечающий за сбалансированность питания, — капитан запаса Джим Клак. Энергичный человек за пятьдесят, с круглым лицом

1. "ИЛ", 2004, № 4. (*Прим. перев.*)

и большой лысиной, в очках "Авиатор" фирмы "Ray-Ban", скрывающих мешки под глазами. До службы в Гуантанамо он наполнял другие миски. Тысячу триста студенческих мисок в Мичиганском университете. Молодые люди любили жареное мясо с кровью, обильно сдобренные кетчупом хот-доги и двухэтажные куски чиз-кейков.

Клак трудится на гигантской кухне среди двенадцати печей в окружении толпы статистов в поварских колпаках, рыбацких робах и сапогах: это филиппинцы, кубинцы, ямайцы. Те же лица, что у рабочих, таскающих строительные материалы при въезде в лагерь. Та же заработная плата, но другой работодатель — "Pentad Corp.", — еще один получатель контрактов, которого осчастливила Война с терроризмом. Под кухню было выделено место к востоку от "Салли", не слишком далеко и не слишком близко от камер, под огромным овальным навесом из термостойкого материала серого цвета. Пространство чем-то напоминает цирковую арену. Чтобы спастись от постоянной вони и грязи, пол щедро посыпан опилками. Здесь царит грохот баков и кастрюль, в самом центре помещения выставлена еда в покрытых жирным налетом емкостях. Вокруг них пирамиды пластиковых ящиков с замороженными продуктами и полуфабрикатами, на маркировке указан срок годности — две недели, а также производитель и его адрес. "Джексонвиль, Флорида, Sysco Food Service" — поставщик Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, заработавший одиннадцать миллионов семьсот тысяч долларов за четыре года. А вот фрукты доставляют сюда свежими. Каждый вторник. Из Норфолка. "На месте мы печем только хлеб, — довольно улыбается Клак, — и это не так уж просто". Белый хлеб: кирпич, французский багет и рогалики.

Сегодня на обед (в 11:30) заключенные получат в жестяных мисках яйца под соусом карри с горошком и рисом. По правилам они должны все съесть за двадцать пять минут с помощью spork — любопытного предмета из пластика, гибрида ложки с вилкой. Безвредный для заключенного и окружающих spork — единственный столовый прибор, доступный для использования в камерах. Ужин (в 20:00) будет отличаться от обеда, так же как и завтрашний обед от послезавтрашнего ужина. Только на завтрак (в 06:30) всегда одно и то же. В лагерном рационе нет места ни для импровизации, ни тем более для пожеланий. На полке в углу кухни стоит замусоленная книга, в которой четко прописано, чем и когда нужно кормить заключенных. Монотонное чередование блюд помогает вести счет времени при отсутствии других возможностей. Пройдет ровно неделя, прежде чем ты снова ощутишь вкус курицы во рту. "Полистайте книгу, прошу вас. Вы убедитесь, что у заключенных разнообразный рацион..." Рыбное филе, тушеная рыба, рыбный суп, баранина, яйца, рис, картофель, фасоль, бобы, горох, говядина. Вот именно, говядина. "Красное мясо? Мы думали об этом. Еще как думали. Из Джексонвиля нам доставляют мясо животных, убитых по мусульманским традициям. И без костей".

Принцип монотонного чередования блюд, отражающих однообразное течение жизни, — не только плод ущербной философии любой столовой мира: фабричной, университетской, тюремной. В этом есть и другой смысл. Уход от установленного порядка может превратиться в мечту, в заветное желание. Возможность почувствовать вкус блюда, о котором ты грезил на протяжении шести, восьми или двенадцати месяцев в клетке, — хорошая награда. А любую награду нужно заслужить. По мнению Клака, это наиболее действенное (потому что связано с ин-

стинктами) психологическое оружие в руках лагерного начальства. Он посмеивается, показывая на бетонные сооружения для допросов: "Несколько раз я видел, как оттуда выбегали надзиратели и возвращались к заключенному с пакетом happy meal из "Макдоналдса" в Ливарде. Вы его видели? Недалеко от мола. Единственный "Макдоналдс" на коммунистической территории. Двойной чизбургер, картошка, молочный коктейль – все, как полагается... Многим не удается устоять перед искушением набить живот чем-нибудь необычным, и тогда они раскалываются. Особенно, понимая, что остальные их не видят". Клак все знает, потому что иногда ему приходится готовить "премиальные обеды". Например, пахлаву – мягкую и влажную сладость из меда, корицы и миндаля. Клак все знает, потому что видит, какие продукты привозят в лагерь "Четыре" – блок пониженной секретности, где содержатся узники в белой униформе или "заговорившие". Их привилегии имеют вкус, в котором другим отказано. Им привозят головки *желтого сыра* – если и не настоящего, то хотя бы похожего на него по консистенции. А также: финики, инжир, фруктовые пироги, мед – сладкая добавка в чай или в мягкий *крем-сыр*, арахисовое масло для бутербродов, злаки.

В "разнообразном рационе" повара Клака мы познакомились с приграничными территориями премиальных обедов и с режимом питания обыкновенных узников в оранжевой робе, но чтобы полностью изучить меню кухни, необходимо исследовать еще одну область, которую, прежде чем распрощаться, он сам решает показать нам. Для этого необходимо попасть в железное, закрытое цепями хранилище. Потому что секрет таится здесь, в темноте. "Это наши ЭмАрИ (MRE) на экстренные случаи и Рамадан. Даже в пост заключенные не имеют права отказываться от еды... Мы ничего не готовим, и они едят это: MRE". Эм-Ар-И... MRE... Что за чертовщина? Военные обожают аббревиатуры, и эта расшифровывается очень просто: M – meal, R – ready, E – to eat[1]. Обезвоженная в вакууме пища, готовая к употреблению. Вот что такое Эм-Ар-И. Сухой паек. Повар Клак принимается доставать из ящиков коричневые пластиковые пакеты, в которых запечатаны странные калорийные смеси. Существует только три разновидности Эм-Ар-И, столько же пунктов в меню: "Буррито", "Тортеллини с сыром", "Паста с соусом Альфредо". Каждый пакет содержит шесть унций или 227 грамм сухой еды. Какое-то чудачество или любовь к итальянской кухне заставили производителей окрестить так этот странный продукт, который Клак сейчас активно призывает рассмотреть и, если есть желание, попробовать. "Вы, итальянец, конечно, знаете 'Пасту с соусом Альфредо'..."

Большинство итальянцев понятия не имеют о том, что некто (повар? хозяин ресторана?), некий Альфредо, оставил своим соусом след в итальянской кухне. Но порой на каком-нибудь углу в центре Рима ты натыкаешься на тратторию, где действительно подают прославленные американскими Интернет-сайтами фетгуччини с соусом Альфредо. Кто же он такой? Украденное у традиции имя, распятое на пакетах Эм-Ар-И. Что содержится в этих пакетах? Составители списка ингредиентов на обратной стороне упаковки не поскупились на детали: "вода, обогащенные макаронные полуфабрикаты, манная крупа, белок, сульфат железа, морковь, горох, кукуруза, сливки, лук, соевые протеины, жидкий марга-

1. Еда, готовая к употреблению (*англ.*).

рин, масло семян гидрированное, соевое масло, соевый лецитин, натрий, кальций, искусственные ароматизаторы, бета-каротин, пастеризованное молоко, ферменты, фосфат натрия, цитрат натрия, акация, ароматизаторы – горчица, специи..."

Срок годности сухой смеси в этом пакетике, произведенной компанией "Wornick Company", Цинциннати, Огайо, истекает через шесть или десять лет. Спустя тридцать шесть месяцев необходимо проверить, не повлияла ли жара в хранилище на пригодность этой пищи к употреблению. А калории? "Три ты-ся-чи", – декламирует, подходя ближе, сержант, до сих пор молча наблюдавший за выступлением Клака. Этот черный ньюйоркец, фармацевт по образованию, считает дни до свадьбы, а следовательно, и до того момента, когда навсегда простится с заливом. Он служил в Боснии, где солдат тоже кормили Эм-Ар-И: "Воспоминания о том времени прочно связаны у меня с противным запахом этих смесей. Мы ели их пачками. Вернувшись домой, я несколько месяцев не мог даже думать о тортеллини. До сих пор избегаю заказывать буррито. От MRE, как от резины, остается сильное послевкусье во рту и пучит живот".

Возможно, "Паста с соусом Альфредо" переживет Гуантанамо и через десять лет отправится на передовую линию еще какой-нибудь войны. И тогда, конечно, если сержант говорит правду и вкус этой пищи надолго сохраняется во рту, солдаты до конца своих дней будут задаваться вопросом, кто же такой этот Альфредо? Клак улыбается и подмигивает: "Надеюсь, что, вернувшись домой, кто-нибудь из них вспомнит и мою пахлаву. Или happy meal..."

Глава 5
"Америка"

Кое-что ускользнуло от внимания создателей этого проекта. Либо было недооценено. Граница между заключенными и охранниками – всегда нечеткая и зыбкая. Но в особенности зыбкой она становится на затерянном в океане острове, где никто не чувствует себя как дома. И те и другие здесь в ссылке: и свободные, и узники. На берегу "Радио Рэндж" у Фарго из Миннесоты та же участь, что и у Хоста из Афганистана. Ты понимаешь это, рассматривая лица и слушая рассказы обитателей лагеря "Америка" – тюрьмы для надзирателей. Пятьдесят шагов отделяют ее от клеток. Здесь ты понимаешь, что охраняют "врагов Америки" парни и девушки из провинции. Из тех городишек, одинаковые фотографии которых красуются на открытках шестидесятых годов. Они с удовольствием показывают тебе затертые полароидные снимки, что хранятся у них в бумажниках и в карманах формы. Все семейство гордо и торжественно выстроилось в ряд на фоне вывешенного на самом видном месте охотничьего ружья: их первенец, выполняя свой гражданский долг после событий 11 сентября, присоединился к рядам добровольцев. На таких снимках всегда есть улыбающийся в объектив ребенок, отважившийся нацарапать цветным карандашом на листе бумаги: "Hy Dad" – "Привет, папа".

В лагере "Америка" царят меланхолия и гордость. А также глубокая депрессия – у тех, кто еще ничего не понял или понял уже слишком много. В восьмидесяти трех больших сборных конструкциях из дерева

и белого металла с круглосуточно включенными кондиционерами проводят свободное время тысячи солдат. Стоящие на сваях сооружения подняты над землей, чтобы внутрь не заползали насекомые или невероятно любопытные игуаны. Эти сооружения называются sea huts — морские бараки. Они образуют четыре длинных перпендикуляра и делят территорию на геометрически правильные фигуры в части базы, наиболее отдаленной от глаз и шумов лагеря "Дельта". Это единственное место на базе, где течет нормальная жизнь. Интернет-кафе, комната отдыха с телевизором, столовая, названная с понятным пафосом "Seaside Galley" — "Морская галера". Навес с четырьмя иллюминаторами на самом берегу океана.

Лагерь чем-то напоминает берег, на который выбросило обломки потерпевшего кораблекрушение судна. Возможно, своими замедленными биоритмами или царящей здесь тишиной. Сад камней с торчащими стелами — это памятное место для тех, кто покидает залив или только причаливает к его берегам. Площадка обработанной земли, усеянная карликовыми пирамидами из камней, напоминающими по форме какой-нибудь военный артефакт: стрелу, штык, М-16. Ребята из 984-го отряда военной полиции Форт-Карсона, штат Колорадо, выложили из камней свой символ — солдата со свирепым выражением лица, напоминающим злобный оскал сторожевого пса: в правой руке он держит отрядное знамя, а левой указывает на слоган: "Hold the Gate — Tenez la porte" — "Держите дверь". Начальник лагеря майор Стив Шот улыбается бурной фантазии своих подопечных. "Эти скульптуры, — комментирует он, — не только выражение гордости и чувства сопричастности. Но то, к чему в течение шести месяцев службы вы стремитесь и что каждый отряд должен выполнить перед отъездом из залива. Иначе шесть месяцев превратятся в двенадцать. "Уверяю вас, это не просто. Совсем не просто... Никому, а в особенности девушкам".

Девушки живут в правой части лагеря. Внешняя обшивка их бараков выкрашена в цвет белого жемчуга, а дорожки из гравия между постройками чуть менее ровные и строгие. Из барака А-011 доносится громкий крик. Дверь открывается, и гость попадает в благоухающее ландышем помещение. Барак — алюминиевая коробка. Вдоль стен по обе стороны узкого коридора тянутся двухъярусные кровати. Между койками втиснуты шкафчики для одежды, обклеенные фотографиями детей, братьев, мужей и детскими рисунками. В каждом шкафчике, как трофеи, хранятся утюг, фен и косметичка. На одной из постелей лежит ежевечернее развлечение — настольная игра фирмы "Краниум" "The game for your whole brain" — "Игра для всего мозга". Цель игры — завоевать нарисованный в центре цветной доски мозг — стилизованное фиолетовое изображение. Четыре колоды карт, четыре фишки для четырех играющих. Выигрывает тот, кто умеет владеть собой, принимать решения, логически мыслить и обладает артистическими способностями. Выигрывает тот, кому удается освободить свой мозг от тупого оцепенения после восьми часов дежурства, когда бесконечные картины унижения отравляют все твое существо. Потому что женщинам приходится гораздо тяжелее. А для многих заключенных их присутствие просто невыносимо. Это изощренная форма двойного унижения: религиозного и культурного. Полная потеря мужского достоинства, которое заковывают в кандалы голубоглазые блондинки с длинной дубинкой на бедре. Для других, наоборот, девушки в форме — это источник жизни. Луч све-

та в начисто лишенном человечности мире. Они взывают к ним, не стесняясь показать свою слабость и тоску по оставшимся далеко семьям и таким же, как эти, женщинам. "Я не знаю, что хуже, – говорит сержант Джанел Маршалл, – слышать вслед оскорбления или отчаянные мольбы о помощи".

Джанел тридцать пять, у нее зеленые глаза и белоснежные зубы, на ее пепельных, подстриженных лесенкой волосах едва сохранились следы химической завивки. Дома на равнинах Иллинойса ее ждет семья и место секретарши в "Illinois State Dental Society". Ее работа – развозить по лагерю "Дельта" тяжеленные тележки со стряпней Клака. Могло быть и хуже. "Я служу в отделе логистики, нас должны были отправить в Ирак. Месяцами я представляла себе свою дальнейшую судьбу. А потом неожиданно оказалась на самолете, летящем в Гуантанамо. И вот я тут. Та же самая пустыня. Зато не на передовой". Джанел уверена, что все сделала правильно. Для себя, своей семьи и "Америки". "Конечно, – продолжает она, – иногда мне в голову приходят разные мысли, и я задаюсь вопросом, так ли это..." Так ли это – что? "Ладно, не важно, и слишком сложно. И потом, нам есть с кем поговорить о личном". Подразделение психологической и эмоциональной поддержки – "Stress Unit".

В лагере "Америка" о существовании этого подразделения знают все. В комнате отдыха, на столах Интернет-кафе, в столовой вывешены таблички со списком симптомов, при появлении которых рекомендуется постучать в дверь барака рядом с часовней. "Stress Unit" работает круглосуточно. Каждый солдат в любое время дня и ночи может пойти к специалисту и рассказать о непроходящей сонливости, ночных кошмарах, плохом самочувствии, отсутствии аппетита или, наоборот, постоянном чувстве голода и внезапных вспышках гнева. Это симптомы депрессивного состояния. Здесь их называют симптомами Гитмо, или синдрома Гуантанамо. Кто не справляется, возвращается домой. "Очень немногие, – утверждает майор Шот. – Да и потом, ребята стараются стиснуть зубы. Утешиться тем, что имеют, и осознанием того, что смогли выжить в подобном месте".

Возможно, они находят утешение в Интернет-кафе: шесть компьютеров стоят в два ряда, задними панелями друг к другу. Здесь можно посидеть в чате, написать письмо или скачать музыку на свой ноутбук – бараки просто кишат лэптопами. Возможно, ребятам удается забыться в библиотеке. Вся ее обстановка сводится к паре кресел, двум видавшим виды старым диванам и деревянному шкафу с прогнувшимися от сырости полками: немного книг и несколько комиксов. Кто-то, наверняка, спасается рюмкой в "Клубе выживших", но бар работает не каждый день (на вывеске указано расписание).

Телевизор стоит в комнате отдыха – указателями на нее, как и на столовую, щедро утыкана территория лагеря. Экран смотрится монументально и контрастирует с обшарпанными деревянными табуретками и скамьями зрительного зала. Комната отдыха, как и кабинет психиатра, открыта круглосуточно. Только тут не нужно ничего никому рассказывать. Здесь можно забыть обо всем, следя за баскетбольным или футбольным матчем. А если повезет, и подремать под эти, по сути, такие домашние звуки. У Роджера ("только Роджера из Виргинии, пожалуйста") опухшие от бессонной ночи и покрасневшие от многих часов, проведенных у экрана телевизора, "чтобы расслабиться", глаза. Он слу-

жит в Национальной гвардии и носит ее форму с 11 сентября 2001 года. С того дня, когда за сорок восемь часов до его дня рождения мир изменился. Он приехал в Гуантанамо девять месяцев назад. Его жизнь на базе делится на три части: охрана территории лагеря, принятие пищи и досуг в комнате отдыха. "Долго говорить не буду. Я просто делаю то, что мне говорят, не задавая лишних вопросов и не размышляя. Когда скажут собирать чемодан, я упакую вещи и уеду. Эта работа не хуже других. Все равно что вкалывать на заводе. О чем я думаю, когда захожу в клетки? О доме. О том, сколько мне осталось служить. Знаешь, когда приходит моя очередь надевать шлем и бронежилет, я как будто облачаюсь в костюм для подводного плавания. Я спускаюсь в мой собственный мир. И молчу. А еще, послужив здесь, я решил, чем займусь дальше: снова начну изучать морскую бездну..."

"Морская галера", столовая с видом на море, — это овальная конструкция, два молочно-белых шара, и, как ни странно, формой она напоминает арабскую архитектуру. Там пахнет жареным и раскаленными печами, беконом и mashed potatoes[1]. Пахнет dinner[2], а значит — домом. Здесь тоже хозяйничает Клак. Стопки подносов стоят перед входом в food alley[3]. "Это единственное место, где у тебя действительно есть выбор", — шутит солдат. Услужливые ямайцы раскладывают по тарелкам еду и с улыбкой спрашивают: "How are you today?" — "Как у вас сегодня дела?" А таблички на столах напоминают о главном враге, с которым необходимо бороться каждый день, по крайней мере здесь, — о холестероле. И рекламируют сыр low fat[4], жареный картофель low fat, чизкейк low fat.

Дэвид Ромлески, 24 года, из Колумбии, штат Южная Каролина, качает головой. "Не помогает. Я набираю килограммы, стоя весь день на дежурстве". Дэвид — военный полицейский Национальной гвардии. Дома его ждут жена и двое детей: двух и четырех лет. В обычной жизни он работает на заводе по производству электродеталей. Его назначили начальником блока. Восемь часов он стоит навытяжку в начале коридора из двадцати четырех клеток. "Утром я натягиваю одноразовые перчатки, заклеиваю скотчем свое имя на форме, а когда приходит время выводить их на прогулку, надеваю на них *три вещи*..." На них? "Да, на них. Я не знаю их имен и биографий. Они не знают моего имени и моей биографии. Если нужно, я обращаюсь к ним по номеру клетки, а они кричат мне: 'Охрана!' Они знают устав. Им прекрасно известно, о чем разрешено просить, а о чем — нет. И что говорить можно мало, в исключительных случаях. Потому что между нами не должно возникать человеческого контакта..."

Рядовой Лонни Моррен из Мичигана услышал отрывок нашего разговора и умирает от желания вставить слово. Ему, вероятно, все это видится по-другому. Возможно, потому, что в двадцать один год цинизм еще не полностью завладел его душой. Или потому, что из специализирующейся на садовой мебели кузницы, где он работает в обычной жизни, угроза "Аль-Каиды" и террористы-мученики видятся по-другому. "Заключенные нам всякого понарассказывали. Узнав, что меня направляют сюда, я подумал: "Здорово! Я увижу врагов Америки". Я думал, они будут агрессивны, всегда готовы к нападению, но, как выяснилось, многие из них образованные люди. Представляете, они говорят по-английски и всё

1. Картофельное пюре (*англ.*). (*Прим. перев.*)
2. Обед (*англ.*). (*Прим. перев.*)
3. Аллея еды (*англ.*). (*Прим. перев.*).
4. Обезжиренный (*англ.*). (*Прим. перев.*)

про нас знают. Например, нашу музыку. Однажды заключенный попросил меня поставить ему Элвиса Пресли".

Теперь мы с майором Шотом пересекаем территорию лагеря в обратном направлении. Офицер молчит, как будто силится припомнить, все ли мы уже видели в его "Америке" и не забыл ли он кого-нибудь мне показать. "Естественно, вы не уйдете, не познакомившись с выдающимся человеком. С нашим капитаном Йи. Джеймсом Дж. Йи – духовным наставником шестисот пятидесяти заключенных... Он ждет вас. Вот увидите, ему есть что рассказать".

Йи – офицер атлетического телосложения с сердечной улыбкой, не скованный светскими формальностями. Он сидит, положив ногу на ногу, в своем кабинете, который размером чуть уступает остальным баракам, на двери – черный полумесяц. Ему тридцать пять лет, и сразу видно, что он гордится службой в армии и своей страной. Для всех он Юсеф. "Да, просто Юсеф", – так с нежностью зовет его жена и так проще для заключенных: "По-арабски легче произнести Юсеф, чем Джеймс". Он единственный солдат в лагере, которому заключенные открывают свои мысли. Именно по его призыву пять раз в день они послушно становятся на колени. Юсеф знает, что должен балансировать на тонкой грани. Он – глаза и уши командования, уста заключенных. Звено хрупкой цепи, соединяющей узников с охраной, христиан с мусульманами. Но Юсеф не слишком беспокоится. Даже наоборот, кажется, что давление и ответственность еще больше воодушевляют его. "Я борюсь со штампами, которые превратили ислам и Восток в нечто непостижимое. Я пытаюсь подготовить почву для диалога, для мира, каким бы трудным это ни казалось в подобном месте... Своим братьям я стараюсь объяснить, что убивать невинных людей – преступление для любой религии. И что Коран – это не книга ненависти". Капитан говорит о других. О страданиях своего стада верующих, о причинах, побудивших его надеть военную форму и приехать в лагерь. Но за его словами скрываются размышления над собственной биографией, достойной сострадания жизнью в многонациональной Америке. Над историей мальчишки из Нью-Джерси с китайскими корнями. Он получил протестантское образование, затем пошел служить в Уэст-Пойнт[1], где осознал, что ему невыносима военная жизнь. "В академии я познакомился с Кораном и решил снять военную форму. Я уехал в Сирию, в Дамаск, будучи уверенным, что только там в медресе смогу понять истинный смысл и значение веры. Затем я вернулся в Америку, и Вооруженные силы снова приняли меня в свои ряды. Я стал семнадцатым мусульманским капелланом в армии США".

Если вы спросите у Юсефа, какие страдания, желания и ненависть скрываются под оранжевой робой, он улыбнется и отрицательно покачает головой. "Рассказать об этом – значит предать доверие моих братьев, а также сострадание и прощение, на которые имеют право все: и те, кто убил, и те, кто клянется в своей невиновности. Все, что они открывают мне в клетках, я унесу с собой в могилу. Это мой и наш общий секрет. А сейчас прошу меня простить, я должен идти – приближается время молитвы".

Юсеф бросает взгляд на свои часы "Swotch" с большим круглым и пестрым циферблатом – из-за них он совсем не похож на военного. А так-

1. Разговорное название Военной академии сухопутных войск, расположенной в г. Уэст-Пойнте. (*Прим. перев.*)

же из-за не заправленной в брюки форменной рубашки. Он снова улыбается. И высказывает, сам того не подозревая, пророчество. "Надеюсь, нам еще представится случай поговорить. Если хотите, и о моей жизни тоже. О моем обращении. Я всегда в вашем распоряжении. Вы знаете, где найти меня..." Да, найти капитана Юсефа не составит труда. Это вопрос времени. Весьма скорого. Вопрос перевернутых жизней и болезненных противостояний. Мы скоро снова увидим капитана.

Глава 6
Сумасшедшие

В клетках некоторые решают свести счеты с жизнью. Навсегда. Единственным возможным способом — повеситься. Вернее, попытаться повеситься. Попытку совершили тридцать пять раз двадцать семь заключенных[1]. Кое-кто пробовал не единожды. Безрезультатно. Эти данные не окончательные, они меняются с течением времени и ростом отчаяния. Но сценарий самоубийства всегда один и тот же.

Заключенный протягивает тряпку в отверстие на одной из стен клетки, где сетка переходит в глухой цемент потолка. Затем завязывает узел и просовывает в него голову. Вес торса и таза тянет его вниз. Но тело остается висеть согнутым: под прямым углом, с поднятыми коленями, как говорят, "во власти ужасных конвульсий". Потому что в узком пространстве клетки с такими низкими потолками повеситься как следует невозможно. Человек не может сразу умереть, и его конечности под воздействием врожденных рефлексов начинают беспорядочно дергаться. На теле и в душе самоубийцы навсегда остаются следы.

Я справляюсь об одном из пытавшихся покончить с собой, он лежит на кровати за ширмой в лазарете "Detential Hospital" — крайнем сооружении на восточной стороне лагеря. В бараке с кондиционерами и запахом лизоформа пол покрыт натертым до блеска линолеумом, а стены выкрашены в бледные оттенки зеленого. Помещение разделено на ряды по двадцать коек в каждом, девяносто три медика лечат зубы, ампутируют конечности, вправляют кости и зачастую лечат застарелые (для тех, кто в свое время с ними не справился) болезни — например, туберкулез[2]. Посетившие лазарет до меня рассказывали о человеке, чья жизнь поддерживалась только аппаратами жизнеобеспечения в реанимации. Он питался через специальные трубы, которые хирургическим путем были подсоединены к его желудку. Этот человек находился в глубокой коме. И казалось, без надежды на пробуждение. "Ему лучше. И мы очень этим довольны", — уверяет капитан Келлехер. "Он начал говорить и немного шевелиться. Естественно, пока ему трудно удержать в руке чашку..."

Как и в клетках, в лазарете врачи не обращаются к больным по имени — только по номеру. По номеру клетки, в которой он повесился. Ночью его тело (как и любого другого больного) приковывают к кровати цепью. У каждой постели своя цепь. У каждой цепи свой охранник, пристально всматривающийся в жесты, запоминающий слова и реакции на физическую боль, чтобы никому не пришло в голову симулировать ее.

1. Данные на осень 2003 г.
2. Первый случай был засвидетельствован 8 февраля 2002 г.

Ни днем, ни ночью. Ни в каком ряду. Даже тем, и в особенности тем, чей мозг поврежден навсегда. "Острые" (девять коек), "стабильные" (двадцать коек), "идущие на поправку" (четыре койки), "изолированные" (две койки), "выздоравливающие" (две койки).

Для врача или медбрата, должно быть, невыносимо лечить тело человека, не имея возможности обратиться к нему по имени. Лечить больного в цепях. Когда пациент даже в минуты физической боли вместо утешения слышит номер своей клетки. "Вы так правда считаете? — спрашивает Келлехер. — А мне так не кажется. Мои люди работают, чтобы облегчить боль тех, кто, возможно, никогда до этого не был в больнице. Просто потому, что они выросли в таких странах, где политический режим и бедность не позволяют рассчитывать на медицинское обслуживание, где люди просто умирают. А то, что мы не зовем их по именам... знаете... Я, правда, сомневаюсь, что для них это проблема... Честно говоря, иногда я тоже над этим задумываюсь, но потом вспоминаю, почему они здесь оказались". Даже в тех случаях, когда лечить нужно не тело, а голову.

Депрессия — это не только желание умереть. Но и раковая опухоль, тихо пожирающая тела заключенных. Депрессия снижает иммунитет. Не дает адекватно оценивать свое состояние, прислушиваясь к собственным недугам. За несколько месяцев штат лагерных психиатров вырос с трех до тридцати человек. А количество заключенных, которые должны находиться под наблюдением, достигло девяноста[1]. Применяемая в их случаях терапия держится в секрете. "Транквилизаторы. Самые обыкновенные транквилизаторы", — расплывчато отвечают в лазарете. Но какие именно и в каких дозах — неизвестно. У нас нет никакой информации об историях болезни: кроме объективных языковых трудностей, в общении между врачом и пациентом установлена непреодолимая преграда, как между заключенным и надзирателем.

Браин Грэди, начальник психиатрического отделения, говорит: симптомы плохих условий жизни — "все это, как наследство, заключенные тащат за собой", число исковерканных личностей в Гуантанамо растет, как снежный ком. "Не решусь утверждать, что причины психических расстройств у наших пациентов нужно искать в распорядке лагерной жизни. В неясности их дальнейшей судьбы. Скажем так: я не думаю, что данное положение неизбежно ведет к ментальным расстройствам".

Двадцатилетний пакистанец Шаха Мухаммад провел в лагере "Дельта" больше года и четырежды пытался покончить с собой. "Жизнь, которую я вел в лагере, была мне отвратительна. Я знаю, что самоубийство противоречит букве Корана, но мне было невыносимо и нестерпимо жить в таких условиях. И многим другим моим товарищам, уверенным в своей невиновности, тоже". Мухаммада посадили в блок с арабами. "Я и словом не мог с ними обмолвиться. Делать было нечего. Мы просто не понимали друг друга. Я не говорил на их языке, а они — на моем. Тогда я начал падать". Проваливаться в пропасть безумия. Падение длилось одиннадцать месяцев. Триста тридцать дней двойной изоляции. "Пока однажды я не взял одеяло и не привязал его к клетке. О том, что случилось потом, я почти ничего не помню. Очнулся в лазарете, когда мне делали укол. Я не знаю, что это было за лекарство. Но на

1. Статистика, датируемая осенью 2003 г.

протяжении многих недель я с трудом шевелился, не мог говорить и самостоятельно есть". Несмотря на мольбы перевести его в блок с пакистанцами, после выздоровления Мухаммада вновь посадили в ту же самую клетку в арабском блоке. Где еще трижды он пытался покончить с собой. И трижды его спасали и привозили в лазарет. "Там они продолжали пичкать меня таблетками до дня моего освобождения".

О попытке повеситься как выражении протеста против переживаемого унижения вспоминает Рустам, боец из отряда талибов из Хельманда, южной провинции Афганистана. Он тоже пытался покончить с собой в знак "категорического 'нет'". "Они поместили меня в блок к узбекам. Узбеки просто ненормальные. Они целыми днями бились головами о сетку. И кричали, как звери, на охрану. Я начал сходить с ума. Боясь, что долго не протяну, стал безрезультатно просить о переводе в другой блок и о допросе. А потом я решил повеситься. Но надзиратели быстро меня вытащили. Высвободили из петли и, напичкав таблетками, перевели из этого блока".

Обретение хоть какого-нибудь стимула к жизни способно уберечь человеческий рассудок от психических расстройств, но в лагере "Дельта" получить стимул затруднительно – из-за режима секретности. Контакты с семьей (даже через письма) усложнены прохождением бесконечных бюрократических процедур. Те, кто не говорит по-английски или знает, что дома никто не в состоянии понять этот язык, могут не сомневаться: их открытки со штампом Красного Креста, прежде чем отправить по назначению, долго и тщательно будет вычитывать цензура. Ее переводчики. "Дополнительный ущерб", пользуясь определением Международной амнистии, заключается в том, что живые люди превращаются в мертвецов. Потому что не только в клетке умирает воспоминание о семье, но и дома, где ждут и не могут дождаться весточки от заключенного, он со временем превращается в мертвого.

Глава 7
Хорошее поведение

Оранжевый и белый. Плохой и хороший. Цвет робы отражает степень строгости заключения. Потому что по цвету можно судить о behavior – поведении. Оранжевую униформу носят те, кто не идет на контакт. Или идет, но недостаточно охотно. Белоснежную – те, кто решился стереть пятна со своего прошлого и заговорить. Официально считается, что белых сто двадцать[1], они живут в двухстах метрах от оранжевых и слышат, как те кричат в своих клетках (когда-то в этих клетках томились они сами). Они не видят оранжевых, но чувствуют их присутствие по ту сторону колючей проволоки и нейлоновой завесы, что разделяет лагерь "Дельта" и лагерь "Четыре". Ад в двух шагах, но им удалось вырваться из него... или почти удалось. Только от них зависит, вернутся они туда или нет. Потому что цвет униформы, как и связанные с ней привилегии, – вещи непостоянные.

Майор ван Натта приглашает в Царство поощрений, как во дворец. Архитектура лагеря гораздо мягче, здесь нет колючей проволоки и кле-

1. Данные на октябрь 2003 г.

ток. Вместо стальных блоков длинный ряд расставленных квадратом дортуаров, разделенных высокими загородками. Чтобы следить за порядком, на территории лагеря стоит одна-единственная наблюдательная вышка – в самом центре. Под ее надзором, как по волшебству, исчезают все жесткие ограничения, сковавшие саркофаг "оранжевых".

В лагере "Четыре" отменена изоляция, заключенные могут свободно перемещаться по территории. Общаться и смотреть друг на друга и на посетителей. Если в лагере "Дельта" "нездоровое любопытство" свободных – лишь предлог, чтобы лишить "оранжевых" вида на море, то здесь это любопытство активно поощряется. "Можете все рассмотреть не торопясь", – приглашает ван Натта. Чтобы, как в зоопарке с укрощенными и прирученными животными, получше разглядеть черты "разумного заключения" и positive behaviour – хорошего поведения. Один заключенный погружен в чтение книги, второй, склонившись над деревянной скамейкой под навесом от солнца, пишет письмо домой. Группа людей свободно выполняет физические упражнения на площадке в центре лагеря, с четырех сторон окруженной дортуарами. Кусочек настоящей земли, покрытой песком, – площадка для игры в волейбол. Несколько узников сидят, скрестив ноги, в тени и обедают. Получать удовольствие от пищи – еще одна "привилегия" (помните?), здесь приносят еду в разноцветных тарелках.

Каждый заключенный – образец благоразумия. Находка для блокнота и глаза скептика. Каждый заключенный – фотографическое свидетельство, запечатленное специалистами Пентагона и размещенное на сайте Министерства обороны[1]. Картинка № 14: "белого" заключенного без "трех вещей" конвоируют охранники. Картинка № 15: "белый" заключенный кладет в чемодан ("белым" выдаются чемоданы) свой набор дозволенных узнику предметов: пару книг, смену белья, вполне достойный несессер. Картинка № 10: узники в белой робе смотрят на закат солнца сквозь сетку лагерного забора. Картинка № 12: дортуар лагеря "Четыре". Десять односпальных кроватей стоят в два ряда по пять в каждом, между рядами – коридор, который заканчивается, что особенно важно, дверью. Той самой, которую довольный майор ван Натта распахивает сейчас передо мной, предвкушая мое удивление.

Кровать, как ей и положено, является здесь местом отдыха, а не стальной полкой, закрепленной в центре стены. Стены в дортуарах настоящие. Крыша – покатая: щедрая тень укрывает строение, защищая его от жары. Ночь снова становится ночью, а личная гигиена и хождение по нужде – интимным делом каждого, скрытым от глаз окружающих непрозрачной занавеской, отделяющей унитаз и раковину от остального помещения. Бдительный глаз охраны заменен на купольные камеры видеонаблюдения.

Сострадание в этом лагере ставится во главу угла. Лагерь "Четыре" задумывался как преддверие, как перевалочный пункт между заключением и освобождением ("Все знают, что перевод в лагерь "Четыре" – это шаг к свободе", – объясняет ван Натта). Это результат не только политики "поощрения", но и вынужденная уступка давлению европейского общественного мнения и международных организаций, занимающихся защитой прав человека. И не единственная уступка, как мы увидим далее.

1. www.defenselink.mil

В апреле 2003 года школьный автобус привез из саркофага лагеря "Дельта" четыре привидения в оранжевой робе. Четверых ребят, которым еще не исполнилось шестнадцати. Теперь от узбекских, пакистанских и саудовских блоков, от вони пота и мочи, от криков сумасшедших их отделяет полтора километра белоснежного скалистого берега Киттери-клифс. Их новый дом окрестили лагерем "Игуана". Две одинаковые бетонные постройки стоят на выровненной каменистой площадке недалеко от обрыва. До лагеря доносится звук бьющихся внизу о скалы волн, при ударе о камень они пенятся, переливаясь голубыми, зелеными и серебристыми оттенками. Здесь ребята могут сполна насладиться "привилегией" моря. Нейлоновая завеса, которой обтянут забор вокруг лагеря, с одной стороны поднята вверх, подобно жалюзи. Через открытое "окно" виден край пропасти, а также Карибское море на севере и вершины Freedom Heights — Холмов свободы — на востоке. Перед домом раскинулась небольшая лужайка с подстриженной травой, на которой валяется футбольный мяч, пара кроссовок и бейсбольная перчатка. Почти как на backyard — заднем дворе любого американского дома в любом американском городе.

На лужайке появляется игуана. Они здесь частые гости, наведываются из расположенного по соседству природного заповедника в поисках еды: например, крошек бисквитов, которые ребята каждый день едят на полдник с мороженым. Глядя на лужайку, лейтенант Дэйв Водушек — военный воспитатель этих детей-заключенных — улыбается. Он запер их в одном из домов, потому что "визиты" в места заключения несовершеннолетних не должны проходить в присутствии узников. Чтобы никто из них не смог рассказать или выкрикнуть свою историю. Сейчас мне, как молчаливому похитителю чужих жизней, покажут один из этих домов. Двухкомнатная квартира около двадцати квадратных метров, оборудованная мощными кондиционерами. Первая комната — гостиная с низкой мебелью: четыре кресла и стол. На столе лежат несколько выпусков комиксов, настольная игра для детей "от пяти лет и старше" за девять долларов шестьдесят пять центов, диснеевские видеокассеты, шахматы, учебники английского языка и математики. Кухня в углу рядом с большим холодильником. В спальне с голыми стенами стоят три кровати, двери нет. Туалет — в маленькой комнате, там же душ, закрытый занавеской. Линолеум на полу выглядит как-то странно. В этом доме желтым скотчем по периметру каждого помещения отмечены границы, отделяющие одно помещение от другого, даже если между ними нет стен.

Подобно невидимым стенам, полосы на полу разграничивают гостиную и кухню. Гостиную и спальню. Спальню и ванную. Зачем? "Чтобы соблюдать правила", — комментирует Водушек. Во время занятий нельзя ходить на кухню. Во время отдыха — смотреть телевизор или есть. Когда кто-то один идет в туалет, остальные ждут в гостиной. Лагерь "Игуана" — слишком маленький, и, чтобы заключенные не забывали правила, пришлось придумать разделительные полосы, как для дрессировки щенков или котят.

Водушек говорит, что ребята быстро запомнили правила. При появлении военного на пороге их дома они вскакивают и вытягиваются по стойке смирно. Он говорит также, что дети "очень веселятся", когда психиатр из лазарета приходит сюда для проведения сеанса групповой терапии. Итоги этих длинных сеансов фиксируются в личных делах заключенных. Не совсем ясно, для чего нужны данные записи: для выяв-

ления и лечения детских травм маленьких узников, росших с оружием в руках и ненавистью в сердце, или для того, чтобы выудить из них информацию и воспоминания, которые трудно получить другим способом, например, в камерах для допроса, куда детей тоже водили.

В "заботе" о юных заключенных, в их "привлечении к учебе и спорту" чувствуется подспудная жестокость – не стоит забывать, что содержатся они здесь незаконно. Международная конвенция о правах ребенка, ратифицированная в девяноста двух странах, но в Соединенных Штатах лишь рекомендованная к ратификации, определяет заключение как "крайнюю меру" и ограничивает его "как можно более коротким периодом времени... с правом на незамедлительный доступ к правовой и другой соответствующей помощи, а также правом оспаривать законность лишения свободы перед судом или другим компетентным, независимым и беспристрастным органом"[1]. Обсуждать подобные вопросы с молодым лейтенантом Водушеком на лужайке с игуанами совершенно бесполезно. "Я о таких вещах рассуждать не уполномочен", – резко бросает он. И в каком-то смысле он прав: за него это сделали другие. Чиновники Пентагона открыто заявляют о причинах появления лагеря "Игуана". Глава военного штаба генерал Ричард Маерс 25 апреля 2003 года с вызывающей искренностью, используя выразительную спортивную метафору, озвучил позицию государства по этому вопросу: "Несмотря на свой возраст, эти люди чрезвычайно опасны. Они еще подростки, но играют не в школьном клубе... а среди настоящих профессионалов первой лиги: в команде террористов".

Умар Хадр в такой команде действительно играл. Сейчас он вместе со своими товарищами сидит в соседнем помещении, куда на время моего визита его запер лейтенант Водушек. Возможно, ему удастся расслышать мой вопрос о нем. И лаконичный ответ лейтенанта: "Мы не имеем права предоставлять информацию об отдельных заключенных". Умару шестнадцать лет. Он единственный из детей-заключенных, кого не лишили имени, лица, истории. За него отчаянно борется Канада, гражданином которой он является по рождению. Гражданское движение за права Умара стало причиной дипломатических трений между Канадой и Соединенными Штатами.

Умар долго оставался оранжевым привидением, как и все остальные. Правительство Соединенных Штатов не реагировало на элементарный запрос канадских властей: подтвердить личность мальчика. До тех пор, пока скрывать ее уже не было никакой возможности и его история не всплыла на поверхность. Все началось летом 2002 года в Афганистане, во время кровавой битвы при городе Хосте. Умару тогда было только пятнадцать. Его отец Саид, инженер (родился в Египте, а в шестидесятые эмигрировал в Канаду), привез своих детей, Умара и его старшего (21 год) брата Абдула Рахмана, в Афганистан. Здесь отец и сыновья встали в ряды талибского Джихада. Квартал, где они остановились, был атакован американскими войсками с земли и с воздуха. Умар попытался спрятаться в разрушенном здании, но его обнаружил патрульный отряд, и тогда, обороняясь, он бросил в американских солдат единственное, что у него осталось, – ручную гранату. Осколок попал в 28-летнего сержанта первого класса Джеймса Спиа, и тот погиб на мес-

1. Статья 37 d.

те. Умара отбросило взрывной волной, он был ранен в бедро. Его схватили и перевезли на военную базу Баграм, где он провел несколько месяцев. На допросах от Умара пытались добиться сведений о его отце Саиде. На базе полагали, что Саид, арестованный в 1996 году пакистанской полицией по обвинению в причастности к организации террористического акта в египетском посольстве и тогда же отпущенный на свободу, был человеком, способным повести за собой остатки армии "Аль-Каиды" в Афганистане.

Об отце Умар ничего не знает. Он потерял его из виду во время сражения в Хосте. Но этот ответ никого не устраивал, и Умар получил билет в один конец на базу Гуантанамо, куда и прибыл в конце 2002 года. Его определили в один блок с братом Абдулом, которого также арестовали в Хосте. Но об этом Умару ничего не известно. Однако Абдулу удается сначала навести справки о местонахождении брата, а затем сообщить о нем в письме оставшейся в Канаде бабушке. Он написал ей, что Умару плохо, что в клетке его раны продолжают кровоточить и гноиться. Что сам он сходит с ума от отчаяния: брат так близко, всего в нескольких шагах, но он не может его обнять и утешить. Он обещает притвориться больным и по дороге в лазарет попробовать перехватить взгляд брата. Никто не знает, смогут ли они когда-нибудь снова обняться. Естественно, Абдул также сообщил родным, что в свои шестнадцать лет, которые Умар встретил в клетке, он не видит одним глазом и не может из-за анкилоза пошевелить плечом.

Летом 2003-го Умар достигнет совершеннолетия, по лагерным правилам это происходит не в восемнадцать, а в семнадцать лет. Вероятно, хотя у нас нет никаких тому доказательств, возраст заключенных определяется по неопровержимым анкетным данным, а не по пуху на щеках. Если канадские власти не добьются его освобождения, следующим летом Умар вернется в саркофаг к "оранжевым", откуда его с таким трудом вырвали защитники. Или попадет в чистилище к "белым", если захочет говорить. В любом случае, он больше не будет ребенком. И опять превратится только в enemy combatant – активного врага.

Глава 8
Активные враги

<...>

В декабре 2002 года ежедневник "Вашингтон пост", ссылаясь на военные источники и показания очевидцев, написал, что на базе Баграм ЦРУ использует нетрадиционные методы ведения допросов. Арсенал физических и психологических пыток разнообразен: заключенных заставляют по многу часов подряд стоять на коленях; им на голову надевают замазанные черной краской сварочные маски; их пытают электрическим светом, стремясь вызвать расстройства нервной системы. Пентагон и Белый дом решительно отвергают все обвинения газеты, но именно в декабре 2002 года в Баграме при невыясненных обстоятельствах умирают двое заключенных. На телах афганцев Диалавара (22 года) и Муллы Хабибуллы (30 лет) видны следы "тяжелых травм, полученных в результате насилия". В материалах экспертизы, представленных военными в марте 2003-го, написано: они "умерли насильственной смертью", что заставило Патрика Дж. Лихи, сенатора-демократа от штата

Вермонт, потребовать от военных отчета об обстоятельствах смерти узников. В то же самое время "Нью-Йорк таймс" в статье, посвященной этому расследованию, утверждает, что в Баграме применение силы и унижение заключенных превратились в нечто обыденное. Газета пишет, что узников запирают голыми в ледяных помещениях, привязав за руки цепями к потолку и заковав лодыжки в стальные кольца. 25 июня 2003 года адвокат Министерства обороны генерал Уильям Дж. Хэйнс заявил: "Расследование еще не закончено".

Генерал Миллер[1] напрягается: "То, что происходит в Баграме, меня не касается. Однако я решительно заявляю, что в Гуантанамо не применяется сила для выбивания из заключенных показаний. Как бы там ни было, все время почему-то забывают, что невиновных мы отпускаем на свободу". Такое действительно случалось: 5 апреля и 27 октября 2002 года, 21 марта, 14 мая и в ноябре 2003-го. Отпущено 88 заключенных[2]. Освободят и других. Как минимум еще 140 узников — до января 2004 года, если Пентагон выполнит взятое на себя в декабре 2003-го обязательство. Но на каком основании отпускают на свободу?

Если установлена "информационная бесполезность" задержанного. Или если так выгодно Вашингтону: когда более длительное заключение может обернуться напряженностью в отношениях с другими странами, а то и с союзниками — иногда бывает, что в карманах узников лежат именно их паспорта. Все это становится очевидным, если внимательно присмотреться к фактам или прислушаться к словам генерала Миллера: "Я не вправе вдаваться в подробности, но могу сказать, что для освобождения необходимо выполнение трех условий. Заключенный не должен больше представлять угрозы как личность. Он обязуется порвать все связи и отношения с террористическими организациями. И стать нашим источником информации". Вот, следовательно, ключевое слово — источник.

Трудно себе представить, как можно оставаться источником информации спустя много месяцев или лет после ареста. Какими сведениями может располагать человек, влачащий уединенное существование в клетке на другом конце земли? Часто не чувствуя течения времени. Неужели человек способен выдать имена террористических лидеров, указать местонахождение их укрытий, рассказать об их планах на будущее, если он не знает, существует ли еще все то, что он оставил позади. Сведения — всем известно — вещь скоропортящаяся. Они быстро теряют актуальность, потому что у новостей короткая жизнь. Генерал Миллер отчасти с этим согласен. Он понимает, что это пункт сомнительный, и поэтому уходит от прямого ответа: "Признаю, что ваш вопрос имеет под собой почву. Но существуют разные виды сведений: тактические, оперативные и стратегические. Тактические устаревают мгновенно, остальные полностью сохраняют свою информативную ценность. Поэтому заключенные лагеря 'Дельта' остаются важнейшим источником". Доказать обратное, как прекрасно понимают и генерал, и Пентагон, довольно сложно. Материалы, полученные от заключенных во время допросов, не являются предметом судебного разбирательства, где рано или поздно их ожидало бы discovery[3], а следовательно, и проверка. Они представляют собой листы бумаги с расшифровкой каблограмм. Поскольку источник всегда ос-

1. Генерал Джеффри Д. Миллер — главнокомандующий Оперативной группы Гуантанамо. (*Прим. перев.*)
2. По данным на осень 2003 г.
3. Зд.: рассекречивание (*англ.*). (*Прим. перев.*)

тается засекреченным, подписей под показаниями нет. Каблограммы кочуют из одного информационного агентства в другое, а их бесполезными обрывками обмениваются между собой страны альянса. Этого слишком мало, чтобы оценить значимость данных сведений. А проверить их полезность попросту невозможно.

Время, уделенное мне генералом Миллером, истекло. Он поднимается из-за стола, чтобы проводить гостя до двери. По пути торопливо отвечает на последние два вопроса: "Будут ли судить заключенных в Гуантанамо?" — "Поспрашивайте вокруг... Официальной информацией я не владею". Почему же тогда широко распространяются слухи о том, что именно здесь, на острове, собираются построить камеру смертников? Зачем нужна виселица, если нет суда, уполномоченного решать, кому подниматься на эшафот? "Я не получал приказа подготовить помещение для смертной казни. Если такой приказ поступит, мы будем готовы. В любом случае, прошу вас, перестаньте задавать мне вопросы о суде. Я не судья и не адвокат. Я всего лишь солдат".

<...>

Глава 10
Сомнения

В семь часов вечера на скамейках "Джерк-хауса" заметно некоторое оживление. Это ямайский фаст-фуд на берегу залива — в сторону Виндварда. Достаточно далеко от стального саркофага, чтобы его тень и эхо не давили на посетителей. Достаточно близко, чтобы здесь искали прибежище толпы солдат и офицеров. На открытом воздухе стоят три больших круглых стола из белого пластика, на которых валяются пивные банки, грязные огрызки с жадностью съеденных початков кукурузы, упаковки take-away[1]: рис с курицей, рис со свининой, рис с овощами. Говорят, что это очень вкусно. Только, кажется, трудно один вид отличить от другого. Обильно приправленная перцем и специями еда обжигает рот. Просто так легче пить.

Полковник Джонсон Барри кричит через закопченное кухонное окно, что сегодня вечер combo — всего понемножку. "Неплохо, с этой штукой я еще сколько-нибудь протяну. Через несколько месяцев заступит новая смена, и я поеду в Нью-Йорк учиться..." — "Эта штука" — Combo или Гуантанамо? Джонсон улыбается, его глаза сощурились в щелки. Образованный офицер, хорошо воспитан и способен понимать намеки, ловко игнорировать неудобные вопросы или отвечать на них в нужном ключе. Полковник Джонсон — рупор местного командования. Он покинул окопы, когда армия поняла: одной пехотой войны не выиграть, нужен тот, кто умеет о войне рассказывать и рассказывать определенным образом. Джонсон был на Балканах, хорошо знает Италию, любит читать. И читает много. Вот уже несколько месяцев его утро в заливе начинается с просмотра прессы в Интернете. "Я знаю, что пишут в Европе об этом месте. Очевидно, там затевают жесткую и сложную политическую игру. Посмотрим, чем все закончится. На данный момент, я считаю,

1. Еда на вынос (*англ.*). (*Прим. перев.*)

мы правильно сделали, что распахнули двери лагеря 'Дельта', как раньше 'Х-гау', перед иностранными журналистами. Игра в прятки ни к чему хорошему не приводит. Вы можете свободно за всем наблюдать. Писать свои статьи и выносить суждения. Думаю, это хороший ответ тем, кто говорит об отсутствии демократии..."

Правда, свобода печати здесь ни при чем. И Джонсон это знает. Очевидно, именно поэтому он не спешит заняться своим остывающим combo. "Возьмем эту историю с Третьей Женевской конвенцией... Разве наши заключенные защищают какую-то нацию? Разве они носят военную форму? Открыто демонстрируют свое оружие? Кто их враги? Только американские войска или все американцы, наши семьи и дети? Нет, это не обычная война. Это другая война. И наши враги — не обычные враги. Мы тут плохо с ними обращаемся? А они как обращаются с американцами, которые попадают к ним в руки? Вы когда-нибудь задавали им подобные вопросы? Вы спрашивали, кормят ли наших соотечественников в плену, дают ли им Библию для молитвы, разрешают ли священнику помогать им духовно?.. Куда там! Они нас ненавидят".

Лейтенант Мосс сидит на другом конце стола и слушает затаив дыхание. Каждый раз, когда ему хочется вставить слово, он отправляет в рот полную ложку риса. Пока, наконец, не решается высказаться: "Согласен, вспомните нацизм! Нацистов тоже держали в концентрационных лагерях, над ними устраивали судебные процессы, а что, если Гуантанамо — это современный Нюрнберг? Никто не возражал против Нюрнбергского процесса. И он был проведен. Мы избавились от Зла. Это был урок всем нам, разве нет?" Джонсон слушал Мосса, уставившись на свой combo, который теперь окончательно остыл и принял малопривлекательный вид пережеванной пищи. Он отодвинул еду. "Я солдат, а не юрист. Не мне рассуждать о политике и правах. Но я уверен, что равновесие между свободой и защитой свободы в этом месте было достигнуто". Допустим, что это верно, но как долго такое равновесие сохранится? Сколько еще "исключительное равновесие" будет знаком нашего времени? Мосс, не раздумывая, отвечает: "Пока длится эта война. Что может означать *всегда*..."

Нацизм, Зло, Война, Ненависть, Террор. Все это — порождения страха, который возникает у человека в животе еще до того, как голова способна осознать его. Сегодня вечером за столиком в "Джерк-хаусе" мне не удается уловить у собеседников и тени сомнения. Возможно, потому, что сомнения нет. Или потому, что его невозможно выразить. По крайней мере здесь и сейчас, неподалеку от лагеря "Дельта".

И все же сомнение существует и прокладывает себе дорогу под корой страха. И неожиданно заявляет о себе в далеком от политических дебатов месте, где, однако, частично формируется сознание тех, кто носит форму. Например, в городке Шарлотсвил, штат Виргиния, в кабинетах Военной адвокатуры США, где прекрасно знают, кто обычно заседает в военных судах, какие адвокаты и судьи. В Шарлотсвиле Военная адвокатура США выпускает "The Army Lawyer" — ежемесячный журнал для тех, кто выполняет подобную работу. Статьи написаны в бойком памфлетном стиле, идеи хорошо аргументированы, но изложены довольно просто, чтобы достучаться до умов даже тех граждан, которые никогда не привлекались к ответственности и не попадали в залы суда. Авторы статей очень обеспокоены тем, как именно работает машина, запущенная в Гуантанамо Белым домом и Министерством обороны. Ка-

питан Кевин Дж. Барри, офицер береговой охраны в отставке, много лет проработавший в военных судах, ухватил суть проблемы, содрав покров презентабельности с нововведенной специальной процедуры американского военного правосудия в условиях Войны с терроризмом: "Помимо существенных изменений, которые прекрасно отражают те принципы и правила, что в настоящее время главенствуют в военных судах, эти судебные разбирательства не соответствуют стандартам справедливых слушаний, отличающих американскую судебную систему. В скором времени Соединенные Штаты потеряют моральное превосходство, которым в течение долгого времени владели на мировой арене в качестве гарантов неколебимой справедливости в уголовном суде".

В рассуждениях капитана Барри этические нормы и профессиональные вопросы завязываются в петлю, что лишает силы слабые оправдания тех, кто эти новые правила придумал и установил. Военные комиссии, утверждает он, это шаг на пятьдесят лет назад в культуре военного суда, они беззастенчиво манипулируют правовыми нормами, регулирующими получение и оценку доказательств, отходят от этических принципов правового государства, сводят защиту до роли подчиненной и удобной главным обвинителям, а в конечном счете — исполнительной власти, которая их, обвинителей, назначила и перед которой тем придется отчитываться.

Речь не идет о единичном выступлении, но в каком-то смысле о поветрии, и ответ, полученный Барри от полковника Борча, — прекрасное тому доказательство. Подобно своему оппоненту полковник Борч исключительно щепетилен во всем, что касается его публичных выступлений, и привык взвешивать свои слова. Отвечая на нападки журнала, полковник, главный государственный обвинитель по делам заключенных Гуантанамо, не преминул педантично воспользоваться своим правом на ответ и на страницах того же журнала изложил философию и основные принципы судебного разбирательства, которое проходило при его непосредственном участии и которое он призван защищать. "Процессы в Гуантанамо являются full and fair[1], — пишет Борч, — заявления о том, что наложенные на защиту ограничения затрудняют эффективное исполнение правосудия, не подкреплены серьезными аргументами. Наоборот, эти ограничения столь же разумны, сколь и необходимы (принимая во внимание, что работа комиссий проходит в военное время), и никоим образом не могут препятствовать тщательному судебному разбирательству. <...> Кроме того, капитан Барри не учитывает моральных качеств участников процессов. Кто они, чем занимаются, с какой ответственностью выполняют возложенные на них обязанности. Никакой суд: ни американский, ни зарубежный, ни военный, ни гражданский — не мог не отдать должное вовлеченным в эти процессы людям. В военных комиссиях заседают офицеры, опытные судьи и адвокаты, одним своим присутствием гарантирующие full and fair разбирательства. А в остальном было бы гораздо более fair, если бы критиканы комиссий — капитан Барри и иже с ним — повременили выражать свое недовольство результатами процессов, которые, я уверен, будут full and fair и которыми американцы смогут гордиться".

Все могло бы закончиться на этой ноте, если бы капитан Барри и сочувствующая его позиции часть армии не решили, что заключительное

1. Полноценными и справедливыми (*англ.*). (*Прим.перев.*)

слово должно остаться за ними. И снова на страницах журнала говорится: "Проблема заключается не в героическом стремлении вовлеченных в процесс офицеров сделать разбирательства full and fair. Это не ставится под сомнение. Проблема, я настаиваю, в самих процедурах, которые полковник Борч не случайно защищает, используя в качестве аргументов лишь заявления, которые в поддержку этих процедур распространила Администрация. <...> Теперь Администрации нужно сделать нечто большее, чтобы защитить свое детище. Она должна внести существенные изменения. Если этого не произойдет, то, несмотря на усилия и благие намерения участников, комиссии не будут восприняты как fair ни у нас, ни за границей. Мы — правовое государство, и одна из целей Войны с терроризмом — завоевать сердца и умы не только союзников, но и врагов. Если ничего не изменится, мы потеряем даже друзей..." А кроме них — стоит добавить — часть военных адвокатов, которые уже приняли решение уклониться от участия в спектакле, где им отведена роль безмолвных статистов[1].

<...>

Глава 11

Возмездие

Все происходит очень быстро. 10 сентября 2003 года, среда. Прибывающий из Гуантанамо транспортный самолет касается посадочной полосы Джексонвиля, штат Флорида. На борту самолета — мужчины и женщины, получившие отпуск. По приставной лестнице в кабину пилота быстро поднимаются офицеры военной полиции и разведки. Пассажира Йи, капитана Джеймса Дж. Йи, мусульманского капеллана лагеря "Дельта", вызывают в носовую часть самолета. Это не формальность. Для армии США это арест. Он предал свою страну и нарушил присягу. Капитан Йи — шпион. Глаз и ухо "Аль-Каиды" в стальном саркофаге.

О задержании и местонахождении капитана молчат десять дней. Пока 20 и 21 сентября "Вашингтон таймс" не приоткрывает завесу тайны двумя публикациями. В этой консервативной и близкой Пентагону газете появляется подробная статья, где автор отводит Йи роль эпицентра заговора, который военная разведка обещает полностью раскрыть. Капитан, по словам "Таймс", содержится под стражей на военно-морской базе в Чарлстоне, штат Южная Каролина. <...> О его виновности свидетельствуют "объективные" факты. Например, такие: при обыске во время ареста у Йи были найдены "разные" спрятанные документы. Сделанные шариковой ручкой зарисовки, похожие на чертежи лагеря "Дельта", где отмечено местоположение блоков и складских помещений. "Похожие". А еще, как сообщает источник, похоже, что капитан установил непозволительные отношения с некоторыми заключенными. Здесь работает логика подозрения, подпитанная изощренной техникой ведения следствия, практикуемой в условиях Войны с терроризмом и уже испытанной на заключенных, а теперь применяемой к тюремщи-

1. Весной 2003 г. некоторые военные адвокаты, первоначально откликнувшиеся на призыв командования о наборе сотрудников для участия в защите заключенных Гуантанамо перед лицом военной комиссии, отказались от назначения, высказав сомнения по поводу тех юридических норм, которые определяют их статус и обязанности. См.: James Meek. Us Fires Guantanamo Defence Team // The Guardian, 3.XII. 2003.

кам. Это техника выводов, автоматически вытекающих из презумпции виновности.

Вывод первый. Йи — мусульманин, как и его братья в клетках. Следовательно, не случайны та доверительность и расположение заключенных, которых он добился и благодаря которым его подопечные называли его просто Юсефом.

Вывод второй. Прежде чем вернуться в армейские ряды, оставленные капитаном после обучения в Уэст-Пойнте, Йи жил в Сирии, где получил религиозное образование. Сирия — заклятый враг Соединенных Штатов. Йи вывозил из Гуантанамо "спрятанные документы". Следовательно, "разумно" полагать, что Йи — сирийский шпион.

Вывод третий. В армии США уже были предатели-мусульмане. Сержант Асан Акбар накануне войны с Ираком бросил в штабные палатки дислоцированной на территории Кувейта воздушно-десантной бригады ручную гранату, ранил пятнадцать сослуживцев и убил двоих. Несколькими годами ранее, в 1998-м, сержант Али А. Мухаммад участвовал в террористических атаках на посольства США в Африке. Следовательно, в том, что капитан Йи тоже оказался предателем, нет ничего странного, тем более что его статьи для газеты военной базы в Форт-Льюисе — замечают между делом бдительные следователи — "именно в 2001 году" призывали перестать запугивать людей исламом.

По сути, все просто. Капитан Йи — образцовый друг среди врагов и враг среди друзей. Идеальная кандидатура для обвинения в шпионаже.

Неужели я и вправду познакомился со шпионом? Первым шпионом Войны с терроризмом? Наивно поверил в идею гармоничного сосуществования Корана и американской Конституции? Неужели я действительно решил, что вера в Пророка может сочетаться с ношением американской военной формы в таком месте, где мусульмане испытывают адские муки?

В конце сентября 2003 года выдались тяжелые дни. Еще и потому, что шумиха, поднявшаяся вокруг дела Йи, все больше принимала вид фарса. 23 сентября, по прошествии без малого двадцати четырех часов после ареста капитана Юсефа, Пентагон бросает на стол новую карту. Еще один человек в форме. Еще один мусульманин, служивший в лагере Гуантанамо. Его имя — Ахмад И. аль-Халаби. Рядовой ВВС США на протяжении девяти месяцев выполнял обязанности переводчика в заливе осужденных. Его арестовали 23 июля, как и Йи на борту самолета в аэропорту Джексонвиля. Его также заперли на авиабазе повышенной секретности Ванденберг, штат Калифорния.

Семь недель Пентагон молчит. А потом, чему мы все были свидетелями, решает, что 23 сентября будет днем discovery. Выбор не случаен, он иллюстрирует метод. Предъявленные аль-Халаби тридцать обвинений — это крепкая опора для подозрений, которыми накануне опутали фигуру капеллана Йи. Из тридцати обвинений четыре — в шпионаже, три — в единомыслии с врагом, одиннадцать — в неподчинении командованию, девять — во лжесвидетельстве. Официальные источники в военно-воздушных силах не скупятся на детали. Аль-Халаби сделал фотографию лагеря "Дельта", что запрещено уставом. Он перенес секретные материалы с казенного компьютера на свой личный. Он "незаконно" и "тайно" распространял среди заключенных пахлаву. Вот именно, пахлаву — помните? — премиальный десерт повара Клака, нетрадиционное оружие, используемое для того, чтобы развязать языки заключенным в

клетках. Более того, аль-Халаби попытался передать по электронной почте информацию, интересную сирийской разведке: две записки частного характера, написанные лично заключенными, и сто пятьдесят набранных им самим таких же записок в электронных файлах; новости о передвижениях внутри базы, условия и способ транспортировки заключенных.

Дошла ли эта информация до Дамаска, государственное обвинение предпочитает не уточнять. Майор Ким И. Лондон, адвокат аль-Халаби, замечает, что в пунктах обвинительного акта не содержится "необходимых для обвинения улик", но получает решительный отпор: "Аль-Халаби общался с человеком, не уполномоченным получать определенную информацию. Человеком, который, и аль-Халаби это знал, является врагом". Возможно, с сирийцем. Или с кем-то, на сирийцев работающим.

Остальное для Пентагона — не имеющие значения мелочи. Важно одно: в конце сентября 2003 года логическая нить связывает вместе учившегося в Дамаске капеллана Йи с отправлявшим или пытавшимся отправлять в Дамаск электронные письма рядовым аль-Халаби. Знают ли эти двое друг друга, будет видно потом.

Но это еще не конец.

В понедельник 29 сентября начался последний акт этой пьесы. По крайней мере, так он был подан. В бостонском аэропорту Логана в тех же коридорах, по которым за два года до этого прошли камикадзе черного вторника, сотрудники департамента государственной безопасности надевают наручники на третьего участника заговора, вызревшего в заливе осужденных. Он гражданский, его зовут Ахмед Фати Мехальба. Ему тридцать один год, он родился в Египте, но является гражданином США. Он возвращается из Каира, и его останавливают для "выборочного досмотра". Он показывает пропуск на военную базу в Гуантанамо с печатью "Корпорации Титан" из Сан-Диего — калифорнийской компании — еще одного игрока в *аутсорсинг*. "Титан" предоставляет "комплексные услуги по обеспечению национальной безопасности". В Гуантанамо они устроили на работу своих переводчиков. Мехальба один из них.

Незадачливого переводчика просят открыть чемодан, где обнаруживают сто тридцать два компакт-диска. "Музыка и фильмы..." — говорит он. "368 файлов с секретными материалами, имеющими отношение к заключенным Гуантанамо, — уточняет департамент государственной безопасности, — неумело замаскированные обычными вкладышами в коробках". Например, диск под названием: "Back-up 3 for M.O.'s profile"[1]. На Мехальбу надевают оранжевую униформу и "три вещи". Судье Чарльзу Свартвуду, сакционировавшему арест, он объяснил, что не может позволить себе нанять адвоката.

У Мехальбы нелегкая жизнь. И всегда была нелегкой. В 2000 году он записался добровольцем в армию и был определен на курсы подготовки специалистов по ведению допросов при центре контршпионажа на базе Форт-Хуачука в штате Аризона. Но провалился на экзаменах. Его освободили от военной службы по причине чрезмерной полноты. У него завязался роман со студенткой центра контршпионажа Деборой Джефарт. Ее тоже исключили, но не из-за избыточного веса, а за кражу машины и ноутбука, содержащего секретную информацию.

1. Досье на М. О. Резервная копия 3 (*англ.*). *(Прим. перев.)*

Но Мехальба человек упорный, ему удается устроиться в "Титан" и оказаться в итоге на лучше всего охраняемой американской разведкой границе Войны с терроризмом. Ему, уволенному из армии толстяку. Египтянином-"лжецом" называет Мехальбу в протоколе задержания агент ФБР Джон Ф. ван Клиф: Мехальба готов утверждать, что кто-то без его ведома скачал с его компьютера на диски пятьдесят шесть страниц секретных материалов. И упорно отрицает тот факт, что ему приходится дядей некий человек, работающий на египетскую разведку. Вероятно, агент ван Клиф прав. А может быть, Мехальба всего лишь наивный сладкоежка, недотепа, "тридцать три несчастья". Наивный настолько, чтобы сначала заявить, а потом попытаться доказать ФБР, что он просто забыл стереть закрытую информацию со своего ноутбука, прежде чем продать его частному лицу. В результате компьютер с материалами, касающимися заключенных Гуантанамо, попал в третьи руки. "Здесь не может быть никаких сомнений", — говорят федеральные агенты, нашедшие этот ноутбук. На жестком диске компьютера сохранились пять файлов с секретной информацией и резюме Мехальбы.

Три мусульманина — следовательно, заговор? Знакомы ли между собой капитан Йи, рядовой аль-Халаби и переводчик Мехальба? Действительно ли они являются агентами изощренной "вражеской разведки", сумевшей проникнуть на самый защищенный и самый отдаленный фронт Войны с терроризмом? Или смысл этой истории совсем в другом? В том, что в Гуантанамо подозрение начинает уничтожать самих стражников? Что в заливе осужденных ситуация начинает выходить из-под контроля?..

Пытаясь найти хоть какие-то ответы на свои многочисленные вопросы, я подхожу к небоскребу из стекла и стали под номером 2001 на Эл-стрит в Вашингтоне и поднимаюсь в офис юридической конторы "Фельдсман, Такер, Лейфер и Фиделл". Мне нужно поговорить с одним из партнеров — Юджином Р. Фиделлом. Юджин Фиделл — признанный авторитет в области военного судопроизводства, президент Национального института военной юстиции. У него изысканные манеры, и, как настоящий мастер своего дела, он умеет четко формулировать идеи и мысли. Именно к его мнениям больше всего прислушиваются в вопросах, касающихся военных судов и военных комиссий Гуантанамо.

Фиделл возглавляет группу адвокатов, защищающих капитана Йи. Он сделал нелегкий выбор. "Я прекрасно вас понимаю. Когда мне предложили это дело, я не сразу согласился, — говорит он. — Раздумывая, стоит ли за него браться, я заглянул в глубь вопроса. За что на самом деле отвечал Йи? Правда ли то, о чем трубили американские газеты, опираясь на засекреченные источники информации: что Джеймс Йи шпион? Кто вообще такой этот парень?" Фиделл встретился со своим подзащитным в октябре на военно-морской базе Чарлстон, где капеллан к тому времени уже месяц сидел в одиночной камере. "Это была картина в средневековом духе. Я ждал в комнате для допросов и догадался о его приближении по звону цепей, который предшествовал появлению узника. Капитан тащился в своих "трех вещах" с таким достоинством, что мне вряд ли когда-нибудь удастся это забыть. Он двигался рывками, как марионетка, его запястья, лодыжки и талия были закованы в железные кольца... Я не мог понять, где нахожусь: на военной базе великой демократической страны или в Гуантанамо. Но, по сути, для его обвинителей между тем и другим нет большой разницы".

В бетонной коробке Чарлстона, где Йи проводит свои дни, ему запрещен любой интеллектуальный досуг. Он может читать только Коран. Ему не разрешено то немногое, что позволено даже заключенным в заливе: писать и соблюдать Рамадан. Его бывшему начальнику, не поверившему в виновность капитана, не позволили увидеться с задержанным. Его жене и двум братьям, военнослужащим, как и он, отказано в праве на свидание и переписку.

Государственное обвинение уверено, что рано или поздно оборона капеллана должна рухнуть. Оно остерегается открывать карты, которые могли бы показать несостоятельность обвинения в шпионаже. На самом деле обвинители взяли тайм-аут. Пентагон поставил на трех тщательно отобранных из команды избранных прокуроров (обычно им доверяют сложные, политичеєки деликатные дела). Все трое — Майкл Маллиган, Тимоти Макдоннелл и Пол Ле Блан — продолжают копаться в папке с материалами расследования, отыскивая недостающий элемент, который поставил бы Йи в центр цепочки и связал таким образом с аль-Халаби и Мехальбой. Но в этом ворохе бумаг ничего нет. Или лучше так: что-то там все-таки есть. Важные показания влиятельного свидетеля — генерала Джеффри Д. Миллера, главнокомандующего Объединенной оперативной группой Гуантанамо. Техасскому генералу никогда не нравился этот мусульманский капитан Джеймс Йи, сам себя называвший Юсефом. Не нравилась его нахальная улыбка и привычка неожиданно появляться в клетках. А в упорном стремлении облегчить психологическое бремя заключенных генерал всегда усматривал не сострадание, а подозрительное соучастие. Во внезапной инициативе Йи — заменить живым голосом магнитофонные записи, пять раз в день призывающие заключенных к молитве, техасец усмотрел нечто большее, чем просто милосердие. Он воспринял как наглый вызов настойчивые просьбы капеллана прикрепить к потолку каждой клетки хирургическую маску для хранения Корана. Чтобы Коран не запылился и не запачкался мочой.

Фиделл ставит серьезные вопросы: "На каком основании его обвиняют в шпионаже? За что подвергают такому непостижимому унижению? За четыре собственноручно написанные и привезенные с собой заметки, на вывоз которых не было получено разрешения? За конспекты разговоров с заключенными, чьим духовным наставником являлся капитан? Или за что-то еще? Возможно, за его военную биографию?"

В комнате для допросов в Чарлстоне Йи рассказывает свою историю Фиделлу, как несколько месяцев назад, в июле 2003-го, рассказывал ее мне во время нашей встречи в бараке со знаком черного полумесяца на двери. Рассказывает пылко. Но в этот раз без законного и горделивого чувства принадлежности к армии и Стране, которые призваны защитить закованного в кандалы человека. По словам капитана, призраки Гуантанамо действительно мучили его как наваждение. Он чувствовал свою ответственность за них. И пытался облегчить душу в беседах с Мухаммадом Джубаном. Не с сирийским шпионом, а с имамом из Олимпии, в пригороде Сиэтла. Мухаммад эти встречи с капелланом не забыл. "Йи, — рассказывает Джубан корреспонденту 'Нью-Йорк таймс', — вернулся домой в марте 2003-го после полугода службы в Гуантанамо. Он знал, что должен будет вернуться туда еще на один срок. По возвращении он собирался стать муэдзином и призывать наших братьев к молитве... Его мучили сомнения, но он старательно избегал упоминаний об условиях содержания заключенных в заливе. Наоборот, капитан повто-

рял, что его единственная забота — удовлетворить духовные нужды своих подопечных. В этом заключалась его служба родине. Он искал у меня утешения и совета..."

Как когда-то искал их в Саудовской пустыне. Шел август 1991 года. Йи жил на военной базе США в Хобаре, куда его направило командование после окончания первой Войны в заливе. Офицер батареи "Патриот" посвящал свободное время переводу на английский язык священных текстов ислама. Пока в 1993 году военно-воздушные силы и королевская семья Саудовской Аравии не оплатили его первое паломничество в Мекку, куда Йи вернется во второй раз в 1995-м. После чего снимет военную форму и переедет в Дамаск, в школу верховного муфтия Ахмада Куфтаро, где будет учиться в течение четырех лет и познакомится со своей будущей женой, сирийкой с красивым именем Уода. В 1999 году Джеймс Йи возвращается в США и снова надевает военную форму. На этот раз он становится мусульманским капелланом. После событий 11 сентября он находит в себе смелость писать и в частной переписке, и в вестнике военной базы Форт-Льюиса, и в электронных письмах своему бывшему тренеру по борьбе, и на форуме интерактивного общения: "Не судите мусульман по тому, что произошло".

Капитан Джеймс Йи не шпион. 26 ноября 2003 года, в те самые минуты, когда четвертый военнослужащий из залива осужденных был обвинен во "лжесвидетельстве и халатности при исполнении должностных обязанностей, а именно при охране закрытых документов", армия США сняла с капитана Йи все обвинения в шпионаже, за которые он был арестован и провел несколько месяцев в одиночной камере. Его восстановили в должности капеллана в Форт-Беннинге, штат Джорджия, не восстановив, однако, его репутации. Ему продолжают предъявлять мелкие обвинения: "небрежное обращение с закрытой информацией" (он забыл, что для перевозки таких документов используется металлический ящик с висячим замком). С него сняли обвинения в предательстве родины, но не в измене жене. Да, Йи придется ответить за это. За адюльтер. А кроме того, за поиск порнографических картинок в сети на одной из грязных скамеек Интернет-кафе в лагере "Америка".

Военный судья должен решить по итогам предварительного следствия, будет ли и когда Джеймс Йи отвечать перед военным судом. В то же время военный суд и суд округа Массачусетс рассмотрят дела по обвинениям в шпионаже рядового аль-Халаби и гражданина Мехальбы. Слушанья будут проходить отдельно, несмотря на то, что следствие пыталось связать дела в один общий узел.

Юджин Фиделл прощается: "То, что произошло с капитаном Йи и что творится в Гуантанамо, отдает безумием. Они не умеют учиться на собственных ошибках, да и не хотят учиться. Наоборот, упорно повторяют их снова и снова. И ошибки становятся непоправимыми. Рано или поздно этому наступит конец. Не сегодня. И, вероятно, не завтра. Пока нам остается только рассказывать и помнить о том, чему мы являемся свидетелями". Возможно, он прав.

Леонид Гиршович
Квадратура круга?

Поскольку неразрешимых проблем нет, то все, что не решаемо, по логике вещей перестает быть проблемой. Против рожна не попрешь. Иначе с равным успехом можно биться над проблемой обращения времени вспять с целью изменить ход истории, направив его в русло сослагательного наклонения. Дело политологов гадать, верят ли государственные мужи в то, что против рожна — *попрешь*, или все разговоры вокруг рождаемости — это нормальный политический карамболь: ударяешь по одному шару, а в лузу летит совсем другой. Я не имею в виду данного конкретного оратора. Это же относится и к фрау фон дер Ляйен, министру по делам семьи ФРГ, которая одержима идеей спасения этой самой семьи. Ведь, как известно, немецкая семья гибнет, Германия в опасности: вот-вот разразится демографическая катастрофа. Ныне бьющих в демографический набат европейских политиков пруд пруди. Их скоро можно будет пускать стенка на стенку с теми, кто бьет в экологический набат, благо они из разных политических лагерей.

Позволю себе высказать некоторые соображения о человеческом недороде в просвещенной Европе, к которой отношу и Россию, несмотря на "особенную стать" в графе особые приметы и то, что за единицу измерения принят "необщий аршин". Сужу я, надо сказать, на уровне совершенно обывательском, другого в моем случае быть не может. Но как раз *остраненность* и обеспечивает моему невежеству дистанцию, позволяя исходить из здравого смысла, подключая боковое зрение, чего специалист, присосавшийся к своей теме, лишен. Он — последний, кто заметит, что пациент мертв.

Здравый смысл мне говорит: все началось с того, что на одном из церковных соборов на вопрос, считать ли женщину человеком, был дан утвердительный ответ. Этому предшествовали дебаты, мнения отцов церкви разделились, пока не прозвучал следующий неоспоримый аргумент: коль скоро Сын Божий в Евангелиях зовется так же и Сыном Человеческим, то вторая сторона в этом браке, Дева Мария, — человек.

Прошло еще несколько столетий, прежде чем этот вердикт был осмыслен европейцами, а главное — европеянками. В какой-то момент европейская женщина осознала, что она "тоже человек", то есть тоже чуточку мужчина — в рассуждении культурных и социальных потребностей, которые всегда было принято считать мужскими (творческая самореализация, политическая сфера, физический отдых и т. п.). Знаменитое mot[1] о невозможности быть чуточку беременной легко перефразировать: невозможно чуточку не беременеть — чуточку быть мужчиной, а чуточку оставаться женщиной. Так женщина обрела право — не юридическое, но, что гораздо важней, нравственное — ограничивать свою природу в части деторождения. Говоря по-народному, предохраняться.

В двадцатые годы в СССР в ходу был термин "цвайкиндерсистем", позаимствованный оттуда, откуда

© Леонид Гиршович, 2006

1. Зд.: шутка (*франц.*).

Россия много чего заимствовала. Передовая семья в гигиеническом и культурном отношении: работа, досуг и воспитание двух веселых здоровых детей гармонически распределяются между обоими родителями. Этому противостоит старорежимный уклад: муж в клубе с сигарой (или в распивочной с цигаркой), а жену он добродетельно послал на три буквы. ККК: "Киндер-Кирхе-Кюхе"[1]. Бедняжка должна всех обстирать, всем приготовить обед, убраться, а тут дети по лавкам скачут, а тут им в компанию еще одного родить предстоит. Чем не иллюстрация к поэме Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо"?

"Планирование семьи" звучит прогрессивно, светло: отрасль планового хозяйства. Однако, допустив ограничение рождаемости, даже не важно, каким количеством детей, одним или пятью, человечество бросило вызов небу, наиболее дерзкий из всего, что можно себе представить. Нарушена первейшая заповедь: "Плодитесь, размножайтесь". Это то же, что и грех самоубийства: уход в самоволку посягает на исключительное право Командира перерезать нерв твоей жизни. Во всяком случае, так трактуется своеволие Онана, изливавшего семя на землю, чтобы не стать отцом.

Компромисс между божественным императивом "рожать под завязку" и желанием "пожить в свое удовольствие", достигнутый готовностью "немножечко рожать", носит промежуточный характер. К началу XXI века женская эмансипация зашла очень далеко. Как потребитель, как субъект права, как творческая личность современная женщина уже близка к тому, чтобы стать мужчиной, если это звучит нарочито, пожалуйста: чтобы сравняться с мужчиной. Не скажу, что дело за малым, потому что дело за физиологией, а много это или мало — это очень субъективно, хотя общий знаменатель здесь не за горами, с учетом происходящего в медицине, биологии... словом, наука умеет много гитик.

Нет смысла развивать эту тему. Она уведет нас в дебри какой-нибудь антиутопии — к Олдосу Хаксли, а то и в мой последний роман, грешным делом. Возвращаемся к вопросу: как дедовским способом преодолеть недород человеческих существ, если это кому режет слух, пожалуйста: обеспечить прирост населения, поднять рождаемость.

Человеку свойственно обобщать свои впечатления, умножать на десять происходящее вблизи и, наоборот, не брать в расчет или приуменьшать все, что находится за пределами личного опыта. Допустим, мои наблюдения — немецкие наблюдения — идут вразрез со статистикой, мне неведомой. Но, во-первых, всегда можно отговориться тем, что есть обычная ложь, а есть статистика. Во-вторых, вопреки своей относительной малочисленности, моя "референтная группа" отражает тенденцию в обществе, принадлежа к наиболее активной его части, к головке, задающей тон: это мужчины и женщины с университетским образованием, на приличном жаловании, чей жизненный принцип: "От семнадцати до семидесяти мы все одинаковы".

В процентном выражении они в меньшинстве, но здесь качество переходит в количество. В конце концов, их тоже не так уж мало, их образ жизни призван вызывать у прочих слюноотделение. Это люди, чей подростковый эгоизм растянулся на десятилетия — отчасти поощряемый отеческой заботой государства о своих гражданах, но в огромной степени благодаря предчувствию, что каждому из них отпущен мафусаилов век. Впереди вся жизнь, средняя продолжительность которой с каждым годом возрастает, можно сказать, идет ноздря в ноздрю со старением. Да и старость видится седенькой, розовощекой — в ней полно своих радостей. Типологическое клише: старушка, вся в розовом, на

1 От *нем.*: Kinder-Kirche-Küche — дети-церковь-кухня.

глазах у облаченного в траур потомства бодро просаживает свои сбережения, путешествуя по курортам.

Правда, эта старушка нового типа, думающая о спасении души так же мало, как и о благополучии внуков, все же "приумножилась в потомстве", каковое делать это не спешит. Больше того, влюбляясь, знакомясь, сходясь, потомки предпочитают жить врозь, а совместным удовольствиям предаются по выходным ("уикэндсупружество").

Становясь профессионально и материально вровень с мужчиной, женщина приобретает мужские фобии в том, что касается семейной жизни. "Никогда, никогда не женись, мой друг, — вот тебе мой совет", — говорит князь Андрей Пьеру. Это же могла бы сказать современная княжна Марья Наташе. Современная женщина по утрам, потягиваясь, думает: "Какое счастье, я одна!"

Таковы женщины якобы наступающего матриархата — "якобы", ибо вне материнства матриархат — нонсенс. Детей заводят, как вскакивают в последний поезд, и какая-то часть потенциальных пассажирок намеренно опаздывает: одни боятся иметь детей, другие боятся их не иметь. Заметим, детей "заводят", а не "рожают": это указывает на факультативность того, что составляло смысл жизни всех предыдущих поколений.

Однако еще не исчерпала себя и предшествовавшая нынешней ситуация "мужского двоебрачия", которую нельзя обойти вниманием, даром что свою актуальность она скоро утратит. Я имею в виду юридически признаваемый род мужского двоеженства, ставший возможным с укреплением светского брака и ослаблением брака, совершавшегося на небесах. В Западной Европе это приняло массовый характер лишь после сексуальной революции шестидесятых годов, о которой в Советском Союзе никто понятия не имел. В России Великая Сексуальная Революция либо совпала с Великой Октябрьской, либо была делом рук нигилистов, либо, что всего верней, замечательная русская свобода нравов есть пример тому, как "сельскохозяйственный пуризм" прекрасно уживается с "деревенским бесстыдством".

Как бы там ни было, СССР, не изведавший эйфории сексуальной революции, не знал и торжественной легитимации разводов, что, в частности, сделало возможным "двоеженство в законе". Сегодня это довольно распространенная матримониально-биографическая схема: на жизнь мужчины, как на шампур, насажены, одна за другой, две семьи. Когда дети от первого брака вырастают, их родитель образует новую семью, где он — "старый пес, но еще в соку", к тому же достигший определенного положения и благосостояния, — воспроизводит себя вторично. При заключении второго брака невеста младше жениха на двузначное число лет. Тем не менее ей уже за тридцать, позади вольная жизнь "сингла", впереди, как минимум, четверть века семейного счастья: дети, дом, в эпилоге — вдовство, как раз в том самом возрасте, когда это уже можно себе позволить.

Преимущества более позднего брака перед перспективой быть брошенной в климактерической фазе ослабили хваткость юных дев: с замужеством можно повременить. Но главное, почему "девицы на выданье" перевелись, это необратимый процесс унификации пола. Войдя во вкус мужской жизни с ее креативностью, почувствовав, что в этой креативности она ничем мужчине не уступает, женщина усваивает и мужское отношение к браку. Нежелание обременять себя семьей, детьми присуще мужчине на бытовом уровне с тех пор, как романтический порыв к свободе пришел на смену патриархальному сознанию (что бы ни лежало в его основе, "способ производства" или близость к природе, отождествляемой с Богом). Следуя политесу, блюдя правила игры, некий господин в цилиндре, и даже еще в котелке, произносил сакраментальную фразу о том, что ему не по силам содержать семью. Сегодня женщина, если б ее кто тянул за

язык, могла бы сказать, причем отнюдь не в угоду политесу: мне самой по силам себя содержать, зачем вступать в брак?

А как же инстинкт материнства? Так же, как и инстинкт отцовства, который пробуждается лишь с рождением ребенка. Унификация пола ведет к унификации инстинктов (между прочим, "унисекс" постепенно делает неприличным ношение юбки: раньше или позже русская красавица вслед за немкой сменит свою сексапильную мини-юбку на бесполые брюки – тем паче, что России уже доводилось национальную одежду менять на немецкое платье).

Индивид, порожденный научным и социальным прогрессом, не нуждается в продолжении рода. "На мой век хватит", – говорит он. Ему не нужны сыновья в помощники, ему не нужны дочери, которых он бы выменял на таких же чужих – в жены своим сыновьям.

Правда, в Германии с падением рождаемости летит в тартарары вся система пенсионного обеспечения, созданная еще Бисмарком: мои отчисления в пенсионный фонд идут на прокорм нынешним пенсионерам, которые точно так же кормили своих предшественников. Из каких денег прикажете кормить нынешних кормильцев? Государство воюет с профсоюзами в попытке поднять пенсионную планку еще на пару лет: "Шестьдесят семь – это не возраст. Вы в шестьдесят семь еще как огурчики, вы до ста дотянете, радуйтесь".

Но завтрашним виновникам людского недорода сегодня до пенсии еще как до Луны. Для них куда утешней обещанные сто лет жизни, что делает их в собственных глазах совершенными сопляками.

По сравнению с тем, что фрау фон дер Ляйен готова не пожалеть для возрождения немецкой плодовитости, сказанное Президентом Российской Федерации звучит как "Официант, ириску!" Только кто относится всерьез к словам немецкой госслужащей в ранге министра, на собственном примере пытающейся доказать, что можно быть дельным человеком и при этом матерью-героиней: произвела на свет семерых козлят. Ее щедрость государству не по карману.

В отличие от нее, президенту России официант, предположим, принесет ириску. Ну и что? Подпитка казенными благами в размере ириски, как и в любом ином размере, не будет стимулировать чадородие, главный враг которому – переизбыток благ. От хорошей жизни не воюют и от хорошей жизни не рожают детей. Правда, хорошая жизнь России не грозит. Тем досаднее расплачиваться наравне с просвещенными народами за те преимущества, коими сам не обладаешь.

Можно, конечно, озлиться и перестать быть просвещенным народом. Теоретически это действенней ириски – уйти в глухой православный шариат, благо церковь, мечеть, синагога и иже с ними не признают компромиссов в вопросах деторождения. Но тогда, как минимум, пришлось бы отказаться от празднования Восьмого марта и встречи Нового года, а на такие жертвы народ не пойдет: он стольким уже пожертвовал... Пришлось бы вдобавок учреждать Святейшую Инквизицию, на манер той, что недавно отменили. Это нереально – даром что коекому и не дают покоя их профессиональные навыки.

Лучше снять несколько мелодрам об отцах и детях – на американцев в восьмидесятые годы это якобы благотворно повлияло. Попытка средствами кино укреплять семью и наоборот дает свои результаты. В первую очередь на память, конечно, приходит "наоборот": "Развод по-итальянски" – после чего в Италии разрешили разводы. А вот фильм "Испытание верности", ратовавший за отмену разводов, со своей задачей не справился: бракоразводным процессам довольно скоро снова дали зеленую улицу. Ни развод, одно из главных завоеваний Октября, ни брак, зачисленный в пережитки прошлого, прямого касательства к деторождению не имели: такая уж у этой страны особенная стать. И вообще...

Поскольку людей за людей не считали — то их и не считали. А завтра была война. А вчера было раскулачивание, голод, террор. А позавчера — военный коммунизм.

После войны считать мы стали наши раны, товарищей считать — и поняли, что их катастрофически не хватает. Процитирую одну книжку: "...Надо было поднять рождаемость, для чего лучшее средство — одна общая на всех власяница, под которой жилось вповалку. Такие пройдохи, какие тогда сидели в Кремле, в совершенстве владели техникой психологического парадокса; вспомним хотя бы, как вместе с запретом абортов и отменой алиментов было введено раздельное обучение".

Раздельное обучение и общая на всех власяница — допустим, это сказано ради красного словца, но запрещение абортов при отмене алиментов не могло не принести плоды, выражаясь фигурально. Когда мужику нечего бояться, он ее брюхатит, когда бабе негде сделать аборт, она рожает.

Интересно, хватило бы сегодня духу повторить сталинский опыт — в стране, где женщины сбились со счета, сколько абортов они сделали, включая подруг и жен тех, кто решился бы этот опыт произвести? Преуспел ли в свое время лучший друг акушеров? Поскольку счет погибшим ведется с точностью беспрецедентной: плюс-минус десять миллионов, то, надо думать, и со статистикой рождаемости дела обстоят примерно так же. Здравый смысл подсказывает, что Сталин преуспел, при условии, если ему нужна была пехота. Но если, подымая рождаемость титульной нации (как теперь выражаются), он собирался доказать, что русская земля еще способна рождать своих невтонов — тогда, конечно, навряд ли.

Итак, мораль? Мораль отдыхает. Авторский текст не всегда ценен содержащимся в нем нравоучением. Часто он ценен его отсутствием, особенно, когда кругом читаются прописи. Но порой отсутствие заведомой целенаправленности ведет к неожиданным прозрениям, которых сам от себя не ожидаешь. Например, зачем действующему президенту Российской Федерации понадобилось публично решать квадратуру круга, сиречь проблему рождаемости? Не затем ли, что он готовит себе вместо преемника преемницу? Pourquoi pas?

“Больше всего я люблю писать о книгах, которые пока еще поняла не до конца...”

Дмитрий Дроздовский беседует с Антонией С. Байеттт

Перевод с английского Е. Скрылевой

В этом году замечательной английской писательнице Антонии С. Байетт[1] исполнилось 70 лет. Мы публикуем интервью, которое взял у нее Дмитрий Дроздовский, сотрудник кафедры филологии Украинского национального университета “Киево-Могилянская академия”.

Антония С. Байетт одна из самых заядлых читательниц на свете. В детстве она всегда засыпала то с одной, то с другой книгой в руках, и только они волновали ее по-настоящему, особенно романы Диккенса, Остин и Скотта. Байетт – из тех немногих женщин, которым в свое время удалось поступить в Кембридж. Она читала запоем, и многое из того, чем интересовалась – например, биологией, историей, философией, – “вплетала” в свои труды. В итоге ее произведения превращались в “целый мир”, где есть и яркие характеры, и глубокие мысли, а чтение и письмо – превращались в вопросы жизни, смерти и свободы.

Лора Миллер

Дмитрий Дроздовский. Миссис Байетт, что повлияло на ваше решение стать писательницей? Был ли у вас выбор? Быть может, что-то в корне повлияло на вашу жизнь и ваши взгляды?

Антония С. Байетт. Я всегда мечтала стать писательницей, теперь могу смело сказать об этом вслух. Большинство студентов, успевающих по литературе, мечтают стать писателями, но – увы! – не у всех это получается. В детстве я любила слушать сказки, рано научилась читать и не сомневалась, что моя страсть к чтению приведет к писательству. Я

© Е. Скрылева. Перевод, 2006

1 А. С. Байетт – см. “ИЛ”, 1992, № 7; 1995, № 10; 2001, № 2; 2006, № 1.

сочиняла еще будучи ребенком. В школе написала и сожгла два романа. Сколько себя помню, все время обдумывала какой-нибудь сюжет. Музыкально или художественно одаренных детей видно сразу, а вот ребенка с талантом к слову заметить нелегко, потому что язык, кроме всего прочего, инструмент повседневного общения. К тому же, мне нравится наблюдать за работой языка, нравится следить за тем, как разворачивается повествование.

Д. Д. Как, когда и почему вы начали писать?

А. С. Б. Я уже отчасти ответила на этот вопрос. Свой первый настоящий роман я сочинила в Кембридже. Не скажу, что писала тогда хорошо, но зато со всем присущим мне пылом. Преподаватели сочувствовали моим отчаянным попыткам учиться и творить одновременно и постоянно советовали: "Устройте себе недельный отпуск — попишите", но я знала, что делать этого не нужно. Тогда бы у меня получился роман о женщине, которая пишет роман, но ничего у нее не выходит (таких сюжетов пруд пруди) — ведь только это чувство было мне по-настоящему знакомо. Бóльшую часть второго романа я сочинила, когда была в аспирантуре в Америке, — и он оказался более сложным и символичным. Мой герой был экранным идолом, такие люди действительно появились на телевидении, но много позже. Я вернулась в Англию, вышла замуж, родила за два года двоих детей. Пока они были маленькими, переделывала первый роман, хватаясь за любую возможность укрыться в стенах университетской библиотеки в Дареме и пописать. Отдала рукопись издателю, который, к моему изумлению, ее принял. Так что ни одна моя рукопись не была отвергнута — этого мне не пришлось испытать ни разу в жизни, все мои произведения были напечатаны, только пару раз я меняла издателей в Америке.

Д. Д. Как вы думаете, нужны ли современному информационному обществу искусство и литература? Время от времени мы слышим пугающие прогнозы: современные технологии, способные изменить наш видимый мир, изменят и наше восприятие его. Уничтожит ли Интернет мировое книжное производство?

А. С. Б. Очень интересный вопрос. Я пишу сейчас рецензию на книгу Виктора Пелевина "Шлем ужаса", в которой он перекраивает на современный лад миф о Тезее и Минотавре и говорит о виртуальной реальности — общении посредством Интернета. В начале он приводит слова Скотта Фицджеральда о том, как сильно всех нас тянет в прошлое и как мы похожи на гребцов, плывущих против течения. Пелевин рассуждает о мифологичности прогресса, сравнивает мозг с компьютером, а рождаемые им мифы — с программными оболочками. У Пелевина по-

лучилась удивительная, потрясающая книга. Книга как средство общения позволяет писателю и читателю встретиться наедине, несмотря на время и расстояния, на словесные преграды. Интернет тоже средство коммуникации, говорит Пелевин, но его нельзя взять с собой в дорогу, а значит, почитать на ночь, поразмышлять о прочитанном, вернуться к понравившемуся месту. Да, с наступлением эры информации отношение к чтению в нашем обществе изменилось. Современная молодежь читает намного меньше, чем я, когда была маленькой. Она смотрит телевизор, играет в компьютерные игры, разговаривает по мобильному телефону. Я же и отдыхала, и постигала жизнь, и воспитывала в себе чувство языка только читая. "Шлем ужаса", со всей его многосложной игрой слов, литературными и компьютерными шутками, — с одной стороны, отличное произведение, с другой — оно демонстрирует новый подход к коммуникации. И может быть, вперившиеся в монитор молодые люди задумаются над тем, что подвластно книге и что не дано компьютеру. Живописи предсказывали смерть после того, как появилась фотография, которая действительно взяла на себя много живописных функций. Но живопись осталась, ведь, творя картину, человек, воспринимает натуру зрением и работает кистью — глаз и рука действуют одновременно. Во время путешествий по Европе и по США я часто встречаюсь с читателями, все они, независимо от возраста, очень радуются непосредственному общению. А благодаря Интернету я теперь могу говорить о книгах и с людьми из разных стран. У меня есть замечательный собеседник, который живет в Корее. Из Шанхая мне пишет один аспирант, задает интересные вопросы и делится размышлениями.

Д. Д. Миссис Байетт, ваши романы "Обладать" и "Тень солнца" пользуются большой популярностью. Как книга становится популярной? В чем секрет? Какова основная мысль ваших романов, если говорить именно об основной мысли?

А. С. Б. Не могу сказать, по какой причине тот или иной роман становится популярным. Многие писатели ищут формулу бестселлера, но она скорее годится для детективов, триллеров, любовных романов, а не для серьезных художественных произведений. Очень любопытно в связи с этим вспомнить мой роман "Обладать". В нем две пары героев: первая — современные литературоведы эпохи постмодернизма, вторая — поэты-викторианцы. Издатели были уверены, что роман не пойдет. Там много поэзии (написанной мной в манере девятнадцатого века). Кроме того, есть там и непростые для восприятия мысли, в частности о феминизме. Американским издателям и даже английским — я с ними работаю далеко не первый год — стихи показались излишними, меня просили их вырезать и даже убрать все эпизоды с викторианцами, на последнем особенно настаивали американцы. Я же считала, что роман будет пользоваться успехом: разрабатывая сюжет, я использовала все, что знала о детективных и любовно-исторических романах, так что повествование получилось увлекательным. История захватывала читателя и способна была удержать его внимание, несмотря на поэзию и отвлеченные рассуждения. Роман имел невероятный успех, и не только потому, что получил Букеровскую премию. Если не ошибаюсь, его перевели на двадцать шесть языков. Это меня поразило, и я благодарна всем переводчикам, ведь для того, чтобы передать язык викторианской эпохи, требуется немалое искусство. Сейчас книга включена в университетские программы во многих странах мира. В Японии, Голландии, Дании, Италии пишут

диссертации о тех самых стихах, которые меня просили вырезать. Я уверена, что роман получил признание потому, что прочитывается и как любовный, и как мистический. Сюжет для книги — вещь неоценимая.

Д. Д. Многие находят вашу прозу очень интеллектуальной, другие — очень эмоциональной (вспомним хотя бы "Обладать"). Что же сегодня важнее: эмоциональное или интеллектуальное наполнение книги? Как вам удается сочетать то и другое?

А. С. Б. Люди — непростые существа, они подвержены всплескам чувств, мучимы разными вопросами. Сюжет нелегко построить без любовной истории, но тем не менее во всех великих произведениях, кроме чувств, есть идеи. И Толстой, и Достоевский, и Пруст, и Джордж Элиот, и Бальзак, и Томас Манн — сами по себе гиганты мысли, а их герои — мыслящие люди. Я объединила свои эссе в сборник и назвала его "Страсти ума", потому что есть люди, эмоционально воспринимающие проблемы, о которых они думают, и, вместе с тем, они вдумываются в то, что чувствуют.

Д. Д. В чем особенность вашего романа "История биографа"?

А. С. Б. Биография, особенно литературная, — очень распространенный жанр в английской словесности. В биографии больше простора для оценки произведения, и мне часто кажется, что англичане предпочитают произведениям писателей их биографии. Я много лет вынашивала идею юмористического произведения под названием "Биография биографа", где герой, отдающий всего себя чтению писем и сочинений умершего автора, сознает, что не принадлежит сам себе. Этот человек, день за днем просиживающий в библиотеке, живет чужой жизнью. Кроме того, мне были интересны запутанные отношения биографа и его (или ее) "субъекта", "объекта", "жертвы", "второго я" — предмет исследования можно назвать как угодно. Мой герой — литературовед, лишившийся иллюзий. Он, как и Роланд Барт, может заявить о "смерти автора" и таким образом взять над ним верх. Он берется за описание личности великого биографа, но в конце концов понимает, что ему рассказать нечего: во-первых, биографа нет в живых, во-вторых, он не оставил личных записей, кроме трех незаконченных эссе: о Линнее, Ибсене и сэре Фрэнсисе Гальтоне, двоюродном брате Дарвина, статистике и евгенике. Во всех эссе столько же лжи и вымысла, сколько правды. Они сшиты из лоскутов подлинных сочинений трех этих великих людей, так возникает новая фигура: умерший биограф соткан из личностей, которые он исследует. (Гальтон придумал "составной портрет семьи" — негативы с портретами всех родственников накладываются один на другой, и на получившейся фотографии мы видим семейный архетип). Но повествование вышло у меня из-под контроля, и мой герой-рассказчик сбежал от своих исследований, начал изучать жизнь пчел и стал натуралистом.

Д. Д. Миссис Байетт, вы не только талантливый писатель, но также и очень плодотворный и серьезный литературный критик. Как вам удается сочетать литературное вдохновение и литературно-аналитические подход?

А. С. Б. Я не готова называться критиком. Я пишу о литературе, в основном, потому, что хочу понять, что такое творчество и писательское мышление, а не для того, чтобы утвердить новую теорию или отстоять некие феминистические или политические взгляды. В том, что касает-

ся критики, я скорее любитель, так же как и поэты и романисты конца позапрошлого и начала прошлого веков, писавшие эссе. Одиннадцать лет я преподавала в университете, но и ученым себя тоже не считаю. Цель моих исследований — понять, как и почему было написано то или иное произведение. Больше всего я люблю писать о книгах, которые пока еще поняла не до конца, чтобы по окончании работы лучше в них разбираться. И пример тому — мое изучение книги Пелевина.

Д. Д. 2006-й — годовщина трагедии в Чернобыле: прошло двадцать лет. Чернобыль стал мировой катастрофой. Что вы об этом думаете?

А. С. Б. Я очень хорошо помню дни после взрыва в Чернобыле, помню лица пожарных, помню, как все мы напряженно следили за направлением ветров с востока. Шведское и британское телевидение ежеминутно передавали с места событий новые сообщения. Я тогда находилась во Франции, где первые дни не говорили о трагедии, наверное, потому, что французы и сами используют атомную энергию. Такие катастрофы еще раз напоминают, что все мы живем на одной планете и для беды границ не существует. Мы научились создавать цивилизации, строить машины и совершенствовать технику, но рано или поздно все делают ошибки. Климат на планете меняется под воздействием глобального потепления. Не говорю, что это — вина каждого из нас, но иногда кажется, что люди — всего лишь глупые животные, раз они не могут договориться, что делать, или хотя бы задуматься, какие шаги следует предпринять, даже если предположить, что им хватило бы на это силы воли. Мы узнаем об ужасных, страшных бедствиях сидя в кресле. Дома, по телевизору мы видим, как проносятся цунами, как рушатся башни-близнецы. Я смотрела в прямом эфире, как в Чернобыле работали над взорвавшимся реактором, на моих глазах обрушился второй энергоблок. Такие вещи не могут нас не сплотить. Мир на всех один, он меняется, иногда эти перемены страшны, а порой — невыносимы.

Д. Д. Будем ли мы читать книги в трехтысячном году?

А. С. Б. Насчет трехтысячного года сказать не могу. Думаю, что не будем. Однако не могу себе представить, что человек к этому времени перестанет творить, думаю, что он так же будет описывать свои чувства, делиться мыслями, но, возможно, уже не в книгах. Я уже говорила, что нам необходимо общаться наедине, с глазу на глаз, тет-а-тет, и эту возможность пока дает только литература. Но сказать точнее не берусь.

Д. Д. Что вас вдохновляет? Можете ли вы назвать писателей, которые пробуждают вашу музу? Вспомним, к примеру, вашу книгу о поэтах "Озерной школы".

А. С. Б. Больше всего мне интересны писатели, которые, помимо литературы, занимались еще чем-то. Колридж, Бальзак, Джордж Элиот серьезно увлекались наукой. Кроме того, я постоянно слышу поэтический ритм. И — пусть это банальность — я бы не стала тем, чем стала, если бы не Шекспир.

Д. Д. Как вы относитесь к постмодернистской литературе? Считаете ли вы, что это последняя стадия литературного развития?

А. С. Б. Нет, не последняя. Достаточно вспомнить историю. Людям быстро наскучит и это, они придумают что-нибудь другое. Мне нравится постмодерн, но только пока он не начинает уверять меня в том, что, неся в себе новый взгляд на мир, затмевает все остальное. По сравнению с Шекспиром большинство постмодернистских произведений од-

нообразны и тусклы. Я и сама не люблю догм. Но многие постмодернисты слишком уж догматически недогматичны.

Д. Д. Вы знаете о переменах, произошедших в украинском политическом режиме? Что вы думаете о переходе нашей страны на демократический курс? Знаете ли вы каких-нибудь украинских поэтов или писателей?

А. С. Б. По всем западным каналам в каждом выпуске новостей рассказывали о украинских демонстрациях, в основном прошедших мирно; я чувствовала, что все мы живем в одном мире, была рада за ваш народ. И вспомнила жителей Восточной Германии, их мирные шествия и крушение Стены. Никого из живущих украинских писателей я не знаю. Гоголь был украинец, совсем недавно я читала его запоем — начала с очень хорошего перевода "Мертвых душ", где ясно чувствуешь остроту его ума, а потом прочла все, что переведено. После чего пересмотрела свое видение всего канона европейской литературы.

Д. Д. Если бы у вас была возможность изменить вашу жизнь, что бы вы сделали?

А. С. Б. Ничем другим, кроме писательства и чтения, заниматься мне не хочется. Но иногда жалею, что я не энтомолог. Люблю насекомых. Еще мне нравится рисовать, но я не умею. Кроме того, с удовольствием профессионально занялась бы наукой.

Д. Д. Каковы ваши творческие планы?

А. С. Б. Я пишу роман, действие которого начинается в 1885-м, а заканчивается в 1918-м. Я пока еще в 1885-м, написала уже сто тридцать страниц, так что, думаю, времени потребуется много. Там действуют и немцы, и англичане, и социалисты, и сказочники, и горшечники. И, конечно, есть война. Я так же, как и Пелевин в "Шлеме ужаса", пользуюсь мифологией. Я выбрала сказание о Рагнароке, смерти богов и конце мира. Обожаю норвежский эпос. Слушаю вагнеровское "Кольцо" и читаю прогнозы современных ученых о конце света.

Э. Драйтова

С *советского Востока на немецкий Запад*

О книге Уллы Лахауэр "Ритина родня"

Так называемые российские немцы, переселившиеся в ФРГ, по непонятным для немцев причинам трудно адаптируются в новой среде. Мангеймская журналистка Улла Лахауэр, заинтересовавшись этой проблемой, посвятила истории одной из таких эмигрантских семей книгу "Ритина родня"[1].

С Ритой Паулз, уроженкой Караганды, и ее подругой Ireной Улла познакомилась, когда, вернувшись из поездки в Россию, организовывала гуманитарную помощь девушке-инвалиду из русской деревни. Понадобились переводчики — так состоялась встреча. Обе переводчицы показались немецкой журналистке необычными людьми. Но многое из того, что они обсуждали между собой, было, по мнению Уллы, непонятно, лишено логики.

При всей взаимной симпатии мы чувствовали себя неловко, сохранялось ощущение непривычного. Мой муж и я были единственными "настоящими немцами", с которыми общались Рита и Ирена. Они же стали единственными российскими немцами, которых знали мы. По возрасту они годились нам в дочери. Какие-то их качества: вежливость, что ли, или старомодное кокетство — приводили на память девушек прошлых времен. Нас поражало, как хорошо они владеют давно забытым у нас искусством говорить взглядами.

Обе девушки приехали в ФРГ летом 1989 года, одной было тогда девятнадцать, другой — семнадцать лет. <...> Из рациональных соображений (поскольку это считается перспективным) обе изучают экономику и славистику, Ирена с упрямой целеустремленностью, Рита — скорее неохотно: она не видит особого счастья в том, чтобы оказаться в роли менеджера какого-нибудь совместного западно-восточного предприятия, и, помимо профессионального обучения ради хлеба насущного, продолжает начатые еще в Караганде занятия вокалом. Пять или шесть лет прошло со времени переезда в Германию: достаточно, чтобы почувствовать себя в Мангейме как дома.

Журналистке хотелось познакомиться с девушками поближе и проследить за процессом их адаптации в Германии, однако, как часто бывает, повседневная рутина развела их дороги. Когда же Улла вновь повстречалась с Ритой, она была поражена целым рядом перемен, не соответствовавших ее — Уллы — оптимистическим прогнозам:

Ее немецкий стал хуже. Похоже, она уже не верила, что сумеет когда-нибудь стать певицей. Она все время жаловалась на свою немецкую учительницу пения, которая заботится о технике дыхания, но оставляет слишком мало времени на пение как таковое. Рита уже не уверена, что сто́ит продолжать дорогостоящие частные уроки, ради которых приходится работать на фабрике и петь по праздникам,

© Э. Драйтова, наследники, 2006

1. Ulla Lachauer. Ritas Leute. Eine deutsch-russische Familiengeschichte. — Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt Verlag GmBH, 2002.

иногда и на улицах. Одни и те же русские народные песни, цыганские романсы, "березоньки", "подмосковные вечера" – все это ей осточертело.

Она все чаще говорила о Караганде, где давно уже пела бы на сцене и где, если бы отец в свое время не поторопился с отъездом, смогла бы по крайней мере закончить музыкальную школу. "Это у нее своего рода ностальгия да еще страх перед будущим", – думала я. Продолжать частное обучение или, тем более, поменять специальность – для нее слишком большая роскошь, такое желание она вряд ли сможет объяснить родителям, ведь те купили в Келе, на французской границе, домик с садом и основательно влезли в долги. К тому же именно в это время отец потерял место в строительной фирме, хотя работа казалась такой надежной... У Ритиной сестры Лены, живущей в родительском доме вместе с мужем Олегом и маленьким сыном Пашей, тоже начались неприятности: ей принадлежит "русский" магазин, но теперь у него появились конкуренты.

Улла и Рита подружились. Рита раскрывалась постепенно, рассказывала о себе, зачастую ставя Уллу в тупик своими непривычными для западной немки взглядами.

Рита, что совершенно очевидно, ценит свободу: ни за какие блага она не перебралась бы жить к родителям. Но, с другой стороны, она очень любит свою семью, живущую в полутора часах езды от нее, эта любовь для Риты – нечто само собой разумеющееся и глубоко личное. Поначалу она не рассказывала о том, как навещает родных, о своем отце Генрихе и русской матери Анастасии, о бабушке Марии Паулз, благочестивой меннонитке, и ее немецких предках. <...>

Однажды Рита объявила: "Мой отец стал капиталистом!" Слово "капиталист" означало, что, устав от безработицы, отец решил открыть собственное дело. Каждую субботу он нагружал свой "фольксваген" товарами из Лениного магазина: фарфором с розочками, цветастыми китайскими покрывалами, копченой рыбой, русскими конфетами, видеокассетами, библиями и т. п. – и колесил по району, останавливая передвижную лавочку возле мест временного проживания недавно прибывших российских немцев.

Улла сочувствовала Рите, но удивлялась тому, что бывшие российские немцы, прожившие в Германии уже несколько лет, продолжают тосковать о прошлом. Потом состоялось знакомство журналистки со всей семьей Паулз. Родственники Риты легко приняли ее в свой круг, и она поразилась тому, что они так свободно общаются с малознакомым человеком. К тому времени у Уллы созрел план написать книгу об истории Ритиного рода: рассказать о жизни своих новых знакомых, вообще о многострадальной судьбе российских немцев, объяснить себе и соотечественникам то, что кажется "ненормальным" в переселенцах из России.

Поначалу участвовать в проекте Уллы согласилась только Рита. Другие члены семьи не спешили рассказывать о себе. "Если хочешь получить доступ в чужую жизнь, нужно суметь открыть ведущую туда дверь, а то и сломать стену", – пишет Лахауэр. Осознавая свою ответственность и деликатность темы, журналистка рассуждала так:

Известный парадокс: чужаки не выносят любопытных глаз, но в то же время нуждаются в сочувствии со стороны окружающего их общества. В этом смысле семья Паулз могла бы оказать своим землякам неоценимую услугу, и это был единственный убедительный довод в пользу того, чтобы все-таки попробовать. "Мы будем все делать тактично", – уверяла Рита. "Тактично" стало ее любимым словом. Мой девиз звучал похоже: "Это не принесет вам вреда..."

Наконец согласие Паулзов было получено, и Улла с головой погрузилась в предварительное изучение проблемы. В книге ее рассказ о Ритиной

семье перемежается историческими справками, статистикой, выдержками из документов.

Как известно, 22 июля 1763 года Екатерина II издала манифест, приглашавший в Россию немецких переселенцев. Им обещали "навечно" предоставить земельные владения, право на сохранение языка и религии, самоуправление и освобождение от военной службы. На десять лет – время обустройства в новых местах – отменялось налогообложение. Первая немецкая колония в Поволжье была образована в 1764 году. К концу XVIII века в России проживало уже значительное число немцев различных вероисповеданий: лютеран, католиков, меннонитов. В 1797 году вышел специальный закон о закреплении за ними перечисленных прав и статуса "колонистов".

Дед Марии Паулз – Петер Винз – и предки ее мужа Генриха происходили из меннонитских семей Западной Пруссии. Основателям этих родов, жившим столетия на два раньше, пришлось покочевать по Европе: Швейцария, Нидерланды, Польша. Меннониты, соблюдавшие строгие религиозные предписания и не признававшие никаких присяг, а потому не желавшие состоять на государственной службе, держались особняком и нередко подвергались гонениям. Приглашение, адресованное Екатериной II немцам, было принято ими с энтузиазмом. В результате на юг Украины уже в самом начале переселения прибыло несколько тысяч немецких меннонитов. В 1789 году они основали на Днепре поселок Хортица, в котором и родился в 1873 году прадед Риты по отцу – Иоганн Паулз. Марии Паулз, ныне самой старшей в семье, этот человек приходился свекром. Он погиб в 1933 году в Караганде. Что касается предков самой Марии, то они происходили из поволжских немцев: ее дед, упоминавшийся выше Петер Винз, родился в 1853 году в Западной Пруссии, где как раз в то время, после принятия прусского закона о всеобщей воинской повинности (1847), среди меннонитов вспыхнула переселенческая лихорадка. Два представителя прусских меннонитов были делегированы в Санкт-Петербург и в результате переговоров добились разрешения на въезд в Россию; каждая семья получила 65 десятин земли. Не желая становиться должниками русского царя, семьи иммигрантов перед отъездом вносили в кассу русской миссии в Берлине по 350 талеров каждая. Царское правительство поставило перед новыми переселенцами конкретную задачу: служить образцом правильного хозяйствования для окрестных русских крестьян.

Эта волна миграции началась в 1855 году, а в 1864-м к ней присоединился Петер Винз. Новые деревни строились вдоль Соляного тракта, по которому соль из Средней Азии доставлялась в Центральную Европу. Потому и назвали колонию "Am Trakt" ("На тракте"). В создании шестой по счету деревни этой колонии (Лизандерхее) принял участие приехавший вместе с родителями Петер. Новоприбывшие жили в землянках, с трудом привыкали к резко континентальному климату волжской степи, к сильным ветрам, рыли колодцы, выводили приспособленные к холоду породы скота, обрабатывали землю. К середине восьмидесятых годов Лизандерхее была уже вполне жизнеспособной деревней. Правда, в 1871-м колонисты лишились привилегий и оказались приравненными к русским крестьянам. В 1874-м было отменено освобождение от воинской повинности, что особенно задело немцев-меннонитов, поскольку служба в армии несовместима с принципами их вероучения. После обнародования нового закона 18 тысяч меннонитов выехали из России в Америку. Тем не менее к концу XIX века представители этой конфессии составляли 8,6% всех российских немцев. К их числу принадлежали и предки Ритиной семьи. Жители колонии "Am Trakt" сумели добиться для себя замены службы в армии на службу в лесничестве.

К рубежу XX века в России проживало 1,4 миллиона немцев. В колонии "Am Trakt" жили 1200 человек. Она состояла из девяти деревень, занимавших 30 000 десятин. Деревни застраивались добротными домами на прус-

ский манер, были посажены и подросли зеленые аллеи, функционировала своя школа. Путешественники называли колонию "оазисом в пустыне", перед Первой мировой войной она стала одной из самых зажиточных. Меннониты поддерживали тесный контакт с Западной Пруссией, перенимали все технические нововведения, закупали новые машины. При общении с жителями ближайшей русской деревни Воскресенка немцы не могли не видеть, что в плане уровня жизни их с соседями разделяет пропасть: у них даже урожаи были почти в три раза выше. Вражды с окрестными селениями не возникало, но других контактов, помимо деловых, меннониты не искали; это касалось не только русских, но и немцев других вероисповеданий.

Во время Первой мировой войны, в 1915 году, российское правительство издало указ о депортации немцев на зауральские территории. Было переселено 190 тысяч человек. Остальных спасла революция 1917 года: выселение прекратилось. По счастью, до ликвидации "Am Trakt" дело так и не дошло, и в 1923-м в городе Покровске-на-Волге была даже опубликована брошюра некоего Зурукина "Меннониты Кёппентальского района". Помимо любопытных этнографических данных, брошюра содержала восторженный отзыв об экономическом развитии колонии, о высоком уровне хозяйствования и особенно о достижениях в области животноводства: о новой породе коров, выведенной трудолюбивыми немцами, о великолепных лошадях, об ухоженных и плодовитых свиноматках. Механизация сельского хозяйства в немецкой колонии выглядела особенно впечатляюще на фоне тогдашней разрухи в Поволжье. Поражала и невиданная в других районах система экономической стабилизации общины за счет создания общей кассы для страхования от несчастных случаев. Контраст с соседними русскими деревнями бросался в глаза: "Здесь современная система, основанная на солидарности частников, там — русский 'мир', в котором владение и пользование землей коллективные".

Не всегда, правда, немецкие хозяйства функционировали столь успешно: во время голода 1921—1922 годов пострадало немало потомков немецких переселенцев. В Поволжье погибло 113 тысяч российских немцев, на юге — 70 тысяч. И все же многие выстояли и, подобно жителям колонии "Am Trakt", в меру сил подкармливали обращавшихся к ним голодающих. В период НЭПа немецкие хозяйства успешно воспользовались разрешением развивать — в определенных рамках — частное хозяйство. Но события развертывались своим чередом. В 1924 году была основана Автономная Советская Социалистическая Республика немцев Поволжья. Кроме нее, в СССР было создано еще 18 немецких национальных округов и 550 немецкоязычных сельсоветов. А потом началось...

В 1929-м активизировалась борьба с религией. Тогда в Москве собралось около 14 тысяч немцев, изъявивших желание выехать за рубеж. Разрешение на выезд получили только 5761 человек, из них 3885 меннонитов. Чуть раньше, почуяв надвигающуюся грозу, покинул Россию родной брат Ритиного деда. Так потомки Паулзов появились в Канаде. Когда же в России приступили к раскулачиванию, сбежать фактически стало невозможно.

Бабушке Марии было в то время тринадцать лет, и она вспоминает, как в Лизандерхее, несмотря на строгий контроль и рвение местных активистов, потихоньку наставляли детей в вере и продолжали обучение на немецком языке. Помнит она и своего деда Петера Винза, пожилого и всеми уважаемого человека, председателя общины Лизандерхее. Разрушительная волна раскулачивания, запрет на использование наемного труда, обрыв связей с Западной Пруссией, коллективизация — все это подорвало благосостояние колонии. Петеру Винзу было суждено увидеть гибель плодов своего упорного труда. Потом зажиточных немцев начали выселять из их собственных домов; одни ютились у родственников, другие строили себе хижины. Летом 1930 года 200 человек были переселены за пределы коло-

нии в глинобитные бараки. Новое поселение назвали Кулаковкой. Мужчин стали гонять на лесоповал. Петер Винз поначалу остался у родственников в Лизандерхее, но в 1931 году пешком пришел к внукам в Кулаковку. Это трудное путешествие окончательно подорвало здоровье семидесятивосьмилетнего старика, и вскоре он умер. Его похороны стали последним — не санкционированным властью — "общественным мероприятием" в колонии. Спустя месяц мужчин из "кулацких" семей прогнали плетьми через деревни колонии и отправили в Казахстан. Следом выслали женщин, детей и стариков. В целом в эти годы из волжской республики было выслано 60 тысяч, а из всей европейской части СССР — 1,8 миллиона "кулаков".

Улла Лахауэр читала книги об этих страшных фактах и пыталась во всех подробностях представить себе те годы. Она расспрашивала единственную знакомую ей свидетельницу — Марию Паулз, но не всегда могла увязать воедино отдельные фрагменты воспоминаний, а главное — не всегда понимала логику рассказов. К тому же бабушка Мария не отличалась словоохотливостью. Она долго не могла понять, зачем ворошить былое, возмущалась: "Почему я? У многих людей такая же судьба!"

"Что знают жители Западной Европы о подобных судьбах? — восклицает У. Лахауэр и добавляет: — Иногда, когда я уходила от Марии Паулз совершенно измученная, потому что постоянно пыталась что-то понять, я утешала себя тем, что верно и обратное: что, к примеру, знает российский немец, видевший на кельском вокзале мемориальную плиту в честь Зигмунда Фрейда, о *таких* судьбах? <...> Тут нельзя найти ничего общего, ничего, что можно было бы сравнивать напрямую. Петер Винз и Зигмунд Фрейд, родившиеся соответственно в 1853 и 1856 годах, не нашли бы даже, что друг другу сказать".

В 1931 году была основана Караганда, известная западным немцам как "город ссыльных". Депортированных "кулаков" и "врагов народа" привозили в казахскую степь и выгружали на пустом месте: ни укрытия, ни орудий труда, ни бараков. Приходилось бороться за свою жизнь, но выживали немногие. Трупы просто валялись на земле, и власти поспешили организовать рытье братских могил. Пятнадцатилетняя Мария прибыла в это страшное место вместе с родителями 17 августа 1931 года. Ее отец погиб в том же году. Мать выжила, всеми силами спасая трех дочерей. Сначала все ютились в землянках, потом — в построенных собственными силами бараках. Мужчины работали в шахтах. Город разрастался за счет постоянного пополнения ссыльными разных национальностей, и шахты оказывались уже на его территории. Попав в Караганду в девяностых годах, У. Лахауэр была поражена:

> По среднеевропейским представлениям, Караганда — это не город, а беспорядочное смешение самых разных феноменов и миров. Глинобитные постройки вперемешку с деревенскими избами, рудоподъемные башни и чудовищные заводы, окруженные горами пустой породы, похожими на огромные женские груди, а повсюду, где осталась ровная поверхность, — пастухи верхом на лошадях посреди своих стад.

Как бы то ни было, этот не-город рос, и быт постепенно налаживался. Перед войной в Караганде даже появилась культурная жизнь: открылся кинотеатр. Показывали "Чапаева", "Веселых ребят", "Цирк", о которых У. Лахауэр пишет несколько пренебрежительно как о "народной мелодраме" и "мюзиклах в голливудском стиле", не понимая, сколь много значили эти фильмы для жителей Советского Союза того времени. Однажды, как раз в кино, Мария встретила молодого немца Генриха, тоже меннонита. Молодые люди поженились в 1938 году.

Террор между тем продолжался: в 1937–1938 годах в самой Караганде было арестовано более шести тысяч человек, полторы тысячи расстреляно, немецкая школа распущена, учителя объявлены "врагами народа". Генрих Паулз, человек хотя и молодой, но уже много повидавший и осторожный, старался ничем не привлекать к себе внимание властей.

Началась война с Германией. 28 августа 1941 года издается указ о депортации оставшихся в европейской части СССР немцев и об их поражении в правах – за "сговор с врагом". Депортировано 800 тысяч человек. За период с 1941 по 1948 год погибло от 300 до 400 тысяч российских немцев. Депортированных мобилизуют на трудовой фронт, им запрещено покидать предписанные места проживания. Многие исстрадавшиеся люди надеются на победу Германии... В 1943–1944 годах 350 тысяч немцев с Украины покидают свои родные места, отступая вместе с войсками вермахта. В 1945 году 220 тысяч из них будут "репатриированы".

В начале войны в Караганде появились новые депортированные, неподалеку возник лагерь для немецких военнопленных. И в 1942-м случилось непоправимое: в дверь квартиры Паулзов постучался сбежавший из лагеря немецкий солдат. Генриха арестовали, над его семьей (Марией и тремя детьми) нависла серьезная опасность. Спустя год Генрих погиб в лагере. Марии удалось выжить и вырастить детей. Во время войны и в первое время после нее российские немцы оставались под строгим надзором, страдали от жесточайших ограничений. Только в 1955 году, уже после смерти Сталина, когда Аденауэр возобновил дипломатические отношения с СССР, немецкие военнопленные вернулись в Германию, а российские немцы получили относительную свободу передвижения – в пределах территории принудительного расселения, им были возвращены права граждан СССР. Однако реабилитация произошла только в 1964-м, а возвращения на места былого проживания пришлось ждать до середины семидесятых.

Отец Риты, родившийся в 1941 году и также носивший имя Генрих, учился и взрослел уже в послевоенное время. В 1963-м, проходя армейскую службу вдали от дома, он встретил русскую девушку Анастасию Кириллову, в 1965-м они поженились. Анастасия родом из Западной Сибири. Ее мать и две сестры живут сейчас в деревне Кокшеново, на родине нескольких поколений Кирилловых. Отец Анастасии, который еще в Гражданскую войну сражался в рядах Красной армии, погиб в Великую Отечественную под Варшавой. Мария Паулз, хотя и огорчалась, что ее будущая невестка не из среды немецких меннонитов, возражать против выбора сына не стала. Сами же молодожены мало задумывались над религиозными вопросами, они – люди другого поколения, других ценностей.

Оглядываясь на прожитые годы, Генрих Паулз говорит о себе: "Я был нормальным советским гражданином. Всегда со всем справлялся". Согласно его определению, "нормальный советский гражданин" – это человек, который способен совершать чудеса в экономике, потому что своевременно – еще в юности – включился в общую работу. Сам Паулз, крановщик, был нужен повсюду, едва ли какая-нибудь другая работа оплачивалась так же хорошо и считалась в обществе столь же престижной. Упорный труд и ощущение, что ты – созидатель. Он ходил в кино, ведя под руку жену, и героем фильма часто оказывался строитель, а в зале пахло свежей краской. В Караганде тогда появилось столько нового: кино, театры, клиники, асфальтированные улицы, – все это переполняло его гордостью.

Их дочери учились в обычной советской школе. Рита вдобавок ходила в музыкальную и мечтала стать певицей. Воспоминания о детстве и юности у нее исключительно приятные, хотя ей не были чужды некоторые психологические проблемы, характерные для советских подростков. В десять лет она еще не знала, откуда берутся дети, а когда в двенадцать начались месяч-

ные, она, раньше ничего о подобных вещах не слышавшая, страшно испугалась, и объяснения смущенной матери не сразу ее успокоили. Рита стеснялась своей пышной груди, в школе всячески старалась скрыть ее: горбилась, носила свободную одежду. Только увидев на экране Мэрилин Монро и придя от нее в восторг, она наконец распрямилась. В школе и дома в основном звучала русская речь, хотя на бытовом уровне Лена и Рита немецким владели. О своем немецком происхождении они особо не задумывались, принимая его как данность. Лишь в период перестройки, когда правительство ФРГ пригласило российских немцев и с 1987 года начался их массовый отъезд, Паулзы, в первую очередь младшее поколение, стали подумывать о том, чтобы перебраться в Германию. У. Лахауэр подчеркивает, что, с точки зрения западных немцев, отъезд Паулзов на историческую родину был единственно возможным решением, на деле же они очень долго колебались, прежде чем такое решение принять. Привлекала стабильная жизнь, обещанная поддержка. Рита мечтала о том, что сможет ездить в овеянную детскими мечтами Францию. Но сразу спохватывалась: "А что я стану делать в ФРГ? Какую получу профессию? Привыкну ли?" Отец сказал: "Едем либо все, либо никто". В 1989-м они собрались в дорогу. Правда, Лена, незадолго до того вышедшая замуж за русского, была беременна и предпочла пока что остаться в России, тем более что мать мужа возражала против его отъезда.

Период адаптации в Германии проходил нелегко, но было много интересного. Пришлось срочно улучшить свой немецкий и постепенно овладевать основами бизнеса. Приехавшая позже Лена открыла магазин русских товаров "Завалинка". Ее клиенты — почти исключительно выходцы из России. Рите пришлось зарабатывать на жизнь совсем не тем, чем хотелось. Бабушка Мария и ее дочь Лени Тевз, сестра Генриха, единственные из Паулзов стали активистами меннонитской общины. Новая жизнь постепенно налаживалась, но ностальгия не отпускала, а многое в германских привычках и быте по-прежнему казалось им чужим.

Западные немцы тоже многого не понимают в жизни переселенцев из России. Улла Лахауэр не испытывает затруднений, когда ей приходится оперировать историческими данными: к ее услугам обширная литература, статистика. Однако непосредственный контакт с членами семьи Паулзов сразу вызывает недоуменные вопросы. Журналистке, которую в этой семье окрестили смущающим ее прозвищем Летописица, непонятно очень многое. Как, например, связать то, что известно ей, Летописице, о кошмарах советского режима, с заявлением Риты: "У меня было счастливое детство"? Через какое-то время объяснение приходит:

> Счастливое детство Риты — и в этом она согласна со мной — было возможно только потому, что взрослые никогда не затрагивали при дочерях опасных тем. По разным причинам — в силу любви к детям, страха за них, собственной беспринципности, гордости за одержанную в войне победу, а иногда и неосознанно — все, кто принимал участие в их воспитании, так или иначе приукрашивали жизнь, умалчивали о ее противоречиях. Это был почти что заговор.

У. Лахауэр отмечает, что подобная позиция была типична для жителей Караганды в семидесятые годы. Рита соглашается с ее объяснением, но тут же дополняет его непонятной для Уллы фразой: "Советское воспитание было авторитарным, но не было холодным". Многие высказывания российских немцев, казалось бы, противоречат друг другу. С одной стороны, соседи донесли на Генриха Паулза, с другой — "Здесь, в Германии, не найти таких хороших соседей, какие были у нас в Караганде!" А старушка Мария, потерявшая в годы репрессий родителей, мужа и сестру, не спешит никого обличать, помалкивает, потому что боится, по ее собственным словам, оговорить невинного человека, и произносит сентенцию, недоступную пони-

манию журналистки: "Возможно, так и должно было случиться!" Но, похоже, не только из-за христианского смирения Мария Паулз так упорно отмалчивается. Где-то в душе все еще гнездится давний страх. Позже, когда у Марии обнаруживаются симптомы психической болезни, страх этот поднимается из глубин сознания на поверхность.

Как ни странно, она меня узнала. "Я из Лизандерхее в России", — машинально сказала она вместо приветствия, значит, поняла, зачем я приехала. Но задавать вопросы мне больше не пришлось. Лени Тевз озабоченно объяснила: мать боится, что вы из КГБ. Мои попытки избавить ее от подобных подозрений не увенчались успехом. "У стен есть уши", — предупредила меня Мария Паулз. Впрочем, до нее все-таки дошло, что я не доносчица; во всяком случае, она верила в это, пока я находилась рядом. "Смотри, осторожно, а то они нас обеих вызовут на допрос".

Вместе с тем Мария довольна, что сейчас живет в достатке, с благодарностью вспоминает, как чиновник на германской границе перестал копаться в ее вещах, прослезился и помог с дальнейшим оформлением документов — после того, как она прочитала ему ветхое, буквально рассыпающееся мужнино письмо из лагеря. И при этом: "Люди здесь не такие дружелюбные, как в Караганде. Здесь каждый за себя. Здесь никто не спросит: откуда у тебя такое красивое платье?" Немецкой журналистке это непонятно. Ей кажется, что определенная автономность личности — гарантия свободы. Уллу даже пугает ситуация, когда, вызвавшись помочь Генриху Паулзу в поездке с российскими товарами по окрестным районам, она оказывается слегка "зажатой" в быстро образовавшейся, прекрасно знакомой любому россиянину, но неизвестной западным немцам очереди. Телесный контакт в очереди ей неприятен; то, что Мария Паулз обращается к ней на "ты", вызывает у журналистки чувство неловкости, а когда Рита, не стесняясь присутствия Летописицы, к которой привыкла почти как к члену семьи, обрывает у бабушки волос с подбородка, журналистка просто приходит в ужас. При этом ее страшно удивляет, как у Лены хватает сил выслушивать в своем магазинчике печальные исповеди клиенток-эмигранток, — на такое ведь способны только психоаналитики! У. Лахауэр пытается многое в поведении "загадочного" семейства трактовать "по Фрейду", и ей самой кажется, что она нашла объяснение, но русского читателя это не убеждает.

Больше всего немецкую журналистку смущает (если не возмущает) "аполитичность" семьи Паулзов.

Мне еще ни разу не приходилось встречать такого аполитичного человека, как Генрих Паулз. О новом усилении репрессий при Брежневе он даже не знал, как и о продолжающейся дискриминации немцев. Немцы составляли не менее 10% жителей Караганды, это 60—70 тысяч человек, самая высокая концентрация немцев для советского города. Ему же казалось, что они мало привлекают к себе внимание, а если о них говорят, то только хорошее. <...>

Однажды, в шестидесятые годы, у Генриха Паулза появилось намерение узнать что-то о своем прошлом. Тогда он тщетно разыскивал в Долинке могилу отца. Обычно же его взгляд был устремлен только в будущее. А ведь поводов для того, чтобы серьезно задуматься, хватало. Когда приходилось месяцами работать в "зоне", возглавляя бригаду заключенных, волей-неволей выяснялось, за что они осуждены. Там были священники, обвиненные в шпионаже, колхозники, укравшие мешок кукурузы для своей свиньи. Это могло бы побудить Генриха пересмотреть свои политические взгляды, но он предпочитал ни во что такое не вникать. Относительное благосостояние сегодня и завтра — других стремлений у него не было. Единственное, вокруг чего вращался его мир, — это дети. Дочки должны научиться играть на пианино! Они должны стать учительницами! Удачно выйти замуж! Ему нужно обеспечить будущее Лены и Риты, а потому он не вправе оглядываться

на чужие несчастья. И дело было не только в том, что, узнав какие-то неприглядные факты, дети могли проболтаться в школе, — просто взрослым не хотелось травмировать детские души. Но прошлое, о котором умалчивали, всегда оставалось рядом. Ведь та заботливость, которую Генрих Паулз вкладывал в воспитание своих детей, выросла из прошлого: из осознания того, что и сам он когда-то находился в опасности, из воспоминаний о трудной жизни в бараке.

Улла не понимает такой позиции. Как могли Паулзы мириться с советским режимом? Как могли, уже переехав в Германию, не обрадоваться, узнав о падении Берлинской стены? Почему они не интересуются воспоминаниями заключенных сталинских лагерей, рассказами о репрессиях? Как мог муж Лены по собственному желанию поехать на заработки на Колыму, где погибло два или три миллиона человек? Почему последовавшая за мужем Лена не упоминает, что видела в Магаданской области остатки лагерных строений и сторожевых вышек? ("Она не сочла бы нужным рассказать об этом, если бы я не расспрашивала ее столь настойчиво!") Как же так? Ведь сама-то Улла не могла заснуть после чтения Шаламова и Солженицына!

Оказавшись вместе с Ритой в Караганде, Улла помогала искать место гибели Ритиного деда и встретила очевидцев, которые тускло, обыденным тоном рассказывали о тех годах.

Мы проезжаем через садовый кооператив, потом еще через один. Старики, которых мы застаем за работой, подробно описывают топографию лагеря, заборы, сторожевые вышки, колонны заключенных, каждый день отправлявшихся на работу. <...> От лагеря ничего не осталось. <...> Сохранилась только заброшенная каменоломня. <...>

Вопреки моему ожиданию, это место не производит особого впечатления. Тамошние жители занимают меня куда больше... Судя по рассказам, они жили тогда рядом с лагерем, да и сами, хоть и не находились за колючей проволокой, были не свободными, а ссыльными из разных областей страны. Никогда мне еще не приходилось слышать, чтобы люди говорили о подобных вещах так откровенно и так бесстрастно. Как будто других возможностей — жить в соответствии с принципами независимости, свободы воли, благосостояния и тому подобного — вообще не существовало.

Так и напрашивается вопрос: а разве они существовали, эти возможности? Ведь собеседники Уллы и выжили скорее всего потому, что осознали суровый факт: "Здесь и сейчас никаких других возможностей у нас нет!"

Описывая Генриха Паулза, У. Лахауэр подчеркивает, что ему "чуждо желание осмыслить свое прошлое, и похоже, что это характерная черта людей его поколения. У них было мало надежды получить образование и сделать самостоятельный жизненный выбор, из их сознания намеренно вытравляли интерес к собственному происхождению. К тому же сама мысль о том, что они травмированы и эту травму следует преодолеть, по большей части чужда детям террора. Во время наших бесед, пока я пыталась подтолкнуть Генриха Паулза к воспоминаниям, его куда больше занимало другое: как научиться жить под дамокловым мечом безработицы, казавшейся ему наихудшим из грозящих человеку несчастий".

Привязанность этих людей к старым заблуждениям и привычкам, от которых, по ее мнению, давно пора отказаться, не дает Улле покоя. Поначалу в семье Риты старались больше говорить по-немецки, теперь все чаще общаются на русском языке. Да и в магазине, в "Завалинке", Лена говорит с покупателями по-русски, вновь прибывающие эмигранты кажутся ей "все более русскими и все более грустными". В отличие от Паулзов, уехавших в начале перестройки, эти люди перебрались в Германию в разгар кризиса девяностых. Сам набор товаров, предлагаемых в "Завалинке", ставит Уллу в ту-

пик; ни одна из этих вещей не нашла бы места в ее доме: аляповатые тарелки и фартуки, российские шоколадные конфеты, кассеты со старыми фильмами, пельменницы, пластмассовые куклы и т. п. Немецкая журналистка пытается как-то осмыслить популярность среди эмигрантов такого рода вещей, но зачастую попадает впросак, считая, например, пельменницу "ностальгическим сувениром", не особенно нужным в хозяйстве, относя тарелочку с надписью "Вера, Надежда, Любовь" к атрибутам религиозного культа и объясняя наличие конфет "Красная Шапочка" тем, что в Караганде некогда ставился одноименный балет. В выходцах из России немку поражает непосредственность поведения при общении с чужими людьми, граничащая, по ее мнению, с инфантилизмом. Подобное мнение разделяют многие ее соотечественники. Некоторые высказываются еще резче. Кельский водитель такси, например, сокрушается по поводу того, что российских немцев расселили в местах, где раньше жили французские солдаты: "С французами мы прекрасно понимали друг друга. А эти — ленивые и наглые, говорят только по-русски и все получают даром".

Непонимание оказывается обоюдным. И сетования на холодность новых соседей — еще не самое страшное. Почему им, приглашенным в Германию, нужно бороться за право работать? Почему им постоянно приходится в чем-то оправдываться? Почему от них ждут, что они изменятся? Эти вопросы мучают вернувшихся на историческую родину людей. Они не понимают, зачем западные немцы пытаются учить их, объяснять им их собственную судьбу, они хотят, чтобы их оставили в покое, раз уж нельзя обеспечить им зажиточную жизнь. Пользуясь формулировкой берлинской писательницы М. Марон[1], можно сказать, что они "стремились к справедливости, а получили правовое государство". Откуда же им было знать, что это такое!

После первых обид люди начинают приспосабливаться к новым условиям. На смену активному неприятию этих новых условий приходит желание их понять — или равнодушие. Но и западные немцы постепенно начинают осознавать, что чего-то не понимают, что разобраться с чужим менталитетом не так просто. Книги вроде исследования У. Лахауэр расшатывают непоколебимую уверенность в собственной правоте — как у местных, так и у бывших российских немцев. И способствуют их взаимному сближению — переходу от восприятия жизни своих соседей в черно-белой цветовой гамме к другому, более богатому оттенками.

1. M. Maron. Quer über die Gleise. — Frankfurt a. M.: Fischer, 2000.

А. Ливергант

Диалог культур под открытым небом

Те, кто побывал на Московском книжном фестивале на Крымском валу в конце июня этого года, может легко себе представить Книжный фестиваль в Эдинбурге, который, в отличие от нашего, проходит в столице Шотландии уже не один десяток лет при огромном стечении читающего и пишущего люда и с которого московский, собственно, и "срисован".

Сходство и впрямь налицо — и не только потому, что все книжные фестивали, как толстовские счастливые семьи, похожи друг на друга. Эдинбургский фестиваль, куда мы, посланцы Британского совета, прибыли в середине августа, тоже проходил под открытым небом — увы, в отличие от московского, пасмурным. Здесь тоже были разбросаны по парку шатры, куда стекались многочисленные и разновозрастные любители книги и где выступали известные прозаики, поэты, драматурги, издатели, переводчики, общественные деятели. Они, точно так же, как и в Москве, либо читали отрывки из своих сочинений, либо подвизались в жанре свободной беседы, после чего охотно отвечали на вопросы аудитории, в которых, как правило, не было недостатка. И книжный магазин на Шарлотт-сквер, где проходил фестиваль, был точно так же забит книгами — правда, в отличие от книжных развалов на Крымском валу, продавалась в нем почти исключительно книжная продукция приглашенных на фестиваль модных британских авторов, да и дороговизна hard covers (20-25 увесистых английских фунтов) не отпугивала — торговля шла бойко. Даже специальный шатер для приемов ничем не отличался от московского — разве что привычных в Москве "халявщиков" с их отменным аппетитом и профессиональной невозмутимостью что-то не наблюдалось. Не наблюдалось и театральных эффектов, какими славится наша ММКЯ, вроде Ильича на броневике или расхристанного солдатика в папахе с красной звездой, продающего... гламурные журналы. Представляете: подходишь к Шарлотт-сквер-гарденз, а при входе тебя приветствует сэр Уинстон Черчилль, который, растопырив указательный и средний пальцы левой руки — Victory, дескать, — правой газеты раздает, или Мария Стюарт (Шотландия как-никак), рекламирующая с эшафота очередное творение Джоан Ролинг.

Имелись — при ближайшем рассмотрении — и другие различия. Коммерческая составляющая в классической стране капитализма, разумеется, основательнее. Билет на книжное шоу не дешевый — около пятнадцати долларов на каждую презентацию, зато, если уж им обзавелся, книгу в фестивальном магазине имеешь право купить чуть дешевле. Сразу после презентации отправляешься, ведомый предусмотрительно нанесенными стрелочками, в кафе по соседству, где и сочинение мэтра по "специальному предложению" приобретешь, и, отстояв очередь,

© А. Ливергант, 2006

подпишешь ее у него "на память", а если повезет, перекинешься с великим человеком словом, заодно и пива (кофе) с бутербродом отведаешь — и себе в удовольствие, и фестивалю, даром что книжному, прибыль.

Отсутствием "халявщиков" и театральных эффектов и наличием продуманной коммерции несходство между Московским книжным форумом и Эдинбургским не ограничивается. Очень, прямо скажем, не хватало нашей здоровой российской импровизации, когда до последнего момента, как в хорошем детективе, не знаешь, придет приглашенный на презентацию или нет, работает микрофон или нет, сидит ли в будке переводчик, а если сидит, то с нужного ли языка будет переводить. В этом смысле Эдинбургский фестиваль с первых же минут наводит тоску своим неукоснительным следованием расписанию и идеальным порядком. Пугает патологической вежливостью участников действа — порой думаешь, а не издеваются ли они над тобой, когда постоянно улыбаются, извиняются и терпеливо объясняют дорогу. Раздражает неизменной, нарочитой какой-то предупредительностью всех и каждого, от властителей дум до студентов, неустанно бегающих по рядам с микрофоном, неизменным уважением к выступающему, что бы "публичная фигура" обоих полов себе не позволяла.

Не позволяет же себе английская публичная фигура, независимо от таланта и статуса, пожалуй, лишь две вещи: снисходить до аудитории, смотреть на нее сверху вниз и говорить о себе и о своих достижениях всерьез. Тоже, между прочим, недостаток: разве можно так себя ронять в глазах поклонников твоего таланта? Разве можно на таком серьезном мероприятии шутить напропалую? При приближении к палаточному литературному городку на Шарлотт-сквер-гарденз в первый момент может показаться, будто пришел на выступление не литературных звезд, а цирковых: из шатров то и дело доносятся взрывы смеха. Будто знаменитые авторы специально сочинили и разучили потешные стишки и комические рассказы с единственной целью повеселить почтенную публику. Смотришь в программу: ни одного юмориста, даже давно уже покоривший российского читателя своим отменным (со временем, правда, ставшим дежурным) чувством юмора романист Дэвид Лодж представляет не очередной блещущий искрометной иронией роман из жизни университетских "донов", а солидную литературную биографию Генри Джеймса, и шутить вовсе не намерен. Вот и черный юморист Говард Джейкобсон, автор нашумевшего в этом году в Англии романа "Ночи Калооки", где пренелепый Макс Гликман с упорством, достойным лучшего — с точки зрения автора — применения, копается в нацистских преступлениях, заявил на встрече с читателями, что вовсе не считает себя юмористом. Юмористом не считает, говорит вроде бы серьезные, хотя и довольно спорные, вещи, а зрители через фразу покатываются со смеху.

Коренится этот парадокс (со смехом — о серьезном) в давней, осененной веками традиции, которая лучше всего передается двумя трудно переводимыми на русский язык английскими словами: *repartee* (остроумный ответ, находчивая реплика) и *anticlimax* (ироническое снижение — а не то, что вы подумали). Англичане, отнюдь не только интеллектуалы, во все времена отличались завидным умением обсуждать важные вопросы со смехом, вставлять в серьезный разговор, дабы его "снизить", уменьшить градус пылкой полемики, веселую, легкомысленную шутку — не оттого ли назвал Англию Пушкин "страной карикатуры и пародии"? А между тем разговор на фестивале шел на темы в высшей степени серьезные, большинство писателей, которых приходилось слушать и читать, относились к действительности без всякого смеха, что не мешало им, повторюсь, много и весело смеяться. И то сказать, действительность — и не только наша, российская, — к смеху сегодня располагает

мало. На войну "с мировым терроризмом", в которой, кстати сказать, пострадали, лишившись в аэропорту нашего багажа, и мы, английская литература реагирует "по Фрейду" — воспоминаниями — либо о Второй мировой, либо о детстве — мирном, но тоже, как правило, невеселом.

Популярная английская писательница Сара Уотерс, которая неоднократно попадала в короткие списки не только завоевавшей в последнее время популярность женской премии "Орэндж", но даже "Букера" и неизменно повествует о тяжкой женской доле, в этом году изменила своей любимой Викторианской эпохе и разразилась романом с до боли знакомым любителям и патриотических блокбастеров, и высокого изобразительного искусства названием "Ночной дозор". Действие "Ночного дозора" (как и романов "День" (2006) Эл Кеннеди и "Правила перспективы" (2005) отличного и мало известного у нас прозаика Адама Торпа) происходит в Лондоне времен Второй мировой, когда судьба Британии без всякого преувеличения висела на волоске. Отнеслась С. Уотерс к лирическому роману "на развалинах империи", по ее словам, весьма ответственно: перечитала, как, впрочем, и Эл Кеннеди, сотни газет того времени, а также ставшие теперь классикой "Министерство страха" Грэма Грина и "Предательство" нобелевского лауреата 2005 года Гарольда Пинтера, в результате чего получилась — сужу, правда, всего по нескольким прочитанным ею страницам — довольно традиционная любовная история (если можно назвать традиционной любовь между двумя представительницами слабого пола) на фоне тщательно выписанного военного городского пейзажа: затемнение, выбитые стекла, рухнувшие дома, горы кирпича и щебня на тротуарах, истошный вой сирен. Хотя помнить войну Сара Уотерс никак не может, в беседе со зрителями она говорила вещи, которые постоянно говорят войну пережившие — и у них, и у нас. Было тяжело, кто же спорит, но в чем-то, пожалуй, даже проще, чем теперь, ведь было понятно, кто враг, а кто друг, кто прав, а кто виноват.

Если военные будни Сары Уотерс импонируют читателям (в основном, конечно же, читательницам) своим лирико-патриотическим настроем, то размышления о детстве — и в поэме "Ложь моего отца" плодовитого поэта и прозаика Джона Бернсайда, и в устных воспоминаниях кумира детских и взрослых читателей Дженет Уинтерсон — поражают своей мрачностью, безысходностью. Когда Дженет Уинтерсон (между прочим, тоже со смехом) рассказывала про свою религиозную обскурантистку мать, которая на манер горьковского деда Каширина говаривала дочери: "Зачем тебе быть счастливой, если можно быть нормальной" и такой лютой ненавистью ненавидела книги, что дочери приходилось спать на спрятанных под матрац сочинениях Дэвида Герберта Лоуренса (!), — то трудно было поверить, что писательница сделала себе имя на романтико-сентиментальной женской прозе, веселых детских книжках, остроумных пересказах древних мифов. Судя по прочитанному отрывку из последней книги "Вес" по мотивам мифа про Атласа, Дж. Уинтерсон едва ли можно причислить к значительным современным писателям, а между тем ее выступление запомнилось и пылкостью, и несомненной глубиной. Ненависть матери к книге не передалась дочери. "Только книга, — говорила, задыхаясь и одновременно смеясь, эта необычайно обаятельная женщина, — спасет от мира Буша и Блэра (обоим на фестивале доставалось здорово)... Время, потраченное на чтение, это время 'качественное' ('quality time'): его у нас не отнимешь. Главное для нас сегодня — не стать одинаковыми, а средство от одинаковости только одно — книга".

Вообще, этот книжный фестиваль проходил под знаком прекрасного пола. Сара Уотерс и Эл Кеннеди воспевали простоту и лиричность человеческих отношений в годы войны. Дженет Уинтерсон учила поклон-

ников своего таланта любить книгу — и не только как "источник знаний". А вот опытная тележурналистка и начинающая писательница Кейт Мосс учила нас, несмышленышей, самому, пожалуй, сложному: как на книге заработать. Первый же ее роман "Лабиринт", где современность сплавлена с историей (что так любит сегодняшний читатель), да еще с несчастной любовью, да еще имевшей место в Провансе, да еще в XII веке, стал бестселлером: на сегодняшний день продано 150 тысяч (!) экземпляров в твердом переплете и еще миллион — в мягкой обложке. Поймала птицу счастья Кейт Мосс очень даже просто: купила дом в Провансе, изучила историю края, погуляла по пещерам, прониклась местными преданиями — вот вам и роман с миллионным тиражом. Жива, значит, еще беллетристика, и не прав, стало быть, Дэвид Лодж, который во время презентации своей монографии "Год Генри Джеймса" авторитетно заметил: "Мы утратили веру в вымысел".

Основную тенденцию, характерную и для нашего книжного рынка, Лодж, впрочем, подметил точно: в Эдинбурге, как и в Москве, "взахлеб покупали" нон-фикшн: биографии, путевые заметки, воспоминания, переписку, дневники. Совсем еще молодой писатель, выходец из Индии Глен Данкен прочел отрывок из своей последней документальной повести "Гелиотроп", где описывается, как его, человека со смуглой кожей (а значит, по нынешним меркам подозрительного), "замели" в аэропорту Хитроу. Остановили, извинились, попросили предъявить документы и даже, что юный литератор описал с нескрываемым возмущением, отвели в специальную комнату, где, еще несколько раз извинившись (!), сняли отпечатки пальцев. Услышанное воспринималось собравшимися как грубейшее нарушение прав человека, а я про себя подумал: "Попался бы ты нашим стражам порядка, Глен!" Вот и получается: для кого повесть строго документальная, из жизни, а для кого — чистой воды беллетристика, небылица.

Переводная же литература на Эдинбургском книжном фестивале "шла" куда хуже, чем в Москве, — англичане, известное дело, самодостаточны. Одна из звезд фестиваля драматург и киносценарист Дэвид Хэмптон, сам, кстати, тоже переводчик, назвал — увы, справедливо — литературный перевод "ignored profession", "пренебрегаемой профессией". И действительно, шатер, где выступали бежавший в 1992 году в Лондон из Узбекистана, ныне сотрудник Би-би-си Хамид Измаилов и переводчик его романа "Железная дорога" (а также — Платонова и Гроссмана, Зощенко и Бабеля) Роберт Чандлер, был невелик и полупуст. Для нас же с Мариной Бородицкой, поэтом и переводчиком, лауреатом премии "Лев и Единорог" за лучший перевод английской прозы и поэзии, учрежденной Британским советом и журналом "Иностранная литература", диалог Измаилова и Чандлера стал событием, едва ли не самым на Книжном фестивале занятным. Впрочем, то, что происходило, диалогом можно было назвать с большой натяжкой: Чандлер — он сейчас работает над переводом "Чевенгура", на обложке которого, в предостережение переводчику, следовало бы написать то же, что пишут на высоковольтных вышках: "Не подходи, убьет!" — читал отрывки из английской версии "Железной дороги", Хамид же ему подпевал — в буквальном смысле слова: подражал местным узбекским напевам и мелодиям. Так, автор и переводчик создавали совместную сценическую версию написанного и переведенного. Забавная образовалась цепочка: написанный по-русски узбекский роман, запрещенный на родине автора за "неприемлемые демократические тенденции", звучал теперь со сцены по-английски.

А чуть позже, перед аудиторией куда более многочисленной, тоже шел многоязыкий диалог культур: именитый албанский писатель Исмаил Кадарэ представлял свой последний роман "Преемник", который переведен с французского (с албанского, видимо, в Англии никто

переводить не решается) на английский его собеседником Дэвидом Беллозом. Кадарэ, который в нынешние свободные времена печатает по роману в год и делит досуг между Тираной и Парижем, и в старые, "тоталитарные" годы был, по счастью, обойден вниманием доблестной албанской госбезопасности; албанский Солженицын преследованиям за публикации за границей не подвергался, а о нашем Литературном институте, в котором проучился пару лет, воспоминания у него остались самые ностальгические...

Странная вещь этот диалог культур, нередко он идет на разных языках — и не только в прямом, но и в переносном смысле слова: бывает, собеседники отказываются понимать друг друга, — а польза от него все равно немалая. Я бы даже сказал, что главный смысл книжных и прочих фестивалей (конференций, форумов, симпозиумов, круглых столов), в конечном счете, именно в нем. Как Интернет никогда не заменит книгу, так и книжной, газетной, телевизионной дискуссии никогда не заменить живого общения. Когда попадаешь на фестиваль вроде Эдинбургского, многочисленные недостатки которого хорошо бы перенять и Московским книжным форумам, лишний раз понимаешь, чего мы столько лет были лишены.

Романы Констана

Бенжамен Констан *Проза о любви* / Перевод с франц.; Статья и комментарии В. А. Мильчиной. – М.: ОГИ, 2006

Это замечательно интересная и очень умышленная книга, чей умысел (то есть замысел) принадлежит не самому Бенжамену Констану, а составителю и переводчице Вере Мильчиной. Последняя в конце своей вступительной статьи отмечает, что заголовок сборника – не авторский; но он и не жанровый (скажем, "Повести и рассказы"), а прежде всего тематический: из наследия французского писателя и мыслителя отобраны тексты, связанные с его биографией и особенно с его личной жизнью, – тексты *о любви*. Среди них и знаменитый, опубликованный самим автором "Адольф" (изюминка нового издания в том, что это произведение напечатано в переводе Петра Вяземского), и разысканные много позже его смерти автобиографические фрагменты "Амелия и Жермена"[1], "Письмо о Жюли", "Сесиль", "Моя жизнь". Наконец, около половины тома занимает беспрецедентная публикация – письма Констана к Жюльетте Рекамье 1814–1816 годов, размещенные вперемежку с его дневником, где те же события и переживания комментируются им для себя самого; к ним примыкает и написанная им биография Жюльетты. Представьте себе для сравнения книгу, где, скажем, любовные стихи Пушкина напечатаны в подверстку с его письмами к соответствующим дамам и *о них*.

Разумеется, составитель "Прозы о любви" прекрасно знает разные стороны таланта Бенжамена Констана – политика, публициста, философа религии, литературного критика, – но сознательно отодвигает все это на второй план; на первом плане остается "Констан как исследователь жизни человеческой души и механизмов человеческой психологии", который в ходе этого исследования "ведет речь в первую очередь о самом себе и своих возлюбленных, рассказывает свою историю, а точнее, историю своих чувств". Он написал всего один небольшой роман ("Адольф"), однако оптика русского издания настроена так, чтобы в его творчестве и жизни мы видели целую череду *романов* – не книг, а любовных связей.

Такая публикация – "сильное прочтение" Констана, подбор и расположение текстов предопределяют их восприятие. Это удобно показать на примере романа с г-жой Рекамье, и это, в общем, признает сама В. Мильчина в своем комментарии, я лишь изложу почти то же самое в другом порядке. Напомню, любовь к Жюльетте развертывается в 1814–1816 годах, в один из самых драматических периодов истории Франции: падение Наполеона, его внезапное возвращение с Эльбы, Сто дней, Ватерлоо, вторая реставрация Бурбонов... В эти месяцы Констан ведет себя по видимости хаотично и непоследовательно: то борется с "узурпатором", то вдруг поступает к нему на службу, то, после его разгрома, опять примиряется с легитимной монархией. Из взятых для публикации текстов собственно политические мотивы его поступков

1. "ИЛ", 2002, № 4.

плохо понятны; зато хорошо видно, как в это же самое время он мучается неразделенной любовью к г-же Рекамье и в письмах к ней увязывает свои политические зигзаги с перипетиями этой любви; как сказано в комментарии, "политика здесь — один из способов повлиять на Жюльетту". Кажется, будто Констан-любовник вообще подчиняет, определяет Констана-политика. Но так кажется лишь постольку, поскольку было принято решение "положить рядом *три* документа <...>: дневник, письма и прозу". А теперь вообразим иной расклад: рядом с письмами к г-же Рекамье (но не вместо них) лежат политические сочинения Констана: трактат "О духе завоевания", антинаполеоновские статьи во французских газетах, потом составленный для вернувшегося императора Дополнительный акт к Конституции империи, наконец, политическая "апология" Констана — "Воспоминания о Ста днях" (1820) — и события того грозного года получат иное освещение. Мы увидим, как талантливый публицист-либерал страдает в изоляции из-за своего происхождения и биографии (швейцарец по рождению, он большую часть жизни провел за пределами Франции) и из-за серьезного отношения к собственным идеям, в то время как французская политическая элита по большей части озабочена шкурными интересами. В стремительно меняющейся обстановке он лавирует, пытаясь действовать по совести и убеждению, служить идеалам, а не лицам — насколько можно, противостоять диктатуре Бонапарта, а раз уж она возобладала, да еще и поддержана большинством нации, то хотя бы воспользоваться ее временной неуверенностью в себе и ввести здравые и передовые принципы в ее законодательство. А одновременно с этими гражданскими борениями и компромиссами его донимают интимные тревоги и дрязги: со своей славной подругой и соратницей Жерменой де Сталь он рассорился, препирается с нею из-за денег и зовет в дневнике "гарпией" и "злобной тварью"; с любимой и любящей женой Шарлоттой фон Гарденберг живет врозь и боится встретиться (хотя в итоге все же съехались и обошлось благополучно), меж тем как его терзает — то приблизит, то оттолкнет — самовлюбленная кокетка г-жа Рекамье, обожающая помыкать знаменитыми людьми... Конечно, эту картину можно поверять другими источниками, но из текстов Констана вырисовывается именно она. То есть другой корпус документов — другая перспектива: теперь уже личная жизнь не столько направляет политику, сколько путает, отклоняет ее; а кто сказал, что личная жизнь важнее политики?

Я вовсе не имею в виду, что состав сборника "неправилен" или "недопустим"; просто он не сам собой разумеется, в нем заложена сильная, пристрастная концепция, которая и реализована во всех элементах издания. Реализована выше всяких похвал — Вера Мильчина виртуозно проявила свою филологическую эрудицию и эдиционное мастерство. Замечательна идея включить в книгу старый, незаслуженно забытый перевод Вяземского, а те страницы комментария, где тщательно изложено его создание, участие в работе над ним Пушкина и Баратынского, его роль в формировании "метафизического" языка русской интеллектуально-психологической прозы, составляют одну из самых блестящих частей книги, образец яркой и умной литературной истории. Профессионально переведены и другие тексты сборника, где, по примеру Вяземского, имитируется шероховатый, не совсем правильный стиль Констана. О богатстве научного аппарата, занимающего добрую треть книги, излишне говорить — оно сразу

понятно всякому, знающему, как работает его автор. Одним словом, воплощение замысла практически безупречно[1]; критический разговор возможен лишь о самом замысле.

Этот замысел отнюдь не бесплоден. В искусно скомпонованных текстах "о любви" нарисован выразительный портрет автора — малодушного, неуверенного в себе "неврастеника", не умеющего самостоятельно принимать решения и поступающего под чьим-то влиянием (скажем, той же г-жи Рекамье) или просто по воле случая (недаром он был отчаянным игроком); он непостоянен в желаниях, "алчет того, что не дается ему в руки, но, добившись своего, тотчас охладевает к предмету своего вожделения", — как писал Пушкин, "что нам дано, то не влечет". Существенно, что Констан сам знает и отмечает все это: "лишь только г-жа Рекамье начинает обращаться с ним чуть более приязненно, *он сразу записывает в дневник* (курсив мой. — *С. З.*), что, в сущности, не так уж сильно ею интересуется"[2]. Его сетования на собственное слабоволие В. Мильчина сопоставляет с расхожей топикой романтизма, "ибо отсутствие воли было одним из главных диагнозов, который писатели той эпохи ставили героям своего века".

Однако даже из собранных в книге текстов можно было сделать и другие выводы; достаточно было при истолковании слов и поступков Констана опираться не только на его сознательные суждения о себе. Его произведения говорят больше, чем его прямые самооценки.

Например, в них четко прослеживается различие между *любовью* и *желанием*. Желание (не только сексуальное) не нуждается в личности желаемого человека, для него важнее чужие, параллельные желания, то есть оно имеет миметическую природу (Рене Жирар). "...Приметив, что большинство молодых людей, ее окружавших, за ней волочатся, я решил непременно ей понравиться", — вспоминает Констан об одной из своих пассий; сходный механизм желания-подражания движет и героем "Адольфа", когда тот домогается Элленоры. Напротив того, любовь ищет в своем предмете уникальную и равную себе личность и страдает, когда не находит. Такие страдания тоже характерны для Констана. В 1803 году, задумав было посвататься к женевской барышне Амелии Фабри, он в своем дневнике ("Амелия и Жермена") вновь и вновь обескураженно признается: "Должен решительно заявить, что за целый час я не обнаружил в ее речах ни единого проблеска мыслей или чувств"; "Амелия ровно ничего из себя не представляет, ума же у нее недостает даже на то, чтобы увлечься мною"... Положим, у бедной девушки (умершей несколько лет спустя) была слишком сильная

1. Пожалуй, не вполне продуман один технический вопрос. Констан был газетным публицистом, и в его текстах упоминается ряд французских повременных изданий. Их названия иногда, как обычно у нас принято, транскрибированы русской азбукой, а иногда переведены. Поэтому на страницах книги смешаны заголовки двух родов: "Всеобщая газета", "Журналь де Пари" (т. е. просто "Парижская газета"), "Монитёр", "Котидьен" ("Ежедневная газета"), "Дебаты" (наряду с этим переводом встречается и транскрипция — "Журналь де деба"), "Независимый" (если уж на то пошло, то скорее "Независимая [газета]"), "Газета искусств", "Курьер" (вообще-то "Courrier" значит здесь, скорее, "Почта", как в лондонской "Morning Post"), "Меркюр" (т. е., естественно, "Меркурий") и т. д. Понимаю, что многие названия переводятся соблазнительно легко, но стоило бы делать это последовательнее и точнее.

2. В других местах он действительно говорит о себе много похожего, но в данном конкретном случае с автором вступительной статьи можно и поспорить. Запись в констановском дневнике гласит: "Удивительная вещь! Лишь только я понял, что мы с ней не в ссоре, как тотчас успокоился". Слово "успокоился" значит здесь, скорее, избавление не от влечения, а от тревоги, страданий — и следующая же запись подтверждает, что влечение никуда не делось: "Видел Жюльетту дважды. Удивительная вещь эта потребность ее видеть".

соперница — вторая героиня констановского текста, интеллектуальное светило Европы Жермена де Сталь. Но так же холодно и Адольф отмечает "заурядный" ум своей любовницы; а в дневнике 1814—1816 годов сам Констан так же критично судит Жюльетту Рекамье — блестящую подругу ряда выдающихся и талантливых людей (включая ту же г-жу де Сталь), которая, в отличие от Амелии, действительно страстно его увлекла: он раз за разом спрашивает себя не только о том, как она относится к нему и перспективно ли за ней ухаживать, но и *заслуживает* ли она этого. Чаще всего выходит, что нет: она "просто лживая и коварная кокетка", "величайшее безумие — ждать от нее чего-либо кроме легкомыслия", раздраженный ее неподатливостью, он в сердцах и ее клеймит "подлой тварью". В то же время в письмах к ней идет обратный процесс — идеализация, придумывание ей "ангельского" характера и сочинение моральных, обязывающих отношений с нею (не любите — так хоть не отказывайтесь меня видеть, это же *долг дружбы*...). Констан любит, а не просто желает Жюльетту, и для этого разрабатывает воображаемое представление о ее личности — нечто подобное Стендаль называл "кристаллизацией" любовного чувства.

Сказанное позволяет лучше понять *историчность* "романов" Констана. Действительно, любовь, в отличие от желания, — социокультурное явление, и у нее есть история (о чем размышляют уже давно, начиная по крайней мере с книги Дени де Ружмона "Любовь и Запад"). Тревожно искать внутреннего совершенства в желанной женщине — это не какое-то естественное и самоочевидное поведение, это факт истории культуры, в данном случае вытекающий из романтического понятия о любви как высоком духовном единении. Романтическое сознание раздвоено и критично, оно не довольствуется донкихотскими иллюзиями — ему нужно, чтобы Дульсинея не просто *была* совершенной, но и каждодневно *подтверждала* свое достоинство словами и поступками, только тогда ей можно будет рыцарски служить.

Историческое объяснение имеет и сюжет "Адольфа".

В сборнике этот текст никак не выделен, однако сильно отличается от остальной "прозы о любви" — по широте дыхания, по трагической напряженности и чистоте атмосферы. В. Мильчина отмечает, что он единственный не является автобиографическим: в жизни Бенжамена Констана не было точно такой любовной истории. Кроме того, только в нем герой не колеблется между двумя или тремя женщинами: на протяжении всего повествования Адольф безупречно верен Элленоре, и ее единственной соперницей-разлучницей становится Карьера — вернее, возможность активного жизненного самоутверждения, которой недостает герою романа. На нем тяжким бременем висит скомпрометированная, незаконная сожительница, которую нельзя представить в свете, с которой можно лишь глухо "прозябать в углу Польши". По мнению В. Мильчиной, "социальные обстоятельства" не препятствуют ему, "он мог бы сделать карьеру, однако уклоняется от избрания 'поприща'"; но вспомним недвусмысленные слова, сказанные ему другим персонажем: "Между всеми родами успеха и вами есть преграда необоримая, и эта преграда — Элленора". Она не женщина-вамп, она не подавляет его, не расслабляет своими чарами; просто открытая связь с "падшей" женщиной препятствует всякой публичной карьере. Жажда самостоятельности, умело подогреваемая другими людьми, в конце концов заставляет Адоль-

фа сделать непоправимый (хотя так и не давший ему свободы) шаг. Получается, что корень его с Элленорой драматической судьбы — не только "внутри, в их собственных характерах", как считает комментатор, но и в исторических условиях их жизни, в условностях дворянской этики.

И еще — в историческом развитии самих представлений о любви. Почему, собственно, Адольф так долго не решается оставить Элленору, хотя сам твердит, что больше не любит ее, да и раньше не очень-то любил? Причина его парадоксально губительной верности — не страсть, а *долг*: не перед родом, не перед отечеством, не перед законной супругой, а всего лишь перед любовницей, отбитой им у прежнего покровителя; ее отвергает общество, но сам он не вправе ее предать (и все-таки предает) после принесенных ею ради него жертв. Беззаконная и уже угасающая любовь как источник нравственного долга — опять-таки новое, не само собой разумеющееся явление, и это уловил Вяземский в предисловии к своему переводу "Адольфа": "...в старину, когда общество движимо было каким-то совокупным, взаимным эгоизмом, в который сливались эгоизмы частные <...> Адольф мог бы <...> в порыве страсти отречься от всех обязанностей своих, всех сношений, повергнуть себя и будущее свое к ногам любимой женщины; но, отлюбив однажды, не мог бы и не должен он был приковать себя к роковой необходимости. Ни общество, ни сама Элленора не поняли бы положения и страданий его <...> Адольф в прошлом столетии был бы просто безумец..." Вяземский диагностирует у констановского героя "нравственный недуг" (малодушие, нежелание считаться с общественными условностями), но сам же признает: этот недуг связан с прогрессом нравов, отказом от "взаимного эгоизма" как моральной нормы общежития, появлением более гуманных, более цивилизованных законов поведения в любви. В таком-то смысле — в силу *моральных* отношений, развивающихся между Адольфом и Элленорой, более ответственных, чем фантомные моральные обязательства, которые Констан воображал в своих письмах к Жюльетте Рекамье, — их история является историей любви, а не только подражательного, скоро иссякшего желания. Исключительное место "Адольфа" в творчестве Констана, его заслуженное признание как шедевра романтической литературы обусловлены именно тем, что здесь писатель сумел сублимировать эмпирическую "слабость" собственного характера и осмыслить ее как результат нового строя нравственных понятий, выработанного европейской культурой после Жан-Жака Руссо.

Замысел В. Мильчиной, поставившей "Адольфа" в один ряд с нехудожественной прозой его автора и соответственным образом прокомментировавшей его, задает иную интерпретацию. Согласно ей, напряженно историчным являлось восприятие "Адольфа" в России, литературные споры вокруг его переводов, тогда как европейский контекст творчества Констана лишь в малой мере историчен: история политическая образует неясный фон для "романов", а история культурная сводится к стереотипу слабовольного романтика-неврастеника, не объясняющему, а лишь обозначающему поведение самого писателя и его героев. Дело науки — искать причины вещей, но для этого плохо годятся умозаключения типа "люди засыпают от опиума, потому что опиум обладает усыпляющей силой" или "Констан вел себя непоследовательно, потому что его характеру была свойственна непоследовательность". Интерпретация, основанная на таких заключениях, сама по себе, конеч-

но, непротиворечива, и по ее поводу можно сделать лишь одно общее замечание: если история литературы, в лице одного из самых компетентных своих представителей, отказывается *историзировать* и предпочитает толковать факты и тексты прошлого исходя не из эволюции общества, а из житейской психологии характеров, то сам такой отказ есть симптоматичный исторический факт нашего времени. На что мне и хотелось здесь указать.

Сергей Зенкин

Освобожденная память

Иоанна Ольчак-Роникер *В саду памяти* / Пер. с польск. Е. Твердисловой. — М.: НЛО, 2006

Есть непререкаемая и немного скучная красота родовых саг. "В саду памяти" — документальная сага, повествование в ней не мелодраматизировано и не блещет литературными красотами, — тем лучше. Чем же эта книга привлекла читателей настолько, что в Польше она отмечена одной из главных литературных премий в 2002 году и уже переведена в Британии, Франции и России? Виной тому не только премиальный сюжет и политкорректность. Весьма умеренных достоинств книга, подобно рогатому копью древних саг, угодила в целый ряд болевых точек и красноречивых умолчаний новоевропейской истории, вынуждая читателя временами сопереживать, но еще чаще — задумываться. И дело здесь не в "непроговоренности" каких-то тем (как полагает переводчица Елена Твердислова), а в их образцовопоказательной недодуманности, в "заболтанности" реальных проблем. С такими или сякими мифами в любом обществе жить сподручнее (дураков на свете не было бы так много, если бы это не было так выгодно), но это и наказуемо, причем периодически (оттого большая История действует посредством поколений, как шахматист, сметающий фигуры с доски и начинающий следующую партию в бесконечном турнире).

Успешному телесценаристу Иоанне Ольчак-Роникер очень не хотелось писать эту книгу, и, может, поэтому она, в общем, удалась. Энергия нежелания уберегла ее от множества искушений. Автор понимала, что в предпринятой ею реконструкции истории собственного рода все будут ждать от нее соответствия своим представлениям. И кому какое было бы до этого дело, кроме родни, если бы речь не шла о драматической истории ассимиляции польских евреев на живых примерах на протяжении полутора веков? А тут уж шаг вправо, шаг влево приравнивается к побегу на минном поле.

Фабула в общих чертах такова: семейство венских талмудистов и раввинов реформаторского направления породнилось с семейством варшавских купцов (ум — с деньгами, идеализм — с практицизмом, безволие — с фантастической живучестью). Любопытной особенностью именно этого рода оказалась сравнительная хрупкость мужского контингента: ранние смерти, банкротства, самоубийства, репрессии как плата за социальный авантюризм. Цементировали, сохраняли и оберегали во всех передрягах и трагедиях эту варшавско-краковскую ветвь Горвицев женщины. Ее фактическим учредителем и матриархом стала прабабка автора, оставшаяся почти без средств к существованию с девятью детьми на руках (в том числе с шестью "невестами") и сумевшая всех их поставить на ноги и встроить в польский социум, благодаря своей железной воле. Ее девизом сде-

лался призыв "Выше голову!" — гибрид гордыни со стойкостью. А Моисееву веру предков ей заменил кодекс, который она всеми силами пыталась внушить собственным детям: "Учтивость, трудолюбие, дисциплина, выдержка! Вот к чему должны вы стремиться, если хотите стать людьми!" Плюс, конечно, обязательно дать образование всем детям, желательно высшее. Для достижения этой цели она не брезговала даже ростовщичеством, что порицалось ее родней, гораздо более благополучной. В конце концов усилия прабабки увенчались успехом — ей отошло настолько серьезное наследство, что материальные проблемы Горвицев были решены на два поколения вперед. Прабабкино состояние ввело их в слой привилегированной интеллигенции, позволяло получить желанное образование, путешествовать по Европе, смягчать взятками участь непутевых детей-революционеров и даже в годы оккупации откупаться от доносчиков и скрываться от нацистов, насколько это было возможно. На страницах мелькают имена Пшибышевского, Галчинского, Тувима, Корчака, Налковской, Пилсудского, Фрейда, Ленина, Дзержинского и многочисленной австро-англо-германо-голландско-французской родни Горвицев (по Ситроенов включительно).

Есть обаяние душистых и кокетливых "старых польских пань", перебирающих семейные архивы и фотоальбомы. И бабка, и мать Иоанны были довольно известными литераторами, но что-то помешало им написать семейную сагу. Гибель мужа, семейные драмы и неудачи в личной жизни, опаливший и травмировавший обеих огонь Холокоста, а может, и "скелет в шкафу" — непроясненность того, с чего начать, нежелание касаться вопроса собственного происхождения. Потому что для ортодоксальных евреев ассимилированные — в той или иной степени "изменники", а для польских националистов — "перебежчики", явно или неявно ожидающие к себе особого отношения (когда окопы и госпитали предназначены преимущественно для обитателей "бедных далеких деревень и маленьких местечек"). Тема чрезвычайно болезненная и скользкая, но кто-то же должен был ее коснуться, в конце концов? Это сделала Иоанна Ольчак-Роникер, дочка поляка, ребенком пережившая Холокост и после войны имевшая смелость выйти замуж за немца. Преодолевая огромное внутреннее сопротивление, разблокируя травмированную войной память, инстинктивно отвращаясь от всякой фальши и патетики (в том числе в близких людях), она взялась за дело, вскоре поглотившее всю ее жизнь — но и вернувшее ее ей в полном объеме, без лакун и стыдливых умолчаний в прошлом и настоящем: "Выходит, настало время избавиться от закодированного в наших генах, глубоко в душе скрытого чувства страха и стыда? Пора, пора заняться почти уже стертыми следами, оставленными на нашем пути". Или так: "Говоря в целом, выработать внутреннее согласие со своей судьбой, не опуская рук и сохраняя достоинство".

Вот как автор комментирует взгляды родного брата своей бабки, революционера-нелегала и коминтерновца, расстрелянного в Москве в 1937 году: "Рецепт не быть презренным представлялся ему донельзя простым: *Еврей, чтобы стать человеком, должен перестать быть евреем и стать... поляком*". Оказывается, достаточно совершить лишь двойное предательство. Отречься от неассимилированных собратьев. То есть от собственных корней и своей истории, религии, традиций. Но еще и отказаться от себя самого, своей складывавшейся веками самобытности. Тщательно спря-

тать свое "я", свою психическую и интеллектуальную инакость, особенности своей культуры, изображать из себя кого-то другого, чтобы во всем поразительно походить на поляка.

Справиться с подобной мимикрией невозможно. Всегда останется чувство стыда. Так кого же имел в виду Макс? Себя? Свою семью? Они стыдились своего происхождения. Разумеется, не отказываясь от него там, где об этом хорошо знали. Но и тут старались поступком, словом, жестом быть на высоте и доказать, что они совершенны, то есть в совершенстве ощущают себя поляками и от еврейства избавились тоже совершенно. С эдаким наполовину стыдливым, наполовину горделивым выражением лица принимали они комплименты, которые отпускал в их адрес какой-нибудь действительный поляк, дружески похлопывая их по плечу. "Ты — настоящий поляк, в тебе ни на грош ничего от еврея, если бы я не знал, никогда бы не подумал, что... Всем бы евреям быть такими, как ты!"

Легче всего в такой ситуации скатиться к перечислению собственных болей и обид. В книге достается на орехи и русским империалистам, и католическим клерикалам, и польским антисемитам, целая глава отведена описанию истории духовной драмы и гибели родственника, польского военного летчика-добровольца в Британии: "Как поляк он испытывал на себе предательство всего мира. Как еврей — предательство поляков". Но Иоанна и сама чувствует, что не все здесь так просто, когда приводит выдержки из его писем: "Широким эхом отозвалось тут дезертирство евреев из польской армии. Я слышал об этом факте давно, и меня это нисколько не удивило, хотя время и способ решать подобные проблемы невозможно не осудить" — или: "Должен признаться, удовольствие, когда внизу полыхает немецкий город, — безумное". Автор книги транслирует расхожую благоглупость, что в воюющей Европе союзники обязаны были создать "зеленый коридор", через который эвакуировать всех евреев, обреченных на геноцид, — в том аду, свидетелем которого была сама! — где ее маленькая родственница под бомбежкой кричала родителям: "Скажите им! Пусть перестанут!"

Конечно, Иоанна Ольчак-Роникер не развязала и не могла развязать затянутые многими поколениями узлы. Это не удалось даже ученице Карла Ясперса, блестящему политическому философу Ханне Арендт, демифологизировавшей и убедительно проанализировавшей на конкретно-историческом материале феномен антисемитизма (в частности, в разделе II капитального труда "Источники тоталитаризма"). Любопытно, что в России за последние 15 лет перевели и издали несколько ее книг, но читать их не стали: о морально-философских аспектах ответственной политики нам легче нести благонамеренную околесицу, чем задумываться, а о неудобных фактах вообще не знать.

Так автор саги "В саду памяти", доведя свое документальное повествование до 2000 года, может не обмолвиться ни словом о всплеске антисемитизма в ПНР в конце 1960-х и массовой эмиграции из нее евреев. Покойный Станислав Лем в одном из интервью удивлялся: евреев в Польше уже практически не осталось, ноль целых сколько-то сотых процента населения, ни в политике, ни в экономике, ни в массмедиа эти ноль целых не играют скольнибудь заметной роли, и вот парадокс — евреев нет, а антисемитизм есть. И напротив, помню, как мать моего товарища, вполне интеллигентная львовская еврейка, после введения военного положения в Польше заявила: "Так им и надо, этим полякам!"

Когда, примерно в те же годы, французы сняли скандальный фильм "Шоах" (то есть Холокост, Катастрофа) о соучастии поляков в деле уничтожения евреев, поляки в долгу не остались и ответили документальным фильмом о коллаборационизме цвета французской творческой интеллигенции: Кокто на фуршете с офицерами гестапо, Пиаф, поющая для частей вермахта в своем гастрольном турне. Око за око. Все мы мастера указывать на бревно в чужом глазу, а в своем не замечать и соломинки. Этот изъян нашего зрения Ханна Арендт еще в ходе Второй мировой войны припечатала беспощадным утверждением: не немцем стыдно быть, а человеком.

Написавшей послесловие к книге переводчице Елене Твердисловой удобнее не помнить об аннексии Польшей, за компанию с Гитлером, Тешинской области Чехословакии в 1938 году — иначе как же тогда клеймить сговор Риббентропа с Молотовым, когда всего год спустя аналогичным образом поступили с Польшей? Не переводческое это дело — заниматься черно-белой публицистикой. Перевод, кстати, неплохой, хотя, видимо, выполнен полькой, о чем свидетельствует масса полонизмов (типа "пускать по ветру мосты" — то есть взрывать, не сразу и сообразишь; или "произвести фурор на мужчин"; община — "гмина" и т. п.), а также чудовищные для русского слуха написания имен и названий (Кёльн — "Кологна", Нюрнберг — "Норымберг", принц Чарльз — "Карл", Питер Пэн — "Пан" и проч.).

И все же Иоанна Ольчак-Роникер написала книгу, нужную не только ей самой и ее родне и не только полякам, написала не только о непростых проблемах ассимиляции евреев (или кого-то еще), но также подала пример зрелого и трезвого отношения человека к собственному происхождению. И сделала это максимально искренне на сегодняшний день, попытавшись разрешить заодно убийственную шаламовскую "апорию" об опыте болезненном и бесполезном, отрицательном по определению. Диаметрально противоположное мнение относительно такого опыта было у кого-то из наших выдающихся филологов (у "мирного" Аверинцева или у воевавшего Лотмана — не имеет большого значения, у кого именно): непосильные испытания вынуждают человека стать или намного хуже, или намного лучше самого себя. Точнее не скажешь.

А возвращаясь к проблеме ассимиляции: существует одно очень изящное ее решение, принадлежащее одному польскому еврею, эмигрировавшему "за компанию" со всеми в Израиль и очень скоро вернувшемуся в Краков навсегда (художнику или литератору, не помню уже). Друзьям он объяснил это так: "Я не польский еврей. Я поляк. И еврей". Надо немало пережить, чтобы научиться так точно мыслить.

Игорь Клех

Панорама новой болгарской поэзии

Из века в век. Болгарская поэзия: Стихотворения / Сост., предисл., примеч. Е. В. Исаевой, С. Н. Гловюка, А. В. Герасимова; Предисл. к серии В. Г. Куприянова. — М.: Пранат, 2005. — 704 с. — (Серия "Из века в век. Славянская поэзия XX–XXI"). 1000 экз.

Чего греха таить: современная поэзия (да и проза, впрочем, тоже) некогда братских стран, объединенных "концепцией" Варшавского договора, в нынешней России практически неведома. Крушение паззла социалистического лагеря повлекло за собой и неизбежный

разрыв культурных связей. И это, пожалуй, наиболее драматичное (если не сказать трагическое) из последствий социального и политического сдвига, случившегося в конце прошлого столетия. Поэтому нельзя не восхититься подвижничеству и даже мужеству коллектива авторов во главе с поэтом Сергеем Гловюком, затеявших масштабную, многотомную серию "Из века в век: Славянская поэзия XX–XXI". Идея ее сформулирована четко и просто: эта серия — "попытка восстановить утраченный "мост" между нашими пишущими на кириллице славянскими народами, такими близкими и такими разными. Ибо, как бы ни разъединяли политики, поэзия — это сила соединяющая..." При этом акцент составителями сделан на поэзии новейшей, берущей начало во второй половине века XX и продолжающейся в дне сегодняшнем.

Логично, что открывает серию антология Болгарии — страны, которую в России традиционно "почитают" как наиболее родственную нам — и культурно, и политически. Что ж, если отбросить надрывный пафос ("Болгары и русские — братья навек!"), то объективно Болгария и в самом деле одна из немногих стран, где любовь к России, русскому человеку и русской культуре сохранилась вопреки всем чудовищным политическим и социальным экспериментам. Однако словесность южного соседа оказалась в числе первых, изъятых из "употребления" в новой России. Последний сборник болгарской поэзии на русском языке увидел свет аж в середине 80-х — совписовский "Звездный час" (1986). Даже и сегодня в кругах издателей и редакторов журналов сохранился взгляд на Болгарию как на "не заграницу". Автор этих строк не раз слышал от редакторов изумленное: "А что, в Болгарии тоже есть литература?" Увы для нас, современную прозу и стихотворчество болгар лучше знают в Западной Европе, где смогли по достоинству оценить мощный потенциал балканской литературы.

Рецензируемая антология дает подробную, панорамную картину современной болгарской поэзии. Подборка впечатляет своим размахом — на семистах страницах в хронологической последовательности (от самых старших, родившихся в 1920-х, до нынешних 20-летних) читатель знакомится с творчеством 165 поэтов нескольких литературных поколений. "В нашей книге мы представляем поэтов, — пишут составители, — творчество которых пришлось на вторую половину двадцатого века и уже начало двадцать первого. Болгарская поэзия этого периода... отражает всю историческую канву жизни Болгарии, не только в содержательном и эмоциональном смысле, но и в языковой поэтике, в развитии слова. От поколения, прошедшего войну, сквозь поколение, писавшее в аскетичные пятидесятые, — к раскрепощённости шестидесятых, к уходу в философию и лирическую свободу семидесятых, к поиску новых тем и форм восьмидесятых, к соединившим в себе всё на свете девяностым и зарождающимся неожиданным голосам начала XXI века".

Авторский состав в целом репрезентативен, хотя и встречаются досадные лакуны. К сожалению, не попали в антологию одни из лучших поэтов "шестидесятнической школы" Михаил Берберов и Калина Ковачева, нет блистательного минималиста Стефана Мавродиева (да-да, того самого — известнейшего болгарского киноактера), нет представителей нынешнего неоавангарда Ивана Сухиванова и Магдалены Костовой-Панайотовой (последняя, кстати, еще и филолог-славист — исследовательница русского поэтического авангарда). Конечно, невоз-

можно вместить всех в один том, но, на мой взгляд, без этих имен картина послевоенной болгарской поэзии выглядит все же незавершенной. При том, что встречаются в антологии и поэты, и стихи, без которых подобное издание вполне могло бы обойтись. Их немного, но они есть, что наводит на мысль о некоторой случайности отбора авторов ("что было под рукой"). Впрочем, этот недостаток простительный, общего впечатления он не портит. Тем более что основной корпус болгарской поэзии все-таки представлен.

Поскольку рамки рецензии не позволяют о каждом заметном поэте говорить отдельно, позволю себе "грех перечня", назову центральные фигуры поэтических поколений Болгарии. Среди поэтов старшего поколения (первая волна), пришедших в литературу еще в 1940—1950-е, в книге присутствуют такие имена, как Валерий Петров, Николай Зидаров, Блага Димитрова, удивительным образом соединявшая в себе тонкий поэтический дар и должность вице-президента Болгарии, почетный доктор Университета штата Айова и лауреат итальянской поэтической премии Божидар Божилов, Иван Давидков, в России больше известный как прозаик, Иван Радоев, Найден Вылчев и др. Вторая волна (шестидесятые—семидесятые) представлена именами (называю, конечно, не всех, но самых заметных) Ивана Динкова, Слава Хр. Караславова, лауреата поэтической премии Международной академии искусств Константина Павлова, кавалера ордена Золотого Льва Королевства Финляндии Нино Николова; трагически погибшего, одного из самых значительных поэтов 60-х Владимира Башева, чье имя теперь носит одна из самых престижных поэтических премий Болгарии; широко известного в Европе Любомира Левчева, Николая Кынчева, Екатерины Йосифовой, Ивана Методиева. Из третьей волны, поднявшейся в середине и конце 80-х, в сборнике присутствуют ее очевидные лидеры, остающиеся и сегодня законодателями поэтической моды в Болгарии: Бойко Ламбовски, Георги Господинов, Мирела Иванова, Кристин Димитрова. О поколении совсем молодых, родившихся в конце 70-х — начале 80-х, я не говорю. Эти авторы еще не стали самостоятельным явлением, а в поэтическом плане находятся под явным влиянием установленных поэтических правил третьей волны (прежде всего, Ламбовски и Господинова).

Хронологический принцип (от старшего поколения к младшему) антологии добавляет чтению увлекательности: действительно интересно и познавательно наблюдать динамическую эволюцию поэтических традиций. И здесь обнаруживается некая общность и с русской поэтической "линией жизни": если старшее и среднее поколение, за крайне редким исключением, сохраняют преданность традиционному, регулярному стиху, то уже к началу 80-х начинается стремительная и тотальная верлибризация всей болгарской поэзии.

Впрочем, не могу не согласиться с авторами предисловия: "...и белый стих, и верлибры болгарских поэтов своей звукописью и лирической магией все равно тяготеют к традиционному стиху".

мой любимый
меня украшает в центре комнаты
вата стекло и электричество
вата
стекло
и электричество
а после вместе мы воспеваем
электрическое тело...

Надежда Радулова
Перевод М. Блиновой

Или вот еще фрагмент — уже из стихотворения Лиляны Стефановой "Ненасытные женские души":

Такие слабые мужчины
Пересекали мне дорогу.
Не будь же слабой, нет, не смей!
Ведь знаешь, женщины когда-то
До сумасшествия — так было —
Влюблялись в змей...

Перевод Е. Исаевой

При этом у болгарской поэзии есть какая-то удивительная, неразрывная общность: ей присуща почти восточная медитативность, внутреннее спокойствие, даже отрешенность.

Откуда эта глухота?
Не слышу, как последних дней
земных бежит песок унылый.
Глухим — легко!
И я средь них. Вот так
меня опять
Благоволение осенило.

Крыстё Станише
Перевод Д. Веденяпина

Я умру в пути, летая
в белых, гибельных туманах —
без прощаний долгих, слезных,
без погоста над рекой...

Владимир Башев *Реквием*
Перевод Ю. Юрченко

Отсюда же сильное тяготение к утонченной пейзажности. Кроме того, болгарским стихам свойственна погруженность в историческое и мифологическое пространства — причем касается это не только культурных пластов родной Болгарии. У болгарской поэзии (особенно у новейшей) на удивление мощный культурный бэкграунд.

Несколько слов хотелось бы сказать о переводах. Билингвистический принцип (оригинальные стихи и переводы даны параллельно) антологии позволяет человеку, знакомому с болгарским языком, в полной мере оценить уровень перевода. К сожалению, как раз переводы очень неровные: с действительно художественными вариациями известных поэтов и переводчиков (в их числе, например, Евгений Винокуров, Римма Казакова, Галина Климова, Наталья Ванханен, Борис Слуцкий) в немалом количестве соседствуют выполненные очень топорно подстрочники, серьезно искажающие звукопись оригиналов. Но тут, скорее, не вина составителей, а общая проблема — сегодня чудовищно мало осталось профессиональных переводчиков с восточноевропейских языков. А тем более переводчиков поэзии. Хотя, мне думается, вполне можно было бы обратиться к поэтам с просьбой "аранжировать" подстрочники.

Придется сказать и о другом недостатке данного тома. Это отсутствие алфавитного указателя имен — очень не лишнего при таком количестве авторов. А чтение помещенных в конец книги биографических справок (наличие их — как раз большой плюс), выстроенных не в алфавитном порядке, а в хронологическом, вызывает зубовный скрежет.

Впрочем, не хочется заканчивать рецензию перечнем недостатков. Одно очевидно: все эти мелкие недочеты никоим образом не умаляют значимости и своевременности антологии.

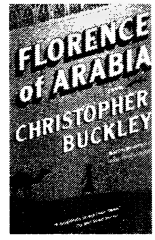
Дай бог, чтобы свет увидели и последующие тома этого удивительного проекта.

Евгений Харитонов

ИЛ" *рекомендует*

На *книжных прилавках конца 2006-го*

Выбор главного редактора



Бакли Кристофер Т. *Флоренс Аравийская* (*Florence of Arabia*) / Перев. с англ. Андрея Геласимова. — М.: Иностранка, 2006. — 527 с. — (The Best of Иностранка). 5000 экз.

Кристофер Тейлор Бакли — американский писатель-сатирик и журналист. Мировой успех ему принес роман "Здесь курят" — остроумная, в чем-то жутковатая сатира на порядки, царящие в мире американской рекламы и пиара ("ИЛ", 1999, № 11—12). Бакли отлично знает эту среду: с двадцати пяти лет он возглавляет редакции крупнейших журналов; многие годы был спичрайтером Белого дома. Последний роман Бакли — "Флоренс Аравийская" — виртуозно написанная пародия на шпионский роман. Самим названием автор отсылает к истории Лоуренса Аравийского, оксфордского выпускника, отважного офицера и, вероятно, шпиона, во время Первой мировой войны возглавившего арабское восстание, инспирированное Британией. Героиня романа Бакли, энергичная итальянка Флоренс, от имени правительства США борется за права арабских женщин и стабильность на Ближнем Востоке. Но события развиваются непредвиденным образом.

Роман опубликован в "ИЛ", 2006, № 5—6.

Бегбедер Фредерик, ди Фалько Жан-Мишель *Я верую — я тоже нет* (*Je crois moi non plus*) / Перев. с франц. Натальи Кисловой. — М.: Иностранка, 2006. — 351 с. — (The Best of Иностранка). 10000 экз.

Фредерик Бегбедер — звезда современной французской литературы, знаменитый скандалист, хулиган и бунтарь. Жан-Мишель ди Фалько — католический епископ, известный публицист и страстный полемист, автор популярных книг на религиозные темы. Это диалог между церковным иерархом и убежденным атеистом, между опытным "адвокатом Бога" и непримиримым критиком всех возможных устоев; они беседуют на вечные темы — о судьбе и счастье, о любви и смерти, о морали и массовой культуре.

Фрагменты книги опубликованы в "ИЛ", 2006, № 9.

Беккет Сэмюэл *Мечты о женщинах, красивых и так себе* (*Dream of Fair to Middling Women*) / Перев. с англ. Марка Дадяна. — М.: Текст, 2006. — 352 с. — (Квадрат). 5000 экз.

В год столетия со дня рождения Беккета на русском языке опубликован самый первый, написанный им в возрасте 26 лет, роман, увидевший свет только после смерти автора. Главный герой романа — юноша по имени Белаква — новое воплощение персонажа из Дантова чистилища. Белаква слоняется по Европе, находясь в странном мире полусна-полуяви, и расстается с тремя своими возлюбленными — Смеральдиной-Римой, Сира-Кузой и Аль-

бой. Книга написана барочным, несвойственным "позднему" Беккету языком, насыщена аллюзиями и скрытыми цитатами.

Фрагменты книги опубликованы в "ИЛ", 2005, № 10.

Дай Сы-цзе *Бальзак и портниха-китаяночка* (*Balzac et la Petite Tailleuse chinoise*) / Перев. с франц. Леонида Цывьяна. — М.: Иностранка, 2006. — 192 с. — (Иллюминатор). 5000 экз.

"Бальзак и портниха-китаяночка" (2000) — первый роман Дай Сы-цзе. Построенный на автобиографическом материале, он стал во Франции книгой года и награжден престижной международной премией "Club Med Literary Prize". Роман переведен на многие языки и положен в основу снятого самим автором фильма, получившего в Каннах приз в номинации "Особый взгляд".

В центре романа — простая, горькая, но в то же время оптимистическая история китайских "детей Арбата": двух друзей, отправленных в пору культурной революции в предгорья Тибета на "перевоспитание беднейшим крестьянством". В этой глуши парням посчастливилось найти чемодан с книгами. И какими! Гюго, Стендаль, Дюма, Флобер, Бодлер, Ромен Роллан, Руссо, Толстой, Гоголь, Достоевский, Диккенс, Киплинг и, конечно, Бальзак, который перевернет их жизнь.

В "ИЛ" (2005, № 8) опубликован роман Дай Сы-цзе "Комплекс Ди".

Миллер Генри *Книга о друзьях* (*Book of Friends*) / Перев. с англ. Д. Ращупкиной. — М.: АСТ, АСТ Москва, Хранитель, 2006. — 352 с. — (Альтернатива). 5000 экз.

Трилогия "Книга о друзьях" — последнее из крупных произведений Генри Миллера, уже в семидесятые годы рискнувшего подтвердить свой статус не "гения и классика", но "гениального хулигана от литературы". Результатом стали причудливая "Хроника утраченного времени" — от бруклинского детства писателя и до его знаменитого "нью-йоркского периода" — и оглушительный скандал в прессе, шокированной откровениями Миллера и одновременно восхищенной его литературным мастерством...

В "ИЛ" опубликованы роман Генри Миллера "Тропик Рака" (1990, № 7, 8), эссе "Время убийц. Этюд о Рембо" (1992, № 10) и рассказ "Дьеп—Нью-Хейвен" (1995, № 7).

Нотомб Амели *Биография голода. Любовный саботаж* (*Biographie de la faim. Le Sabotage amoureux*) / Перев. с франц. Натальи Мавлевич, Оксаны Чураковой. — М.: Иностранка, 2006. — 379 с. — (The Best of Иностранка). 5000 экз.

"Биография голода" и "Любовный саботаж" автобиографичны — если верить автору-персонажу, играющему с читателем, как кошка с мышкой. В "Любовном саботаже" перед нами тоталитарный Китай времен "банды четырех", где Амели жила вместе с отцом, бельгийским дипломатом. В "Биографии голода" страны мелькают, как на киноэкране: Япония, США, Бангладеш, Бирма, Лаос, Бельгия, опять же Китай. Амели здесь — сначала маленькая девочка, потом подросток, со всеми "девчачьими" переживаниями и страстью к экзотике, людям и языкам. Политическая карта 70—80-х годов предстает перед читателем как на ладони, причем ярко раскрашенная и смешно разрисованная в ключе мастерски смоделированного — но как бы и не детского вовсе — восприятия непредсказуемой Амели.

Повесть "Любовный саботаж" опубликована в "ИЛ", 2006, № 3.

Пинтер Гарольд *Карлики* (*The Dwarfs*) / Перев. с англ. Владимира Правосудова. – СПб.: Амфора, 2006. – 272 с. – (Амфора 2006). 10000 экз.

"Карлики" – единственный роман лауреата Нобелевской премии 2005 года, известного драматурга. Это история сложных взаимоотношений трех молодых людей и девушки, живущих в послевоенном Лондоне. "Карлики" написаны легко, изящно и увлекательно, роман открывает еще одну грань таланта писателя и драматурга, чьи пьесы во многом сформировали литературные вкусы миллионов читателей во всем мире.

В "ИЛ" (2006, № 5) опубликована пьеса Гарольда Пинтера "Былые времена".

Спарк Мюриел *Пир* (*Symposium*) / Перев. с англ. Елены Суриц. – М.: Текст, 2006. – 189 с. – (Первый ряд). 2500 экз.

Званый ужин в элегантном особняке, шампанское, дамы в жемчугах, непринужденные беседы – таковы декорации романа "Пир", за которыми прячется нечто менее респектабельное: безумие, абсурдные убийства, грабежи. Сжатый изысканный стиль, ироничность и остроумие автора делают чтение романа истинным наслаждением.
Роман опубликован в "ИЛ", 2005, № 12.

Чатвин Брюс *В Патагонии* (*In Patagonia*) / Перев. с англ. Ксении Голубович. – М.: Афиша Индастриз, 2006. – 304 с. – 5000 экз.

"В Патагонии" – первая книга Чатвина, которая принесла начинающему писателю широкую известность и несколько литературных премий. Каждая маленькая глава этой книги могла бы стать целым романом. Это необычные истории жизни обычных людей, описания далеких городов, таинственных лесов и невиданных животных. Чатвин идет пешком, едет на попутных грузовиках, плывет на пароходе и пишет обо всем, что встречает в пути. Острый взгляд неутомимого путешественника позволяет ему описывать такое, чего никто другой не замечал.

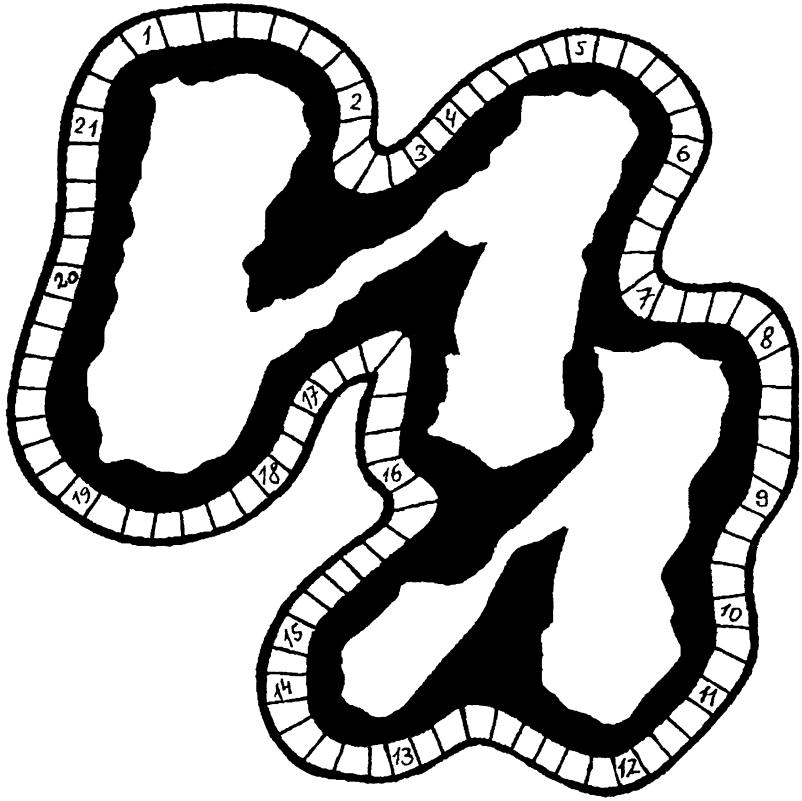
В "ИЛ" (2005, № 4) опубликован роман Брюса Чатвина "Утц".

Шань Са *Врата Небесного спокойствия* (*Porte de la paix celeste*) / Перев. с франц. Елены Клоковой. – М.: Текст, 2006. – 192 с. – 3000 экз.

Китай. 4 июня 1989 года. Площадь Небесного спокойствия (Тяньаньмэнь) в Пекине залита кровью восставших студентов. Лидер студенческого движения прелестная Аямэй, спасаясь от преследования, бежит в горы за тысячи километров от столицы. Молодой лейтенант Чжао получает приказ разыскать бунтарку. В ходе погони в руки преследователя попадает дневник Аямэй, он узнает о ее жизни, мечтах, трагической любви, и его фанатизм уступает место состраданию. Однако погоня завершена – в праздник Луны у развалин старинного храма во время свирепой бури солдаты Чжао настигают свою жертву...

Чайнворд–2006

1. "Бороться и искать, найти и не сдаваться!" Автор поэтической строчки, ставшей эпиграфом к известному роману русского писателя.
2. "Enfant terrible" современной франкоязычной литературы.
3. Рассказ молодого Рильке.
4. Особый поэтический жанр – "бессмысленный стишок", он же порт в Ирландии.
5. Роман польского писателя, выросший из одной фразы романа немецкого писателя.
6. "К Тебе тянусь, о Диван мой, к Тебе" (Автор трактата).
7. Латиноамериканский писатель, взявший псевдоним в честь чешского писателя.
8. Эрудит, историк литературы, автор биографий нескольких писателей и биографии своего родного города.
9. "Я умер в семь часов утра" – первая фраза французского романа. Назовите имя автора.
10. "...однажды зимней ночью путник..."
11. ... Башевис Зингер.
12. Имя писателя, фамилия которого состоит из одних гласных.
13. "Возможность..." (Название романа.)
14. Автор романа "Человек-ящик".
15. Современный писатель, во дворце предков которого начинал свою карьеру и в течение почти тридцати лет служил придворным композитором и главным капельмейстером Йозеф Гайдн.
16. Ежегодная премия журнала, присуждаемая за лучший перевод произведения малой формы.
17. Имя одной из женщин в новелле Тибора Дери "Две женщины".
18. Первый главный редактор журнала, не назначенный "сверху", а избранный коллективом редакции.
19. Автор журнала, исследователь дендизма.
20. В(идиадхар) С(ураджпрасад) ...
21. Единица для исчисления авторского гонорара.



Дорогой читатель!

И снова мы обращаемся к Вам с нашими вопросами. Нас очень интересует Ваше мнение. Надеемся на Ваш отклик.

1. С какого года Вы читаете "ИЛ"?

2. Считаете ли Вы, что за последние годы журнал стал: лучше, хуже...

(Подчеркните нужное или, по возможности, дайте свое определение. Прокомментируйте Ваше мнение.)

3. Предполагаете ли Вы выписывать наш журнал и впредь?

4. Какие публикации трех последних лет (2004—2006), в том числе и малых форм — новеллы, стихи, эссе, — Вы считаете наиболее удачными?

5. Назовите наши наименее удачные публикации.

6. И немного о себе: возраст, пол, образование, профессия и все, что сочтете важным и интересным.

7. Произведения каких зарубежных авторов Вы хотели бы видеть в выпускаемой издательством "Иностранка" серии "ИЛлюминатор" (Библиотека журнала "Иностранная литература")?

Заполненную анкету нужно вырезать и отправить в редакцию; если же Вы, например, читаете журнал в библиотеке, мы охотно примем Ваши ответы и без анкетного бланка, как, впрочем, и ответы на чайнворд.

Среди тех, кто пришлет ответы на анкету, мы разыграем 20 книг из серии "ИЛлюминатор" (Библиотека журнала "Иностранная литература").

А десять бесплатных подписок на 2008 год мы разыграем среди тех читателей, кто разгадает наш чайнворд.

Благодарим Вас за участие.

Джулиан Барнс
Julian Barnes
[р. 1946] Английский писатель. Лауреат премий Сомерсета Моэма, Медичи, Букеровской премии. Кавалер французского ордена Искусств и Литературы.

Автор романов *Метроленд* [*Metroland*, 1980; рус. перев. 2001], *До того, как мы встретились* [*Before She Met Me*, 1982], *Попугай Флобера* [*Flaubert's Parrot*, 1985]; *Глядя на солнце* [*Staring at the Sun*, 1986]. В *ИЛ* были опубликованы романы *История мира в 10 1/2 главах* [1994, № 1], *Дикобраз* [1995, № 6], *Как все было (обсуждение)* [2002, № 7], три рассказа из сборника *Через Ла-Манш* [1998, № 11], рассказ *Вспышка* [1999, № 1].
Публикуемые рассказы взяты из сборника *Лимонный стол* [*The Lemon Table*. London: Jonathan Cape, 2004].

Альберто Карамелла
Alberto Caramella
[р. 1928]. Итальянский поэт. Лауреат ряда литературных премий, в том числе премии Монтале *Вдали от дома*.

Автор книг стихов *Тысяча причин для жизни* [*Mille scuse per esistere*, 1995], *Путешествия Наутилуса* [*I viaggi del Nautilus*, 1997], *Освобожденная книга* [*Il libro liberato*, 2005] и др.
Публикуемые стихи взяты из разных сборников.

Орхан Памук
Orhan Pamuk
[р. 1952]. Турецкий писатель, лауреат Нобелевской премии [2006].

Автор романов *Джевдет-бей и его сыновья* [*Cevdet Bey ve oğulları*, 1979], *Новая жизнь* [*Yeni hayat*, 1994], книги *Стамбул* [*Istambul*, 2003; рус. перев. 2006] и др. В *ИЛ* опубликованы его романы *Черная книга* [1999, № 6], *Меня зовут Красный* [2001, № 9] и *Белая крепость* [2004, № 3].
Публикуемый рассказ взят из сборника *Другие цвета* [*Öteki renkler*. Istanbul: Iletişim, 1999].

Джерард Мэнли Хопкинс
Gerard Manley Hopkins
[1844–1889]. Английский поэт.

Стихи Хопкинса при его жизни не печатались (за исключением одного стихотворения в журнале). Первое собрание стихотворений опубликовано лишь в 1918 году Робертом Бриджесом [*Poems*, 1918]. На русский язык переведено несколько стихотворений в антологиях.
Публикуемые стихи взяты из сборника *Основные сочинения* [*The Major Works*. Oxford, New York: Oxford University Press, 2002].

Карло Бонини
Carlo Bonini
[р. 1967]. Итальянский журналист, лауреат многих национальных и международных премий.

Автор книг *Цветок зла* [*Il fiore del male*, 1999], *Одна деревня, один кооператив, один человек* [*Un paese una cooperative un uomo*, 2002], *Торговля страхом* [*Il mercato della paura*, 2006] и др.
Публикуемые фрагменты взяты из книги *Guantanamo. Usa, viaggio nella prigione del terrore* [Einaudi, 2004].

Леонид Гиршович
[р. 1948]. Русский писатель, музыкант. В начале 70-х эмигрировал в Израиль, позже переехал в Германию, в настоящее время работает в оркестре Ганноверской оперы. Финалист Букеровской премии [1999].

Автор романов *Перевернутый букет* [1978], *Обмененные головы* [1995], *Бременские музыканты* [1997], *Прайс* [1998], *Цвишен ям унд штерн. Быт и нравы гомосексуалистов Атлантиды* [2001], *Суббота навсегда* [2001] и др. В *ИЛ* публиковались его статьи *Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке* [2005, № 2] и *Запад есть Запад* [2006, № 5].

В ее переводе вышли исторические и историко-био-

Элина Михайловна Драйтова [1956–2006]. Переводчик с английского, немецкого и французского языков.

Александр Яковлевич Ливергант [р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения. Лауреат премии *Литературная мысль* [1997], *зоИЛ* [2002].

графические сочинения Э. Поньона *Повседневная жизнь Европы в 1000 году* [1999], Ж. Бенуа-Мешена *Юлиан Отступник* [ЖЗЛ; 2001], Р. Этьена *Юлий Цезарь* [ЖЗЛ, 2003] и др. Неоднократно публиковалась в *ИЛ*.

В его переводе издавались романы Дж. Остин, Дж. К. Джерома, И. Во, Т. Фишера, Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, П. Остера, повести и рассказы Г. Миллера, Дж. Апдайка, Дж. Тербера, С. Моэма, П. Г. Вудхауса, В. Аллена, эссе, статьи и очерки С. Джонсона, У. Б. Йейтса, Дж. Конрада, Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. К. Честертона, Г. Грина, а также письма Дж. Свифта, Л. Стерна, Дж. Китса, дневники С. Пипса и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Переводчики

Инна Соломоновна Стам
Лингвист, переводчик с английского, кандидат филологических наук.

В *ИЛ* в ее переводе напечатаны повесть С. Таунсенд *Ковентри возрождается* [1991, № 3], рассказы Ч. Джонсона [1992, № 4], очерк Г. Миллера *Время убийц. Этюд о Рембо* [1992, № 10], романы С. Таунсенд *Мы с королевой* [1994, № 7], Г. Адэра *Закрытая книга* [2001, № 6], Дж. Кинкейд *Люси* [2003, № 1] и др. Автор работ по современному английскому языку.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996] и премии *ИЛлюминатор* [2000].

В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, а также поэтов XVII—XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Марина Георгиевна Букулова
Тюрколог, кандидат филологических наук.

В *ИЛ* публикуется впервые.

Григорий Михайлович Кружков
[р. 1945]. Поэт, переводчик, литературовед. Лауреат многочисленных премий, в том числе *ИЛлюминатор* [2002] и Государственной премии по литературе [2003].

Автор пяти стихотворных сборников [последний — *Гостья*, 2004]. В его переводах вышли книги Джона Донна *Избранное* [1994], У. Б. Йейтса *Избранное* [2001], сборники *Книга NONсенса. Английская поэзия абсурда* [2000], *Лекарство от Фортуны. Поэты при дворе Генриха VIII, Елизаветы Английской и короля Иакова* [2002], *Англасахаб: 115 английских, ирландских и американских поэтов* [2003] и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Кислова Екатерина Андреевна
Переводчик с итальянского, выпускница Литературного института им. Горького (семинар Е.М. Солоновича).

В ее переводах выходили *Необычный день* Р. Маккари, *Одна, как стебель сельдерея* Л. Литтидзетто и др. В *ИЛ* печатается впервые.

Екатерина Владимировна Скрылева
Переводчик с английского.

В ее переводе вышли романы Дж. Деверо *Искушение*, Э. Джордж *Ради Елены*, М. Али *Брик-лейн*, Г. Вука *Слава*. В *ИЛ* в ее переводе публиковались эссе М. Этвуд и Р. Дэвиса [2006, № 11].

Содержание журнала *Иностранная литература* за 2006 год [1—12]

Романы, повести, рассказы, пьесы

Взрослая жизнь сказки [1]

История из прошлого и будущего. Польская литература сегодня [8]

Как быть канадцем [11]

Франция: писатель, издатель, читатель [9]

Антология новеллы [11]

Али Анар — *Крылатая малютка Хаки.* Перевод с английского Олеси Качановой [11]

Галлант Мейвис — *Поздневозвращенец.* Перевод с английского Анны Асланян [11]

Гринвуд Тереза — *Суд равных.* Перевод с английского А. Веденичевой [11]

Лейн Патрик — *Как есть...* Перевод с английского А. Веденичевой [11]

Маклеод Элистер — *А солнце рождают птицы.* Перевод с английского Анны Парра [11]

Манро Элис — *Жребий.* Перевод с английского М. Карп [11]

Меткаф Уильям — *Классная тачка и рэп, доносящийся из окна.* Перевод с английского А. Соколинской [11]

Смит Нил — *Зеленый флуоресцирующий белок.* Перевод с английского Е. Домбаян [11]

Тьен Мадлен — *Простые рецепты.* Перевод с английского Е. Ривкиной [11]

Бакли Кристофер — *Флоренс Аравийская.* Роман. Перевод с английского Андрея Геласимова [5-6]

Барнс Джулиан — *Рассказы.* Перевод с английского Инны Стам [12]

Бегбедер Фредерик — *Романтический эгоист.* Роман. Перевод с французского Марии Зониной [2]

Бжозовский Збигнев — *Две волшебные истории.* Перевод с польского К. Старосельской [1]

Бисмют Надин — *Scrapbook.* Роман. Перевод с французского Е. Клоковой и Н. Хотинской. Вступление Н. Хотинской [11, 12]

Бландиана Ана — *Эссе-миниатюры.* Перевод с румынского и вступление Анастасии Старостиной [6]

Бэнвилл Джон — *Море.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц [10]

Ван Мэн — *Микрорассказы.* Перевод с китайского Ольги Мазо. Вступление Ильи Смирнова [4]

Данилов Никита — *Жена Ганса.* Рассказ. Перевод с румынского Светланы Негру [1]

Делерм Филипп — *Мини-рассказы из книги "Диккенс, сахарная вата и другие лакомства".* Перевод с французского Натальи Мавлевич [9]

Исигуро Кадзуо — *Не отпускай меня.* Роман. Перевод с английского Л. Мотылева [7]

Испанские пословицы и поговорки. Перевод с испанского и вступление Павла Грушко. Евгений Солонович о переводчике [10]

Каваками Хироми — *Приход весны.* Рассказ. Перевод с японского Ксении Резник [2]

Каприоло Паола — *Сон о ягненке.* Роман. Перевод с итальянского Э. Двин [1—2]

Кироа Марко Аугусто — *Рассказы из сборника "Малая седмица".* Перевод с испанского и вступление Юрия Гирина [7]

Краусс Николь — *История любви.* Роман. Перевод с английского Е. Левенсон [3]

Крушинский Збигнев — *Рассказы.* Перевод с польского Ю. Чайникова [8]

Кучок Войцех — *Телячьи нежности.* Рассказ. Перевод с польского Ю. Чайникова [8]

Мартель Эмиль — *Соло для поэта с оркестром.* Поэтическая проза. Перевод с французского Марии Аннинской [11]

Ментцель Збигнев — *Все языки мира.* Повесть. Перевод с польского К. Старосельской [10]

Миллхаузер Стивен — *Король среди ветвей.* Повесть. Перевод с английского Сергея Ильина [1]

Нотомб Амели — *Любовный саботаж.* Повесть. Перевод с французского Оксаны Чураковой [3]

Остер Кристиан — *Свидания.* Повесть. Перевод с французского Ирины Радченко. Послесловие Ирины Кузнецовой [9]

Памук Орхан — *Смотреть из окна.* Рассказ. Перевод с турецкого М. Букуловой [12]

Пинтер Гарольд — *Былые времена.* Пьеса. Перевод с английского и вступление А. Ливерганта [5]

Ре Никола — *И это только начало.* Роман. Перевод с французского И. Пашаниной [9]

Рёрихт Карл Херман — *Нелицеприятные сказки.* Перевод с немецкого А. Кукес [1]

Рудницкий Януш — *Рассказы.* Перевод с польского Е. Барзовой и Г. Мурадян [8]

Себерг Петер — *Крошка песик.* Рассказ. Перевод с датского Е. Суриц [1]

Стиен Лайла — *Дерево на опушке леса.* Рассказ. Перевод с норвежского О. Вронской [5]

Титли Алан — *Туда.* Короткая повесть. Перевод с ирландского Т. Михайловой [6]

Токарчук Ольга — *Последние истории.* Роман. Перевод с польского Ирины Адельгейм [8]

Тоуз Мириам — *Непростая доброта.* Фрагменты романа. Перевод с английского и вступление Ольги Дементиевской [11]

Шепард Сэм — *Рассказы.* Перевод с английского Т. Табачковой [2]

Шеффер Питер — *Соглядатай (Ионадав).* Трагедия в двух частях. Перевод с английского и вступление Сергея Таска [4]

Сигнальный экземпляр

Уэльбек Мишель — *Возможность острова.* Фрагменты романа. Перевод с французского И. Стаф [2]

Дебют

Баши Салим — *Пёс Одиссея.* Роман. Перевод с французского и вступление Е. Ляминой [4]

Стихи

Бонфуа Ив — *По-прежнему слепой.* Поэма. Перевод с французского М. Гринберга [9]

Бринкман Рольф Дитер — *Стихи. Рассказ.* Перевод с немецкого и вступление Е. Соколовой [6]

Каванах Патрик — *Стихи.* Перевод с английского и вступление Г. Стариковского [3]

Карамелла Альберто — *Стихи.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича [12]

Равалек Венсан — *Апельсин на автостоянке.* Поэма. Перевод с французского Михаила Яснова [9]

Светлицкий Мартин — *Стихи.* Перевод с польского Дмитрия Веденяпина [8]

Сет Викрам — *Крокодил и павиан.* Зверская сказка. Перевод с английского Марины Бородицкой [1]

Ткачишин-Дыцкий Эугениуш — *Стихи.* Перевод с польского Бориса Дубина [8]

Уолкотт Дерек — *Стихи из книги "Щедрость".* Перевод с английского и вступление Григория Кружкова [2]

Шимборская Вислава — *Двоеточие.* Книга стихов. Перевод с польского Асара Эппеля [6]

Шубер Януш — *Стихи.* Перевод с польского Бориса Дубина [8]

Другая поэзия. Антология

Нестеров Антон — *Джон Эшбери: поэзия сложности* [10]

Крили Роберт — *Стихи.* Переводы с английского. Вступление Антона Нестерова [4]

Эшбери Джон — *Стихи.* Переводы с английского [10]

Нарицаю имя. Антология поэзии

Бёк Кристоф — См. Бёрни Эрл [11]

Бёрни Эрл, Патрик Лейн, Майкл Ондатже, Джо Розенблатт, Кристоф Бёк, brNichole, Леонард Коэн — Переводы с английского Григория Стариковского, Антона Нестерова, Ирины Машинской, Марины Бородицкой [11]

Коэн Леонард — См. Бёрни Эрл [11]

Лейн Патрик — См. Бёрни Эрл [11]

Нестеров Антон — *Канада: малый поэтический атлас* [11]

BPNICHOLE См. Бёрни Эрл [11]
Ондатже Майкл См. Бёрни Эрл [11]
Розенблатт Джо См. Бёрни Эрл [11]

Вглубь стихотворения

Хаусман Альфред Эдуард *Четыре стихотворения.* Переводы с английского. Вступление Григория Кружкова [6]

Из классики XX века

Дефоре Луи-Рене *Рассказы.* Перевод с французского и вступление М. Гринберга [9]

Лаури Малькольм *Парадоксальное утешение, даруемое нашей профессией.* Рассказ. Перевод с английского С. Силаковой [11]

Лесьмян Болеслав *"Телом после я стал, а сперва была рана".* Стихи. Перевод с польского и вступление Анатолия Гелескула [7]

Саррот Натали *Иссм, или То, что не имеет названия.* Пьеса. Перевод с французского и вступление Марии Аннинской [9]

Литературное наследие

Балашши Балинт *"Как птица воспарю и в песне воспою..."* Стихи. Переводы с венгерского. Вступление Ю. Гусева [4]

Браунинг Роберт *Пестрый дудочник.* Баллада. Перевод с английского Марины Бородицкой [1]

"И сей красотой полон круг земной". Поэзия немецкого барокко. Переводы с немецкого Владимира Летучего, Алексея Прокопьева. Вступление Александра Маркина [2]

Теннисон Альфред *"Я слышу голос, говорящий в ветре!"* Стихи. Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова [5]

Хопкинс Джерард Мэнли *"Проснусь – и вижу ту же темноту..."* Стихи. Перевод с английского и вступительная статья Григория Кружкова [12]

Фольклор

Легенды североамериканских индейцев. Перевод с английского Ксении Подгорной [11]

Ничего смешного

Ружевич Тадеуш *Телетрендели.* Сценарий для общественного и частного телевидения. Перевод с польского К. Старосельской [8]

Фергюсон Иан. См. Фергюсон Уилл [11]

Фергюсон Уилл, Иан Фергюсон *Как быть канадцем.* Фрагменты книги. Перевод с английского Е. Домбаян [11]

Фрай Стивен *Неполная, но окончательная история классической музыки.* Фрагменты книги. Перевод с английского С. Ильина [7]

PL+50. Истории будущего

Бауман Зигмунт *Пять прогнозов и множество оговорок.* Перевод с польского С. Макарцева [8]

Дукай Яцек — *От составителя.* Перевод с польского Ольги Чеховой [8]

Лем Станислав — *Белый орел на фоне всеобщей нервозности.* Перевод с польского И. Подчищаевой [8]

Пёнтек Томаш — *Сопляки.* Рассказ. Перевод с польского И. Подчищаевой [8]

Свидерский Бартек — *Лебединая песня министра настроений.* Рассказ. Перевод с польского Марины Курганской [8]

Документальная проза

Андерман Януш — *Фотографии.* Фрагменты книги. Перевод с польского К. Старосельской [8]

Бонини Карло — *Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов.* Перевод с итальянского Е. Кисловой [12]

Ват Александр — *Мой век. Устные мемуары.* Фрагменты книги. Перевод с польского Н. Каменевой. Предисловие Чеслава Милоша [5]

Гловацкий Януш — *Из головы.* Фрагменты книги. Перевод с польского И. Подчищаевой [8]

Фаулз Джон — *Дневники.* Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление В. Бернацкой [4]

Беседы

Фалько Жан-Мишель де, Фредерик Бегбедер — *Я верую – Я тоже нет. Диалог между епископом и нечестивцем при посредничестве Рене Гиттона.* Главы из книги. Перевод с французского Наталии Кисловой [9]

Премия имени отца Александра Меня

"Иначе нас ждет конфронтация цивилизаций..." Беседа с д-ром Абрахамом Петером Кустерманом [4]

Штудниц Эрнст-Йерг фон — *Речь при вручении премии имени отца Александра Меня.* Перевод с немецкого Е. Араловой [4]

Из будущей книги

Карельский А. В. — *Немецкий Орфей: беседы по истории западных литератур.* Главы из книги. Публикация и вступление А. Ботниковой, О. Вайнштейн [6]

Литературный гид

Балканы. Пейзаж развалин [10]

Беатрикс Поттер [1]

Грин Грэм — *Беатрикс Поттер: критический очерк.* Перевод с английского А. Борисенко [1]

Демурова Нина — *Ускользающее своеобразие Беатрикс Поттер* [1]

Ергович Миленко — *Рассказы.* Перевод с хорватского Л. Савельевой, Е. Солодовниковой [10]

Карахасан Джевад — *Пейзаж развалин как сад (Поэтика руин).* Эссе. Перевод с боснийского Л. Савельевой [10]

Карпентер Хамфри — *"Джейн Остин детской": Беатрикс Поттер как мастер стиля.* Перевод с английского А. Борисенко и В. Сонькина [1]

Поттер Беатрикс — *Четыре сказки.* Перевод с английского И. Бернштейн, Н. Демуровой [1]

Тейлор Джуди — *Жизнь Беатрикс Поттер.* Перевод с английского В. Кулагиной-Ярцевой [1]

Чосич Бора — *Катарина.* Фрагменты романа "Наставники". Перевод с сербского и вступление В. Соколова [10]

Шарый Андрей — *Фантомные боли* [10]

Статьи, эссе

Адельгейм Ирина — *Вчера, сегодня, завтра* [8]

Аннинский Лев — *На полях Холокоста* [10]

Апдайк Джон — *Оз – это о нас.* Перевод с английского Ю. Жуковой [1]

Байетт Антония С. — *Два эссе.* Перевод с английского Ольги Новицкой, О. Исаевой [1]

Брюкнер Паскаль — *Вечная эйфория. Эссе о принудительном счастье.* Фрагменты книги. Перевод с французского Натальи Мавлевич [3]

Дерепа Дмитрий — *Танские стихотворения в переводах академика В. М. Алексеева* [5]

Дубин Борис — *Проводник.* К семидесятипятилетию Самария Великовского (1931—1990) [9]

Дэвис Робертсон — *Зимняя зарисовка: творчество в преклонном возрасте.* Перевод с английского Е. Скрылевой [11]

Залеский Марек — *Польская литература – какая она сегодня?* Перевод с польского Вадима Волобуева [8]

Карп Мария — *Исследование импульсов* [11]

Левин Мартин — *Когда появилась современная канадская литература?* Перевод с английского Т. Казавчинской [11]

Ле Гуин Урсула К. — *Ребенок и Тень.* Перевод с английского О. Исаевой [1]

Либера Антоний — *Два эссе.* Перевод с польского Светланы Леоновой [8]

Пристли Дж. Б. — *Заметки о Шалтае-Болтае.* Перевод с английского Н. Демуровой [1]

Что-то такое над нами... Небо Европы. Эссе из книги [6]. Урс Видмер. *Небо Европы.* Перевод с немецкого А. Егоршева. Альфред Коллерич. *Попытки писать о небе. Предостережение.* Перевод с немецкого А. Егоршева. Ильма Ракуза. *Троекратный юг. Ощущения.* Перевод с немецкого Е. Соколовой. Мария Рыбакова. *Шумит Тирренское море* [6]

Этвуд Маргарет — *Выбор профессии: "Кем ты себя воображаешь?" (Что такое "писатель" и как я им стала?)* Перевод с английского Е. Скрылевой [11]

Писатель и общество

Гиршович Леонид — *Запад есть Запад* [5]

Гиршович Леонид — *Квадратура круга?* [12]

Наши гости

"Тебе больше никогда не придется работать!" Беседа с британским писателем Аланом Силлитоу и его женой Рут Фэйнлайт. Запись беседы и перевод с английского Е. Тиновицкой [5]

Иностранец в России

Тейлор Баярд — *Путешествие в Грецию и Россию, а также поездка на Крит.* Главы из книги. Перевод с английского и вступление Галины Лапиной [6]

Трибуна переводчика

Встреча переводчиков [2]

Дубин Борис — *Как я стал переводчиком* [6]

Мавлевич Наталья — *Можно ли перевести непереводимое? Новарина по-русски* [9]

Наши интервью

"Больше всего я люблю писать о книгах, которые пока еще поняла не до конца..." Дмитрий Дроздовский беседует с Антонией С. Байетт. Перевод с английского Е. Скрылевой [12]

Лестер Анастасия: *"Строить гипотезы и смотреть в будущее, но жить настоящим"* [9]

Мазорик Марион: "Далеко, на краю света..." Перевод с французского Е. Леоновой [9]

Миллер Анн: "У нас есть около тридцати программ..." Перевод с французского А. Николаевой [9]

Польское кино сегодня. С Тадеушем Соболевским, кинообозревателем "Газеты выборчей", и Агнешкой Одорович, директором Польского института киноискусства, беседует Игорь Потапов. Перевод с польского Игоря Потапова [8]

Фестиваль книги. С Грэмом Свифтом и Тибором Фишером беседует Александр Ливергант [10]

Чжан Жун: "Дикие Лебеди" и Красное, Красное Солнце. Материал подготовлен Романом Шапиро [10]

Путешествие по книге

Драйтова Э. — *С советского Востока на немецкий Запад.* О книге Уллы Лахауэр "Ритина родня" [12]

Carte blanche

Гандельсман Владимир — *Поэзия как религия. Рильке* [2]

Костюков Леонид — *Мировая литература* [3]

Петрушевская Людмила — *Тили-Бом, или Сказка о сказке* [1]

Писатели о переводчиках. Перевод с польского М. Габачовой [8]

Хазанов Борис — *Париж и всё на свете* [9]

Письма из-за рубежа

Лемберский Павел — *Исповедь нью-йоркского киномана* [4]
Ливергант А. — *Диалог культур под открытым небом* [12]
Старосельская Ксения — *Мифогенная зона* [5]
Шишкин Михаил — *Вильгельм Телль как зеркало русских революций.* Опыт сравнительной монументологии [2]

Мнение политика

Вильпен Доминик де — *Европеец.* Фрагменты книги. Перевод с французского Е. Леоновой [9]

Полемика по материалам французской прессы

Кризис предместий: миф или реальность? В обсуждении участвуют: Пьер Розанваллон, Жан-Пьер Ле Гофф, Эмманюэль Тодд, Эрик Морен. Перевод с французского Е. Клоковой [9]
Руа Оливье: — *"Для Франции ислам не представляет какой-то особой проблемы..."* Перевод с французского Елены Клоковой [9]

Литературная пресса мира

Нестеров Антон — *Радуга критического притяжения.* О чем пишут англоязычные критики: осень—зима 2005 года [3]
Иванова Екатерина — *Измерение мира: о чем писали немецкоязычные литературные издания осенью 2005 – зимой 2006 годов* [7]

Среди книг

Богомолов Николай — *Забытые встречи и их знаменитые участники* [6]
Веденяпин Дмитрий — *Разговор с идеальным читателем* [1]
Гениева Е. — *Национальная литература столетия: стереорама* [10]
Генис Александр — *Чудеса в решете. "Гарри Поттер" для взрослых* [1]
Горалик Линор — *Философия прогулки с черепашками* [5]
Ермонский А. — *Магические свойства печатного слова* [8]
Зенкин Сергей — *Место парижских картин* [4]
Зенкин Сергей — *Романы Констана* [12]
Клех Игорь — *Освобожденная память* [12]
Ковалева Ирина — *"Строфы с комплексным познавательным эффектом"* [5]
Костюков Леонид — *А какую задачу мы решали?* [2]
Костюков Леонид — *Одной улицей больше* [11]
Мельников Николай — *Бунтующий человек Уильяма Стайрона* [4]
Мельников Николай — *Все в Слаку!* [6]
Мельников Николай — *Загадочная англосаксонская душа Ивлина Во* [2]
Мороз Андрей — *Парад сербской поэзии* [3]
Новикова-Ганелина Светлана — *Буря в театре и "Птам"* [2]

Рахаева Юлия *Польский пазл.* Серия "Современное европейское письмо. Польша" издательства "Новое литературное обозрение" [8]
Снежинская Галина *Все о нем* [10]
Хазанов Борис *Ежедневный труд свободы* [3]
Харитонов Евгений *Панорама новой болгарской поэзии* [12]

БиблиофИЛ

Издательские планы. Об опере барокко, эстетике смерти и вечной эйфории. Серия "Studia Europaea". Издательство Ивана Лимбаха. Материал подготовила Светлана Силакова [3]

Издательские планы. Взгляд из России: Мериме, Гофман, Петрарка... С заведующим Научно-библиографическим центром ВГБИЛ Ю. Г. Фридштейном беседует Светлана Силакова [7]

"ИЛ" рекомендует. Переводные новинки конца 2005 года. Выбор главного редактора [2]

"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках начала 2006-го. Выбор главного редактора [3]

"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках апреля 2006-го. Выбор главного редактора [5]

"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках июня 2006-го. Выбор главного редактора [6]

"ИЛ" рекомендует. На книжных прилавках конца 2006-го. Выбор главного редактора [12]

У книжной витрины с Константином Мильчиным [2—5, 10]

"Французы пишут и пишут, только успевай выбирать..." Беседу с представителями издательств "Иностранка", "Текст" и "Флюид/FreeFly" ведет Светлана Силакова [9]

Курьер [1, 3—5]

Библиография

Канадская литература на страницах "ИЛ" [11]
Польская литература на страницах "ИЛ" в 2000—2006 годах [8]
Французская литература на страницах "ИЛ" в 2000—2006 годах [9]

Наша почта

Роман голосов "Пока мы лиц не обрели" и его читатели [2]

Анкета + Чайнворд [12]

Авторы номера [1—12]

RINET
Internet Service Provider

ИНТЕРНЕТ
ПО ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ВЫДЕЛЕННЫМ ЛИНИЯМ
в Центральном округе Москвы

объединенная волоконно-оптическая районная сеть RiNet в ЦАО
• оптимальные условия подключения,
• бесплатный доступ к внутрисетевым ресурсам

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ ← В ЦЕНТРЕ ГОРОДА → В ЦЕНТРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

круглосуточно:
(095) 232-1730 238-3922 916-7009.
адрес:
МОСКВА, 1-Й ХВОСТОВ пер., д. 11А.
подробности:
WWW.RINET.RU

В оформлении обложки использован фрагмент картины итальянского художника Пьеро делла Франческа [ок. 1420—1492] *Рождество* [1470—1475].

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев.

Старший корректор Анна Михлина.

Компьютерный набор Евгения Ушакова, Надежда Родина.
Компьютерная верстка Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор Мария Макарова.

119017, Москва, Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
http://www.inostranka.ru
e-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции или в киоске "Новой газеты", расположенном по адресу: Страстной бульвар, дом 4.

Подписаться на журнал "Иностранная литература" можно во всех отделениях связи. Индекс 72261 — на год, 70394 — полугодие.

Можно оформить льготную подписку в редакции по адресу: ул. Пятницкая, 41 (м. "Третьяковская", "Новокузнецкая) Подписка оформляется в понедельник, вторник, среду, четверг с 12:00 до 17:30 часов.

(Справки по тел. 953-51-47).

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство № 066632 выдано 23.08.1999 г. ГК РФ по печати

Подписано в печать 15.11.2006
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 2753.
Тираж 7320 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов
ОАО "Типография "Новости",
105005, Москва,
ул. Фр. Энгельса, 46.

Поздравляем
нашего постоянного автора
Бориса Николаевича Хлебникова,
которому присуждена премия имени Жуковского [2006]
за выдающиеся успехи в области литературного перевода
с немецкого языка на русский

---

[1] 2007

РОМАН МИХАЛА ВИВЕГА "ИГРА НА ВЫЛЕТ" / ПЬЕСА КЭРИЛ ЧЕРЧИЛЛ "ТАМ ВДАЛИ" / ЕЖИ ЛИБЕРТ: "ИЗ ТРЕХ КНИГ" / ПОВЕСТЬ ЭЛМОРА ЛЕОНАРДА "ОГОНЬ В НОРЕ" / ПИСЬМА ФРИДРИХА НИЦШЕ В РУБРИКЕ "ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ" / СТАТЬЯ БОРИСА ХЛЕБНИКОВА "ФЕНОМЕН ГРАССА"

ИНОСТРАННАЯ ИЛ ЛИТЕРАТУРА

В 2007 ГОДУ

"ЛОНДОНСКИЕ ЗАТЕЙНИКИ" – повесть знаменитого английского писателя ПИТЕРА АКРОЙДА о юных почитателях творчества Шекспира, спровоцировавших одну из самых скандальных литературных мистификаций XVIII века.

"ПО ВЕРСИИ БАРНИ" – роман классика современной канадской литературы МОРДЕХАЯ РИХЛЕРА, увлекательный многоплановый рассказ о жизни Барни Панфоски – бонвивана и циника, тонко чувствующего, исключительно наблюдательного и глубоко несчастного человека.

"ТЕРАКТ" – роман одного из самых читаемых на Западе франкоязычных алжирских писателей ЯСМИНА КАДРА о судьбе живущего в Израиле палестинца.

"ПРИЗНАНИЯ ТУРИСТА. ДОПРОС" – книга знаменитого австрийского романиста КРИСТОФА РАНСМАЙРА о реальных и воображаемых путешествиях, для него нераздельных и ставших образом жизни.

"ПОЦЕЛУЙ ИУДЫ" – пьеса английского драматурга ДЭВИДА ХЭЙРА, новая версия трагических событий последнего периода жизни Оскара Уайльда, когда писатель оказался покинут всеми, даже тем, кого он любил и защищал.

"ЛОЛИТА И НЕМЕЦКИЙ ЛЕЙТЕНАНТ" – книга ныне забытого немецкого прозаика ГЕНРИХА ФОН ЛИХБЕРГА, чьи новеллы, опубликованные в 1916 г., возможно, послужили прообразами для "Лолиты" и "Изобретения Вальса" Владимира Набокова.

"КЛОНИРОВАТЬ ХРИСТА?" – документальная книга известного французского писателя Д. ВАН КОВЕЛЕРА, в которой рассказывается, как вчерашняя научная фантастика сегодня становится научной реальностью.

"CURRICULUM VITAE" – написанная в сдержанно-иронической манере автобиография знаменитой английской писательницы МЮРИЕЛ СПАРК, на страницах которой встречается немало людей, послуживших прообразами ее героев.

"ФАКЕЛ В УХЕ" – главы из автобиографической книги лауреата Нобелевской премии австрийского писателя ЭЛИАСА КАНЕТТИ, где рассказывается о культурной жизни Вены 1924–1928 гг.

"РАССКАЗЧИК" ДЭНИЕЛА СТАШОУЭРА – биография английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930), создавшего знаменитый образ частного сыщика Шерлока Холмса. Другие материалы об авторе и его герое.

СТАТЬИ, ЭССЕ, ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГИДЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА:
"ПИСАТЕЛЬ ПУТЕШЕСТВУЕТ", "АНТОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКОЙ НОВЕЛЛЫ XXI ВЕКА" И ДР.

НОВЫЕ ВЫПУСКИ ПОСТОЯННЫХ РУБРИК ЖУРНАЛА:
"ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА", "ВГЛУБЬ СТИХОТВОРЕНИЯ", "ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА",
"ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ", "ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КНИГЕ", "ТРИБУНА ПЕРЕВОДЧИКА",
"НАШИ ГОСТИ", "НАШИ ИНТЕРВЬЮ", "СРЕДИ КНИГ", "CARTE BLANCHE",
"ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА", "КУРЬЕР ИЛ", "БИБЛИОФИЛ" И ДР.

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 "ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА", 2006, №12, 1-304